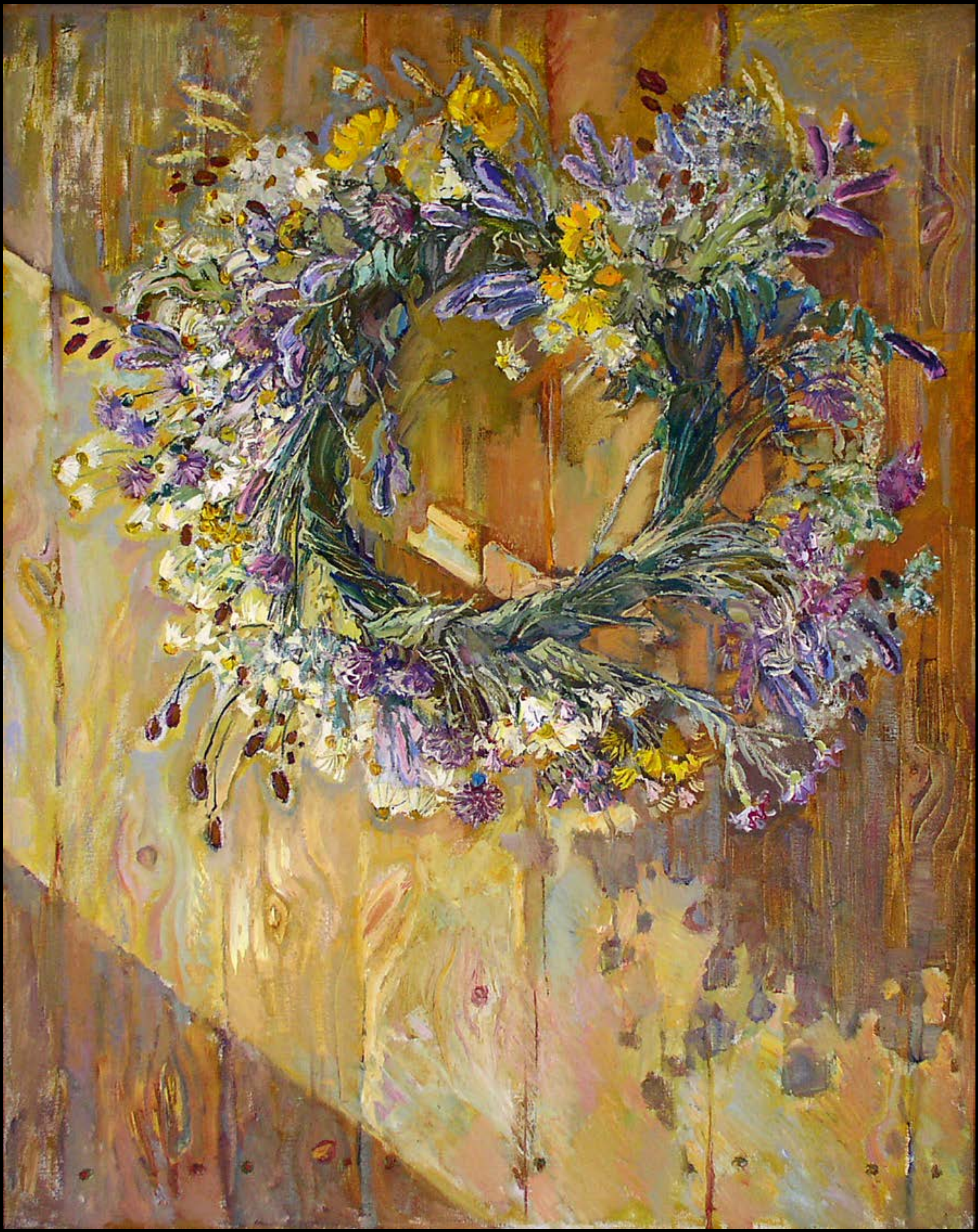
ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2013



Роман Ильиных

Венок. День | 2004
100 × 80 | холст, масло

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2013

В номере

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

3 Экспедиция «Енисей»

Франсуа Беллек
4 Огни и тени Енисея

Кристиан Гарсэн
11 Концерт

Элизабет Барийе
15 Сибирь

Д*и*Н РЕВЮ

Лев Таран
10 Никто ни в чём не виноват

Лиля Газизова
16 Люди февраля

Михаил Мельниченко
78 От змеи до змеи

Сергей Аринчин
100 Возвращение на Джеликтукон

Кирилл Ковальджи
148 Моя мозаика, или По следам кентавра

168 Основы православной культуры

Ирина Аргутина
177 На честном слове

Д*и*Н ПАМЯТЬ

Нина Шалыгина
17 Верхом на «Мерве»

Д*и*Н РОМАН

Николай Переяслов
20 Ветер с Востока

Д*и*Н ЮБИЛЕЙ

Михаил Тарковский
77 Камень

Юрий Беликов
79 Истачиваться в бездны мирозданья

Марина Саввиных
82 Крепость несокрушимая

Д*и*Н БЕНЕФИС

Марина Саввиных
84 Для встречи тайной и счастливой

Николай Ерёмин
85 За новогодним поворотом

Д*и*Н СТИХИ

Сергей Кузнечихин
101 Луна в квадрате

Анатолий Аврутин
103 Что за ангел стоит у плеча?..

Сергей Аринчин
105 Я на свет выхожу

Владимир Мялин
108 Амфоры

Вероника Шелленберг
169 Под присмотром орла

Роман Рубанов
172 Чёрное и красное

Наталья Никулина
174 Вспоминая Асклепия

Д*и*Н ПРОЗА

Алексей Журавлёв
110 Апокалипсис

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Семён Каминский
149 Учебное пособие по строительству замков из песка

Зинаида Кузнецова
154 Клад

Алексей Бабий
159 Томление духа

Лариса Обаничева
162 Луи

Д*и*Н ПУБЛИЦИСТИКА

Лев Бердников
175 Метаморфозы стольника Петра Толстого

Владимир Шанин
178 До и после праздника

Д*и*Н ДЕТИ

187 Синяя тетрадь

196 Д*и*Н АВТОРЫ

Д*и*Н ГАЛЕРЕЯ

Как любой настоящий художник, *Роман Ильиных* с рождения видел красивое, тянулся в прекрасному. Путь его был предопределён—учиться в художественных вузах. Он учился и активно участвовал в профессиональных выставках городского, краевого, регионального, всероссийского и международного масштаба. Мастер живописи незаметно для себя перешёл к иконописи. «Мой учитель преподавал историю искусства через иконографию,—вспоминает Роман.—Так получилось, что его любовь к иконописи передалась и мне. Сегодня я пишу не только натюрморты, портреты, пейзажи, но даже чаще—мерные и венчальные иконы, расписываю храмы, реставрирую старые иконы. Это занятие мне по душе».

Экспедиция «Енисей»

Путешествие французских писателей по Красноярскому краю

В июле 2012 года состоялось одно из самых ярких событий Сезонов французского языка и литературы в России и русского языка и литературы во Франции. Это было путешествие группы французских писателей по Сибири, организованное Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при поддержке Французского института и посольства Республики Франция в России. Маршрут поездки впечатляет: Абакан—Шушенское—Минусинск—Красноярск—Енисейск—Дудинка—Норильск. От верховьев Енисея до его дельты, через плавно сменяющие друг друга разнообразные климатические зоны. Степь—лесостепь—тайга—лесотундра—тундра. Словно из школьного учебника географии.

Позади тысячи километров, пройденных по сибирским меридианам и параллелям. Исписана не одна записная книжка, сделаны гигабайты фотографий, блокноты художников полны зарисовок. Путешествие длилось с 20 по 30 июля, но сколько же событий уместилось в этот не такой уж длинный отрезок времени! Отныне он станет для всех участников «Экспедиции „Енисей“» (так назвали путешествие его организаторы) одним из важнейших отрезков жизни, к которому они неизменно будут обращаться в своих воспоминаниях и творчестве. Да и как забыть звенящую тишину Шушенского, бережно сохраняющего крестьянские дома позапрошлого века, неожиданно современный краеведческий музей в старинном Минусинске, древние курганы в степи, настоящую тайгу, обступающую Красноярск, и ту же тайгу, но уже задымлённую, тлеющую, в непосредственной близости от Енисейска?.. Как забудешь движение теплохода практически на ощупь в отдающем гарью густом тумане и невероятную красоту енисейских берегов, внезапно открывшуюся на следующее утро, скромные сибирские деревеньки на высоких косогорах над рекой и вырастающие вдруг буквально ниоткуда изумительной красоты храмы, вечную мерзлоту на ощупь в музее Игарки и неприхотливую Дудинку, чем-то напомнившую французским гостям их порт Брест, извергающие клубы тёмного дыма заводы «Норникеля» и тут же рядом «Норильскую Голгофу» с её не перестающим звучать колоколом—памятник десяткам тысяч заключённых ГУЛАГа, которые эти заводы создавали?.. А ещё были обряд крещения прямо на улице перед храмом в день памяти святого Владимира, до отказа заполненные залы библиотек Норильска и Красноярска, «круглые столы» по весьма острым проблемам с принимавшими участие в поездке российскими коллегами, участие в этнокультурном фестивале «Дети одной реки», ежегодно организуемом министерством культуры Красноярского края, ну и, конечно, общение с самыми разными людьми, причём языковой барьер порой не ощущался вовсе, ведь некоторые гости усердно осваивали русский язык.

Словом, французские писатели увидели настоящую, реальную Россию. Огромную страну с великими достоинствами и немалыми проблемами. Мы верим, что из впечатлений и размышлений, вынесенных путешественниками из этой поездки, родятся книги, которые войдут в круг чтения сегодняшнего европейца[1].

Представляем вниманию читателей «ДиН» произведения французских гостей—стихи и прозу, которые были созданы во время путешествия по Енисею. Многое в этих очерках покажется сегодняшним сибирякам наивностью изнеженных сибаритов, впервые столкнувшихся с действительностью, что-то вызовет раздражение и даже возмущение, но, во всяком случае, это—честное зеркало и того, что увидели французские писатели, и того, на какие собственные культурные и социальные стереотипы опиралось их восприятие. Авторизованный перевод с подстрочников, любезно предоставленных Красноярским центром международных и культурных связей, выполнила Марина Саввиных.

Редакция «ДиН»

1. ienissei.litexp.ru

Франсуа Беллек

Огни и тени Енисея

Сибирь. Два пугающих слога. Так барабан отбивает смысл непонятного имени.

Пространство, лежащее за пределами западного мира, укутанное в чёрно-белый полутраур и несущее на себе отпечаток исправительных лагерей, политической ссылки, тайны и забвения в ледяном одиночестве арктической ночи. Территория, выходящая за рамки привычного, устрашающая своей необъятностью, разделённая между Востоком и Западом и теряющаяся у смутных северных границ древней ойкумены. Именно туда отправляется десяток писателей, литературных деятелей, журналистов и художников, объединённых по инициативе Французского института, которая была подхвачена в Москве Агентством по печати и массовым коммуникациям и далее министерством культуры Красноярского края при поддержке посольства Франции в России. Мы объединимся с пятью русскими собратьями, чтобы в их компании спуститься по Енисею в рамках франко-российских сезонов. Спуститься? Или подняться за границу Северного полярного круга? Спуститься к низовью реки, однозначно говорят лодочники: в их лексиконе есть точные термины для описания речной географии. Таким образом, мы отправимся вниз по течению реки за пределы Северного полярного круга, по направлению к Карскому морю.

20 июля, 07:00. Наша группа понемногу собирается в Руасси «2E» у стойки регистрации №5 на рейс в Москву. Нас встречает Наталья Поленова с настроением столь же розовым, как и её щёки, и со своей собакой по кличке Дантон. Опытные путешественники, знакомые с Россией и даже с Советским Союзом, все мы настроены решительно, но немного взволнованы необычным опытом, который нам предстоит пережить. Закутанные в свитера и анораки, вооружённые инсектицидными баллончиками, длинными рукавами, носками и высокими ботинками, мы готовы к встрече с арктическим холодом, тучами комаров и сомнительными сибирскими клещами. Нина Сергеевна Литвинец, важное лицо в Федеральном агентстве по массовым коммуникациям и Российском книжном союзе, которая ожидает нас в Москве, предупредила: «Экспедиция «Енисей» будет трудна, порой опасна и в любом случае лишена всяких удобств». Мы останемся без телефонной связи на время всего плавания по Енисею, и нельзя будет рассчитывать на скорую медицинскую помощь. Сибирь себя сто́ит.

Тем, кто ещё не забыл о временах Советского Союза, начало нашего путешествия навевает воспоминания о прошлом: в пассажирском терминале московского аэропорта Домодедово, наводнённом ордами толкающихся пассажиров. Они мигрируют вместе со своей ручной кладью по воле информационных табло, мигающих сообщениями, которые дублируются по громкоговорителям, сменяясь новыми объявлениями, отменяющими предыдущие указания. Сектор и выход на посадку на наш рейс в Абакан S7 123 на 22:00 меняются трижды. Вызывая воспоминания о прилёте в Ленинград двадцать пять лет назад, аэропорт Абакана, столицы Республики Хакасия, щедро выделяет меньше десяти метров конвейера для багажа под свисающими неоновыми лампами, которые в сочетании с декорациями из необработанного бетона производят впечатление консервного завода или гаража.

Наш теплоход «Александр Матросов», построенный почти шестьдесят лет назад в ГДР,—свидетель советской эпохи. Его эпоним—герой. 22 февраля 1943 года солдат Матросов закрыл своим телом амбразуру немецкого пулемёта, дав своему отделению возможность пойти в атаку с криками «За нашу великую Родину и за товарища Сталина!» и заново установить красный флаг над деревней Чернушки. Сталин исчез, но изображения Ленина во весь рост, по пояс, на портретах и на медальонах—повсюду, начиная с Шушенского—первого пункта нашего путешествия. В 1897 году в этом воссозданном поселении, ныне превращённом в музей, началась политическая ссылка Ленина, которая продлилась три года. До этого здесь отбывали заключение декабристы. Политическая ссылка существовала во все времена. Хотя следует отметить, что ссылка Ленина была скрашена его медовым месяцем с Надеждой Крупской. У Сталина же был иной взгляд на то, какое можно найти применение зэкам—сокращение от «заключённый»—и как следует обращаться с узниками

лагерей принудительных работ. Эти советские отголоски заранее создали в нашем сознании образ враждебной Сибири, увязнувшей в своих бесславных тайнах.

Но вскоре наша группа в изумлении отказалась от своих прежних представлений в пользу новых впечатлений. Мы с возрастающим воодушевлением углублялись в путешествие, отменно организованное министерством культуры Красноярского края таким образом, чтобы без всяких ограничений подарить нам самое лучшее во всех отношениях. За качеством поездки от начала до конца следил Андрей Маслов, заместитель директора Центра культурных связей. Таким образом, мы пережили совершенно иное путешествие, отличное от сомнительного сибирского приключения, заявленного ранее. Это не значит, что мы пребывали в наивном неведении о глубокой нищете населения, заброшенного после экономического и социального спада сталинской системы, подобно ржавым лодкам на Аральском море. И о суровых климатических условиях сибирской зимы. И о тяжёлом прошлом. Мы обнаружили летнюю Сибирь, открытую, свободную от предрассудков, объединяющую множество народностей и вероисповеданий, приветливую и улыбчивую, несмотря на тяжёлые внешние условия и свирепствующий в мировой экономике кризис, даже в тех городах, что возведены в Арктике с целью добычи стратегических руд или таёжной древесины. Сибирь, признательная и даже удивлённая тем, что ею интересуются в четырёх часах полёта от Москвы. Трепетно открывающая свои богатства, свой характер, свои жизненные устои, объединяющие в себе традиции и современность. Богатая читальными залами, культурными и образовательными учреждениями, религиозными и историческими. Верная памяти тех, кто её покорял и возделывал, начиная от кочевых племён, избороздивших её вдоль и поперёк, казачьих отрядов, охранявших её от варваров, первых оседлых жителей, торговцев, выставлявших свои товары на перекрёстке дорог всего мира, переселенцев в поисках свободы. Всё взаимосвязано. Здесь помнят и благодетелей, которые вселили душу в её ещё молодые города, чтобы их жители восприняли современный этап длинной и тяжёлой истории, подобно семейному воспоминанию. И зэков, невольных строителей Норильска и Игарки.

Минусинск, основанный в восемнадцатом веке, стал городом в 1823 году. Директор драматического театра столь же горда сценой, открытой в 1882 году, и воспоминаниями о гастролях своей театральной труппы, сколь хранительница музея имени Николая Мартьянова влюблена в археологические и энтомологические коллекции, которые аптекарь отдал сюда на хранение вот уже сто тридцать пять лет назад, основав старейший сибирский музей. Она с одинаковым энтузиазмом подробно повествует о кабинетном рояле матери основателя, о бивнях мамонта, о стелах, разумеется, об оружии, о замечательных хакасских и скифских украшениях, о погребальных масках Таштыкской культуры, которым более двух тысяч лет, и о впечатляющем присутствии Бюффона на французском языке среди ста тысяч экземпляров знаменитой музейной библиотеки, которую посещал Ленин во время своих ссылок, о превращённых в чучела представителях местной фауны и о муляжах громадных помидоров. Расположенный в плодородной котловине, Минусинск является столицей помидора, праздник которого отмечается каждый год. Итак, следуя за этими словоохотливыми гидами, западный посетитель умиляется при виде Сибири, не имеющей границ ни в пространстве, ни во времени и имеющей необъятную и запутанную историю, волны которой, прикатившиеся из Центральной Азии, Аравии, Китая или Тибета, омывают привычную повседневность маленького городка с менее чем двадцатью тысячами жителей. Здесь кочевые народы каменного, железного и бронзового веков встречались, обменивались шёлком, шерстью, мехами, оружием, мускусом, драгоценностями и украшениями для конской упряжи. Это мифическая территория скифов, хакасов, киргизов и татар. Европа блекнет с каждым новым шагом по минусинскому музею. Он расположен в историческом центре города среди множества богатых купеческих домов восемнадцатого века, лиственничных изб, окна которых украшены наличниками — деревянными украшениями бирюзового, небесно-голубого, зелёного или серого цвета, выделяющимися на чёрных фасадах. Собор — один из трёх архитектурных памятников, представляющих интерес, наряду с театром и музеем. Он воплощает в себе одно из многих доказательств возвращения России к тысячелетней истории Православия. Сегодня туда спешит толпа верующих, среди которых множество молодых женщин в лёгких платьях. На залитой солнцем паперти все по очереди подносят своих детей священнику в серой рясе. Он окропляет новокрещённых христиан святой водой. В Сибири воскресенье.

На протяжении четырёхсот километров, отделяющих Минусинск от Красноярска, автомагистраль пересекает ландшафт с лиственными породами и пологим рельефом, которые напоминают, надо признаться, о Нормандии или Оксеруа, но при этом поделены между степью и тайгой. Вблизи столицы широкая равнина спускается по пологому склону к Красноярскому «морю», виднеющемуся вдалеке. Это искусственное озеро площадью две

тысячи квадратных километров создано на Енисее при строительстве большой гидроэлектростанции. Выныривая из диких злаков, круг вертикально стоящих камней обозначает скромные могилы скифской эпохи, если верить Константину Мильчину, нашему двуязычному московскому литературному журналисту и историку, который знает всё обо всём. Мифическая Сибирь—у самой дороги, на расстоянии вытянутой руки. Через несколько километров Наталья указывает нам на бараки, типичные для лагерей ГУЛАГа. Страшная Сибирь—на расстоянии вытянутой руки. Чуть дальше автобус останавливается. В воскресенье на въезде в Красноярск—тоже пробки.

Красноярск, выросший вокруг казачьей крепости, построенной, чтобы оберегать владения Российской короны от татар, и находящийся в четырёх тысячах километрах от Москвы, получил статус города в 1822 году. Добраться сюда из Европы стало проще, когда была построена Транссибирская магистраль. Она достигает Восточной Сибири, пересекая Енисей по уникальному металлическому мосту, который разделил с Эйфелевой башней золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Многонациональный город, насчитывающий около миллиона жителей, двадцать лет назад был закрыт для иностранцев из-за своих заводов стратегического значения. Сегодня он остаётся промышленным центром, но уже явно отдающим приоритет гражданской жизни. С высоты Караульной горы, где возвышается часовня Параскевы Пятницы, он предстаёт перед нашими глазами с небрежностью города, который гордится и своей индустриальной мощью, и высоким уровнем технического, гуманитарного и академического образования, не уступающим столичному, и культурой и искусством—с концертными залами, театром имени Пушкина, Государственным театром оперы и балета, библиотеками, музеями,—и очагами науки... Заметно, что ему просто нравится быть привлекательным городом с явно западными чертами. На его улицах и площадях в облике зданий сменяют друг друга стили европейской архитектуры и русской традиции. Фонтаны и редкие деревья дополняют городской пейзаж. Гордость города—проспект Мира. Здесь роскошные магазины и лучшие рестораны, в совершенстве овладевшие изысканным искусством сервировки стола и подачи вин.

Окрестности этого города, которые мы такими даже представить себе не могли, таят другие сюрпризы. Неожиданностью для нас стала горнолыжная станция, которая рассчитана на сезон с как минимум ста шестьюдесятью снежными днями и располагает снежными пушками на случай, если этого будет недостаточно. Это великолепная возможность для проведения международных соревнований! Температура, довольно тёплая для Сибири, варьируется здесь от минус трёх до минус девятнадцати градусов, однако с рекордной температурой в январе—минус пятьдесят три градуса. А сейчас—жара, двадцать восемь градусов, и подвесная канатная дорога везёт нас к вершине холма, откуда открывается панорамный вид на природный заповедник «Столбы», зеленеющий внизу, и долину реки Базаихи.

Самое впечатляющее сооружение окрестностей Красноярска—дивногорская гидроэлектростанция.

Её строили зэки—в несметном количестве, а довершил стройку в 1963 году—уже символически—Юрий Гагарин. Недалеко от этой громады, возле Овсянки, где богатые дома, пользующиеся высоким покровительством, делают деревню с избами похожей на модный курорт, с бельведера открывается потрясающий вид на долину Енисея. Как на мосту Искусств и в романтических уголках по всему миру, балюстрада усыпана маленькими висячими замочками, ключи от которых пары кидают в реку в знак своей вечной любви.

Одно из последствий сибирской жары—спад уровня Енисея до самой низкой точки с 1967 года. До такой степени, что «Александр Матросов», не имея возможности подняться до речного вокзала в Красноярске, ждёт своих пассажиров в Енисейске, в трёхстах сорока километрах вниз по течению. Мы получили возможность разделить со всеми жителями прибрежных деревень неудобную посадку, таща наши чемоданы по гравию и по гальке берегов, ставших очень покатыми из-за колебаний уровня Енисея, достигавших от семи до восьми метров. Регулируемые сходни ведут далее к плавучему причалу, приспособленному к капризам реки. Это случайное изменение в нашем маршруте даёт нам шанс если не посетить Енисейск, прежнюю столицу губернии, то, по меньшей мере, торопливо исследовать следы его былой роскоши в восемнадцатом веке, когда енисейские кузнецы, литейщики колоколов, скорняки, краснодеревщики, иконописцы и купцы славились от Москвы до Китая. Под подёрнутым дымкой солнцем лазурно-голубые своды церквей и монастырей прозрачны, словно упрямая надежда.

Не пропустить отплытие. На этот счёт мы тоже были предупреждены. За исключением нескольких портов, где теплоход задерживается на час, остановки вдоль реки длятся полчаса. У нас около двадцати минут, чтобы спрыгнуть на землю. Никакого контроля ни при посадке, ни при высадке. Опоздавшим пассажирам удаётся забираться на теплоход до самого отплытия. Пасмурное небо—ещё одно последствие причуд климата: огромный

лесной пожар. На протяжении четырёхсот километров тайга охвачена огнём, порождающим что-то наподобие стойкого смога, отдающего слабым запахом горящего леса. В первые два дня реку заволакивает романтическая дымка. Эта атмосфера к лицу «Александру Матросову». Он обслуживает города и деревни на протяжении чуть меньше двух тысяч километров — половина длины реки — между Красноярском и Дудинкой вот уже шестьдесят лет, но так как Енисей судоходен на всём протяжении маршрута только полгода, фактически он на плаву самое большее тридцать лет. Скажем прямо: он великолепен, и Французская национальная комиссия по историческим памятникам с энтузиазмом внесла бы его в свой список. Судостроительная верфь Матьяс Тезен-Верф Веймара оказала честь репутации ГДР. С коридорами, отделанными панелями, со столовой, украшенной коринфскими колоннами, и с панорамным видом на палубу — как в русских поездах — присутствует очарование путешествий, которые вдохновили Жюля Верна. Одноместные каюты верхней палубы своим уютом напоминают купе спального вагона, как и на всех речных пассажирских судах, только разве что бронзовые портики открывают широкий вид на реку. На нижней палубе четырёхместные каюты открываются в коридор, заставленный чемоданами, пакетами и различными предметами. Наш теплоход, прежде всего, — единственное транспортное средство для населения деревушек, расположенных вдоль реки по маршруту Красноярск — Дудинка, прохождение которого занимает четверо суток вниз по течению и шесть — против течения. Эти сёла на западном берегу — в большинстве своём то, что осталось от лесоразработок либо рудников ГУЛАГа. Смена экономической ситуации лишила их существование всякого смысла. Енисей-батюшка — больше не вектор прибрежной экономики, пришедшей в упадок, тем более что открытие северо-восточного пути караванам морских судов, благодаря потеплению климата и ледоколам, сместило норильские промышленные и горнопромышленные транспортные сообщения от Дудинки к Карскому морю и Мурманску. Не считая редких барж, река, некогда столь же оживлённая, как Янцзы, пуста. Увеличенная рукавами, она безжизненно извивается вдоль берегов, тая в себе больше пустынных островов, чем все океаны мира.

«Александр Матросов» в этом плавании наделён дополнительной миссией. Фольклорный ансамбль и духовой квинтет, сопрано и баритон из Красноярской оперы с репертуаром кабаре оказались на борту благодаря фестивалю «Дети одной реки». При каждом заходе в порт эти улыбчивые молодые артисты на полчаса будут освещать праздную повседневность островитян, забытых в тайге, энергичным концертом. Хочется мечтать о том, чтобы «Александр Матросов» периодически становился дворцом культуры, странствующим по реке со всевозможными образовательными программами. А пока мы отчаливаем от каждой пристани с покалыванием в сердце, а стоянки возле деревень слишком незначительны даже для установки понтонного моста.

У нас, обеспеченных путешественников, объехавших весь мир, возникло чувство, что мы грубо обрываем короткое светлое мгновение и лишаем радости этих обездоленных, для которых Красноярск — загадочное отдалённое место, а Москва — лишь неясное представление. Хуже того, мы берём эту радость с собой, мы, у кого уже есть всё, чтобы уплыть под музыку вместе с бесконечными сумерками, провожающими нас к полярному кругу.

Ярцево, левый берег, первая стоянка после нашего отплытия. Деревня была основана в семнадцатом веке и некогда экспортировала древесину. На понтоне пожилая женщина в косынке держит в руках букет цветов, словно в приветственном жесте. На берегу внедорожники и мотоциклы с колясками, которые служат транспортом во всех прибрежных деревнях, ждут, чтобы погрузить вещи родственников и товары, либо просто кто-то на них приехал на спектакль. На выходе с понтонной пристани два ряда прилавков ожидают пассажиров. Женщины за несколько рублей продают огурцы, корнишоны, малину, творог, квас — слегка странный традиционный напиток, однако вовсе не противный на вкус, изготовленный из перебродившего чёрного хлеба, и тугун — маринованную рыбу, похожую на сардину. Возвращаясь после быстрой прогулки по неизбежной деревянной лестнице, выкрашенной в зелёный цвет, которая позволяет пешеходам преодолеть последние несколько метров, ведущие в деревню, мы вновь видим пожилую даму. Надеется ли она продать цветы? Нет. Она ждёт, говорят, свою внучку. Её не было на теплоходе. Возможно, девушка пропустила отплытие, перенесённое из Красноярска в Енисейск. Возможно, эта трогательная бабушка ждёт внучку, которая никогда не приедет.

Ворогово было основано казаками в семнадцатом веке на левом берегу реки, ширина которой достигает здесь двух километров и увеличивается вниз по течению за счёт многочисленных рукавов, простирающихся на десятки метров. Перед отплытием женский хор поёт на понтоне в ответ на концерт. В их трогательном прощании — меланхолия русской души, близкая португальской тоске, ностальгия по несбыточному. Пение заканчивается, как мне подсказывает Константин, обещанием, что жители будут стойко держаться, что бы ни

случилось. Позади этих несчастных, оставленных на произвол судьбы,—тайга, охваченная огнём.

Минуя Ворогово, спокойная река разделяется и начинает нервничать, создавая водовороты. Дымка придаёт географическим неровностям этого трудного участка призрачный вид бухты Халонг. По тому же признаку мы угадываем местоположение Осиновского порога, самого узкого и самого опасного места навигации по Енисею, чья гидрография больше не является приоритетом исследований. После Бора, деревеньки посреди леса, мы вновь видим голубое небо, а вместе с ним и берега реки. Остановки следуют друг за другом с неизменным ритуалом и с тем же видом деревень, забравшихся на возвышенности от июньского половодья, переворачивающего глыбы льда во время таяния снегов. Над традиционными трапами большими буквами написаны их названия, как сигналы потерпевших кораблекрушение, привлекающие внимание проплывающих мимо судов. Пока теплоход стоит на якоре, алюминиевые лодки с подвесным мотором трогаются от берега, описывают круги, цепляются, чтобы принять пассажиров, поболтать или поаплодировать концерту. Верещагино, Костино, Туруханск. Дымка задержала нас на шесть часов, и расписание вышло из запланированного графика. Это не имеет значения в терпеливой Сибири, где время ничего не значит. Тем более что по мере того, как мы поднимаемся к полярному кругу, дни перестают заканчиваться. Река, расположившись поудобней, отражает роскошные сумерки подобно зеркалу. В день преодоления полярного круга мы колеблемся между небом и водой перламутрово-опалового цвета до самой полуночи, но день так и не угасает. Тайга редеет, побеждённая арктической лесотундрой.

Вновь появилась сотовая связь. Мы приближаемся к Игарке, в ста шестидесяти километрах к северу от полярного круга. Следуя вдоль берега, усеянного контейнерами и заржавевшими обломками лодок, мы причаливаем к конечному пункту вступительной части нашего путешествия. Грузовые краны порта, построенного в советскую эпоху на одном из рукавов Енисея для экспорта таёжной древесины, спят вдалеке. Мы бесшумно вошли в Арктику, но резко ворвались во вселенную вечной мерзлоты и в сердце архипелага ГУЛАГ. Лагеря принудительных работ сталинской эпохи превращали людей в живые трупы ради выполнения огромных, трагически нелепых, фараоновских работ, противоречащих всякому здравому смыслу. Заброшенные начиная с 1950-х годов, они были окончательно упразднены во время «гласности» в конце 1980-х годов. Если пенитенциарные центры всё ещё функционируют, то только для обыденных целей: общеуголовные преступления, неосторожная оппозиция, хищение денежных средств. Наше странствие пролегало по следам лагерей ГУЛАГа (аббревиатура Главного управления лагерей). Теперь мы оказываемся внутри. В Игарке можно увидеть печальные остатки страшного лагеря 503, узники которого строили утопическую железную дорогу Салехард—Игарка, которая должна была соединять Обь с Енисеем, экономически необоснованный проект, застрявший в бесконечных болотах тундры и вечной мерзлоте. Впрочем, исследовательская станция, расположенная возле лагеря 503 и изучающая этот феномен и его последствия, открывает посетителям галереи, высеченные в пятнадцати метрах под землёй при семи градусах ниже нуля в огромном «наполеоне» из песка, глины и тысячелетнего льда. «Дорога смерти» была заброшена в 1953 году, оставив в этой земле десятки тысяч замёрзших, погибших от истощения и эпидемий. Это кулаки, не подчинившиеся коллективизации, интеллигенция, жители прибалтийских стран и калмыки, отправленные Сталиным в Игарку.

В каких-то трёхстах двадцати километрах к северу от полярного круга находится порт Дудинки—самый северный из портов мира. Дальше, приближаясь к Карскому морю, река расширяется и, образуя дельту пятидесяти километров в ширину, разделяется, пока сама не превращается в море. Наше речное путешествие заканчивается в секретной зоне. Отсюда—контроль специального разрешения на въезд и полицейское сопровождение нашего автобуса до самой гостиницы.

Уже 28 июля, три с лишним утра. Мы покидаем уютный теплоход, таща чемоданы по ухабистой земле. Первое впечатление в ночных сумерках поистине мрачное. Розовая и зелёная известь не скрывает безобразия рядов неприятных зданий из кирпича и необработанного бетона, стоящих по сторонам унылых улиц, через которые перекинуты газопроводы, эти «триумфальные арки» во славу Нового Уренгоя и Газпрома, крупнейшего мирового производителя газа. Сорок пять суток в Дудинке, среди арктической ночи и холода, которые длятся девять месяцев, наверное, угнетают ужасно. Гостиница выглядит неприветливо, лифта в ней нет, но просторные номера неожиданно комфортабельны.

Следующий день начинается с приятных сюрпризов. Временная стоянка охотников и купцов, устроенная в 1660-х годах, стала городом в 1951-м. Сейчас здесь двадцать пять тысяч жителей. Это выход к морю для Норильска, а также самый крупный сибирский порт, который поддерживается ледоколами—для морских караванов, следующих до Мурманска и Архангельска,—насколько возможно долго. Зрелище залитых солнцем набережных,

цепочки кранов и аккуратных грузовых судов, на ярко-красных корпусах которых белыми буквами светится: «Арктик Экспресс»,—создаёт яркий образ арктической Сибири. На набережных Дудинки забываешь о сером смирении деревень, умирающих по берегам реки. Чувствуется, что здешнее население принадлежит к культуре, которая отличается от красноярской. Другие истоки. Другие отношения человека и природы. Нельзя работать как попало, нельзя беспечно жить за пределами полярного круга, на Таймыре, который Нансен и Амундсен, знатоки в этом вопросе, называли «краем ночи и ледяного ужаса». Мы попали в мир ещё более суровый и требующий стойкости. Но это необходимое дополнение экономической и социальной географии Красноярского края и Сибири в целом.

Другой сюрприз ждал нас возле маленькой, достаточно неприглядной красной церкви, возвышающейся над портом. Это очень современный музей истории и этнографии. Образцовая современная музеография представляет в нём истоки градостроительства, культуры и быта кочевых народов полуострова Таймыр, основы шаманства, историю полярных экспедиций—все местные особенности, тщательно сберегаемые жителями этого исключительного города, беспощадная природа которого заставляет померкнуть трудности всей остальной сибирской географии.

Дорога извивается по ландшафту, испещрённому озёрами. Железная дорога, которая её словно копирует, доставила много проблем при строительстве, и поезда ездят по ней с ограниченной скоростью. Ничто не выдерживает вечной мерзлоты. Даже электрические столбы установлены на бетонных сваях, а газопровод напоминает сороконожку. Здания, оторванные от земли, воздвигнуты на сваях, подобно венецианским дворцам. После пройденного пути в каких-то восемьдесят километров появляются временно бездействующие промышленные зоны, груды металлолома, километры электропроводки и ржавого газопровода. Мёртвые заводы и гряды зданий с зияющими окнами создают кошмарный пейзаж, как будто опустошённый войной. Мы приближаемся к Норильску, промышленному комплексу, долгое время закрытому для иностранцев и до сих пор имеющему ограниченный допуск. На заднем плане—зрелище, забытое на Западе: от горы поднимается дым. Громадные трубы изрыгают миллионы тонн диоксида серы, производимого чудовищным предприятием на одном из первых в мире месторождений никеля и палладия. Редкий стратегический металл, объект вожделения автомобильной промышленности, курс которого сводит с ума биржи мира. Ключ к автомобильным нейтрализаторам выхлопных газов. Однако на скрижалях этого ада на краю света, культурного преемника сталинских комбинатов, нет строчки об экологии.

И перед лицом этого апокалиптического или, может быть, научно-фантастического пейзажа двести тридцать тысяч жителей Норильска размещены согласно городской планировке. Здесь преобладают яркие жёлтые и розовые цвета, торжество которых достигает апофеоза на площади, открывающейся на фоне унылых заброшенных домов и разрушенных заводов, на площади, композиция которой достойна площади Согласия.
— Или Дворцовой в Санкт-Петербурге?—подсказывает мне журналист, протягивая свой микрофон.

В Норильске любят это сопоставление. У двух городов действительно есть общее: воля государства, враждебная природа и тысячи подневольных рабочих.

Замороженный в течение больше чем девяти месяцев, погружённый в полярную ночь на сорок пять дней, Норильск—шедевр, возведённый ГУЛАГом. Санкт-Петербург был витриной престижа. Норильск, самый северный и один из самых загрязнённых крупных населённых пунктов мира,—город с характером. Это эстетический вызов промышленного комбината стратегического значения, основанного на крупном месторождении, где сегодня ведёт разработки «Норильский никель». Норильск располагает библиотекой, театром имени Маяковского, музеем, развившимся вокруг первой избы геологов, православным собором и ярко-красной мечетью, которая вполне может быть самым северным из мусульманских религиозных строений.

На склонах горы Шмидтиха, которая заслоняет панораму, недалеко от заброшенной администрации Норильлага, здания очаровательно-розового и лазурно-голубого цвета, вселенский мемориал хранит память о жертвах принудительных работ. Около двадцати миллионов зэков, из которых два миллиона были брошены в общую могилу,—преступники, диссиденты, оппозиционеры, интеллигенты, «классовые враги» и просто представители неугодных этнических групп или «антиобщественные» элементы. Центральный монумент—незаконченная железная дорога, расположенная по вертикали, расшатанные шпалы которой образуют в небе кресты, душераздирающие символы бесчеловечного и безумного проекта стройки 503. Это одно из доказательств того, что сегодня Россия, ужаснувшаяся и поражённая, всецело осознаёт ответственность за реальность ГУЛАГа, как и Германия признаёт себя ответственной за нацистские лагеря.

Так же, как она осознаёт свою ответственность за незаконную расправу над Романовыми. На

заднем плане этой «Голгофы» копоть никеля соединяется у закатного солнца с пасмурным небесным сводом. Между ними освещённое небо изборождено крестами и трубами. Зрелище странной тяжёлой красоты, настолько же чарующей священным ужасом, который оно вызывает, как и прозрачность опаловых небес Енисея. Никто не возвращается из Норильска прежним.

Безусловно, для того, чтобы заслужить прощение за свои промышленные выбросы, Сибирь подарила мировому наследию плато Путорана. Горный массив пронизывает степь, испещрённую озёрами—результатом поверхностной оттепели вечной мерзлоты. Между тайгой и тундрой, между Сибирью Восточной и Сибирью Западной плато соединяет все типы арктических и субарктических экосистем. Ни одна дорога не ведёт в этот недосягаемый заповедник, расположенный в непроходимом краю. Один из бесчисленных Ми-8мт, годных для любых целей,—военная версия внутри, выкрашенная цивильно снаружи,—наш вертолёт углубляется в базальтовый каньон, заканчивая свой полёт акробатическими трюками при посадке посреди лиственниц на краю живописных водопадов. Нас ожидает пикник олигарха, несомненно, но также открытие девственного природного пространства, чудом сохранившегося среди токсических шлаков промышленной Сибири.

Затем, переживая хаотические нагромождения образов и впечатлений, мы отправляемся на встречу с сибирскими писателями и читателями, поскольку это—одна из основных целей нашей литературной поездки. В Красноярской государственной научной библиотеке и в своей франко-русской компании на борту «Александра Матросова» под руководством Ирины Барметовой, главного редактора художественного литературного журнала «Октябрь», ответственной за «круглые столы» русских писателей на многих международных книжных фестивалях, мы обсуждали издательские проблемы России и Франции. Особенно мы были удивлены и тронуты, обнаружив перед собой многочисленные аудитории внимательных и любопытных слушателей. Этого можно было ожидать в Красноярске, университетской столице края, но мы совершенно не представляли пыла и внимания публики, которая нас приняла и долго не отпускала, в библиотеке Норильска. Это ещё одно доказательство, если в нём есть необходимость, того, что это—неописуемый город, настолько его атипичные черты противоречивы, что наглядно показывает: всюду на Земле воля, культура и ум—генераторы надежды.

Москва, ещё недавно такая далёкая и странная для западного европейца, кажется совершенно обыденной, когда одним махом возвращаешься из Норильска в последний день июля. Если дозволено загадать желание Святой Параскеве перед тем, как покинуть Сибирь, то это желание вернуться в Красноярск и в Норильск. На этот раз в декабре, среди арктической ночи и холода.

Д*и*Н ревю

Красноярск, 2013.—176 с.

Лев Таран

Никто ни в чём не виноват

В августе этого года исполняется 75 лет со дня рождения моего друга и земляка, замечательного русского поэта Льва Николаевич Тарана (1938–1994). Эта книга—его подарок всем нам. Здесь представлены далеко не все его произведения, а лишь избранная лирика разных лет—от ранних студенческих, слегка наивных стихотворений до зрелых и поздних, горьких и мудрых его стихов. Не вошли сюда также его новаторские и дерзкие романы в стихах («Каждое воскресенье пополудни», «Алик плюс Алёна» и др.), которые, уверен, ещё будут изданы. Но и в этой книге, мне кажется, отражена вся жизнь поэта.

Эдуард Русаков

Кристиан Гарсэн

Концерт

В *чу́ме* — охровый свет, резкий запах, красивые голоса.

Чум — это сибирский вигвам. Выдвигаю гипотезу: по мере того как продвигаешься на запад, традиционные жилища растут, облагораживаются и темнеют, в то время как пространство на земле сокращается. Монгольская юрта — широкая и белая; киргизская юрта, или бозуй, — самая высокая, прямая и самая тёмная, но это всё ещё юрта; что касается сибирского чума, то он больше напоминает вигвам американских индейцев — удлинённый, заострённый, ещё более широкий у земли и защищённый дублёными шкурами животных.

Я пил из чашки рыбный суп, в котором плавали травы, и чувствовал вокруг себя сильный запах дублёных шкур. Дама, которая мне напоминала мадмуазель д'Акюнто — соседку моей бабушки, когда я был ребёнком, итальянку с юга, которая, однако, по своему происхождению была очень далека от центра Сибири, — пела долганские песни, и её голос брал за душу. У меня было почти такое же ощущение, как от прослушивания возвышенных корейских песен псанхори. Долганский — тюркский язык, на котором говорят примерно семь тысяч человек, бо́льшая часть из которых проживает в Красноярском крае. Речь идёт о нео-этносе, появившемся в семнадцатом веке: смесь русских, якутов, эвенков, многие из которых вновь стали кочевниками после падения СССР. Некоторые не считают их настоящим народом. Не мне судить, но их язык красив, и их песни, такие, как они были спеты двойником южной итальянки шестидесятых годов, потрясающи. Потом я послушал якутскую считалку в исполнении другой дамы, затем эвенкийскую колыбельную, и последней — энецкую песню о любви. Но ни одна из них не исполнялась с такой силой, с таким пылом и с такой печалью, как песни долганской певицы в тот день при охровом свете чума с запахом коз и похлёбки из речных рыб.

Сибирь в основном населена русскими, но также такими коренными народностями, как эвенки, эвены, энцы, долганы, якуты, чукчи, эскимосы, коряки, юкагиры, буряты, коми, ханты, ненцы, алеуты, инуиты, тувинцы, юпики, чуваши, гольды, кереки, ороки, тазы, и на этом я остановлюсь, потому что их наберётся добрая сотня.

Во всём этом, нетрудно догадаться, разобраться очень сложно. Признаюсь сразу, что мне это не удалось.

Чтобы ещё больше всё усложнить, некоторые народности пользуются двумя названиями: своим коренным именем и русским наименованием. Так, эвенки являются тунгусами, эвены — ламутами, якуты — саха, чукчи — луораветланами, коми — зырянами, а что касается юкагиров, их можно на выбор называть одул или вадул, в зависимости от того, живут они на юге или на севере от Колымы.

Если примерно между шестьдесят пятой и семидесятой параллелями мы движемся от Енисея к Берингову проливу, пересекая реки Лену и Колыму, то встретим, главным образом, — пусть и не только — энцев, долган, эвенков, эвенов, якутов, юкагиров и чукчей.

Якуты — самые многочисленные: четыреста сорок тысяч. Для сравнения: энцев, например, около двух сотен, алюторов (на Камчатке) — всего двенадцать, а кереков (на берегах Берингова моря) — восемь; впрочем, они больше не составляют автономную группу, и их отнесли к чукчам. Исходя из этого, перепись населения проблематична: люди объявляются якутами, эвенками или другими при рождении их родителями. Некоторые национальные меньшинства пользуются определёнными преимуществами. Например, эвенки освобождены от военной обязанности, а якуты — нет. Таким образом, у семей может быть некоторый — или вполне определённый — интерес относить себя к той или иной национальности. Это может, впрочем, привести к неожиданным результатам: например, в 1970 году долган в Якутии было десять, а в 2002-м — тысяча двести.

При этом якуты говорят, что «чистых» якутов больше не существует.

На родном языке говорят многие из них, чего нельзя сказать о тазах, например, составляющих меньше двухсот семидесяти пяти человек, ни один из которых не говорит на родном языке. Кроме того, якуты имеют особый статус и живут в большинстве своём в автономной республике (Республика Якутия, или Саха, столица — Якутск), которая имеет свою телевизионную сеть на местном языке.

Другая значимая северная народность — эвенки. Их тридцать пять тысяч. Как и у якутов, и у других

народностей бассейнов Енисея и Лены, у них распространён культ небесных сил (Ajyy) и духов-защитников (Itchtchi), и они разделяют те же верования о трёх мирах: Нижний мир (мёртвые), Средний мир (живые) и Высший мир (небо, звёзды). Для них мёртвые живут так же, как и живые, не считая того, что они холодны, не дышат и питаются только кузнечиками.

Эвенки и якуты разделяют одни и те же верования, но принадлежат к разным языковым семьям: если якутский язык, как и долганский, является тюркским, то эвенкийский, как и эвенский,—тунгусо-манчжурским. Таким образом, эвены и эвенки достаточно близки, и не только с ономастической и лингвистической точки зрения. Эвены, не столь многочисленные (девятнадцать тысяч), имеют то же географическое происхождение, что и эвенки (и якуты в том числе): вытесненные бурятами с берегов озера Байкал несколько тысяч лет назад, они поднялись по реке Амур к Китаю и Монголии и по Лене—к Якутии. Жизнь обоих народов связана с оленями. Но если эвенки используют их в основном для пропитания и занимаются разведением, то эвены, которые являются охотниками, пользуются ими больше для перемещения. (Дерсу Узала, герой книги Владимира Арсеньева, по которой снял фильм Акира Куросава, ездил верхом на олене. Однако он не эвен, а гольд из племени Уссурийского края.)

Существует одна маленькая лингвистически независимая народность, изолят, не относящаяся ни к какому другому местному языку России: речь идёт о юкагирах, о которых выше я сказал, что они называются одул или вадул, в зависимости от того, на юге или на севере от Колымы живут. Это совсем маленькая группа, примерно тысяча пятьсот человек, из которых тысяча сто проживают в Якутии и четыреста—ближе к Магадану. Юкагиры являются очень древним народом, одним из самых древних известных нам народов. В отличие от большинства народностей, у которых не было письменности до СССР, они имели свою, пиктографическую. Это воины. Они практически исчезли из-за эпидемий семнадцатого века, и в том числе из-за бесконечных междоусобных войн, так как они были очень воинственными и раздробленными. Они оказали ожесточённое сопротивление якутам, когда последние пришли, что дало повод многим боевым рассказам, из которых мы узнаём, что они никогда не видели лошадей, которых принимали за очень странных оленей. Шаманы играют важную роль для юкагиров. Их мощи священны. Согласно традиции, когда шаман умирает, его тело расчленяется и голова сохраняется.

Что касается чукчей, они живут на Чукотке, на восточном конце континента, напротив Берингова пролива. Они сами себя называют луораветланами, что на чукотском языке означает «настоящие люди». Это всеобщее правило, что повсюду на планете первые группы людей, чтобы отличаться от животных или, возможно, от других человеческих групп, более диких и примитивных, чем они, называли себя «люди» или «настоящие люди», тем самым обозначая своё отличие от остальных, которые имели существенный недостаток—не быть ими.

Язык чукчей является не тюркским и не тунгусским, а палеоарктическим. Их примерно пятнадцать тысяч, и живут они преимущественно на Чукотке и южнее, на необъятной, суровой и вулканической Камчатке. Сначала они жили западнее, но сбежали к востоку в семнадцатом веке от набегов, как и от эпидемий, которые уничтожили добрую часть юкагиров. Одна из характерных особенностей их культа в том, что малейший объект обладает благоприятным духом, что немного напоминает японских ками.

Я всегда задавался вопросом, кто же жил на востоке России—или на юге южноамериканского континента—до народов, о которых нам известно, но которые, как выясняется, все были изгнаны—к востоку в одном случае, к югу в другом—другими, более экспансивными, более воинственными и сильными народами, которые, в свою очередь, были изгнаны из своего первоначального места расселения другими, ещё более сильными племенами. У меня нет ответа на этот вопрос. Так, эвенки, после того как были вытеснены из Байкальского края бурятами, бежали на северо-восток и изгнали чукчей ещё дальше на восток. Так, манекенки из Южной Америки, вынужденные отступить на юг под гнётом как белых колонистов, так и других племён (а именно—техуэлче и она), закончили тем, что добрались до восточного края железной земли, где оказались полностью изолированными и вырождались из-за кровосмешения и алкоголизма, пока совсем не исчезли.

Коренные народы, доведённые до алкоголизма «большим русским братом» и не оправившиеся от разрыва с их традиционным образом жизни кочевых оленеводов,—такова основная тема «Унны», романа чукотского автора Юрия Рытхэу, действие которого происходит в брежневскую эпоху.

Есть ещё энцы. Речь идёт о полукочевом самоедском народе, который проживает в основном на востоке от Енисея. Бóльшая часть его оседлых представителей проживает в деревне Потапово, к которой однажды причалил «Александр Матросов». Согласно последней переписи 2002 года, их численность не превышает, как я указал выше, двухсот тридцати семи. Таким образом, я могу заявить, что имел честь однажды, в июле 2012-го, приблизиться к примерно пятнадцати процентам от всего энецкого населения.

Когда я говорю, что «Александр Матросов» причалил к деревне Потапово, я делаю ошибку: так

как в этом месте Енисея—песчаная мель, теплоход остаётся в «открытом рейде» в нескольких кабельтовых от берега—это мне позволило мимоходом познакомиться с этим морским термином, который был мне неизвестен, хотя я и происхожу из семьи моряков по материнской линии.

Если бы я сошёл на берег в деревне, я бы, может быть, встретил местного ответственного за здравоохранение в деревне, русского, который пятнадцать лет тому назад высказывал своё мнение английскому писателю-путешественнику Колину Тюброну: «Здесь надежды больше нет. Какое-то время это был центр торговли мехами, затем, при Хрущёве, был организован оленеводческий колхоз. Но посмотрите на нас сегодня! Оленьи пастбища были уничтожены кислотными дождями. Это идёт от заводов по переработке никеля в Норильске. Есть ещё газопровод на полуострове Таймыр: олени боялись его пересекать. Что же остаётся этим людям? Они занимаются лишь рыбной ловлей и продают улов проходящим пароходам. Пассажиры покупают, потому что здесь дешевле, чем в городе. Деревенские жители едва не умирают с голоду…»

И сам Тюбром, который затем провёл там несколько дней, не даёт слишком обнадёживающего портрета: «Деревня походила на пустыню. Прогуливаясь по улицам, я слышал только позвякивание цепей и крики чаек, которые пролетали над нами и возвращались, описывая круги. Все древние постройки были разрушены. Рельсы, которые служили для того, чтобы с помощью лебёдки поднимать грузы с реки, заброшены, и электростанция уничтожена два месяца назад. Сеть накренившихся—по причине вечной мерзлоты—столбов всё ещё с перебоями передавала ток от генератора. Больше половины населения была безработной, а другие, как энцы, так и русские, казались сломанными суровостью промысла, угрюмыми, голодными и помеченными стихией».

Пятнадцать процентов населения, о которых я говорю, примерно тридцать человек, мужчины, женщины и дети,—я видел их, не пересекаясь с ними на улице и не заходя в их дома,—те, которые, скучившись в маленьких лодочках с подвесным мотором, покидали берег и устремлялись к теплоходу, оставляя за собой на гладкой, местами металлически-голубой поверхности воды красивые прямые полосы.

Обитатели Потапово, на севере полярного круга (в области шестьдесят восьмой северной параллели), как и жители большинства других деревень на берегах Енисея, проводят бо́льшую часть года в полной изоляции. Теплоход, который они видели перед собой, возможно, уже сам по себе был достаточным объектом для любопытства, но, кроме того, этот теплоход перевозил труппу музыкантов и певцов, которые на каждом остановочном пункте дарили прибрежным жителям небольшой концерт из фольклорных песен, очень ритмичных и выразительных.

Мы их увидели и услышали, этих музыкантов, первый раз в Енисейске, гораздо южнее, прямо перед тем, как погрузиться на «Матросова». Сцена была установлена в сердце маленького городка, на муниципальном лугу с редким газоном, который при случае, должно быть, использовался как игровая площадка. Несколько коров два-три раза пытались туда проникнуть, но зрители терпеливо отводили их. Вездесущая дымка уничтожала перспективу и придавала сцене призрачный вид и бледность, смутно вызывая всё большее волнение, так как каждый хорошо знал, что это была не просто вечерняя дымка, вызванная присутствием всего в нескольких сотнях метров могучего Енисея, но также и, в основном, дымом от пожаров, которые свирепствовали в крае и запах которых не позволял ошибиться. Несколькими мгновениями раньше я в одиночестве шагал вокруг Спасского монастыря с голубыми крышами, встретив только корову и двух кошек, и заснял несколько шатких изб, сильно смещённых со своей оси и погружённых в землю, с нечистой совестью прохожего, который находит живописной нищету других. Затем, после колокольни Успенского собора, я рассматривал маленький городок, один из самых древних в Сибири, разбитый на квадраты план которого изображал, как крылья бабочки с одной и другой стороны, ручеёк, внизу впадающий в могучий Енисей. С этого мыса я наслаждался полным и менее бестактным созерцанием частных садов и мог сколько угодно наблюдать за типом в майке с глубоким вырезом, который мыл свой мотоцикл с коляской, за девушкой в белом платье, которая, склонившись над своим листочком, терпеливо рисовала чету деревьев перед ней, время от времени поднимая голову, а затем снова склоняясь над своим рисунком, который закрывали белые пряди, или за супружеской парой: женщина процеживала ягодное варенье через натянутую ткань, в то время как её муж с сигаретой в зубах варил фрукты в обитой сталью бочке. Маленькая повседневная жизнь обитателей края света, думал я, мысленно разворачивая планисферу и показывая пальцем то место, где я был, а затем то, откуда я приехал. Что меня больше всего здесь поражало, как и в Красноярске,—это то, что я находился в одной из зон на планете, наиболее удалённых от моря, которого, возможно, ни здешние люди, ни их родители, никто вокруг них никогда в жизни не видели. Потом я смирился с этим, говоря себе, что среди людей, живущих в приморских районах, многие никогда не видели столь же широкой реки, как Енисей. Счёт был равным, в каком-то смысле.

Публичный концерт начался, пока я туда добирался. Редкая толпа, добродушная и весёлая, занимала луг. Цветы на лугу с горем пополам

выдерживали топот возле сцены, у которой стоял ржавый велосипед. Совсем рядом на креплении зелёными буквами было написано: «ЦСКА — чемпион!» — что позволяет мне предположить, что ЦСКА в Енисейске был достаточно известным футбольным клубом, у которого, во всяком случае, были фанаты, пусть он и не был высшего разряда, что я, однако, не проверял. Было два оркестра (брасс-квинтет под управлением Петра Казимира и ансамбль «Вольница» под управлением Андрея Булатникова), которые по очереди исполняли традиционные песни.

Один из них состоял из балалаечника с огромной балалайкой (впрочем, возможно, это была не балалайка, а другой инструмент, который относится к балалайке, как виолончель к скрипке, кроме того что вышеуказанный инструмент держится как балалайка, в отличие от виолончели по отношению к скрипке), гитариста, аккордеониста и двух музыкантов, играющих на некотором подобии маленьких мандолин, названия которых я не знаю. Другой — из рожечника, тромбониста, музыканта, играющего на тубе, двух трубачей и ударника. С первым пели по очереди тенор, одетый в чёрное (Виталий Осипов), и, так скажем, «фольклорное» сопрано в традиционном костюме (Клара Полухина); впрочем, оба — превосходные. Со вторым — более лиричная сопрано, которая отличалась энергией, весёлостью и любовью к ближнему, но также и качеством исполнения (Светлана Кальянова, заслуженная артистка России). Белокурая, экспрессивная и очень обольстительная, одетая в довольно облегающее красное платье в цветочек, она казалась настолько проникшейся своим пением, что я тут же назвал её Кастафиоре, что, соглашусь, не слишком оригинально. Позже я довольно часто встречал её на борту «Александра Матросова» с суровым, закрытым и даже несколько надменным лицом, очень далёким от того, которое было у неё на концертах, — лицом, освещаемым соблазнительной улыбкой, в зависимости от того, кто к ней обращался.

На маленьком поле в Енисейске публика всех возрастов слушала, иногда пела, при случае танцевала — только женщины, и даже пожилые женщины, из которых одна была просто неудержима, улыбаясь, не прекращая дёргаться во все стороны, держа в руках ветку, чтобы отгонять мошек, которые тысячами садились на одежду, на сумки и шляпы. Могу сказать, что большинство этих более или менее молодых женщин, которые принимались танцевать, тут же показывали такую грациозность, которую в них едва ли можно было предположить, пока они стояли. Атмосфера была весёлой, наивной, народной, деревенской, почти галицийской из-за этих коров, которые пытались пробраться на площадку. Она была настолько близка некоторым фильмам Михалкова, как будто её специально взяли прямо с комсомольских вечеринок и былых народных гуляний, тех, которые у нас почти исчезли даже в самых удалённых деревнях из-за электронной музыки, усиленной акустическими приборами. Мне было хорошо. Все казались счастливыми, включая меня. Я бы оставался там часами, слушая певцов, погружённый в то, что стало для меня прыжком в прошлое, к деревенскому детству, достаточно далёкому, если не превратившемуся в миф.

Это были те музыканты, те певцы, которые плыли на «Александре Матросове» и которые с мостика приносили радость жителям деревень, где мы останавливались с мини-концертами: каждый музыкант пел одну или две песни, после чего теплоход вновь отчаливал.

Во время того концерта по всей деревне Потапово, где, как я считаю, сосредоточена бóльшая часть из двухсот тридцати семи индивидов, составляющих энецкое население, и где была совершена остановка в открытом рейде, десятки моторных лодок с целыми семьями на борту (родители, дедушки и бабушки, дети и малыши) спешили к нему, к нам, затем моторы затихали, и каждый слушал Кастафиоре и её товарищей. Неожиданное и сильное чувство овладело нами перед этими серьёзными, внимательными, улыбающимися, рассеянными, взволнованными, вопросительными (у самых юных слушателей — перед теми, кто смотрел на них с мостика теплохода) лицами, каждое из которых, тем не менее, было явно счастливым от развлечения, которое им предложили на этом отрезанном от всего мира краю света. Затем певцы завершили свой мини-концерт, и после нескольких жестов рукой на прощание моторные лодки, заполненные энцами всех возрастов, стали возвращаться к берегу, оставляя позади себя длинные полоски пены, которые быстро исчезали со спокойной поверхности реки, где необъятность и тишина поспешно восстанавливали свои права.

Элизабет Барийе

Сибирь

1.

Можешь распахнуть объятия.
Распахни объятия, тянись—не разорвись только.
Степь—не обхватишь.
Возьми—из упрямства—целый город в подмогу,—
Тысячи рук никогда её не обнимут.

Что там мелькнуло на горизонте?
Лошадь?
Вода?
Кочевники?
Всматривайся сколько хочешь—
Нет у тебя такой зоркости!
Далеко, далеко?
Видишь—точка вдали…
Человек? Душа?
Хаос форм.
Всё—безмерно.
Вчера, здесь, тысячу лет назад…
Всё ещё хочется сосчитать время?
Оставь попытки! Сибирь и его поглощает.

Цветы Сибири.
Степные цветы.
Не подчинить их букету.
Беги хоть всю жизнь
К жёлтым скатертям, к морям голубым
Цветов.
Распахни руки—
Ни одного не сорвёшь.

Ударь землю каблуком,
Ещё и ещё.
Хочешь мамонтов разбудить?
Давай! Упорствуй, повеселись!
Почва здесь не оттаивает.
Каблук сломаешь—и только.
Здесь лопаты гнулись,
Воля
И судьбы.
Судьбы страшной, кровавой длины.

Думаешь, тебе всё известно?
Приложи ухо к земле—
Ты, интеллектуал, путешественник, тот, кто знает.
Рыдания не услышишь.
Рыданий не слышно. Сибирь их впитала.

Енисей.
Ты, конечно, мечтал о нём.
Мечтать—удобно.
Берега в дыму лесного пожара.
Грузят брёвна на теплоход
«Александр Матросов».
Имя—свидетель: здесь вам не Азия,
Не Иравади и не Меконг.
Енисей.

Ты что-то читал об этом.
Что бы ты ни читал—
Ошибался.
Открой другие книги.

Сибирь: имя собственное тайны.

Ты дышал её терпкою хвоей
В каждом порту, брал малину её
Из мозолистых рук, которые можно
разгадывать,
Словно карту.
Только карты здесь не нужны.
Здесь говорят лишь о тех,
Кто понимает.
Что они скажут, когда ты уедешь?
Чем ты задел их смутные души?
Лоском своих европейских одежд?
Женщины смеялись над москитной сеткой
На твоей шляпе.

Волк потерял голову.
Продавец-добытчик вылепил ему
Гипсовый красный язык.
Тайга всё горела.
«Бросила нас Москва»,—
Говорил человек,
Другие кивали,
А ты спрашивал:
«Как вы здесь живёте зимой?»

Игарка. Дудинка.
Норильск, Норильск…
Думай, думай,
Голову ломай
Ещё и ещё! Старайся!

На полную мощность
Пусти, путешественница,
Свою фабрику слов.
Добывай слова, чтобы в них вместить
Непомерный груз памяти,
Неистовство труб,
Жёлтую медь фасадов,
Обманчивую лазурь между пилястрами,
Дерзость сумерек,
Странную красоту
Глубокого траура.

2.

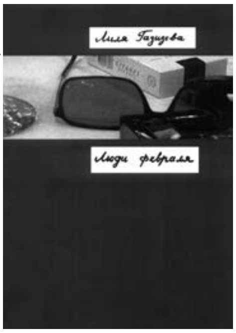
Неужели это правда?
Я упивалась дыханьем твоих лесов?
Вот они —
Миллионы твоих деревьев
И миллионы сов,
Неуловимых,
Как снег.
Я пишу: «леса».
Смейтесь, кураканы.
Наградите невежду
Презрительным свистом.
Я заслужила ваш смех.

Сибирь.
А где это?
Теперь тебе нужно глотать сироп её берегов
В дыму горящей тайги.
И где эта служба спасенья?
Сосны удаляются в дымке.
Стонут берёзы.

Сибирские берёзы:
Мёртвые делали из них книги.
Я пишу: «мёртвые».
Слушайте, зэки.
Смеётесь, ненцы?
Освищите наивную!

Тайга горела.
Старик обвинял Соединённые Штаты.
Я разглядывала
Древние сани.
Сталинградский шлем.
Коренной зуб мамонта.
Сталина в рамке над диваном.
Мощи.
Иконы.

Озноб от земли до неба.
Твоё небо.
Ходила ли я под ним?
Сибирь.
Как подавленное желание.
Сердце, которое не смогли принять.
Любовь, которую не сумели сберечь.
Ты живёшь во мне.



Лиля Газизова

Люди февраля

Москва: «Воймега», 2013. — 60 с.

● ● ●

Хочется улететь с тобой в Белград.
Там вежливые водители
И вкусное мороженое.

Какой-нибудь сербский поэт
Угостит нас
Национальным супом
И повезёт смотреть
Национальные развалины.

А мы украдкой от него
Будем целоваться,
Забыв о развалинах, Белграде
И даже о сербском поэте.

Не глупо

Сразу невесело становится,
Когда тебе не улыбается
Продавщица или парикмахер.
Хочу, чтоб мне радовались,
Как солнцу.
И даже, когда кровь берёт из пальца,
Пусть улыбается мне медсестра.
Не глупо об этом мечтать.

Я точно знаю,
Что рождена для счастья.

Нина Шалыгина

Верхом на «Мерве»

26 апреля 2013 года на 79-м году жизни скончалась красноярская писательница — поэт, прозаик, публицист и общественный деятель — Нина Александровна Шалыгина.

Нина Александровна родилась на Украине, в селе Верпа Житомирской области, в семье техника-строителя. Окончила Московский историко-архивный институт. Стихи и прозу начала писать в раннем детстве. Первая публикация, по рекомендации Константина Симонова, появилась в журнале «Костёр». В 1981 году издан сборник «Они были первыми». Всего вышло в свет 12 поэтических и 7 прозаических книг. Долгие годы руководила зеленогорским городским литературно-музыкальным объединением «Родники». Основатель и руководитель красноярского поэтического творческого объединения «Керосиновая лампа».

Нина Александровна — лауреат всесоюзного телевизионного конкурса «Моя семья» (1979), дипломант нескольких краевых конкурсов поэзии и музыки. Публиковалась более чем в пятидесяти литературных сборниках. Автор множества публицистических статей, опубликованных в России и за рубежом. Светлая память о Нине Александровне Шалыгиной навсегда останется в наших сердцах.

Редакция «ДиН»

Война завершалась страшным опустошением. Мало того, что есть было нечего, — начисто отсутствовала какая бы то ни было техника в колхозах. Оставался неизменным план госпоставок. Всё на живой силе — на бабах. Хлеб для фронта — снова бабы. Обустройство места для семьи — бабы. Последние силы вытягивали из себя — опять же они.

По три-четыре бабы впрягались в тощих, спасённых от вражеских зубов коровёнок — вот тебе живая сила. И пахота, и боронование, и доставка груза куда надо. Потом ручная обработка выращенного хлеба; а молотьба самодельными «цепами» — и вообще древний способ.

Помогала ребятня. Кто чем может. Есть тебе семь-восемь лет? Значит — годен. Как фрица выгнали, «мужиков» от шестнадцати лет в армию забрали. На руководящие должности иногда пятнадцатилетних ставили.

Лёня вернулся из партизанского леса четырнадцатилетним. Пытался, чтобы тоже в армию взяли (там лучше кормят). Но где там? Ноги колесом — полный рахит. Ему только на шелудивой корове задом наперёд фашистов пугать, дурачка изображая.

Лёня после партизанской работы взялся за дело. Он почти мужик по сравнению с другими подростками. Вот только хилый больно, всё детство недоед его формировал.

Он с детства — изобретатель. Село не забыло, как десятилетка Лёня «изобрёл» велосипед. Нашёл где-то на помойке ржавую раму велосипеда. Есть! К ней — заднее колесо от телеги, переднее — от самопрялки. И айда в путь.

Со всех сторон крики:

— Скаженный? Усих курей разогнал. Гусят передавил. Вот поймаем — уши надерём, задницей в крапиву.

Бездельником его окрестили, рукой на него махнули и мачехе сочувствовали.

Но он не обижался. Да народ смешил шибче, чем Чарли Чаплин. Причём без всяких атрибутов. В творчестве своём чаще высмеивал милиционера Троца. Тот поборы брал, над арестованными издевался.

А мужики над Лёней подтрунивали.

Спросят:

— Кожухи, польты, зипуны могёшь?

— Сей же час.

— Сапоги добре стачаешь?

— А як же!

— А самолёта? У тебя ж чертежей нет?

— Зачем мне те закарляки? Вот всё у меня тут, — и по голове себя постукает. — Вот только власти не позволят.

А заказы всё же селяне отдавали в еврейское местечко.

— Да Лёня же баламут добрый. Могёт и подвести. Наберёт столько заказов, чем заплатят — всё сразу съест и снова голодный. А делать всё умел. Сиротой всему научишься.

— Братцы! Так то когда было?

И в первые же дни, как фашиста выгнали, снова на Лёню крик:
— Лентяй! Бабам помоги!

А он и помогал, только тайком. Собирал повсюду куски от взорванных машин, мотоциклов. Ну всё, что попадалось под руки. И малыши помогали — несли, кто и что найдёт.

Беда, сварки на сотни вёрст не отыскать. Так изобретатель без чертежей и сварочной горелки смастерил-таки настоящую машину. Кромки с железяк найденного металла методом «туды-сюды» поровнял. Куски машины посвязывал скрутками из толстенной проволоки. Использовал в качестве «техники» при скрутке черенки от дубовых лопат. Кузов соорудил и какую-то шпалину сзади воткнул. Машина ехала, удивляя людей.

Вот только цельного, не дырявого радиатора нигде не нашёл — поставил от мотоцикла. И к нему «запчасть» — кусок от резинового баллона — воду в радиатор заливать.

И машина поехала. А имя ей насмешник Лёня дал «Мерва». Вот тебе в колхозе «Радянька пидмога» техника своя. С ней он днями-ночами возился. Гордый и довольный. Сам водила, сам механик. Как же иначе? Кажный день в работе.

Да ещё частенько на ней возил Лёня из Овруча всё для магазина и для колхоза. Тридцать кэмэ туда, тридцать назад. А этих гаишников ещё с годик на дорогах не водилось. Благодать, да и только. Даже мачеха стала уважать — он ей дровишки да сено подкинет. И что ещё странным было — всё делалось бесплатно. Взятки ещё только где-то в Москве рождались. А Лёне за работу — пару яиц или хлеба краюху. Когда ще с овсюком и картоплей пополам. А другого где взять? Не взятку давали, а за-ради Бога.

Тут заявилась из своей Судовой Вишни в гости офицерская дочка. Давно не виделись. Задумал Лёник перед ней «Мервой» похвастаться. Да разве такую чем удивишь?
— И ты на этом примусе ездишь? И он колёсами шевелит? И вправду? Или это твоя очередная шутка? Мама моя не поверит. Вот если б папка мне доверил немецкую «лейку» или «зеркалку». Ты бы меня — чик на бумагу! Папка бы мой в темноте поколдовал над энтим. Хохоту бы на весь Кантемировский было!..
— Ты ещё не всё знаешь! Там, где боёв настоящих не проводилось, а земля ровно лежит, знаешь сколько белого гриба?! Ужасть! Хочешь поглядеть?
— Хочу, и мамке привезу, — захлопала в ладоши сестрёнка.
— Ну вот и побачишь, як воне моя «Мервочка» ездить. Почти как самолёт. Полезай в кабину. Поедэмо швыдче. А то кто другий наш урожай собере, — уговорил упрямицу братик.

А та уже в кабине.
— Да гляди, чтоб нога внизу не торчала. Оторвэ, як пить дать!

Лёня что-то такое над машиной поколдовал. Встал ногой на подножку, другой от земли отпихнулся. «Мерва» раз пятнадцать чиханула. И, представьте себе… поехала.

Бездорожьем, по пням и кочкам. Вся дорога видна сквозь соединённые проводом куски кабины. Пыль вползала в нос.

Новое фрицевское платье, какое перед поездкой напялил на неё ординарец, стало совсем-совсем серым. Лёня то рассказывал смешные партизанские байки, то умело свистел на все птичьи голоса. Пел во всё горло.

Вдруг из радиатора пар пошёл.
— Слезай, сестричка. Самовар закипел. Сейчас чайку попьём и дальше попрыгаем.
— Не! Что, мы ещё не доехали? Где же твои белые? — и тут оглядела себя. — Лёнь! Что ты со мной сделал? Погляди на меня! Я чучело чучелом.
— Так все тебя уговаривали надеть наше деревенское: рубаху, спидницу, а на ноги — лапти. Там же комарья два воза. Тебя вообще сожрут. А ты чего бормотала? «В человеке всё должно быть…» А тоби сейчас гарно?

Не боясь гадюк, сестрёнка села на валун и в голос заревела.
— Чего расхлюпалась? Сама же просила показать, сколько белых грибов наросло. Ехать-то пустяк: шестьдесят пять кэмэ всего. А ты — сдрейфила. А так — умойся вон в тим бочажке. Да нос вытри.

Лёня залил воду в радиатор, посерьёзнел.
— Ну ладно. Не хочешь побачить, сколько белых грибов наросло, — не надо. Привыкла на своём «Опеле» рассекать. Ну и ладно.

Свяжешься, мол, с девчонками — глупость одна получится.
— Да нет у нас давным-давно того «Опеля» — смершевец конфисковал, чтоб назад за границу не удрали… Если бы только отобрал, а то все отобранные машины изувечил каменюками и железными прутьями.

Она на время забыла о собственной беде. Отобрал, красоту такую изувечил, а ему даже какую-то медаль боевую за бдительность дали.

Весь обратный путь он молчал и сопел носом.

«Ах, если бы вернуть то время, Лёня, Лёнечка! Я бы с тобой до Аляски ехала. Но нет тебя давно в живых. Твоя партизанская работа, вечные простуды, голодание, кое-какое рубище на плечах готовили тебе раннюю могилу. Вот и приключилось сложное воспаление лёгких. Тебе уколы прописали, а ты их боялся. Немцы сколько раз собирались нахального пастушка — из автоматов.

Ты песни дурацкие затянешь, спляшешь, скорчив дурацкую рожу. Немцы нахохочутся над «дурнем» до колик, сапогом тебя—и в овраг. А тут… уколы. Взять за ручку и повести в больничку, как маленького, некому. Жена в областной больнице лечится. Узнал брат, выпросил коня, да до приёмного покоя живым не довезли. Слух ходил, что тебе «помогли» немецкие наймиты. Может, Троц? Но кто знает, кто дознавался?»—спустя почти тридцать лет обращалась бывшая десятилетка к своему двоюродному брату Лёне, Алексею.

Давно в печи переплавились бренные остатки «Мервы». А у Лёни другая забава появилась. Собрал он из нескольких трофейных раскуроченных партизанским оружием мотоциклов. И снова некомплект: нет тормозов. А Лёня уже давно женатый. И дети ещё не поумирали. А у Лёни свой транспорт. Но опять очень некомплектный—нет тормозов. Ездили на нём в одну сторону—к родителям жены. У них там песчаный такой косогор.

Езда выглядела так: Лёня становился на подножку мотоцикла. Заводил его. Тот взревёт.

— Бегом,—громогласный мужнин приказ.

Впрыгивает в коляску жена Ольга.

— Держись шибче.

Мотоцикл почти что рвётся в небо. Эта полулетящая пара через какое-то время приземляется на песчаный родительский откос.

— Прыгай!

Ольга спрыгивает со своего «мустанга». Своего боевого рысака Лёня кидает на песчаный откос и в стороночке ожидает, пока тот всё горючее съест и остановится сам. Вот такая езда. Что делать, если ещё не пришла перестройка и у Лёни в «кишени» ни гроша.

В середине 1969 года Лёнина сестричка в село заезжала. Гостила у всех, а к Лёне не приглашали. Там его жена, которую он взял в мужицкой деревне, людей сторонилась, а Лёниных родичей и подавно. Никто и никогда в гостях у него не бывал. Жил вроде женатым, а на деле—бобылём.

Но уж с любимой сестрёнкой он обязательно повидается. Взял «пляжку» самогону, через забор сорвал огурец и пошёл в свой «банкетный зал» (на автобусную остановку) с проваленной крышей. Горячая встреча. Воспоминания. А потом Лёня из замусоленных штанов извлёк потёртые, замасленные газетные листки. Это была газета со стихами Лёни.

В селе знали, что он пишет стихи. Когда поумирали его дети, он совсем не по-мужски плакал, потом написал стихи и читал всем, кто слушал.

А там, в селе, ещё в древности свила своё гнездо поговорка: «Что ни поэт, то дурак. Что ни дурак, то поэт». Так что эту кличку ему тоже прилепили. Не могли только назвать его пьяницей, поскольку он не пил. По меркам села.

Лёня читал свои стихи торопливо. Скоро будет автобус. Правда, Лёнин «мотопед» стоял рядом.

Стихи были в ритме песен Бояна. Это была огромная поэма. И невольно подумалось: каким благородством и терпением должен был обладать фронтовой корреспондент, что взялся разобрать такие каракули, сделать перевод с местного диалекта на общечеловеческий язык. Главное, он понял, с каким талантом встретился.

Я планировала приехать ближе к зиме, Лёнино переписать, попробовать книжечку сделать. Запомнила всего четыре строчки о старшине, что отпущен был домой на залечивание ран, а там влюбился и женился:

> Ах, жена моя ты, Соня,
> Хватит спать тебе, засоня.
> Подчиняйся распорядку—
> Выходи на физзарядку.

Больше не было встречи. После смерти просила стихи мужа у Ольги. Чтобы книжицу сделать. Она не отдала. Может, на растопку пошли.

Лёне дожилось до пятидесяти лет. Умер деревенский «Левша», и все о нём забыли. Даже жена, так и не явившая миру Лёнины стихи.

В день похорон плакал затяжной дождь. Гроб везли на колхозном транспорте. А впереди, ковыляя на искалеченных ногах, шагал Волощук—бывший комиссар партизан, где служил Лёня. И бережно прижимал к промокшей груди маленькую подушечку, а на ней—Лёнин орден Партизанской славы.

Николай Переяслов

Ветер с Востока

Роман-наваждение

Окончание. Начало в №2 2013.

16.

Вадим появился только на следующий день: сначала, где-то в районе обеда, пробудилась от спячки рация, благодаря которой мы узнали, что войско находится уже в семи-восьми километрах от нас, часа через три на луговину начали втягиваться его авангардные части, а следом и основные силы. Войска заполняли долину до самого утра, рассредоточиваясь по обе стороны ручья и занимая приготовленные для них шатры, юрты и палатки. Конники с удовольствием разминали затёкшие от долгой верховой езды ноги и спины, лакомились свежим хлебом и лепёшками, ели горячую мясную похлёбку, пили чай и расходились отдыхать по своим жилищам.

Мы рассказали Вадиму о нелепой и отчасти мистической гибели Лёхи Иркутского, а взамен услышали о смерти двух молодых монгольских воинов, чьих лошадей во время переправы через Обь прибило течением друг к другу так, что они начали мешать друг другу, спутались ногами и пошли на дно, потянув вслед за собой и не умевших плавать лучников. Ещё мы узнали, что на пути войска оказалась целая вереница топких болот, из-за чего пришлось делать огромный крюк в поисках надёжной почвы. Местность здесь очень заболоченная, и продвигаться по ней на запад было бы очень трудно, поэтому, решил Вадим, мы будем, сколько возможно, идти по найденной дороге в южном направлении.

— Надеюсь, мы не в китайскую границу упрёмся? Ты не помнишь, что там находится к югу от нас по карте?—обратился он ко мне, высказав свои соображения.

— Если не ошибаюсь, прямо по направлению этой дороги лежит Новосибирская область, а дальше за ней—Алтай и Казахстан. Новосибирская область—это всё та же тайга, а Алтай и Казахстан—степь и лесостепь. Я уже говорил, что идти по степи такой армии, как наша, будет намного легче, чем по болотистой тайге, хотя нам и труднее будет там таиться.

— А мы и не будем таиться,—задумчиво произнёс Вадим.—Главное—пересечь густонаселённые районы Сибири, где дислоцируются воинские части. А на Алтае и в Казахстане на многие километры пусто, нет ни людей, ни селений, так что там мы будем в полной безопасности. Да и вообще, как вы сами могли убедиться за время нашего похода, на сегодняшний день в России власти нет. Есть множество отдельных чиновников на отдельных должностях, а государства как такового в целом нет. Каждый думает только о том, как бы ему не потерять денежное место, и ни о чём больше. Ни один глава местной администрации и ни один начальник полиции не позвонил после нашего нашествия в область и не рассказал о случившемся. У них просто язык не повернулся бы сообщить, что на посёлок напало многотысячное монголо-татарское войско. А если бы кто-то решился, ему бы сказали в ответ, что надо меньше пить, и не стали бы слушать. А потом бы сняли с работы. Вот если бы мы посылали в деревни по сто человек, за нами бы уже давно устроили охоту, потому что поверили бы, что такое действительно может происходить в реальности. А принять за правду весть о том, что по стране шествует несметное монголо-татарское воинство, так же трудно, как поверить в нашествие марсиан. Поэтому нас воспринимают как какой-то мираж или дурной сон, и никто никуда не звонит, никому ничего о случившемся не рассказывает. Ни менты, ни начальство, ни простые люди. Кому хочется, чтобы его посчитали сумасшедшим? Никому. И, я думаю, точно так же всё будет и на Алтае, и в Казахстане, природа людей одинакова везде. И даже более того: я думаю, что на Алтае и в Казахстане мы значительно пополним свои ряды местными добровольцами. Они ведь там все генетические кочевники, потомки воинов Темучина. И они воспримут наш приход как давно ожидаемый знак судьбы, как призыв выполнить свою историческую миссию…

Вадим на какое-то время замолчал, и мне показалось, что я услышал, как в воздухе повисло величие момента. И вдруг почувствовал, что предстоящие события перестают восприниматься мною как абсурд и наваждение, а сам я начинаю думать о лежащем впереди походе уже не просто

как о деле, в котором мне случайно привелось участвовать, но как о главном деле моей жизни. Ну не шиза ли это?
— А стало быть, два-три дня отсыпаемся тут, даём отдых лошадям, напекаем хлебов и двигаем на юг,— подвёл итог своим размышлениям Вадим.

Вот так легко и просто был выработан стратегический план на ближайшие месяцы, после чего основная масса воинов в течение трёх дней отсыпалась, мылась у ручья в нагретой на кострах воде, латала одежду и приводила себя в порядок. Охотники ходили в окрестные леса за добычей, хлебопёки выпекали хлеб, обозники чинили и смазывали тележные колёса,— словом, армия набирались сил и готовились к дальнейшему продолжению похода. К броску на юг, как написали бы армейские журналисты.

Несмотря на почувствованное мною во время недавней беседы с Вадимом чувство общности со всеми и осознание того, что вокруг меня действительно происходит нечто чрезвычайное и судьбоносное, я всё равно долго ещё не мог перестать ощущать себя неким — пускай и почётным, и даже приближенным к Великому Хану, но всё-таки — пленником, насильственно вовлечённым во всю эту невообразимую авантюру. А авантюра, безусловно, стоила того, чтобы поведать о ней если не всему человечеству, то хотя бы собственным потомкам, записав всё происходящее ныне в виде походного дневника или, может быть, даже романа. Хотя… Ну кто, в самом деле, поверит, что в начале двадцать первого века в России вдруг стихийно создалось что-то вроде несметного ордынского войска, которое во главе с новым Чингисханом беспрепятственно прошло через всю страну с востока на запад и захватило столицу государства, посадив на президентское кресло своего хана?.. Бред собачий! Этого просто не может быть, несмотря на то, что это происходит на моих собственных глазах и я в этом даже принимаю непосредственное участие…
— Скучаешь?— подойдя незаметно сзади, подсел ко мне Вадим на поваленное возле ручья бревно, на котором я сидел после вечернего чая, размышляя о сути происходящих вокруг меня и со мной событий.— Я понимаю, что я тебя выдернул из мирной жизни, можно сказать, прямо из брачной постели и вверг в эту свою дикую затею, но ты мне действительно нужен. Правда, нужен. Гений всегда ведь нуждается в зрителях, читателях или слушателях, которые могут оценить величие его грандиозного замысла, иначе — для кого его старания? Вот так же и мне.
— Тебе мало ста тысяч зрителей?— кивнул я на готовящийся ко сну лагерь.
— Это не зрители,— вздохнул он.— Это участники. Или со-участники. Короче, исполнители моего замысла. Актёры и массовка. А мне хочется, чтобы рядом был кто-то, кто оценил бы это, как художественное произведение. Пускай я не могу писать стихи на бумаге — я создам свою поэму в реальности, и поверь, это будет не хуже, чем «Железный поток» Серафимовича или «Разгром» Фадеева! А может, даже и лучше. Потому что там всё происходит в трагической тональности, на фоне поражения, а окраска моей поэмы будет — победная! У них получились панегирики, а у меня будет — ода. Слушай, может быть, нам похитить по пути поэта Берязева? Он ведь, кажется, в Новосибирске живёт?

Я кивнул:
— В Новосибирске.
— Ну вот и пусть он будет нашим летописцем! Я командирую в город полдюжины отчаянных ребят, они его запросто выкрадут и доставят. Усыпят или просто скрутят… Да я думаю, что с таким стремлением к простору и воле, как у него, он и сам с радостью примет на себя эту миссию! Или есть ещё и другие поэты такого же размаха?
— Другие?.. Есть, наверное… Я ведь не литературовед, специально современную поэзию не изучал. Так, люблю иногда почитать. Что ещё в тайге было делать вечерами? Наберу журналов да книг — и читаю. Вот, помню, в Самаре есть такой — Николай Луканов. Или был, я не знаю, жив ли он сейчас. У него тоже встречаются похожие мотивы.
— В Самаре? Не исключено, что нам придётся в будущем заглянуть и в Самару. Нам ведь нужен будет мост через Волгу? Или опять будем вплавь форсировать?
— Лучше уж по мосту, конечно. Только не в Самаре, самарцы сами ездят через Жигулёвскую гэс. Мост есть в Ульяновске и в Саратове. В Саратове, по-моему, даже два. И в Нижнем Новгороде, если не ошибаюсь, пара. А ещё в Казани и наверняка в Волгограде и Астрахани… А в Самаре, я читал, только планируют построить.
— Ну, всё равно, прочти что-нибудь из этого твоего самарца.
— Я мало что помню, а книги с собой нет… Хотя нет, одно, кажется вспомнил, послушай:

У этой страны не отыщешь начала.
Весь наш беспокойный, размашистый быт
калёной стрелой из степного колчана
тоской азиатской навылет пробит.

В великих просторах и пеший, и конный
со смертью не раз затевали игру.
Вселенская скорбь византийской иконы
в избе поселилась, в переднем углу.

Века пропадали в разбое и сече,
был зорок у смерти натасканный глаз.
Прощенья просили невинные свечи
в церквях и в часовнях за грешных, за нас.

И снова распутье… В раздумьях дороги.
Чтоб нас не травила заморская желчь,
я тысячи слов подниму по тревоге
сердца на распутье глаголами жечь.

Чтоб грады и веси вовек не забыли
и помнили свято медвежьи углы,
какие тревожные, смутные были
в великих просторах за нас полегли…

— Ну, про иконы я не очень люблю, а в целом, по духу — согласен, какое-то эхо берязевской мощи в нём чувствуется. Надо будет в ближайшем селе заглянуть в местную библиотеку да набрать там книжек, чтоб было что читать на стоянках. Хотя, наверное, у нас на это скоро совсем не останется времени. Впереди — самые сложные участки, переход через автотрассу, железную дорогу… Я как раз себе голову ломаю над тем, как нам это осуществить, там же постоянные потоки машин, грузовые и пассажирские поезда, а у нас столько народу, да ещё подвод триста с лишним штук…
— Поезда идут с интервалами. Если переходить дорогу ночью, нас никто из окон и не увидит. А автотрассу надо как-нибудь заблокировать. Устроить, к примеру, на ней пару аварий. Столкнуть и поджечь на одном из мостов несколько машин. И километрах в десяти организовать нечто похожее… Пока всё это будут устранять и растаскивать, трасса будет закрыта, а мы между этими двумя пунктами и прошмыгнём.
— Думаешь, мосты никто не охраняет?
— Я имею в виду не стратегические мосты, а местные, через здешние речушки. У них всей ширины-то метров десять от берега до берега. Сейчас и километровые мосты не имеют охраны, а уж эти… Кто про них вообще помнит? Ты сам говорил, что у нас сейчас нет государства.
— Ну что ж, спасибо за идею. Я рад, что ты начинаешь думать о нашем общем деле, перестаёшь быть чужаком. Наверное, так мы потом и сделаем. Пока будем идти на юг, я всё это детально обдумаю…

И мы пошли дальше. Теряя одну дорогу и находя взамен другую, а иногда бредя и вовсе без всяких дорог, мы маханули за месяц с небольшим шестисоткилометровый, если не больше, рейд по таёжным дебрям Новосибирской области и в конце концов, скользя, как по канату, по линии восьмидесятого меридиана, всё время на юг, спустились к автотрассе М-51 Омск — Новосибирск. Слава Богу, в одной из «реквизируемых» нами по пути деревень мы и в самом деле заглянули в местную библиотеку и нагребли там кучу географических карт, среди которых попались и несколько карт интересующих нас районов. Так что дальнейшую часть пути мы двигались уже не наобум, а точно планируя направление своего движения и выходя к нужным нам точкам.

Чтобы наше огромное войско могло благополучно и, главное, незаметно пересечь постоянно действующую автотрассу, нам пришлось осуществить на ней самую настоящую диверсионную операцию, а точнее, даже две одновременно. Для этого в район остановочного пункта Форпост и городка Чулым были направлены две группы отчаянных парней, которые на несколько часов закупорили с двух сторон дорогу, устроив на ней массовые пробки. И там, и там ими были использованы мосты, хотя для каждого случая пришлось избрать свой индивидуальный способ. Возле Чулыма, например, они угнали из города сразу около десятка легковых и грузовых автомобилей и, сгрудив их на мосту через речку Чулым, подожгли, устроив гигантскую пылающую пробку, на тушение и растаскивание которой у дорожно-пожарных служб ушла вся ночь.

Угнать машины возле Форпоста не получилось, так как их там не было, но в одном из каких-то никем не охраняемых складов удалось раздобыть несколько бочек машинного масла, которые были выкачены на дорогу и вылиты на асфальт перед въездом на мост через небольшую речушку, да так «удачно» вылиты, что уже через полчаса на этом катке перевернулся большущий лесовоз, положивший свой прицеп с брёвнами точнёхонько поперёк шоссе.

Слава Богу, водитель не пострадал, а всего лишь вывалился из кабины и упал в воду, но пока он выбирался из неё, в его лесовоз врезались ещё три машины. А потом ещё одна, и ещё… Да и как они могли не врезаться, если метров на пятьдесят перед лежащим лесовозом поверхность асфальта была покрыта толстым слоем скользкого масла, по которому машины — что на тормозах, что без — летели, как конькобежцы по льду, въезжая друг другу в зад и создавая надёжную преграду для дальнейшего движения по трассе?.. Перед мостом образовалась уже огромная куча громоздящихся друг на друге разбитых автомобилей, а в них всё продолжали и продолжали врезаться очередные слепо мчащиеся вперёд грузовики и легковушки, загромождая собой и без того уже наглухо запечатанную дорогу.

Благодаря столь откровенному дорожному хулиганству к полуночи трасса была полностью заблокирована, и стотысячная орда хлынула через неё, не боясь быть неожиданно застигнутой ни пассажирами рейсовых автобусов, ни шоферами-дальнобойщиками, ни какими-нибудь случайными автопутешественниками или велосипедистами.

Перейти через участок железной дороги между станциями Каргат и Чулымская было уже немного проще, хотя нам и пришлось повозиться при этом с телегами, помогая им взбираться на невысокую гравийную насыпь и потом переваливать через два ряда рельс. К счастью, в ночном небе

издалека было видно бьющий с головы локомотива прожектор, так что все успевали либо благополучно перескочить через невысокую насыпь на ту сторону, либо отойти на несколько шагов от неё назад и пропустить мимо себя несущийся по рельсам состав.

Так, то ли с помощью всех сочувствующих нам богов, то ли благодаря сопутствующей удаче, до наступления рассвета мы пересекли и шоссе, и железнодорожное полотно, умудрившись при этом не потерять ни одного из своих людей и не разбить ни одной повозки.

С первыми лучами утреннего солнца нам открылись лежащие впереди почти до горизонта ровные луга с небольшими светлыми берёзовыми лесами да поблёскивающими среди зелени буйнотравья зеркалами разнокалиберных озёр и небольшими редкими болотцами. Тянувшееся в течение нескольких месяцев нескончаемой длинной вереницей войско перестроилось в широкие фронтальные фаланги и покатило через степи, как любимая сёрфингистами волна катит через прибрежные морские мели. Лица всадников както сразу повеселели, взгляды сделались светлее и мечтательнее, а на губах появились редкие для воинов улыбки.

— Солнце!—воскликнул Вадим, вскидывая к озаряющемуся лучами небосводу распростёртые руки.—Наконец-то мы снова видим над собой солнце! Воины мои! Теперь нас ничто не остановит! Великий бог мира освещает нам путь и ведёт к победе! Совершим же великий подвиг освобождения России! Вперёд, друзья мои! Дорога к славе открыта!..

— Великий Хан получил благословение солнца!—понеслась по рядам скачущих радостная весть, и лица их наполнились ещё большим светом, а глаза—верой и преданностью.

17.

Насколько огромным было собранное Вадимом под свои знамёна воинство, я понял только тогда, когда мы пересекли Транссибирскую магистраль, миновали остаток Новосибирской области и вышли на чистое и ровное место. Здесь начинался Алтайский край. Алтарь планеты. Ворота в будущее. Пока войско тянулось по лесной дороге, его масштаб лишь угадывался мною по отдалённому шуму за спиной да по множеству костров, шатров и палаток во время стоянок, а тут я впервые увидел их всех сразу. Все сто тысяч всадников, двести навьюченных верблюдов да плюс замыкающие шествие триста возов и повозок с имуществом, детьми, стариками и женщинами, растянувшиеся по равнине в огромные фаланги на километр в ширину и километр в глубину. Это была уже не просто орда или армия, это была самая настоящая кочевая республика. Я бы даже сказал—народ. Со своими мудрецами, военачальниками, стратегами, вооружёнными силами, негласными законами и Великим Ханом. А вокруг, словно бескрайний жёлтый пергамент, исписанный многовековыми загадочными сказаниями и легендами, лежали удивительные алтайские степи, излучающие в мир до сих пор неразгаданную, таинственную и могучую силу.

С выходом на равнинные места скорость продвижения армии заметно выросла, лошади зашагали бодрее, люди стали веселее, и в душе сами собой начали отзываться прочитанные когда-то стихи, так или иначе соответствующие тому, что открывалось мне вокруг сейчас, в этом шествии к югу Сибири. Сам того не заметив, я начал декламировать вслух одно из припомнившихся мне стихотворений самарского поэта Луканова, будто диктуемое самим расстилающимся во все стороны простором:

Степь досужие думы ковылит.
Гонит ветер восторг неспроста
в мою сторону. В сердце! Навылет!..
Летний полдень. Родные места.

Ни роскошных дубрав, ни отрогов
гор угрюмых не сыщешь вблизи.
Половецкая степь. И дорога,
как всегда, в непролазной грязи.

Снова странника выдаст сорока,
затрещав у немого двора.
К синеве непроспавшихся окон
с любопытством прильнёт детвора.

Сотни лет пропадай забулдыгой,
сердцем павшим касайся высот—
несговорчивой памяти иго
в край забытый тебя занесёт,

где начало запутанной нити,
вдовство изб, синева и омёт.
И измученный ангел-хранитель
у порога спокойно вздохнёт.

— Тоскуешь по дому?—спросил незаметно подъехавший ко мне и слушавший стихи Вадим.—Хотел бы сейчас быть в Криниченске, рядом с Танюшкой?

— Наверное. Я ведь никогда не имел своего дома, семьи. А человеку необходимы домашнее тепло и детский смех. Особенно когда года подходят к сорокалетнему рубежу.

— Ничего. У тебя всё ещё будет. И, может, даже не в Криниченске, а в Москве. Зачем тебе эта деревня? Это же ещё больший тупик судьбы, чем работа в геологической партии. Кем ты собирался там устроиться?

— Библиотекарем.

— Абзац! И это верх твоих мечтаний? Да я назначу тебя министром поэзии! Или нет, не министром—великим визирем культуры Алханайской Суверенной Буддисламской Империи! А?.. Каково?..

— Мощно. Особенно слово «буддисламская». Ты решил скрестить буддизм с исламом?
— Ну что ты! Я просто очертил этим словом духовные параметры империи — всё, что лежит между буддизмом и исламом…

Мы замолчали, и в душу потекли шуршащая под копытами лошадей тишина да дурманящие запахи неохватной, как само воображение, степной шири. В небе появился распластанный на мощных крыльях орёл и начал широкими кругами облетать свои необозримые угодья, время от времени стремительно падая на вспугнутых движущимся войском зайцев или куропаток. Несколько раз я видел, как, опасливо оглядываясь, убегала от нас, мелькая рыжим пламенем своей шкуры, осторожная красавица-лиса, а один раз в траве мелькнула серыми, как вечерние сумерки, тенями уходящая от опасности пара степных волков.

Над Кулундинской равниной стоял уютный тёплый август, трава была ещё вполне зелёная и сочная, так что лошади наши были всё время сытыми и без устали несли нас всё дальше и дальше на юг. Мы по-прежнему нападали на небольшие селения, реквизируя продукты и скот, и, к моему удивлению, за нами до сих пор не было послано погони, хотя на Алтае, где деревни лежали довольно близко одна от другой, да ещё и на открытом, разгороженном только редкими берёзовыми колками пространстве, не разглядеть нашу орду было практически невозможно. Понимая это, мы даже и не пробовали как-либо таиться, а наоборот — вваливались в лежащие на нашем пути сёла и посёлки всей многотысячной лавиной, умышленно парализуя этим сознание местных жителей и вгоняя в ступор представителей власти, оказывающихся не в силах поверить, что это не пьяный сон, и по этой причине не решающихся сообщить в вышестоящие органы о свалившейся на их головы напасти. Тем более что мы никого не убивали, не разрушали никаких объектов и практически тут же катились дальше, к следующим объектам реквизиции. Как передавали потом вливающиеся в наши ряды добровольцы, власть говорила людям, что это репатриированные из Сибири на родину китайцы пополняют таким образом по пути домой свои запасы, но больше они сюда не вернутся.

Между людьми тем временем упорно распространялся другой слух — о том, что это народно-освободительная армия, которая очищает землю от чиновников и олигархов, и потому вскоре, заслышав каким-то образом о приближении нашего войска, люди сами начали выводить к околице коров, телят и свиней, выносить мешки с мукой и короба с салом, вывозить телеги с картошкой и яблоками. Тут же нас ждали на своих или же уведённых из местного агрохозяйства лошадях добровольцы, жаждущие вступить в ополчение и гнать с русской земли разоряющих её капиталистов. И с каждым днём желающих пополнить наше воинство становилось всё больше и больше.

В двухсоткилометровом зазоре между Ребрихой и Благовещенкой мы ещё раз перевалили через железнодорожное полотно и, двигаясь вдоль остающейся по левую руку ветки Барнаул — Рубцовск, прошли километров сто пятьдесят по дышащей разнотравьем и излучающей энергию силы алтайской земле, перетекли через ещё одну железную дорогу и спустились к границе с Казахстаном. Собственно, о том, что мы вышли к границе, говорили только попавшиеся нам на пути красно-зелёные полосатые столбы высотой около двух метров, одиноко торчащие среди высыхающей под лучами уходящего лета степи. Дальше лежала земля Казахстана.

Вырвавшись из общих рядов, в сторону открывающихся просторов с ошалелыми криками и гиканьем понеслись несколько десятков всадников, радостно вскинувших к небу руки и бросивших поводья.
— Казахи, — пояснил Аюндай. — Родину увидели.

Эти казахи нас дальше и повели, выступив в роли проводников и, где надо, переводчиков и дипломатов.

Переправившись через неширокий и мелкий в этих местах Иртыш и перевалив потом через очередную железнодорожную ветку, мы оставили в стороне областной город Семей и углубились в невысокие, полого-покатые и богатые травами горы. Когда мы прошли по ним не меньше шестидесяти километров к югу, я спросил у Вадима, не решил ли он штурмовать Астану вместо Москвы.
— Не волнуйся, — засмеялся он, — Москва от нас никуда не убежит! Но сейчас до неё ещё три с половиной тысячи километров, а на носу уже сентябрь, скоро пойдут дожди, начнутся холода. От силы ещё месяц-полтора — и надо будет становиться на зимовку. Если бы мы повернули на запад и продолжили двигаться в сторону Москвы, то через эти самые месяц-полтора были бы где-то между Омской и Тюменской областями. И как бы мы, по-твоему, провели там зиму? Мы еле выдержали в тайге предыдущую, и то лишь благодаря тому, что успели до снегопадов утеплить обнаруженные лагерные бараки да перекрыть в них крыши, набросав сверху веток и листьев. Повезёт ли нам так же в Западной Сибири, я не уверен.
— А тут у нас какие перспективы?
— Тут нас ждут друзья. Я ещё раньше, как только мы с тобой решили, что надо двигаться в алтайские и казахские степи, отправил сюда своих посланников, чтобы они подготовили здешний народ к нашему прибытию. Горы Шынгыстау — это родные места классика казахской поэзии Абая Кунанбаева, которого, как мне рассказывали, казахи чтут

как национального лидера. Здесь же в тридцатые годы большевики убили и его духовного преемника Шакарима Кудайбердиева, тоже поэта. Да ты, наверное, знаешь всё это лучше меня, ты провёл в библиотеках в сто раз больше времени, чем я!.. В общем, здесь помнят нанесённые Москвой обиды, чтут борцов за свободу и национальную самобытность, уважают смелость и непокорность, поэтому должны встретить нас с почётом и помочь достойно переждать зимние холода. И я думаю, что здесь мы значительно увеличим своё войско. А это очень укрепит наши силы.

— Жаль, что мы не дошли до горы Белухи. Вот она бы точно укрепила наши силы. Эта гора даже посильнее Алханоя.

— Алтай богат источниками силы, не зря здесь ищут ворота в Шамбалу. Я слышал и про другие священные места. Хотя побывать на Белухе было бы, конечно, очень важно. Не знаю, может, ещё и получится туда съездить, это ведь не очень далеко…

— К сожалению, там бы мы зиму не перезимовали. Белуха вообще не каждого подпускает к себе.

— Ничего, благодать не имеет прописки. Если высшим силам угодны наши дела и цели, они нас услышат в любой точке мира.

— А чем мы будем здесь питаться и что делать в течение нескольких месяцев?

— С питанием нам помогут местные жители, я для того сюда людей заранее и послал, а предстоящую зиму мы должны использовать для детальной разработки дальнейшего маршрута и для боевой подготовки воинов. Среди них полно новобранцев, которые даже в армии не служили, надо учить их дисциплине, владению оружием, военной тактике. Кстати, почему бы тебе тоже не принять командование отрядом? Хочешь—возьми сотню сабель, а хочешь—и все триста.

— Я человек гражданский, что я с ними буду делать?

— Главное, чтобы они научились выполнять любое твоё приказание. А жизнь сама покажет, что с ними делать.

— Ну… давай для начала десять человек. Если что-то будет получаться, тогда можно будет численность увеличить.

— Хорошо, я велю, чтобы за тобой закрепили десять человек. Кого тебе дать—русских, бурят, казахов?

— Мне всё равно. Дай тех, что умеют стрелять из лука. Может, они и меня научат.

— Договорились.

И, окунаясь в стелющиеся перед нами голубые миражи, мы продолжили свой путь по Чингисским горам, отдав свои судьбы на волю теряющейся в травах глинистой дороге, которая бесконечной лентой тянулась от перевала к перевалу, незаметно поднимаясь всё ближе и ближе к небу…

18.

В конце сентября лагерь был практически полностью оборудован и готов к долгой и суровой зиме. Мы расположились в длинной многокилометровой долине, по дну которой бежал неширокий ручей, а с боков подступали невысокие и округлые, как плечи упитанного духанщика, сопки, покрытые густыми, вкусно пахнущими травами, серыми мхами и редким кустарником. Заведомо предупреждённые о нашем прибытии казахи успели соорудить в низинах несколько примитивных конюшен из жердей и досок, крытых фанерой, толем и кусками шифера, которые за оставшееся до начала снегопадов время надо было ещё обмазать кизяком и глиной, и тогда в них можно будет спокойно укрывать зимой от буранов и холода наших лошадок. Кроме того, они пригнали в район нашей зимовки огромное количество овец, коз и кобылиц, построив для них загоны из жердей и накосив вдоль ручья высокие копны сена. Плюс ко всему, поблизости находилось несколько глубоких, не замерзающих зимой колодцев, так что люди и лошади не должны были остаться на всё время нашей стоянки без воды и смогут готовить себе чай и горячую пищу.

Между этими конюшнями, кошарами, колодцами и местами выпаса лошадей мы расставили свои шатры, палатки и юрты, а также настроили множество хлебных печей и оборудовали места для костров, приготовления и приёма пищи. Ближе к подножию сопок и подальше от жилых палаток и юрт были вырыты глубокие одиночные ямы, накрытые настилами из прочных жердей, над которыми были установлены узкие брезентовые шалаши и конусы вигвамов. Это были общественные туалеты, свидетельствующие о небывалом цивилизационном скачке кочевых народов.

Местные жители встретили Вадима с необыкновенным почтением, как истинного продолжателя дела великого Чингисхана. Собственно, горы Шынгыстау, или Чингисские горы, как раз и названы в честь безмерно почитаемого тюркскими народами могучего Сотрясателя Вселенной—хана Чингиса. Или Шынгыса, как звучит его имя по-тюркски. В последние годы в Казахстане изменили правописание названий, вернувшись к тюркским языковым нормам, и теперь город Чимкент стал называться Шымкентом, а горы Чингистау получили наименование Шынгыстау. Кстати, главная гора этого массива называется Шынгыс—в честь великого предводителя народов, бросившего под ноги своей конницы половину мира.

Сопровождавшие нас повсюду казахи были уверены в том, что Чингисхан был вовсе не монголом, а казахом, и с научной основательностью и восточной истовостью доказывали нам правоту своей версии. Они, например, утверждали, что ни одно из современных монгольских племён,

составляющих монгольскую нацию,—ни халха-монголы, ни ойраты, ни чорасы, ни торгауты, ни хошимиуты, ни дюрбеты, ни другие народности—не принимало участие в походах великого Чингиса. Кроме того, глава монгольского государства никогда не носил титул хана. Даже в более поздней истории, когда западные монгольские племена ойратов, чорасов, торгаутов, хошимиутов и дюрбетов образовали Джунгарское государство, его глава носил титул контайшы, а вовсе не хан. Титул хана на протяжении всей истории носили исключительно правители тюркских государств.

Да и само имя Чингисхана по-тюркски пишется Шынгысхан, и до объявления его Великим Ханом он носил имя Темиршин (Темурчин). Имя Шынгысхан ему было подобрано родоначальниками четырёх казахских родов—Кият, Найман, Керейт и Меркит, торжественно поднявшими его на горе Шынгыс на белой кошме и объявившими Великим Ханом. Само же имя было выбрано так. «Шын» по-казахски означает—«самый высокий пик в горах», древнетюркское «гыс» значит—«луч», а всё имя целиком прочитывается как «высокий лучезарный хан»—Шын-гыс-хан.

И похоронен он тоже здесь, в географическом центре Евразии, знак которого установлен возле урочища Жидебай, где устраивал себе зимовку поэт Абай Кунанбаев. Именно в этом районе, говорили они, расположена гора Актас, в которой находится стодвадцатиметровая пещера Коныр-Аулие. Метрах в десяти от её входа лежит каменный идол, а в конце имеется глубокое целебное озеро. По уверениям казахских чингисоведов, под пятнадцатиметровой толщей воды, на самом дне этого самого озера, находится скрытый под камнями вход в другую пещеру, которая и является естественным склепом Чингисхана.

В этой же местности, как нам рассказали, есть небольшой аул под названием Орда (то есть—ставка), расположенный как бы в природной чаше и окружённый небольшими сопками, с которых все окрестности видны как на ладони. А вот саму Орду можно обнаружить лишь на расстоянии не ближе одного километра, что, во-первых, делает его местоположение стратегически выгодным, а во-вторых, окружает неким тайным, почти сакральным смыслом.

Откуда возникло столь красноречивое название, не помнит никто. Не исключено, что эта Орда когда-то и вправду была той самой—Золотой…

В октябре, когда обустройство лагеря было в основном закончено, местные казахи устроили нам что-то вроде многодневной экскурсии, провезя на двух джипах по окрестным горам и показав ряд почитаемых ими достопримечательностей, в том числе колодец, возле которого застрелили поэта Шакарима, селение Караул и ущелье Кушикбай, откуда проистекали история жизни Абая, его поэзия и мудрые назидания, музейный комплекс Жидебай, где захоронен был великий поэт, и другие значимые места Восточного Казахстана.

На ночлег мы останавливались то в богатых и хорошо убранных особняках с плазменными телевизорами, холодильниками и устланными толстыми красивыми коврами полами, то в низких саманных домиках с невысокими потолками и плоскими крышами, а то в круглых войлочных юртах, в которых обитают на своих зимних пастбищах скотоводы. Я не знаю, что говорили хозяевам по-казахски наши проводники, но везде при нашем появлении тотчас принимались немедленно резать и варить баранов, а нас тем временем пока усаживали за столы и в ожидании мяса начинали угощать сыром, чаем, орешками, лепёшками и другими закусками. Через пару часов было готово мясо, и начинался пир. Еда было невероятно обильной и жирной и сопровождалась большим количеством кумыса и водки. Причём хозяевам явно больше нравилась водка, которую они потребляли в огромных количествах и как-то особенно не пьянели—может быть, благодаря поедаемой в таких же огромных количествах жирнейшей баранине. В каждом доме Вадиму оказывалась самая высокая честь, и хозяин собственноручно угощал его с ладони варёными бараньими глазами, при одном только виде которых я еле находил в себе силы, чтобы меня не стошнило. Но выбраться из-за низкого длинного стола, за которым сидело невероятное количество народу, было практически невозможно, поэтому я судорожно пил кумыс и старался не смотреть на эту выворачивающую меня почётную церемонию. Вадим же с благодарностью принимал угощение, произносил и выслушивал длинные и неимоверно слащавые тосты и всячески завоёвывал сердца местных жителей.

Самое сильное впечатление на него в этом культурном рейде произвело посещение вышеупомянутой пещеры Коныр-Аулие в горе Актас, где, по казахским преданиям, упокоился великий предводитель восточных народов Темуджин, получивший здесь известное на весь мир имя Чингисхана.

— Я чувствую его присутствие, он действительно здесь,—необычайно волнуясь, шепнул мне Вадим, когда мы ещё только подошли к расщелине, за которой начиналась пещера.—Он рядом, я слышу его дыхание… Правда…

А через несколько дней, когда мы уже возвратились в лагерь и в один из вечеров пили вдвоём с ним чай в его шатре, он сказал, что, стоя тогда возле священного подземного озера, он закрыл глаза и призвал к себе дух Чингисхана. И тотчас же почувствовал, как воздух перед ним заколебался и кто-то дохнул ему в лоб. Мысленно

воздав хвалу Великому Хану, он спросил, удачным ли будет его поход на Москву, и в ответ на это перед его мысленным взором возник затянутый какой-то мутной белой дымкой облик Московского Кремля и рядом с ним — огромные толпы ликующего народа. И тогда он спросил, чего ему следует бояться в будущем, и увидел, как перед его плотно сомкнутыми веками возникла и замерцала, впиваясь в сознание, дрожащая цифра «девять». «Чего девять? Объясни, я не понял», — вскричал он мысленно, но в воздухе было уже пусто, дух Чингисхана отлетел и больше на его призывы не отзывался.

— И вот теперь я гадаю, то ли мне надо опасаться девятого числа каждого месяца, то ли девяти часов утра, то ли девятого маршрута какого-нибудь поезда или троллейбуса, а то ли ещё чего-то, чего я пока не могу себе даже представить, — вздохнул он. — Так что лучше бы я и не спрашивал. Знание будущего мешает радоваться настоящему. Надо просто доверить себя судьбе, а там уж будь что будет… Нет такого человека на земле, которому что-то в этой жизни не угрожает. Своего смертного часа всё равно никому пережить не дано. Так какая разница, наступит он в девять часов или в одиннадцать?

— Может, он хотел сказать, что тебе надо опасаться пули? Помнишь, в «Белом солнце пустыни» таможенник Верещагин пел: «Девять граммов в сердце постой, не зови. Не везёт мне в смерти — повезёт в любви!..» Пуля весит девять граммов.

— Да нет, это слишком замысловато для призрака. Да и откуда он в тринадцатом веке мог знать, сколько весит пуля? Тут что-то другое.

— Поговори со старцами, они тебе наверняка разъяснят. Они всё понимают.

— От старцев мне сейчас хочется другого. Мне надо, чтобы старейшины казахских родов проделали со мной тот же ритуал, что и с Темурчином. Подняли на горе Шынгыс на белой кошме и нарекли Чингисханом Вторым.

— Ну так попроси их.

— Я просил. Но они говорят, что ещё рано и я пока прошёл не все ступени.

— А что тебе ещё надо пройти?

— Не знаю. Скажут, наверное… Когда срок придёт.

И он посмотрел на подвешенный к одной из шатровых опор сверкающий золотой диск, изображающий солнце.

— Ничего. Небо ко мне благосклонно. А это главнее всего…

С прибытием в наше войско большого количества казахов его ежедневная жизнь сильно изменилась. Теперь наш растянувшийся по узкой длинной долине лагерь напоминал какое-то огромное средневековое стойбище: повсюду дымились костры, во множестве каменных печей выпекались хлеба и лепёшки, в подвешенных на треногах котлах варили еду и кипятили чай, который хозяева здешних земель пили бесконечно часто — и до, и после еды, и просто по любому поводу. На полянах между шатрами женщины катали войлок, обрабатывали овечьи и козьи шкуры, ремонтировали и шили одежду. На дальних склонах окрестных сопок выпасали стада коз и овец, чуть поодаль паслись табуны молочных кобыл и походных лошадей. В нашем рационе появилось много сушёного сыра — курта, а также разных сортов творога, варёных в масле пончиков — бурсаков и других национальных блюд.

Небо всё чаще и чаще наливалось недоброй свинцовой тяжестью, угрожая пролиться холодным дождём или просыпаться шершавым колким снегом, но жизнь продолжала своё размеренное и спокойное течение, точно так же как текла она когда-то при знаменитом поэте Абае, зимовавшем в этой самой долине и увековечившем её своим бессмертным пером:

> Тучи серое небо сгущают во мрак.
> Воздух осени мглою сырою набряк.
> То ль от холода, то ли от сытных кормов
> Табуны оживились и резв молодняк.
>
> Кто-то занят дубленьем, он мрачен и худ,
> Старый драный халат его ветром продут.
> Бабки пряжу прядут, молодайки меж тем
> На дырявые юрты заплаты кладут…

Мне наконец-то выделили небольшой собственный шатёр и троих воинов-камердинеров, в ведении которых находились его установка и уборка, обеспечение меня чаем и пищей, уход за моей лошадью, а также другие хозяйственно-бытовые дела. Так что в перерывах между трапезами, чаепитиями и совещаниями у Вадима я лежал в специально устроенном для меня в дальней половине шатра при помощи ковровых перегородок отдельном «кабинете» и либо читал реквизированные в одной из сельских библиотек книги, либо же изучал прихваченные там же географические карты и атласы, планируя по ним маршрут движения нашего войска на следующие весну и лето. Пока мы находились в движении, форсировали железнодорожные пути и сутками не слезали с сёдел, мне некогда было думать о том, в какие события я оказался вовлечённым и как мне быть дальше, я просто падал ночью на расстеленную в шатре Аюндая кошму и почти тут же отключался, хороня в кургане своего сна-забытья и беспокойство по поводу засосавшей меня против моей воли авантюры, и мысли о потраченных впустую сорока годах жизни, и растворяющийся в памяти, как в клубах банного пара, образ оставленной мною посреди необъятных таёжных просторов Татьяны, под сердцем которой уже пульсировал комочек

моего продолжения в этом мире. Значит, я всё-таки бесследно из него не исчезну, слава Создателю...

Что же касается моего участия в нелепой, как бред сумасшедшего, и опасной, как сон на железнодорожных путях, затее Вадима, уже год ведущего необъявленную и никем пока, к счастью, не замечаемую войну с государством, то тут я и сам до сих пор не мог понять, что для меня будет хуже — сесть на коня и немедленно бежать из лагеря, обрекая тем самым на жестокую ханскую месть и Татьяну с моим ещё не родившимся ребёнком, и ни в чём не повинных криниченцев, дома которых Вадим наверняка прикажет поджечь, или же дойти с ним до конца и быть арестованным при штурме Москвы и попытке незаконного захвата власти, отправившись в результате этого в одну из тех забайкальских тюрем, которые полтора года назад освобождали воины Вадима. Можно было ещё, правда, явиться с повинной в органы ФСБ и рассказать им о грозящей Кремлю опасности, но боюсь, что меня бы там просто не поняли. Сначала, наверное, дико бы обхохотали, посчитав за идиота, потом устроили бы допрос с пристрастием, поотбивав мне почки в попытках узнать, кто послал меня к ним с этой бредовой дезинформацией, а потом (если бы я выжил после их допросов) или отправили бы до конца жизни в психушку, или просто бы закопали где-нибудь без всякого протокола, да и дело с концом. Потому что кто сможет серьёзно воспринять такую нелепость, как весть о том, что на Москву из Сибири движется огромное многонациональное войско под предводительством Чингисхана Второго, ну кто?! Кто поверит, что оно грабит по пути сёла и посёлки, выпускает из тюрем заключённых и забирает у солдат и полиции автоматы, чтобы атаковать с ними на следующий год российскую столицу и, возможно, убить при помощи одного из них нашего любимого президента или премьера? А те, кому не хватит автоматов, будут штурмовать Москву с копьями, луками и стрелами.

Ну кто, спрашивается, поверит в реальность этих событий, если о них до сих пор не было ни прямых официальных донесений, ни рапортов, ни информации в СМИ, ни даже привычных для России слухов, подтверждающих подлинность стоящей за ними опасности? Фигушки, всё вокруг было тихо и спокойно, ни о каком новом Чингисхане никто ничего не слышал, а значит, идти в какие бы то ни было органы и доносить на Вадима и его армию было настолько бессмысленно и бесперспективно, что это ничего, кроме больших личных неприятностей, мне не сулило.

Версию же того, что его затея увенчается успехом и он станет Великим Каганом Алханайской Суверенной Буддисламской Империи, а я — её великим визирем по культуре, мною не рассматривалась. Я в это просто не верил.

19.

Однажды меня вызвал на улицу Аюндай и, указывая на шеренгу выстроившихся напротив моего шатра всадников, весело сообщил:

— Принимай командование! Перед тобой — десять лучших лучников всего войска. Якут, монгол, бурят, хакас, орочон, казах, тунгус, китаец и двое русских... Полный, так сказать, интернационал. Теперь они — твой личный отряд. Поздравляю!

— Спасибо, дорогой! Я вижу, что ребята отличные, как на подбор! — поблагодарил я сотника и улыбнулся своей гвардии: — Ну что, друзья? Будем знакомиться?..

Начали мы с того, что изготовили для меня лёгкий боевой лук и сотни полторы стрел, чтобы я мог учиться стрелять. Оказывается, среди двухсот с лишним повозок, затруднявших движение нашего войска по лесным дорогам и при переезде через железнодорожные пути, было несколько телег с хлыстом и прутьями самой разной длины и толщины, которые использовались при установке новых шатров и палаток или для замены сломавшихся опор, а также в качестве материала для оглобель, жердей для подвески котлов, для изготовления копий, стрел, луков и другого боевого и бытового инвентаря. Там и был выбран для меня полутораметровый упругий прут орешника, на который была туго натянута «кишечная струна», как мои оружейники назвали сплетённую из высушенных бараньих кишок и сухожилий тетиву. После этого у меня началась активная, наполненная ежедневными стрельбами и тренировками, которые я мысленно называл боевыми учениями, жизнь, которая на время отодвинула и мои пессимистические мысли о том, что меня ожидает дальше, и тоску об оставшейся вдалеке и в одиночестве Татьяне.

Чтобы не ранить или, не дай Бог, не застрелить кого-нибудь случайно выпущенной из лука стрелой, мы уезжали на несколько километров от стойбища и упражнялись там в стрельбе по неподвижным, а если вдруг случалось вытравить где-то из зарослей травы или кустов зайца или рябчика, то и по движущимся мишеням. По неподвижным я более-менее стрелять научился, а бегущие цели уходили от меня, в основном, целыми и невредимыми. Когда я в очередной раз упустил выскочившего прямо из-под ног моего коня ушастого зайца, я пришёл к гениальному решению.

— Отныне, — сказал я неотлучно едущим за мною десяти воинам, — ваши стрелы должны лететь туда же, куда и моя. Куда бы и в кого бы я ни выстрелил, куда бы ни послал свою стрелу, вы тут же, ни секунды, ни даже доли секунды не раздумывая, немедленно пускаете свои стрелы вслед моей, понятно?..

Отданным в моё распоряжение нукерам не было необходимости объяснять что-то дважды,

они усваивали мои приказы мгновенно и навсегда. Поэтому дальше наша совместная охота пошла немного успешнее, чем до этого, хотя я всё равно выхватывал и заряжал свой лук не настолько быстро, чтобы успеть поразить убегающую или улетающую дичь, и потому стрелы моих учителей всё чаще и чаще начали не догонять мою, а значительно опережать её и настигать цель гораздо раньше, чем я вложу свою стрелу в тетиву и выпущу её из лука. Видя это, я махнул рукой на свои попытки добиться такого же совершенства и отдал отряду другое распоряжение. Впредь, сказал я своим лучникам, они должны самым внимательным образом следить за моей правой рукой, и едва только я укажу ею на какую-то цель, немедленно, в то же мгновение, поражать её своими стрелами. И всё последующее время мы отрабатывали с ними именно эту тактику. Во время езды отряд старался держаться так, чтобы быть либо немного позади меня, либо чуть с боков и иметь возможность видеть движения моей правой руки, поэтому стоило только мне выбросить её вперёд и указать на что-то нацеленным указательным пальцем, как туда немедленно устремлялись десять не знающих обратного хода стрел, от которых в застывшем осеннем воздухе надолго повисала звенящая нота смерти.

Мы довели этот приём до автоматизма, я тыкал указательным пальцем то вправо, то влево, и не успевал я ещё опустить руку, как стрелы уже жадно неслись в заданном направлении и впивались в указанную мною лучникам цель. Потом я надолго как бы забывал о нашей игре, мы просто ездили по окрестностям, беседуя о разных породах лошадей, видах птиц, зверей и способах охоты на них, а потом я, словно бы случайно, протягивал руку вперёд и, указывая пальцем на какой-нибудь бугорок или кустик вдали, спрашивал своих спутников, что это там такое: не фазан ли? Но не успевал я произнести до конца свой вопрос, как десять сорвавшихся с тетивы звонко поющих пчёл уже вонзали свои жала-наконечники в избранную моею вытянутой рукой мишень.

Осень истощала последние из отпущенных ей запасов тепла, в горах всё отчётливее пахло приближающимся снегом, небо глядело угрюмо и жалостливо, но изменить круговорот времён года было не властно и оно. Мы пользовались последней возможностью порыскать по округе и поохотиться на какую-нибудь дичь, чтобы хоть немного облегчить тем самым заботу кашеварам о пропитании войска.

Вдоволь наездившись по жёлтым от высохшей травы сопкам, мы подстрелили в кустарниках на небольшом плато двух фазанов и одного повстречавшегося нам в распадке джейрана, после чего решили не таскаться с подстреленной дичью по холмам, а вернуться в лагерь и приготовить из неё вкусный ужин. В разрывах тяжёлых свинцовых туч показало своё круглое медное лицо предзимнее солнце, и, чувствуя на себе милость самого Тенгри, мы расслабленно ехали по круглобоким тучным сопкам, ведя неспешный разговор на всякие охотничьи и жизненные темы. Находясь на полкорпуса впереди отряда, я, не переставая участвовать в беседе, внимательно оглядывал расстилающиеся перед нами просторы, боясь прозевать какую-нибудь очередную добычу. И я действительно чуть было её не прозевал, потому что потревоженный нами заяц—а на этот раз это был именно заяц,—пока бежал, был незаметен мне в высокой сухой траве, и я увидел его лишь тогда, когда он остановился и, встав на задние лапы, замер, настороженно разглядывая столь бесцеремонно потревоживших его отдых существ.

— Смотрите, это там заяц или тушканчик?—остановил я коня, обращаясь к своим спутникам.

— Где? Где?—не поняли они.

— Ну вот, метрах в тридцати впереди и немного вправо… рядом с камнем… видите, столбиком стоит? Как игрушечный… Заяц, кажется.

— Это там, где сухой куст?

— Да нет, совсем в другой стороне! Правее! Где серый валун.

— Вон там, на сопке?

— Да нет же, вон где!—не выдержал я и, вытянув вперёд руку, показал указательным пальцем на застывшего, как часовой у мавзолея, зайчишку.

И в то же мгновение мои спутники решительно вскинули всегда готовые к стрельбе луки, и в указанном мною направлении ринулась пружинистая стая поющих стрел.

Тронув коней, мы поскакали следом и через два десятка шагов остановились возле подстреленного зайца. Спрыгнув на землю, я поднял тушку убитого нами зверька и машинально пересчитал торчащие из него стрелы. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять… Одной не хватало. Я оглядел близлежащее пространство, думая, что один из стрелявших случайно промахнулся и стрела торчит где-нибудь поблизости из земли. Но в окрестностях пяти шагов ничего не увидел.

— Кто-то один не стрелял?—спросил я, глядя на пронзённого стрелами зайчишку.

— Это я,—раздался голос за нашими спинами, и, оглянувшись, мы увидели застывшего метрах в десяти от нас с виновато понуренной головой Харатая.—Я не стрелял.

— Почему?—непонимающе вскинул я брови.—Что тебе помешало это сделать?

— Ничего. Просто мне стало жалко зайчишку. Он стоял перед нами такой весь беззащитный, глупый…

— Это ты глупый, если вместо выполнения приказа распускаешь тут ненужные сопли. А если бы, пока

ты вытирал слёзы, заяц выхватил из-за спины АКМ да перестрелял нас всех? А?..

Сгрудившиеся вокруг меня воины дружно захохотали, а я, повернувшись к ним, добавил:
— Вспомните, о чём мы договорились! Мои приказы — должны выполняться немедленно и беспрекословно. Едва я указал пальцем на какую-то цель, как ваши стрелы уже должны в неё вонзиться. Смех смехом, а иной раз промедление может обернуться смертью. Запомните это все и не будьте как он, — и я ткнул пальцем вытянутой руки в понуро молчащего в отдалении Харатая.

Признаться, я и сам не сразу понял, что произошло. Я только успел услышать, как взвизгнули от восторга вытолкнутые тетивами стрелы, и увидел, как тело провинившегося лучника дёрнулось в седле и как он запоздало вскинул руку, пытаясь защитить себя от жужжащего осиного роя, а потом согнулся и, медленно заваливаясь на правый бок, рухнул с седла на терпко пахнущую засыхающими травами землю.

Подъехав к лежащему возле ног своего коня товарищу, мы в абсолютном молчании застыли над его телом, глядя, как вокруг торчащих из его тела стрел расплываются по одежде девять кроваво-алых кровяных маков. Восемь стрел попали в область груди и живота и довольно глубоко вошли в тело, а одна впилась ему в левое плечо, чуть повыше сердца, так что оказывать какую-либо помощь было абсолютно бессмысленно. Оставалось только выразить сожаление о случившемся да сделать из него соответствующие выводы, чтобы завтра это не произошло снова.
— Я не хочу, чтоб такое случилось с кем-нибудь из вас ещё! — сказал я, собравшись с духом. — Поэтому пусть эта трагедия послужит для каждого уроком. Никаких колебаний при выполнении своего долга! Никаких соплей! Я указал — вы стреляете. И старайтесь поступать так, чтобы не повторить судьбу Харатая...

Выкопав ножами неглубокую могилу на вершине сопки, мы опустили в неё нашего нелепо погибшего соратника, положили рядом с ним лук и колчан со стрелами и, засыпав землёй, водрузили сверху большой плоский камень. Вокруг стояла пахучая степная тишина, тихо шуршали на ветру высокие сухие травы, да кружил в вышине над нами крестообразный коршун. Постояв несколько минут в раздумье над свежей могилой, мы сели на своих лошадей и, ведя в поводу опустевшего жеребца Харатая, в молчании направились в сторону лагеря.

В становище уже полным ходом готовились к ужину — разжигали костры, вешали над ними казаны, бросали в кипящую воду лапшу и мясо. Те, кому удавалось днём удачно сходить на охоту, разделывали подстреленную ими дичь и жарили на вертелах собственноручно добытых зайцев и куропаток, другие варили себе еду из полученного в обозе провианта или же просто набирали в свои котелки и тарелки порции готовой пищи из общих котлов. И возле каждого шатра или палатки всегда висел над огнём котёл с крепко заваренным горячим чаем.
— Здравствуй, сосед! Я вижу, ты удачно съездил на охоту! — первым из всех встретился мне в становище сотник Пурген, вклинивший свою огромную армейскую палатку между моим шатром и шатром Вадима и оказавшийся вследствие этого в числе моих ближайший соседей. — Хорошую косульку завалили, поздравляю... А куда у тебя подевался ещё один воин? Их же у тебя утром десять было, — кивнул он на опустевшее седло лошади Харатая.
— Несчастный случай, — ответил я, не желая вдаваться в подробности.
— С лошади, что ли, упал? Или как?
— С лошади, — нехотя кивнул я.
— Это бывает, — недоверчиво щурясь, согласился Пурген. — На охоте надо быть очень внимательным, особенно верхом.

Ничего не ответив, я проехал к своему шатру, передал лошадь встретившим меня камердинерам, умыл над тазом лицо и руки и вошёл в жилище. Сотник Пурген был тем единственным во всём войске человеком, с которым у меня сразу же установилась необъяснимая, непреодолимая и, похоже, взаимная антипатия.

Первый раз я увидел его на стоянке, которую мы устроили после паромной переправы через Обь возле городка Колпашево, поджидая прибытие основного войска. Тогда ещё в заброшенной деревне убило током сотника Лёшку Иркутского. И когда через несколько дней Вадим догнал нас на стоянке с форсировавшим вплавь Обь войском, ко мне в тот же день подошёл высокий бритоголовый парень с острым носом (я ещё тогда подумал, что он очень похож на артиста Гошу Куценко, которого я несколько раз видел по телевизору) и довольно грубым тоном потребовал объяснить, что стало с его другом Лёхой.
— Мне сказали, что ты имеешь отношение к его смерти. Объясни, как он погиб, — потребовал он.
— Я не имею отношения к его смерти, — сказал я, сдерживая себя, чтобы не отвечать грубостью на грубость. — Я видел его всего два раза. Первый раз он показывал нам с Аюндаем обнаруженную в конце долины пустую деревню, а второй — утром следующего дня, уже мёртвым. Он взялся там за какой-то оборванный провод, и его убило током. Так что я тут ни при чём.
— Мне сказали, что ты там всюду рыскал, а потом рассказал эту сказку про ток. А на самом деле это был всего лишь кусок ни к чему не подсоединённого провода. Откуда там мог взяться ток? Ты что, меня за дурака держишь?

Я видел, что он наливается слепым гневом, и постарался перевести разговор в менее конфликтное русло. Мне не нравился тон, каким он со мной разговаривал, но и затевать с ним ссору мне тоже не хотелось. Всё-таки я был тут пока ещё чужаком, и, случись между нами драка, ордынцы были бы явно не на моей стороне.

— Мне тоже непонятно, как это могло случиться. Мы с Аюндаем узнали о его смерти только утром и сразу же прибыли на место его гибели. Там действительно нет электричества, я осмотрел все столбы — провода повсюду обрезаны. Болторхой говорит, что это духи мёртвых наказали его за то, что он нарушил их покой. Там, рядом с деревней, находится древний могильник…

— Ты что, думаешь, я поверю, что его задушили проводом духи? Ты за кого меня принимаешь?

— Послушай, я ни за кого тебя не принимаю, я просто говорю тебе то, что знаю о смерти твоего друга. Чего ты от меня хочешь? Я его знать не знаю, и если бы не этот случай, то и до сих пор бы не знал!..

— Что тут вас за спор? Чего расшумелись? — вышел из шатра на шум наших голосов Аюндай. — Марат, тебе чего?

— Ничего! — зло бросил Пурген. — Доброй ночи пришёл сказать! — и, раздражённо хлестнув лошадь, развернул своего коня и ускакал прочь.

— Чего он хотел? — повернулся ко мне Аюндай. — Из-за чего вы поссорились?

Я молча пожал плечами.

— Он почему-то считает, что я виновен в смерти Лёшки Иркутского. Того, что погиб на днях в заброшенной деревне. То ли его там током убило, то ли задушили куском провода. Похоже, кто-то ему сказал, что это сделал я.

— Чушь собачья!

— Ну да, ты ведь знаешь… А он кто, собственно, такой?

— Сотник. Марат Девятов. Но за глаза его все зовут Пургеном, за то, что он всё время пургу гонит. Вечно ему всё не так, всё плохо и все вокруг виноваты. Ты не обращай на него внимания, а если что — скажи мне, и я с ним поговорю.

— Да ладно, — пожал я плечами. — Фиг с ним…

После этого у нас было ещё две или три мимолётных стычки по каким-то абсолютно не значащим поводам, и один раз он настучал на меня Вадиму за то, что я или кто-то из моих людей якобы ходит по ночам справлять малую нужду под ханскую палатку. Я видел, что он откровенно ищет повода для ссоры, старается настроить против меня Вадима и других сотников, но старался никак не отвечать на его выпады и провокации. Не хватало ещё в этой и без того непростой ситуации осложнить себе жизнь враждой с каким-то дебилом.

И вот сегодня он напомнил о себе снова. Я чувствовал, что состоявшийся только что разговор ещё будет иметь какое-то продолжение в дальнейшем, но только не мог пока предположить, какое…

20.

После ужина Вадим прислал за мной адъютанта и пригласил зайти в свой шатёр. Когда я вошёл, он сидел за низеньким столиком для чайных церемоний и наливал себе в чашку чай. На долгой стационарной стоянке, где хрупкой и нежной посуде не угрожала езда по тряской лесной дороге, мы наконец-то могли позволить себе пить чай не из эмалированных кружек, а из тонких фарфоровых чашек, и перед Вадимом сейчас стоял замечательный чайный сервиз персон на двенадцать, подаренный ему недавно приезжавшей к нам китайской делегацией.

— Присаживайся, — кивнул он на место напротив себя и, взяв одну из чашек, собственноручно налил мне чаю. — Как твои успехи в овладении стрельбой из лука? Говорят, ты подстрелил сегодня сайгака?

— Джейрана. Только не я, а мои ребята. Я пока ещё научился попадать лишь в неподвижные мишени. Да и то не всегда.

— А как взаимоотношения с отрядом? Всё нормально?

— Да ничего. Люди меня слушаются, мы отлично ладим.

— Я слышал, что ты отпустил куда-то одного из своих лучников. Кое-кто опасается, что ты мог отправить его с донесением властям, чтобы рассказать им о цели нашего похода и сообщить место нынешнего нахождения. Что ты на это скажешь?

— Я знаю, кто этот опасающийся. Он невзлюбил меня с первой минуты, хотя я и не пойму почему. Ну да, у меня сегодня действительно стало на одного воина меньше, это, к сожалению, так. Я сам не могу понять, как это случилось, но во время нашей охоты на зайца молодой хакасский лучник Харатай оказался вдруг на линии огня и был убит одной из выпущенных по зайцу стрел. Он вроде хотел отрезать ему путь и, обойдя сопку, выскочил с другой её стороны прямо под выстрелы своих же товарищей… Абсолютно нелепая смерть, мы все были просто в шоке, но ничего уже поделать невозможно. Одна из стрел пробила ему большую аорту, так что сам понимаешь…

— А где тело?

— Мы его похоронили на вершине сопки, положили сверху большой камень, я могу показать, если хочешь. Мне нет смысла доносить на тебя. Зачем? И что я могу сообщать? Что ты собрал людей и разбил в Чингисских горах лагерь? Мало ли у нас людей занимается диким туризмом! Мы же с тобой уже говорили на эту тему, я всё помню и не хочу навлекать беду ни на Танюшку, ни на Криниченск. Притом мне уже и самому интересно увидеть, что из всего этого получится. На первый взгляд, всё это чистейшей воды бред

и полная авантюра, этого вообще не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но ты прошёл со своим войском уже половину страны, напал на сотни сёл и деревень, пересёк огромные территории, освободил две или три тюрьмы, спалил здание отдела полиции, форсировал Обь и Транссиб, прокатился волной по Алтаю, вторгся на территорию сопредельного государства, а никто ничего не видит. Как такое может быть?! Я до сих пор не могу поверить, что это явь, а не сон. Просто голова раскалывается…

— Я же тебе уже говорил, что в сегодняшней России нет государства, нет реальной власти. Страна как таковая есть, а государства как согласованной и чётко действующей системы — нет. Есть миллион отдельных государственных чиновников, но они только называются государственными, а по сути — звеньями единой, общей цепи не являются. Они должны сигнализировать о малейших сбоях в работе государственной системы, а они озабочены единственно тем, чтобы как можно дольше сохранить свои должности и вытекающие из них дивиденды. Поэтому они замалчивают информацию об эпидемиях в своих районах, скрывают факты межнациональных конфликтов, утаивают масштабы лесных пожаров, делают вид, что у них нет безработицы, наркомании, преступности, не растёт детская смертность, не падает прожиточный минимум и не вымирают деревни. Для них главное заключается не в том, чтобы исправить негативную ситуацию, а в том, чтобы о ней, не дай Бог, не узнали наверху! Маразм, но он прекрасно устраивает и тех, кто находится выше по иерархической лестнице. Если нет сообщений о пожарах, то не надо поднимать дорогостоящие вертолёты на их тушение. Если нет эпидемий, то не надо закупать импортные вакцины для лечения заболевших. Если нет наркомании, значит, не надо с ней бороться. И, стало быть, все эти не израсходованные на государственные дела деньги можно «распилить» и пустить на свои собственные прихоти. На дворцы в Испании и на Рублёвском шоссе. На отдых с девочками в Куршавеле. На покупку яхты километровой длины. На привезённую из-за границы в качестве наложницы чернокожую топ-модель, на раскрутку безголосой, но сисястой певички, на приобретение пентхауса в Майами и другие дорогостоящие забавы. Поэтому первой реакцией этих людей всегда будет стремление скрыть любое случившееся на подвластной им территории происшествие, сделать вид, что у них всё в полном порядке и всё под контролем. Только бы их не сковырнули и не отлучили от государственного пирога. Поэтому они никогда не пошлют наверх информацию, которая поставит под сомнение их умственную полноценность. А сообщение о вторжении армии Чингисхана — именно из этой категории.

— Так что же ты тогда усомнился в моей полноценности? Я что, дал для этого какие-то основания?

— Мне — нет, а вот Пургену, кажется, да. Он почему-то уверен, что ты хочешь погубить меня. Навести на нас ментов и солдат. Но это ведь не так?

— Зачем мне доносить на тебя? Ты ведь сам говоришь, что этому никто не поверит. Мне, видно, судьба пройти с тобой весь этот путь. А там — как Бог даст…

Поднеся чашку ко рту, я вдруг на мгновение замер и потом медленно повернул голову к Вадиму. Передо мной словно расступилась сизая дымка, и стало видно то, что таилось за нею раньше.

— Слу-у-у-ушай, — протянул я, осенённый внезапным прозрением. — А ты помнишь, какая у Пургена фамилия?

— Фамилия? — переспросил он. — Нет. А что?

— А то, что его фамилия — Девятов. Марат Девятов. А теперь вспомни, о чём тебя предупреждал в пещере дух Чингисхана! Ну? Чего тебе стоит опасаться?

— Числа «девять»… Девятки… Девятова? — он ошарашенно уставился на меня широко открытыми глазами.

— Вот… Теперь всё становится ясно. И то, зачем он всё время старается поставить свою палатку поближе к твоему шатру, и то, зачем стремится вбить между нами клин недоверия, посеяв эти дурацкие подозрения… Похоже, ему просто надо оттереть меня от тебя, оставить тебя в одиночестве, чтобы потом легче было выполнить свой замысел.

— Но зачем? С какой целью?

— Целей может быть много. Во-первых, занять твоё место и самому стать Великим Ханом. Думаешь, этого мало?.. О-го-го! Во-вторых, он может тебе за что-нибудь мстить. Допустим, ты увёл его с собой силой, а он не хотел этого…

— Со мной находятся только единомышленники и добровольцы. Единственный человек, кого я увёл против его воли, это ты. И то лишь потому, что мне очень захотелось, чтобы ты был рядом.

— А ты помнишь, как Пурген появился в твоём войске?

— Кажется, он присоединился к нам после освобождения одного из забайкальских лагерей… Точно, я вспомнил! Он остался с нами после нападения на лагерь строгого режима, активно проявлял себя при реквизициях, и я назначил его вскоре сотником.

— В подчинении сотника — сто человек?

— Первое время — да. Потом отряд может разрастись за счёт новых людей. Кто-то хочет служить в команде именно этого человека и вступает к нему в отряд. Под началом Аюндая, например, сейчас находится уже восемь тысяч человек. У Шойбона насчитывается около трёх с половиной тысяч сабель. У Лихоноса — полторы. Наверное, было бы

правильнее называть их туменами, но сотник както привычнее. Просто у некоторых в подчинении не одна сотня воинов, а несколько. Пять сотен, десять, пятнадцать…

— А у Пургена?

— У него около трёхсот всадников. Сначала они мне даже понравились: всё время рвались вперёд, старались отличиться — в общем, вели себя молодцами. Это они один раз прорвались под огнём ментовских автоматов к их отделению, подпёрли бревном дверь и забросали здание факелами… Но потом мне сказали, что они жестоко ведут себя по отношению к местным жителям, устраивают ненужную пальбу, пытаются насиловать баб, поджигают скирды сена, и я перестал посылать их на реквизицию. У меня полно других людей, которые правильно понимают поставленную мною задачу и не создают ненужных проблем.

— Тогда, кажется, всё понятно. Это махновец. Ему совсем не нужна Москва. Ему нужны только грабежи, пальба и насилие. А ты этого не позволяешь. Значит, тебя надо убрать и самому занять твоё место. Вот он и подбирается. А я оказался лишней помехой на его пути, вот он и пытается меня устранить. Или хотя бы дискредитировать в твоих глазах…

— Похоже, что так.

— И что ты намерен делать?

— Я подумаю. Ты продолжай заниматься своими делами, а я разберусь с ним сам.

21.

Перед рассветом выпал восторженный первый снег, и, выйдя утром из шатра на улицу, я аж остолбенел от плеснувшего мне в глаза ослепляющего, как неожиданное счастье, света. Первый снег почему-то всегда выпадает под утро, как будто специально для того, чтобы открывающаяся взору белизна была тысячекратно усилена эффектом неожиданности и резкого контраста с чернотой только что завершившейся ночи, благодаря чему и переход от хмурой унылой осени к чистой и праздничной зиме не оставался бы незамеченным. Ни глаза, ни душа человека не в состоянии проигнорировать это полыхающее нестерпимой чистотой сияние, силящееся напомнить нам то ли о ждущем где-то за облаками рае, то ли о потерянной в жизненной толкотне и суматохе совести.

Замерев на пороге шатра, я счастливо прищурился от разлитой вокруг становища невыносимой белизны, бесшовно соединяющейся на вершинах сопок со стерильным, как стены операционной палаты, небом. Откуда-то из потаённых уголков памяти сами собой вынырнули и зазвучали во мне строчки читанного когда-то в одном из реквизированных журналов самобытного самарского поэта Евгения Семичева:

В поле чисто, как после набега.
И ничем не могу я помочь.
Сколько чистого юного снега
Полегло за одну только ночь.

Не дождавшись зелёного лета,
Неуютной холодной зимой
В поле целое полчище света
Пало в смертном побоище с тьмой!

С приходом зимы, когда снег закрасил на почве вокруг наших жилищ раны, нанесённые ей работами по устройству лагеря, и придал разбросанным по всей долине шатрам, палаткам и юртам признак какой-то неоспоримой исконности существования, стало казаться, что наше становище было основано здесь уже не одну тысячу лет назад. Для полноты ощущения не хватало только обширного ветхого кладбища по соседству с лагерем, свидетельствующего о древности проживающих здесь родов, но и ему уже было положено начало могилой Харатая.

Зима принесла с собой спокойствие и глубину размышлений, наполнила жизнь медлительностью быта, вселила в душу терпение и ожидание. Иногда я целыми днями валялся на кошме и читал стихи, выползая на свет Божий лишь для того, чтобы поесть сваренной моими помощниками пищи или выпить чаю, а иногда собирался и выезжал со своим отрядом в отдалённые места поохотиться на зайцев или просто потренироваться в стрельбе из лука. Мы отработали внедрённую мною «тактику нацеленного пальца» до совершенства, и теперь я мог не сомневаться в том, что если вдруг укажу вытянутой рукой на мать любого из членов моего отряда, то его стрела не отстанет от стрел остальных воинов ни на одну секунду.

Оставаясь наедине со своими мыслями, я всё чаще и чаще задавался вопросами о том, почему никто не пытается остановить войско Вадима и что толкает людей к тому, чтобы вливаться в его ряды и идти штурмовать Москву. Не их ли отцы и деды ещё совсем недавно распевали со счастливыми улыбками на лицах песенку Лебедева-Кумача: «Страна моя, Москва моя — ты самая любимая»? И делали они это, надо признать, с абсолютно искренней любовью к советской Родине и её столице. Так отчего же столь разительно изменилось отношение к Москве у их детей и внуков?

— Однако, Москва перестала быть нам матерью. Совсем мачеха стала. Думает только о себе, любит только себя, кормит только себя. Великий Хан Вадим — это новое сердце для Москвы. Новая Москва опять будет нам матерью, — после трёхминутного размышления ответил мне как-то на вопрос, почему он пошёл с Вадимом, самый пожилой из членов моего личного отряда — пятидесятипятилетний орочон Тукарчэ.

Думая над этими его словами, я, кажется, начал понимать, что же произошло в действительности

и почему любимая вчера ещё всеми народами столица российской державы стала вдруг восприниматься ими как бесчувственная мачеха. Всё дело в отсутствии любви, а точнее — в её внезапном исчезновении. Если оглянуться на доперестроечные годы, то нельзя будет не увидеть, что, несмотря на все «перегибы», ошибки и откровенную судьболомность минувшей эпохи, советская власть во все годы своего существования усиленно культивировала в своих гражданах с помощью стихов, песен, романов и кинофильмов высокое чувство любви к Родине, в котором неразрывно соединялись любовь к её вождям, отцу и матери, возлюбленным, детям, внукам, семье и дому… И эта любовь перевешивала собой и страх репрессий, и самодурство партийных и государственных чиновников, и вечное недоедание, и бесконечный труд на пятилетках века, и карточную систему, и пожизненные квартирные очереди, и все прочие грехи и недостатки тогдашней политической системы. А вот в наступившей после развала СССР эпохе реставрации капитализма места для любви не оказалось. Она вдруг как-то сразу и напрочь выветрилась из системы нравственно-идеологических координат нашего обновлённого государства, оставив вместо себя лишь унылую пустую тоску и обессмысленность существования. Произошло примерно то же, что и с творчеством модного в последние годы писателя Захара Прилепина, первый роман которого, «Патологии», был переполнен стрельбой, дымом, кровью и другими малохудожественными сценами военных жестокостей, не несущими сами по себе никакой самоценной идеи, но за ними то и дело всплывали в воспоминаниях главного героя расплывчатые эпизоды оставшейся где-то далеко высокой и чистой любви, и именно эта-то любовь единственно только и уравновешивала собой всё воспроизводимое в романе насилие, придавая смысл тем иссушающим душу испытаниям, через которые автор решил провести своего героя. Однако в последующих романах Прилепина я такой любви больше не увидел, и, лишившись той светлой силы, что хотя бы как-то компенсировала собой цинизм окружающей жизни, его романы тут же превратились в безжизненно-плоские политические агитки. Собственно, не о том ли писал когда-то в своём Первом послании к коринфянам и апостол Павел? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая и кимвал бряцающий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто».

Вот в такое раздражающее всех ничто превратилась за два последних десятилетия и горячо любимая ранее жителями советской страны белокаменная Москва, всеми силами удерживающая сегодня сосредоточенную в её руках всероссийскую власть, помогающую регулировать не только денежные потоки, но и не менее важные кадровые вопросы.

— Москва совсем чувство меры потеряла. Со всех трибун говорит о демократии и суверенитете, а на деле не даёт регионам самостоятельно решить ни одного вопроса, особенно что касается распределения прибылей, — услышал я как-то разговор возле одного из пылающих на снегу костров. — Всё, что мы зарабатываем у себя в глубинке, мы должны отдавать в Москву, а потом дожидаться, какие крохи из наших же денег она нам выделит. А она ох как не любит расставаться с деньгами, ей это хуже смерти!

— Ну ещё бы! Надо же всем чиновникам виллы в Испании построить, летом слетать на Канары, а зимой — в Альпы! Для этого и бюджета всей страны мало. А вам в регион деньги отправишь — так вы их там, по своей провинциальной глупости, на постройку каких-нибудь больниц потратите или детсадов налепите… На какие шиши им потом в Куршавеле с девчонками кувыркаться?.. — с сарказмом в голосе заметил высокий бородатый казак в перетянутом ремнями овчинном тулупе и чёрной лохматой папахе.

— Москва сейчас стала городом олигархов. Там теперь одни миллионеры живут. Даже шоссе, где они понастроили себе дворцов, называется Рублёвским.

— Уж лучше бы сразу — Долларовым. Они ведь свои миллионы в долларах держат, им наши рубли западло даже в руки брать.

— Ничего, брат, берут. Кривятся, но берут. Москва всему научит.

— В Москве оно, конечно, получше, чем в Нерчинске или Акатуе! Вот они там и селятся все вокруг Кремля. Поближе к банкам и к власти.

— Ну не скажи! Вон Абрамович то на Чукотке живёт, то в Лондоне. Он себе в любом месте может собственное Рублёвское шоссе протянуть и собственный Кремль построить. И на фига ему эта Москва сдалась?

— Кому сегодня быть Абрамовичем, это тоже Москва решает. Так что он только вид делает, что такой умный и заработал все свои миллионы сам, а на деле — что кому Москва разрешит украсть, только то и украдёшь. Да и то потом половину назад отдашь, если не больше. Ходорковский вон этого не понял — и теперь сидит. И, похоже, долго ещё будет сидеть, чтобы другие видели и понимали. В Москве с этим строго, власть строптивых не любит.

— Вот мы этот порядок и поменяем, — подвёл черту под этой стихийно возникшей дискуссией высокий казак в папахе. — Не век же Москве пупом земли быть, пора и Могоче с Борзей поцарствовать! — и, разгребая ножнами жар на окраине костра,

начал выкатывать из него чёрные испёкшиеся картофелины…

…А ещё всё это время я постоянно думал о Таньке. Пока мы продвигались по заброшенным таёжным дорогам, переваливали через железнодорожные и автомобильные магистрали, лавиной катились по Алтаю и необъятным просторам Казахстана, а потом обустраивали свой лагерь и занимались отработкой боевой тактики, освоением приёмов стрельбы из лука и охотой, у меня не оставалось на личные переживания ни сил, ни эмоций, ни времени; но с выпадением снега жизнь становища наполнилась покоем и статичностью, улёгшийся в долинах и на сопках снег сделал верховые поездки весьма затруднительными, а начавшиеся вскоре метели и вовсе загнали всех в шатры и палатки, так что времени для тоски и раздумий появилось с избытком. Зима — это вообще пора философии, время для размышлений о главном и осмысления прожитого, а если ты к её приходу ещё и оказываешься в разлуке с самым нужным тебе человеком, тогда от всплывающих в подсознании картин и воспоминаний и подавно никуда не деться… И стоило мне только остаться одному и закрыть на мгновение глаза, как я снова оказывался рядом с Татьяной — то на берегу резво скачущей по камням речки Бугаричи, то на пустынных вечерних улицах занесённой снегом Читы, а то и в прогретой забайкальским солнцем маршрутной палатке. Но чаще всего я видел её в Криниченске — сидящей на скамейке в предбаннике тёткиной бани, в небрежно наброшенной на плечи белой простынке, сквозь которую с возмутительной дерзостью просвечивают переспелые вишни сосков.

Жизнь одинокого мужчины может очень долгое время протекать в координатах эгоистической самодостаточности, удовлетворяясь профессиональной и творческой самореализацией, достижением каких-то бытовых или карьерных целей, а то и просто традиционными холостяцкими забавами вроде пресловутых футбольных страстей, походов по девчачьим общежитиям или торчания с друганами-собутыльниками в ближайшем пивбаре. Но когда в его жизнь приходит настоящая любовь, то всё вдруг стремительно и бесповоротно меняется, вчерашние радости начинают казаться примитивным мальчишеством, а им на смену приходит возносящее к самым небесам ощущение блаженства. Причём это ощущение проистекает не оттого, что ты получил в своё обладание нечто заветное и приносящее тебе физическое удовлетворение, а оттого, что ты теперь сам можешь дарить счастье кому-то другому. Прожив четыре десятка лет одинокой холостяцкой жизнью, я вдруг впервые узнал, какая это сладость — иметь возможность сделать счастливым живущего рядом с тобой человека! Там, рядом с Танькой, в тихом криниченском домике с шатким плетнём и невысокой банькой в конце огорода, я испытал необъяснимое наслаждение оттого, что могу забить гвоздь в стену, поправить покосившуюся калитку, наколоть дров для печки, вскопать огород или принести в дом воды от колодца. Оказалось, что давать — тысячекратно приятнее, чем брать, и я всё время что-то делал и делал по хозяйству, стараясь вызвать счастливое свечение в глазах своей любимой, а уж когда сибирская ночь занавешивала непроницаемо-чёрной шалью небосвод, так что на нём оставались видны только сочащиеся сквозь проточенные молью дырочки слепящие точечки потустороннего света, которые мы называем звёздами, тогда я отдавал Таньке всё, что не дал ей за все годы наших предыдущих невстреч и разлук. И, честно говоря, я не знаю, есть ли в мире более острое для мужчины чувство, чем видеть, как с каждым приходящим в дом утром всё сильнее наливается счастливым светом лицо твоей любимой женщины…

И вот теперь она снова была оставлена мною одна, неизвестно на какое время, да ещё и в таком положении, когда женщину и на день нельзя оставлять без мужской поддержки и помощи! А самое обидное, что пока она там донашивала в себе моего ребёнка, моего будущего сына (а я и минуты не сомневался, что у меня будет именно сын), я здесь валялся без дела на кошме, пил целыми днями чай и не мог ей помочь не только делом, но даже и словом, так как мобильники здесь из-за отсутствия сети не работали, а почта была далеко, да мы ею, честно говоря, и не пользовались, чтобы как-нибудь ненароком не вызвать к себе чей-то ненужный интерес.

А между тем, по моим подсчётам, в январе Татьяна уже должна была родить, и меня очень беспокоило то, что в этот важнейший для нас день меня не будет с ней рядом. А главное — что в моё отсутствие моему сынишке могут дать совсем не то имя, которое дал бы ему я. А я хотел дать ему имя Сергей, в честь великого святого Руси — Сергия Радонежского, благословившего войско Димитрия Донского на Куликовскую битву. Или же имя Дмитрий, в честь самого князя Димитрия, разгромившего Золотую Орду и обратившего в бегство Мамая. Я ещё не сделал окончательного выбора между двумя этими красивыми русскими именами, я думал, что стоит мне только будет один раз взглянуть на малыша, и он сам даст мне понять, какое из двух этих имён — его. Вот только как мне на него взглянуть, если между нами две тысячи вёрст и тёмная тайна беззакония, которая пудовыми веригами сковывает каждый мой шаг, принуждая хорониться среди заваленных снегом Чингисских гор и даже не помышлять о скорой встрече с любимой?!

Но я помышлял. Каждую ночь я чуть ли не до рассвета думал о Татьяне и нашем будущем малыше. Я почти совсем перестал спать, очень мало ел и целыми днями пил только чай. Я не появлялся на улице, забыл о своём верном отряде, не выезжал на охоту и не устраивал стрельб из лука, так что, в конце концов, даже пришедший позвать меня в свой шатёр на встречу Нового года Вадим долго и пристально вглядывался в мой похудевший облик, а потом не выдержал и спросил:

— Слушай, ты, часом, не заболел? На тебе просто лица нет. Может, Пурген опять придирается? Так я на него найду управу.

— Нет, Пурген ни при чём,—вяло ответил я.

— Тогда в чём дело? Мои советники не должны иметь вид мучеников. Скажи, что тебя тревожит, может, я смогу тебе чем-то помочь…

И я с минуту поколебался, а потом вдруг взял и всё ему рассказал.

— Я хочу увидеть своего сына,—сказал я в конце.—Кто знает, что нас ожидает впереди? Может, нас скоро перевешают на московских фонарях. А так я хоть буду знать, кто вместо меня останется в этом мире. Для меня это не менее важно, чем для тебя взятие Москвы.

— Для меня это тоже важно,—признался вдруг Вадим.—Старейшины говорят, что я должен жениться на китайской принцессе, тогда они проведут на горе Чингиса обряд наречения меня Великим Ханом. Поднимут на белой кошме и официально закрепят за мной имя Чингисхана Второго.

— А где ты возьмёшь китайскую принцессу?

— За ней уже отправилась делегация. Точнее сказать—посольство. Недели через три должны будут сюда привезти. А там наготовим кумыса и справим свадьбу. Будут наши старейшины и представители китайского императорского рода. Так что я хотел бы, чтоб ты до конца января не уезжал. В крайнем случае—до начала февраля. Выдержишь?

— Татьяна уже на днях должна родить… А если твою невесту к февралю сюда только доставят, то сам прикинь, сколько займёт подготовка к свадьбе, пир и все дальнейшие церемонии. В середине февраля нам уже надо начинать обдумывать детальный план похода и готовиться к нему, так что куда я в этой ситуации поеду? Выехав в феврале, я не успею возвратиться к выступлению. Ты ведь не хочешь, чтобы я отстал от войска?

Несколько минут Вадим молча прохаживался по шатру, мягко ступая красными остроносыми сапогами по расстеленным по полу коврам и о чём-то думая.

— Ладно,—остановившись недалеко от входа, сказал он.—Встретим сегодня Новый год, и можешь отправляться. Я скажу Токтонбаю, он выдаст тебе денег на дорогу и даст провожатого. В Карауле оставишь у наших людей лошадь и доедешь автобусом или на частнике до Семея. Оттуда, как мне сказали, ходит автобус по маршруту Семей—Новосибирск—Томск. Между ними полторы тысячи километров, это часов двадцать с лишним езды, но зато не нужны документы. Так же вернёшься и назад. А если захватишь дома свой паспорт, то обратно сможешь вылететь самолётом или поехать поездом. Только в первой декаде февраля прошу тебя быть в лагере. Ну и… ты ведь понимаешь, что если ты не вернёшься назад, то я просто обязан буду принять какие-то меры. Пурген ведь в лагере не один, найдутся и другие бдительные воины, которые заметят твоё исчезновение. Я не могу допустить, чтобы твоё бегство послужило примером для кого-то ещё. Ты меня понимаешь?

— Я понимаю,—произнёс я в ответ.—И я не убегу. Я пройду с тобой весь путь до конца, я тебе обещаю. Просто я хочу увидеть своего сына… Кстати, ты как будто знал, что я попрошусь у тебя съездить домой… Когда ты успел продумать мою дорогу?

— Великий Хан должен думать о каждом своём воине. Тем более—о друге!—засмеялся Вадим.—Или ты думаешь, что я истукан с камнем вместо сердца?

— Теперь уже не думаю,—улыбнулся я.—Спасибо тебе. Я постараюсь не задерживаться надолго.

— Езжай. А я, кстати, попробую найти специалиста по изготовлению документов, чтобы у нас тут впредь не было проблем с паспортами и всякими справками. Думаю, нам это ещё понадобится. За Уралом начнётся сплошная цивилизация, и нам так или иначе придётся контактировать с властями, так что без паспортов никуда не сунешься. Да и какие-нибудь другие бумаги наверняка понадобятся. Ну а пока что попробуй обойтись. Главное, не попадайся на глаза ментам. А то начнут докапываться, почему без документов…

— Не попадусь, будь спокоен. А если что, скажу—обокрали. Приехал, мол, чтоб закупить кураги для торговли на рынке, а у меня украли деньги и документы. Теперь вот ни с чем возвращаюсь домой. Даже если они пошлют запрос в Криниченск—им подтвердят, что такой действительно там зарегистрирован.

— Вот и замечательно. Я рад, что ты быстро всё схватываешь, значит, за тебя можно не бояться. А сегодня в десять вечера прошу ко мне. Будет кумыс, водочка. Мы ведь совсем не позволяем себе праздников, а человеку без праздника нельзя. Без праздника душа—как календарь без лета. Не отогреться. Ты выпиваешь?

— Как все,—пожал я плечами.—Почему бы не выпить? Я ведь не хирург перед операцией, у которого в руках чужая жизнь.

— Все мы иногда оказываемся в роли таких хирургов. Руки стакан удержать не могут, а мы лезем ими в чью-то судьбу или душу… Склифосовские!.. А потом удивляемся, почему вокруг так много душевных калек. А это, оказывается, мы сами и «поработали»! Кому-то не тот орган отхватили,

у кого-то скальпель в животе забыли, кому-то мимоходом кислород отключили… Вот так и живём… Впрочем, ладно, вечером жду тебя у себя. Приходи, песни послушаем.

И, кивнув мне на прощанье, он откинул заменяющий входные двери ковровый полог и вышел на улицу.

— С наступающим, Великий Хан! Как я рад вас встретить у своего порога! Вижу, вы и в праздники заняты делами, хлопочете, проверяете своих подданных. Это правильно, это очень правильно! Нужно быть трижды бдительным, чтобы спокойно сидеть за пиршественным столом. А то сбежит какая-нибудь паршивая овца, и всё войско пострадать может,—услышал я снаружи чей-то знакомый голос и, узнав в нём Пургена, досадливо поморщился.—Представьте себе, что вы собрались жениться на принцессе, ожидаете приезда на свадебный пир знатных гостей, а вместо них вдруг с неба сыплется военный десант, и в вашу палатку заходят не сваты с невестой, а прокурор и особисты!..

— Что-то ты слишком расфантазировался!—расслышал я холодную реплику Вадима.—Небось, уже успел где-то бражки хватануть? Признавайся!

— От Великого Хана ничего не укроется,—фальшиво хохотнув, воскликнул на это Пурген.—Я и правда выпил стаканчик бражки и пару чашек кумыса. Но я пил исключительно за здоровье Великого Хана и за нашу победу! И мне очень не хочется, чтобы кто-нибудь ей помешал…

22.

Выехать из лагеря сразу же после новогоднего праздника, как мне того хотелось, не получилось, потому что этому всё время мешали какие-то непредвиденные мелочи. Первого числа весь лагерь отсыпался—в том числе, конечно, и мой проводник до Караула, и казначей Токтонбай, который должен был выдать мне деньги на поездку. Честно говоря, у меня ещё оставалась в загашнике некоторая сумма, не истраченная мною после летней переправы на пароме через Обь, но я чувствовал, что она мне ещё однажды пригодится, а потому решил пожертвовать одним днём своего «отпуска» и дождаться, пока мой бухгалтер выспится. Да я и сам после бессонной новогодней ночи проснулся только в два часа дня, хотя и не скажу, чтобы мы так уж сильно накануне напились или как-то очень уж буйно веселились. Мы просто сидели на коврах за низким столом в шатре Вадима, поднимали тосты за грядущее покорение Москвы, угощались различными блюдами и обсуждали предстоящие впереди дела. На столе были и коньяк, и водка, и шампанское, но мне больше всего понравился кумыс, которого вдоволь заготовили наши казахские друзья. Его-то я, в основном, и пил, наливая себе в большую пиалу при помощи специальной сдвоенной ложки, которой я зачерпывал его из огромной деревянной чаши. Из еды мне больше всего понравились горячие манты, или, как их называют в Забайкалье, позы—огромные пельмени с начинкой из мяса и лука, которые варятся на пару и получаются необычайно сочными, так что сначала их надо опрокидывать себе в рот и, как из небольшого кувшинчика, выпивать через дырочку на макушке каждого пельменя вкусный мясной бульон.

В полночь мы вышли из ханского шатра и, пройдя метров сорок вниз по склону, присоединились к большому тою—километровому импровизированному столу, устроенному прямо на снегу при помощи простеленных вдоль всей долины ковров, одеял, кусков кошмы и брезента, на которых стояли еда и питьё и сидели веселящиеся воины. Чтобы никто не замёрз и всем было светло, по обеим сторонам этого пиршественного стола пылали высокие костры, согревая спины трапезничающих и освещая застолье.

Идя рядом с Вадимом к пирующим, я думал, что мы сейчас увидим кучу перепившегося, измазавшегося жиром и кумысом, несущего всякую ахинею народа, и был приятно поражён тем, что не увидел ни одного перебравшего воина. При нашем появлении звучали осмысленные здравицы и тосты, в одном месте нам спели какую-то протяжную, как степная дорога, песню на казахском языке, в другом рассказали, что видели, как каждое утро над Вадимовым шатром появляется огромный чернокрылый орёл, символизирующий собой благословение неба, а в третьем молодой якутский воин прочитал нам стихотворение своей национальной поэтессы о родословной народа саха.

— Можно?..—с надеждой обратился он к Вадиму.—Я давно хотел прочитать его для Великого Хана. Очень хорошие стихи, однако.

— Конечно, читай,—благосклонно ответил тот.—Я люблю хорошие стихи. Вот он меня к ним приучил,—с улыбкой кивнул он в мою сторону.

И, ободрённый разрешением Великого Хана, парень снял с головы меховую шапку, расправил плечи и, стоя над притихшим на время гульбищем, звонко прочитал:

С древнейших времён в наших жилах текла
горячая тюркская кровь, что влекла
нас в степи бескрайние—кости ломать
всем тем, кто топтал нашу Родину-мать!

В народе якутском и малый, и стар
был духом сильнее проклятий татар.
Нам дал повеление сам Чингисхан—
вести сквозь столетья родов караван!

Мы резали жилы и рвали кадык
народам, что в нас не признали владык.
Никто нам не мог быть преградой: нас—тьмы!
И чёрная кровь нам пьянила умы.

Копытами в землю, как в бубен, стуча,
военные кличи до неба крича,
мы мчались по миру лавиной сплошной,
с культурой в подсумке, как с царской мошной.

Мы пили свободу, как пьют молоко,
слагая бессмертную песнь Олонхо.
Оставлен наш след среди камня и мха—
вот срез родословной народа саха!..

Оглушённые мощью извергнутого на нас могучего гимна, мы некоторое время стояли, не в силах вымолвить ни слова, пока, наконец, Вадим не очнулся от сковавшего всех наваждения и не спросил читавшего:
—А кто автор этого стихотворения? Ты не помнишь?
—Однако, Елена Куорсуннаах, Великий Хан,—с поклоном ответил юноша.—Якутская поэтесса. Краси-и-ивая-я-я…
—Ну что ж, я рад, что ваши женщины умеют сражаться за свою национальную самобытность поэтическим словом не хуже, чем ваши мужчины мечами и стрелами,—и, подняв высоко над головой пиалу с кумысом, громогласно провозгласил:—Я поднимаю эту заздравную чашу за великий якутский народ, который сумел сохранить свою родовую и духовную связь с императором вселенной и повелителем народов—Чингисханом! Я поднимаю эту чашу за все народы моего войска, в сердцах которых горит огонь свободы и справедливости! Мы призваны светлоликим Тенгри для совершения великой исторической миссии—освобождения древнего азиатского града Москвы от захвативших его торгашей и растлителей. Мы выбросим из Москвы всех казнокрадов, гомиков и педофилов, отберём у олигархов украденные ими у пастухов и шахтёров деньги и создадим на территории нынешней угнетённой России самое справедливое за всю историю человечества государство. Я провозглашаю тост за великую Суверенную Алханайскую Буддисламскую Империю от Амура до Немана! За вас, мои верные нукеры и единомышленники! С нами дух великого Чингисхана и все боги мира! Ура!—и, дождавшись, когда отзвенит и затихнет сотрясшее небеса громоподобное тысячеустое «Ур-ра-а-а!», поднёс пиалу ко рту и торжественно выпил.

Посмотрев на уходящую в ночную бесконечность анфиладу пылающих вдоль всей долины костров, Вадим обернулся к своим помощникам и отдал им какое-то короткое распоряжение.
—Я велел привести для нас лошадей,—пояснил он свои действия.—Хочу объехать всё своё войско и поздравить людей с праздником. Некоторые из них ведь даже ни разу меня не видели, а просто верят, что я действительно есть, и идут следом. Вот я и покажусь им в реальности.

Конюшие привели оседланных лошадей, мы впрыгнули в сёдла и поехали вдоль нескончаемого праздничного стола. Новогодняя ночь выдалась на удивление тихой и не морозной, над головой роились мириады перемигивающихся звёздных снежинок, склоны сопок поблёскивали в отсветах пламени покрывающим их снегом, а внизу долины, где проходило пиршество, не было ни малейшего ветерка, так что от пылающих через каждые несколько метров огнищ вокруг было тепло, как в огромной юрте.
—С Новым годом, братья мои!—проезжая вдоль череды пирующих, провозглашал Вадим, то и дело придерживая коня возле представителей разных родов, групп и народностей.—Встречаемый нами сегодня год скоро изменит собой весь этот грешный мир! Вы—руки Бога, которыми Он очищает Землю от грязи и мерзости! Я пью за нашу общую победу!..

Это шествие длилось уже не меньше часа, когда произошёл инцидент, серьёзно испугавший охрану Вадима и чуть было не лишивший нас весёлого праздничного настроения. Мы уже достаточно далеко отъехали от Вадимова шатра, поздравляя пирующих на снегу воинов, когда от одного из импровизированных столов неожиданно метнулась наперерез ханской свите чья-то фигура, и на нашем пути вдруг возник разгорячённый спиртным Пурген с бутылкой шампанского в руках.
—Слава Великому Хану!—загорланил он, тряся над головой поблёскивающей в свете горящих костров бутылкой.—Великому Хану—ур-ра-а-а! Выпьем за нашего вождя и повелителя!..

Стоя перед самой мордой Вадимовой лошади, он неожиданно резко встряхнул бутылкой шампанского и с криком: «За Великого Хана—до дна!»—сорвал с её горлышка проволочную оплётку и выбил из бутылки рвущуюся наружу пробку. Громыхнув, как громкий выстрел, та пулей вылетела из горлышка и ударила в нос ханскому жеребцу, окатив его в ту же секунду тугой струёй шипящей, пузырящейся пены. От неожиданного испуга конь панически заржал, взвился на дыбы и шарахнулся в сторону, чуть было не сбив едущего по правую руку от Вадима сотника Аюндая и не сбросив с себя своего собственного седока. При этом передние ноги коня стремительно взлетели вверх, зацепив одним из копыт вскинутую над головой Пургена бутылку, так что она брызнула во все стороны сверкающими осколками разлетающегося стекла и белыми брызгами шампанского.

Еле удержав своей сильной рукой коня, Вадим успокоил испуганное животное и изучающе посмотрел на всё ещё стоящего на нашем пути Пургена.
—Сотник, ты идиот или прикидываешься?—негромко спросил он.—Я не люблю, когда кто-то

слишком часто становится у меня на пути. Ты понял?

— Я понял, мой хан! — во всю мощь своей глотки проорал в ответ Пурген, так что лошадь опять испуганно фыркнула и попятилась назад. — Ты самый великий и справедливый хан на свете! Дайте мне другую бутылку, я хочу выпить за нашего полководца и повелителя!

Он бросился к столу в поисках новой бутылки, а Вадим буркнул вполголоса какое-то ругательство и тронул коня с места. Впереди Млечным Путём светилась озарённая кострами долина, и надо было успеть пройти её до конца и всем пожелать удачи.

Практически до самого рассвета мы объезжали и поздравляли пирующее войско, глядя, как люди жарят на огромных вертелах бараньи и конские туши, поют песни, пьют кумыс и вино, веселятся и радуются наступлению Нового года. Было уже совсем светло, когда мы спешились возле ханского шатра и вошли вслед за Вадимом внутрь, где для нас были приготовлены свежие закуски и открытые бутылки со спиртным.

— Давайте выпьем и подкрепим силы, — пригласил к столу Вадим. — Я устал. Да ещё этот пьяный придурок… Жаль, что копыто зацепило бутылку, а не его дурную голову. Думаю, она разлетелась бы на осколки не хуже стекла…

На этот раз я решил выпить не кумыса, а водки. Кумыс наполняет душу лёгкостью и весельем, придаёт настроению оттенок озорства и шутливости, а я сейчас тоже вдруг почувствовал на сердце некую внезапно появившуюся тоску и тяжесть. Захотелось как можно скорее сесть в междугородний автобус и отправиться к моей Танюхе и готовящемуся появиться на свет малышу. Пока эта поездка была под вопросом, я стоически переносил вынужденную разлуку и не дёргался, а теперь, когда вопрос о моей отлучке получил благосклонное решение, каждый миг промедления казался томительным, как задержка приказа о долгожданном дембеле.

Я накатил себе полстакана «Путинки» и, дождавшись окончания какого-то прослушанного мною тоста, залпом опрокинул в себя холодный обжигающий напиток. Всё равно сегодня все будут дрыхнуть до самого обеда, а то и дольше, и никто моей поездкой заниматься не станет, так что лучше всего, наверное, и самому сейчас пойти да завалиться отсыпаться. Впереди меня ждёт долгая и, скорее всего, ночная езда в автобусе, многочасовое сидение на вокзалах в ожидании нужных рейсов, тряская езда по бездорожью, так что запастись на время пути силами будет очень нелишне.

Посидев ещё немного в компании Вадима и приближённых к нему сотников, я сослался на усталость и невыспанность и, отхлебнув напоследок из пиалы глоток кумыса, удалился к себе в шатёр, где завалился, не раздеваясь, на кошму, думая, что сначала просто так полежу полчасика и отдохну, но незаметно для себя самого вырубился и проспал несколько часов кряду как убитый. Открыв глаза, я ещё какое-то время повалялся на неразобранной постели, потом всё-таки встал и выглянул на улицу. Первый день наступившего года уже перевалил за середину и собирался повернуть к вечеру. В лагере было тихо и пустынно, только вдалеке возилось на дне долины несколько дежурных, скатывавших в рулоны простеленные вчера на снегу ковры и куски брезента. Народ отсыпался, нигде не было видно ни дыма костров, ни занимающихся хозяйственными делами работников. Лишь на ближней сопке виднелась маленькая фигурка дозорного, да в свинцовой выси январского неба распластал свои чёрные крылья парящий над жилищем Вадима орёл.

Остаток дня я провёл как разбитый. С трудом двигался по шатру, перебирал, готовясь в дорогу, какие-то свои вещи, проверял, не прохудилась ли обувь, не порвался ли перед поездкой тулуп, чиста ли рубаха. Не хотелось особо ни есть, ни пить, но когда на становище опустилась темнота, я всё же заставил себя сжевать небольшой кусок холодной конины и выпил две чашки чаю, а потом нехотя разделся и залез в постель. Спать не хотелось тоже, и я просто лежал, глядя в окружающую меня черноту, да против собственной воли следовал за хаотично возникающими в подсознании мыслями. О чём были эти мысли, сказать трудно — они роились и накладывались одна на другую, как наплывающие друг на друга в эфире голоса и песни любительских радиостанций, которые я ловил когда-то старым ламповым радиоприёмником «Рекорд». В дни моей юности было необычайно модно заниматься радиолюбительством и, соорудив с помощью лампы 6П3С, переменного конденсатора и самодельного контура примитивный передатчик, крутить в эфире песни Высоцкого, Галича или группы «Битлз». С радиохулиганами, как тогда называли самодеятельных конструкторов таких маломощных радиопередатчиков, систематически боролись, отслеживая с помощью передвижных локаторов источники пиратских радиосигналов и отлавливая нарушителей, но средние волны всё равно были забиты хрипящими, уплывающими и плохо различимыми радиостанциями, упрямо сеявшими в массы запрещённую советской цензурой культуру.

Такой же неконтролируемый эфир царил в первый день наступившего года и в моей голове, хотя накануне я, кажется, вполне был трезв и, не считая выпитого уже на рассвете полстакана водки, спиртным себя не перегрузил.

Я лежал на берегу накатывающего, точно морские приливы, сна и, как гортанные крики кружащихся неподалёку чаек, выхватывал из мрака сознания то сцены из моего затянувшегося

геологического быта, то картинки едва различимого за давностью лет детства, то какие-то обрывки из недолгой студенческой жизни, то строчки никогда не дописываемых мною стихов и поэм. Образ Таньки в накинутой на голые плечи простыне вытеснялся вдруг физиономией соседа по читинскому общежитию Сани Листвянского, возбуждённо рассказывающего мне что-то о своих любовных похождениях, а потом он внезапно на полуслове растворялся, а на его месте возникали в ночной черноте запруженный конными воинами полустанок и застывшая под одиноко покачивающимся фонарём фигура всадника в длинном монгольском халате и островерхой шапке с меховой оторочкой.

«Вадим?!..» — будто ярко полыхнувшая молния, озарила моё засыпающее сознание внезапная догадка-узнавание, но полустанок с загадочным всадником под фонарём уже уплыл куда-то в глубины памяти, и на его место, словно ночная тьма к окну мчащегося поезда, приклеилась непроглядно-чёрная темнота накатывающего засыпания.

Я всё-таки вырубился и проспал, не просыпаясь, до самого утра, часов до девяти или даже чуть дольше. И спал бы, наверное, ещё, если бы меня не разбудила какая-то начавшаяся на улице суета, которую я почувствовал даже через войлочные стены моего шатра.

— Ахат, что там случилось? — позвал я одного из своих денщиков, заслышав его характерное покашливание за ковровой перегородкой.

— Пургена нашли, — откликнулся через тонкую стенку мой помощник.

— Что значит нашли? — не понял я. — И на фига его вообще искали?

— Собаки нашли, — пояснил Ахат, — случайно. В сухом колодце, который в начале долины.

— И что он там делал? — всё ещё не врубался я.

— Лежал на дне, — терпеливо разъяснил денщик. — Наверное, он в новогоднюю ночь выпил немного лишнего и пошёл бродить по становищу. Ему никогда не сиделось на месте, он всё время искал себе приключений. Вот, похоже, и свалился в старый колодец, поскользнувшись на камнях. Наверное, хотел зачем-то заглянуть в него, ему ведь всё было надо увидеть…

— И что? — спросил я. — Он жив?

— Какой там! Глубина колодца — двенадцать метров, пока он летел, он три раза сломал себе шею. Да ещё и упал животом на кинжал. Похоже, он его зачем-то в руке держал, когда в колодец заглядывал, вот при падении на него и напоролся. Э-э-хе-хе, не зря старики говорят, что великая тень Кажы витает среди этих гор. Он ведь тоже нашёл свою смерть в колодце, его тело пролежало в нём до шестидесятых годов.

— У Пургена в руках был кинжал? В честь чего бы?.. И о каком Кажы ты говоришь? Кто это?

— Так называли великого старца Шакарима Кудайбердиева, поэта и философа. В тридцатые годы большевики его застрелили и бросили в колодец неподалёку отсюда. Вот его дух и летает с тех пор над этими горами, не находя себе покоя…

Одевшись, я вышел на улицу. Лагерь был конкретно взбудоражен случившимся, все куда-то торопились, бежали от палатки к палатке, о чём-то друг другу громко говорили, размахивая руками, из-за чего долина казалась похожей на муравейник, который разворошили палкой. Было видно, что люди засиделись без дела и новостей, и нелепая гибель сотника Девятова пробудила во всех задремавшие было за время стоянки эмоции.

— И где его похоронят? — спросил я, не оборачиваясь.

— Да на горе, наверное, там, где похоронили Харатая. Вдвоём-то лежать веселее будет, — ответил из-за моей спины Ахат.

— Вот и кладбище начало расширяться…

— Что?

— Да нет, это я так. Подумал, что сегодня все будут заняты похоронами, а потом поминками, так что я опять не смогу выбраться в Караул, чтобы выехать оттуда в Семей. Придётся, видно, просидеть тут ещё один лишний день. Хотя мне этого и не хочется…

Но просидеть пришлось не день, а гораздо больше. Второе число действительно заняли похороны Пургена и его поминки, для которых, правда, уже не раскатывали общий стол на всю долину, но всё равно варили на всех мясо и разносили его по шатрам и палаткам. Потом внезапно заболел выделенный мне в сопровождающие Арслан, который должен был довести меня до селения Караул, устроить там, в случае необходимости, на ночлег, а потом ожидать моего возвращения из поездки, ухаживать за нашими лошадьми и по прибытии меня в Караул сопроводить обратно до лагеря. Похоже, что он чего-то съел или выпил, и его несколько дней поносило, да так, что парень стал белым, как снег на окружающих сопках, и начал дрожать, как в лихорадке. Хорошо, что об этом узнал кто-то из стариков и принёс ему настой какого-то целебного корня, после которого Арслан быстро пошёл на поправку и вскоре уже готов был ехать. Но в последний момент вдруг обнаружилось, что мой конь умудрился обо что-то сбить себе подкову, и его пришлось срочно перековывать. Кузница находилась на другом конце долины, и пока я туда съездил, пока кузнецы вытащили из копыта старые гвозди и набили новую подкову да пока я возвратился назад, короткий зимний день перевалил далеко за свою середину, и вокруг начали быстро сгущаться сумерки, а потом вдруг поднялась метель, и мой проводник решил, что лучше подождать до завтра. Но назавтра метель только по-настоящему вошла в силу, окрепла, почувствовала свою безнаказанность и издевалась надо мной

ещё целую неделю, завывая и воя за стенками шатра, словно стая голодных американских койотов. Уместнее, наверное, было бы сказать — шакалов, но как воют наши отечественные шакалы, я, честно говоря, не знаю, а вот вой заокеанских койотов неоднократно слышал в американских фильмах. Мы сегодня вообще чужое знаем намного лучше, чем своё, изо дня в день омываясь чужой культурой, модой, искусством, музыкой, философией, нравами, речью, пользуясь чужими автомобилями, электроникой, одеждой, лекарствами, продуктами и напитками, да ещё и ежегодно выезжая на отдых во всякое очень и не очень дальнее зарубежье. Последним из того, что у нас ещё оставалось на текущий момент исконно своего, русского, был наш великий и могучий язык, на котором когда-то писали свои бессмертные шедевры Пушкин, Лермонтов, Тургенев и другие писатели-классики, но и он с каждым днём претерпевал всё бóльшие и бóльшие изменения, засоряясь и размываясь: с одной стороны — сверхагрессивно вторгающейся в нашу практику иностранной терминологией, а с другой — не получающей должного отпора матерщиной, так что даже он сегодня перестал быть охранителем русской ментальности и носителем русского духа и почти окончательно превратился не более чем в средство коммуникативной связи между проживающими на пространствах российской державы особями. Да и то, как показало моё пребывание среди многонационального воинства Вадима, русский язык сегодня является далеко не общим для всех населяющих нашу страну национальностей. Его уже с трудом понимают буряты, эвенки, тувинцы, хакасы, чукчи, не говоря уже о наших соседях монголах, казахах, китайцах и других азиатских народах. Нам даже пришлось позаботиться о том, чтобы каждая сотня имела в своём составе хотя бы одного-двух, а лучше нескольких толмачей, умеющих быстро и внятно донести распоряжение Великого Хана до рядовых воинов. Благодаря им войско Вадима, постоянно пополняющееся представителями самых разных наций и народностей, продолжало оставаться единым организмом — управляемым, манёвренным и понимающим поставленные перед ним задачи.

В процессе ежедневного общения с членами своего отряда, а также денщиками, поварами, конюшими, интендантами и другими воинами нашей всё разрастающейся Орды я тоже вольно или невольно напитывался знаниями чужих слов и выражений, что помогало мне находить понимание как с некоторыми сотниками, так и с рядовыми представителями других народов в нашем воинстве. Поэтому, встречая на пути воина монгольский или казахской наружности, я с помощью чудовищной смеси русского и английского языков, сдобренной россыпью бурятско-монгольских фраз и выражений, довольно сносно мог поговорить с ним о погоде, семье, охоте, направлении выбранного пути и каких-то других не очень сложных житейски-бытовых вещах. Такого языкового набора хватало мне и для бесед с моими личными воинами, и для общения с Арсланом, которому я каждый день жаловался на неутихающую метель, перекрывшую мне возможность как можно скорее пуститься в дорогу и повидать свою далёкую возлюбленную, а возможно, и уже родившегося малыша. Хотя по сравнению с другими своими земляками Арслан владел русским языком, можно сказать, почти идеально, и при разговоре с ним мне только немного приходилось «расшифровывать» в уме произносимые им фразы, чтобы стал понятен смысл сказанных им слов.

В принципе, высказанные им мысли были ничуть не хуже тех, которыми сегодня переполнены многочисленные эзотерические журналы, заваливше наши магазины и киоски. Надо взять — и перестать постоянно думать о том, чего ты сейчас сильнее всего хочешь, учил он меня, выслушав очередную порцию моих вздохов. Человек иногда сам мешает богам сделать для него что-то хорошее. Они направляют в его сторону позитивную энергию, а он своими причитаниями возводит на её пути такой мощный барьер, что эта энергия, как всадники через снеговые заносы, не может пробиться через его уныние и расчистить дорогу для счастливых перемен в судьбе. А потому, поскольку большинству людей не дано свыше дара помогать богам в осуществлении своей судьбы, то самое полезное, что они могут для себя сделать — это не мешать им, перестать ныть, стенать и наметать тем самым перед нашими небесными покровителями снеговые горы, а позволить им самостоятельно разгрести те завалы, которые мешают наполнить нашу судьбу солнцем и светом. Так что лучше всего сейчас придумать себе какое-то полезное занятие и перестать прислушиваться к вою пурги на улице и торопить события. И тогда, мол, боги сами управятся со всеми проблемами и помогут мне в мановение ока оказаться там, куда стремится моё сердце.

Поразмыслив над смыслом сказанного Арсланом, я подумал, что я и в самом деле стал как-то чересчур уж слишком дёргаться и нервничать, а потому заставил себя переключиться на мысли об ожидающем нас с началом весны переходе и решении связанных с ним стратегических задач и даже не заметил, как за шатром утихли вьюжные повизгивания и воцарились первозданная тишина и покой. Выйдя в одно из утр на улицу, я увидел перед собой залитый сиянием солнца и снега мир и понял, что всё у меня будет хорошо. Давая человеку столько чистоты и света, Господь не может всё это потом беспричинно отнять или подменить его грязью и мраком.

В то же утро ко мне в шатёр заглянул казначей Токтонбай, который без всякой росписи в ведомости отсчитал и выдал мне сто тысяч рублей пятитысячными купюрами.
— Зачем так много?—удивился я.—Хватило бы и половины.
— Великий Хан знает, что делает,—мягко остановил меня казначей.—Ему помогает сам Тенгри, открывая будущее каждого из его подданных, поэтому он видит, что кого ожидает впереди, и в связи с этим даёт каждому то, что ему нужно. Так что бери деньги и поезжай. Да не забывай славить небесного бога Тенгри и нашего Великого Хана!

И я спокойно дождался прихода Арслана, взял давно приготовленные для путешествия вещи, мы оседлали наших застоявшихся лошадей и, торя тропинку через наметённые пургою барханы снега, выехали из лагеря…

23.

…И вот, на исходе четвёртых суток, оставив за спиной полторы тысячи километров накатанного снежного пути, неуютный ночлег на вокзальных скамейках, вздрагивание при виде каждого случайного полицейского и жгучее нетерпение своей собственной души, я наконец-то звонко хлопнул дверцей подбросившего меня за тысячу рублей от Колпашево ЗИЛ-66 и оказался на показавшихся вдруг такими родными и близкими деревянных тротуарах Криниченска. У меня даже сердце защемило, когда я увидел знакомую панораму посёлка, поднимающиеся над печными трубами белые дымы, бегающих по заснеженным улицам собак… Мне вдруг в одночасье сделалось ясно, какое это невероятное и пока ещё неосмысленное человечеством счастье—возвращаться после дальней дороги домой, к родному очагу, туда, где тебя кто-то ждёт и любит.

Торопливо протопав в сгущающихся сумерках по гулким тротуарным доскам, я распахнул знакомую калитку и вошёл во двор Танькиной тётки. Чувствуя, как неистово колотится в груди ошалевшее от близости счастья сердце, я взошёл на высокое крыльцо и постучал в дверь. Не слыша никакого движения внутри дома, я минуты три постоял в нетерпении и постучал ещё раз.
— Иду, иду,—послышался где-то в глубине сеней голос Василисы Макаровны, и какое-то время спустя она подошла к двери.—Кто это там заявился на ночь глядя? Не ты ли, зятёк?—с пугающей меня прозорливостью спросила она и, не дожидаясь ответа, загремела засовами.—Ну, заходи, заходи, кочевник… Отдохни до утра.
— Только до утра разрешаете?—шутливо поинтересовался я.—На дольше не оставите?
— Дольше ты сам не останешься,—молвила тётка.—Ты же не ко мне ехал, а к Татьяне. Что тебе со мной, старой, сидеть?
— А разве Татьяны нет дома?—насторожился я.

Готовясь все эти дни в дорогу, трясясь в автобусах и сидя на вокзалах, я думал о чём угодно, кроме того, что могу не застать свою любимую дома, мне даже в голову не пришло, что её может не быть на месте.
— Где же она?—растерянно спросил я и почувствовал, как под сердцем распрямляет свои кольца холодная змея тревоги.—С ней всё в порядке?
— Ну, всё не всё, а, слава Богу, жива. Рожать в её возрасте—это уже и так геройство, а родить двойню—настоящий подвиг. Видно, и впрямь она тебя сильно любит, если решилась на это. Или ваши малыши для чего-то очень нужны Спасителю.
— Малыши?—начал с трудом врубаться я в смысл услышанного.—Так она родила двух мальчиков? Близнецов?
— Я же говорю—двойню. А близнецы они или нет, скоро сам увидишь.
— А где она сейчас? В больнице? Я утром навещу её.
— Утром не получится. Роды были трудные, врачи опасались, что придётся делать кесарево сечение, и увезли её в Томск. Так что она сейчас там, благополучно родила и проходит курс реабилитации.
— Блин!—не сдержал я досады.—Я же сегодня утром был в Томске. Если бы знал, так сразу бы к ней и поехал!..
— Ничего,—спокойно промолвила старуха.—Иван Григорьич… это сосед наш, который за Чубаровыми живёт, если помнишь… так вот, он сегодня заколол кабанчика и собирается завтра везти дочке с зятем в Томск свежатину. Я на всякий случай попросила, чтоб он заглянул к нам перед отъездом, вдруг какая-нибудь необходимость появится… Вот с ним и поедешь.

Я с любопытством посмотрел на женщину, не впервые удивлявшую меня своей способностью предчувствовать те события, которые ещё только собирались произойти в грядущем, и, не удержавшись, спросил:
— Василиса Макаровна, вы как-то умеете предвидеть будущее? Как вы угадываете то, что ещё не наступило?
— Не знаю, милок,—пожала она плечами.—Просто Господь сам даёт мне знать про то, что ожидает впереди. То картинку покажет, то словцо шепнёт. Он ведь многим посылает свои знаки, приоткрывая тайну завтрашнего дня, да только не многие эти знаки понимают. Люди стали глухими, не различают голос судьбы. У всех в ушах сегодня то Пугачёва гремит, то Киркоров, то собственное «я! я! я!». Вот Бога никто и не слышит…

Напоив меня с дороги чаем, она убрала посуду и ушла в свою комнату, а я ещё долго бродил по дому, останавливаясь перед знакомыми предметами да висящими на стенах фотографиями и вышивками и оживляя в своей памяти дни недавно пережитого здесь счастья. Потом накинул

на плечи полушубок и, чувствуя необходимость как-то погасить клокочущее в груди перевозбуждение, вышел на крыльцо. Морозный воздух сразу же ринулся под распахнутые полы тулупа, царапнул рашпилем по щекам и носу, вонзился иглами в уши, колючей пробкой забил гортань, повисая перед лицом клубком дымящегося пара. Уходя в необозримую перспективу чёрного небосвода, над моей головой пылали и перемигивались между собой во мраке тысячи разнокалиберных звёзд, так что мне даже показалось, что это горят вдоль ночной долины многочисленные костры в становище Чингисхана.

Надышавшись морозным воздухом, я вернулся в дом, разделся, залез на нашу с Танькой кровать под толстое ватное одеяло и, моментально согревшись под ним, заснул, не мучая себя ни сладкими воспоминаниями, ни планами на пока ещё только пробирающийся к нам с востока по заваленной снегами Сибири завтрашний день.

Рано утром меня разбудила Василиса Макаровна.

— Вставай, милок, Иван Григорьевич уже приходил, сказал, что пошёл разогревать машину, минут через двадцать заедет за тобой. Так что садись поскорее к столу, я тебе тут малость блинков испекла,—добродушно позвала она меня через открытые двери спальни, и, выйдя через минуту на кухню, я увидел на столе высоченную башню сложенных друг на друга аппетитных румяных блинов, на верхнем из которых дотаивал, истекая тонкими медовыми ручейками, золотистый самородок коровьего масла.

— Зачем же вы столько наготовили?!—не удержал я самовольно вырвавшегося из груди сожалеющего возгласа.—Я же практически совсем не ем по утрам, разве что чашку чаю могу выпить…

— Вот с блинками сейчас и выпьешь, я его как раз заварила,—поставила она в центр стола пузатый заварной чайник красного цвета в крупных белых горошинах.

Деваться было некуда, я подсел к столу, налил себе в большую чашку крепкого чая с сушёным смородиновым листом, добавил к нему немного молока из кувшина, взял в руки первый блин и…

Если бы не постучавший в двери Иван Григорьевич, я бы, наверное, не оставил от испечённой Василисой Макаровной башни ни одного блина, настолько вкусными и нежными были эти тончайшие золотистые диски, сами собой сворачивавшиеся в тоненькие трубочки и исчезавшие в моей истосковавшейся по домашней пище утробе. Первую половину блинов я съел, окуная их в плошку с густой домашней сметаной, а вторую намазывал то малиновым, то крыжовниковым вареньем и запивал чаем. Мои пальцы, губы и борода блестели от бегущего с блинов растопленного масла, желудок был переполнен наслаждением, как душа истинного христианина благодатью, хотя отделить сейчас одно от другого было бы очень трудно, настолько единым было благостное состояние, вошедшее в меня с последним проглоченным блином и последним глотком чая.

Но надо было ехать, и, встав из-за стола, я поцеловал своими намасленными губами в щёку Василису Макаровну, отыскал в столе и сунул в карман паспорт и, одевшись, вышел к ожидавшему меня у двора за рулём белого «жигулёнка» Ивану Григорьевичу. Поздоровавшись, я уселся рядом с ним на сиденье и захлопнул дверцу. Двинув неприятно заскрежетавшую при этом ручку передач, сосед включил скорость, машина тронулась с места, и мы покатили по хрустящей белой улице к выезду из посёлка.

— Что это тебя не было видно всё это время? На заработки уезжал?—спросил он, уверенно ведя машину по спящему Криниченску.

— Ну да,—поддержал я предложенную мне версию.—Здесь же работы нет, я уж где только ни спрашивал.

— И куда ты подрядился? Что-нибудь строишь, наверное?

— Кошары для овец. В Казахстане.

— На договоре?

— Договор бригадир заключал. Один на всех, коллективный.

— Кинут! Как пить дать кинут! Можешь и не возвращаться назад, пусть там без тебя всё достраивают, всё равно вы ничего не получите! Сейчас кругом не жизнь, а одно сплошное кидалово. Даже внутри России нельзя добиться справедливости, а уж в чужой стране, да ещё без надёжной бумаги,—тут и говорить нечего! При любом споре там на первое место ставится приоритет титульной нации. Если бы, конечно, Россия защищала своих граждан за рубежом, тогда с нами там хоть как-то считались бы, а так… Роль государства у нас сведена сейчас единственно к вытряхиванию бабла с законопослушных граждан да удовлетворению ненасытных запросов чиновничества. А защита интересов простых людей—это для сегодняшней власти пережиток, который скоро должен отсохнуть за ненадобностью, как крылья у пингвинов…

Переехав по льду реки на другой берег Оби, мы миновали город Колпашево и выехали на уже знакомую мне автотрассу. Полгода назад я почти два дня шёл по ней с обозом после паромной переправы через Обь, пока мы не свернули на отысканную разведчиками старую лесную дорогу, по которой потом и двигались в сторону Алтая. Глядя сейчас на окрестности, я заново переживал все перипетии прошлогоднего рейда, с трудом осознавая, что всё это и вправду происходило со мной, а не приснилось и не увиделось в каком-то неправдоподобном, как романы Виктора Пелевина, фильме.

Дорога была накатанная и скользкая, поэтому Иван Григорьевич вёл свой «жигулёнок» не быстрее шестидесяти километров в час, и, правду сказать, я хоть и торопился увидеть Татьяну и своих новорождённых наследников, был ему за это даже благодарен. Несмотря на то, что я был чистокровным русским, быстрой езды я, вопреки утверждению Гоголя, не любил и чувствовал себя в быстро несущемся автомобиле весьма и весьма неуютно, особенно когда это происходило на скользкой дороге. Я вообще не люблю неуправляемых ситуаций, которые развиваются независимо от моих воли и желания. Нет более неприятного чувства, чем ощущать себя щепкой в мутном потоке, на течение которого ты не можешь оказать ни малейшего влияния. Из нормально едущего по дороге автомобиля, казалось мне, я в случае чего ещё успею выбросить своё тело в кювет или на обочину, а из несущегося на всей скорости по скользкому обледенелому шоссе если куда-то и можно выпрыгнуть, так только — в могилу.

Поэтому я спокойно сидел по соседству с размазывающим российскую власть Иваном Григорьевичем и смотрел на пролетающие за окном виды заснеженной тайги и редкие безлюдные посёлки. Часов через шесть езды мы переехали по шестисотпятидесятиметровому Шегарскому мосту опять на правый берег Оби и, оставив за собой мелькнувшие вдалеке сёла Победа, Оськино и Старая Шегарка, выскочили на последний шестидесятикилометровый отрезок дороги, ведущей к областному центру. Ещё один час — и по сторонам шоссе замелькали сначала частные бревенчатые дома, а затем и многоэтажки Томска. Я вынул из внутреннего кармана сложенный вчетверо листок, на котором Василиса Макаровна записала мне название и адрес Танькиного роддома, и прочитал вслух для Ивана Григорьевича:

— Улица Крылова, дом восемь. Родильный дом имени Семашко. Знаете, где это?

— Спросим у кого-нибудь. Какие-то ориентиры есть?

— Там рядом остановки «Площадь Батенькова» и «Киномир».

— Найдём, — кивнул Иван Григорьевич и, подъехав к табачному ларьку, вышел из машины и подошёл к отходящему от него парню с сигаретной пачкой в руках.

Поговорив с ним минуты три, он возвратился к машине и сел за руль.

— Всё в порядке. Это рядом с Богородице-Алексиевским монастырём, я там проезжал пару раз. Так что минут через двадцать будем на месте.

Покружив ещё около получаса по городу, мы в конце концов выехали на нужную нам улицу Крылова и остановились перед невысоким зданием с красной крышей.

— Кажется, здесь, — сказал Иван Григорьевич, присматриваясь к нумерации домов. — Точно! Дом номер восемь, что и требовалось доказать. «Роддом №3 имени Н. А. Семашко», — прочитал он надпись на табличке.

— Спасибо! — я крепко пожал ему руку и выбрался из машины.

— Привет Татьяне! — крикнул вслед сосед и тронул «жигулёнка», торопясь поскорее доставить дочке с зятем томящуюся в багажнике свинину.

А я глубоко вздохнул и, осенив себя украдкой крестным знамением, шагнул по направлению к дверям родильного дома. И если я скажу, что ни капельки в этот момент не волновался, то можете считать меня беззастенчивым хвастуном, а то и просто лгуном или лицемером. Потому что сердце моё дрожало, как первоклассник, впервые в своей жизни выходящий к доске для ответа...

24.

...Ну надо же! Эти стервы в приёмном покое меня к ней даже не пропустили! Подняли такой ор, что хоть святых выноси. Говорят: да вы что, молодой человек, в своём уме? У нас лежат роженицы с резус-конфликтной патологией, а вы хотите занести сюда инфекцию? Никаких свиданий до выписки, даже и не думайте! Исключено!..

Единственное, что мне разрешили, так это — передать в палату записку, да и ту у меня взяли с такой подозрительностью, будто по ней бегали вши и тараканы.

— Надо же понимать, молодой человек, что здесь не вокзальная площадь, а медицинское учреждение! Мы прилагаем столько усилий для обеспечения чистоты и стерильности, а вы примчались Бог знает откуда и требуете, чтоб вас пропустили в палату! Сами же говорите, что четыре дня находились в дороге, — откуда вы знаете, каких бактерий и микробов вы на себя за эти дни насобирали?! Хотите, чтобы всё это попало на вашу жену или новорождённых малюток?..

Я этого не хотел, а потому, виновато улыбаясь, написал Таньке сообщение о том, что нахожусь сейчас внизу и жду от неё указаний, как быть дальше. Дежурная отдала моё послание одной из пробегавших мимо медсестёр, и минут через тридцать мне вынесли из глубин роддома ответ Татьяны.

«Устройся в какую-нибудь гостиницу поблизости, — писала она, — и жди. Я скоро заканчиваю проходить курс восстановления, и через день-другой меня должны будут выписать. Малыши сопят рядышком и жаждут встречи с тобой. Я тоже очень соскучилась и хочу тебя видеть».

Потоптавшись какое-то время в фойе в ожидании неизвестно чего, я опять обратился к зловредным дежурным, прося их подсказать мне, где находится ближайшая гостиница. Те, желая, видимо,

хоть как-то смягчить доставленное мне перед этим огорчение, с готовностью рассказали, где мне лучше устроиться. Ближе всего, как объяснила одна из них, располагается мини-отель «Модерн», до которого я могу спокойно дойти пешком, потратив на это не больше десяти, от силы—пятнадцати минут. Для этого мне надо выйти из больницы, повернуть налево и пройти два квартала до улицы Никитина. В доме №5, корпус «Б», и находится гостиница.

— Только там дорогие номера,—предупредила она.—По три и три с половиной тысячи за сутки. Но зато со всеми удобствами, я бы даже сказала—с комфортом.

— Спасибо,—поблагодарил я,—вы так хорошо всё объяснили. Администрация отеля должна вам платить за рекламу.

— У меня там невестка работает, поэтому я знаю. А так тут поблизости ещё несколько гостиниц есть—и на улице Лермонтова, и на проспекте Ленина, и на Беленца… Но на Никитина, мне кажется, ближе всего. И не так шумно, как в центре. Только иногда слышно, как в монастыре в колокола звонят, но это даже приятно.

— А где монастырь, далеко?—спросил я, вспомнив, что Иван Григорьевич тоже упоминал о нём, уточняя дорогу к роддому.

— Через два дома от нас, вы сейчас мимо него проходить будете, тут пять минут всего. Прямо по нашей стороне улицы и увидите.

И, распростившись с не такими уж, как оказалось, и злыми дежурными, я вышел из дверей роддома и направился в указанную мне сторону. Под ногами поскрипывал притоптанный каблуками прохожих снежок, на голых ветвях перекрикивались о чём-то хриплыми, как у Высоцкого, голосами нахохленные замёрзшие вороны, да позвякивали, пробегая где-то по параллельной улице, трамваи. Пройдя каких-нибудь сто или чуть больше метров, я и правда увидел сияющий белым цветом, как горная вершина льдами, собор, возносящий свою журавлиную шею над монастырскими постройками. «Надо будет устроиться в гостиницу и прийти сюда»,—подумал я, замедляя шаги и любуясь белоснежной обителью.

А вскоре, свернув на втором повороте на улицу Никитина, я нашёл то ли старинный, то ли просто оформленный под старину двухэтажный деревянный особняк с украшенными узорной резьбой наличниками и табличкой «Мини-отель „Модерн“». Свободным в отеле оказался только трёхкомнатный номер за четыре тысячи рублей в сутки, но зато с холодильником, телевизором, электроплитой, двумя диванами, кроватью и небольшой стиральной машиной. «Как раз то, что нужно,—подумал я.—Если Татьяну выпишут во второй половине дня, то мы уже никуда в этот день не уедем, и надо будет оставаться здесь на ночёвку. А тут и для детей место есть, и есть на чём нагреть молока, простирнуть испачканные ими пелёнки…»

Деньги у меня с собой были, так что искать что-то другое, подешевле и попроще, я не стал, а сразу же заплатил за два дня вперёд и вселился в номер.

Боже, какое же это чудо—тёплый туалет, горячий душ и наполненная ароматами ванная! Можно много говорить о приоритете духа над плотью, но как же сладко ощущать под собой белый унитаз, а не белый сугроб, какая радость чувствовать колкобьющие по телу упругие струи воды, осязать, как пышно пенится под твоими пальцами шампунь, и вдыхать горячий щекочущий пар с примесью клубничного или хвойного экстракта!.. Я только сейчас осознал, как редко в жизни мне доводилось пользоваться достижениями цивилизации из ванно-душевой области. Весь мир уже давно наслаждается купанием в джакузи, а я до сих пор смываю с себя пыль и пот водой из лесного ручья; все люди лечат свои кожу и нервы в душе Шарко, а я до сегодняшнего дня умываюсь по утрам из медного кувшина над тазиком. Самое лучшее, что я знаю в сфере водной гигиены,—это Танькину баню в конце огорода, откуда выходишь молодым и счастливым, смыв с себя не только грязь, но и накопленный на сердце негатив, физическую усталость и даже годы…

Проведя минут сорок под мощно хлещущим горячим душем, я с удовольствием растёрся одним из полудюжины махровых полотенец, после чего запахнулся в такой же халат и вернулся из ванной в номер. Стоящие на столе в гостиной часы показывали без четверти семнадцать, спешить мне было некуда, и я более детально обследовал свои апартаменты, обойдя каждую из комнат и посидев-полежав на каждом из находящихся в них диванов или кроватей. Диваны были широкие, ровные и не проваливающиеся, как раз такие, на какие кладут младенцев, не боясь, что они случайно перекатятся и улягутся головкой вниз. Холодильник урчал негромко, свет во всех комнатах был исправен, чайник работал, газ включался, всё было в порядке.

Высушив волосы феном, я снова оделся, вынул из щели электронного замка магнитную карточку-ключ, захлопнул за собой дверь номера, подёргал ручку, проверяя, действительно ли она закрылась, и отправился в монастырь. Мне подумалось, что раз уж поблизости оказался православный храм, то надо пойти и узнать, с какого времени можно крестить младенцев,—я не хотел уезжать обратно в Орду, оставляя своих мальчиков без надёжной защиты. А кому ещё можно было доверить их судьбу, как не Творцу и Спасителю мира? Лучше Него за них не заступится никто, даже я сам.

Главным храмом томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря является собор в честь Казанской иконы Божией Матери, куда

я и явился, видя, что туда идут и другие прихожане. Когда я вошёл в храм и тихонько приблизился к сгрудившимся вблизи алтаря людям, то увидел, что на амвоне стоит довольно молодой ещё, бледнолицый и русобородый, я бы даже сказал—рыжебородый, монах в чёрном клобуке, с украшенным рубинами крестом на груди, и произносит проповедь. Речь, как я понял, шла о знаменитом старце Фёдоре Кузьмиче, под именем которого, как утверждает народная молва, скрывался оставивший власть, престол и славу государь-победитель Александр I. Рассказывают, что после победы над Наполеоном он много ездил по святым местам, беседовал с монахами и старцами, а потом инсценировал свою смерть и похороны, а сам принял имя Фёдора Кузьмича и удалился от мира и мирских дел в старчество, чтобы всецело посвятить себя служению Господу. Оказывается, именно в этом монастыре и прошли его последние годы, и честные его мощи, от которых вплоть до нынешних дней происходят многочисленные чудеса исцеления, упокоены, как я понял из слов проповедника, тоже здесь.

Об этом самом Фёдоре Кузьмиче, или, точнее, о праведном старце Феодоре Томском, как раз и говорил в своей проповеди стоявший перед алтарём монах, которому благоговейно внимали прихожане. Царящую в храме тишину нарушали только потрескивание многочисленных свечей да раздававшийся время от времени плач младенцев, уставших от неподвижного сидения на руках матерей.

Суть духовного подвига Фёдора Кузьмича, говорил проповедник, заключается не просто в избрании для себя пути странничества и старчества, странников и старцев на Руси всегда было немало, а в отказе от уже обретённого земного царства в пользу только ещё стяжаемого Царства Небесного. Прославившись в мире как царь, который сумел одержать победу над самим императором Наполеоном, Александр Благословенный нашёл в себе силы отказаться и от мировой славы, и от царской власти, и от огромных царских сокровищ и выбрать для себя путь всецелого смирения и служения Господу. Это ли, спрашивал монах, не пример для нас нынешних, стремящихся в своём большинстве как раз к обратному и готовых без колебаний променять уготованное нам Спасителем Царство Небесное на достижение скоропреходящей мирской славы и обретение иллюзорной мирской власти и земных богатств?..

—Кто это?—стараясь не мешать окружающим, тихонько спросил я у стоящей рядом со мной женщины.

—Игумен Силуан,—осмотрев меня с головы до ног, с некоторым недоумением ответила она.—Наместник монастыря.

—Спасибо,—понимающе кивнул я головой и, никого больше не отвлекая, молча дослушал проповедь до конца, а когда игумен закончил говорить и удалился, подошёл к одному из священнослужителей и спросил его о сроках крещения новорождённых детей.

—В основном, в России сегодня крестят, начиная с сорокового дня после рождения, так как только через сорок дней после родов матерям разрешается заходить в церковь, а до этого они считаются грязными. Но если вы согласны крестить без присутствия матери в храме, то приходите хоть завтра,—пояснил батюшка.—К примеру, Александра Сергеевича Пушкина крестили уже на восьмой день после рождения. Некоторых крестят на девятый. Лично я считаю, что чем быстрее вы вручите судьбу своего ребёнка в руки Спасителя, тем это лучше для него. Ведь сами вы не можете защитить своё дитя ни от болезней, ни от катастроф, ни от каких-то общественных катаклизмов в виде войн или революций. А потому, чтобы не бояться за жизнь малыша и его здоровье, надо как можно скорее окрестить его, вверив тем самым попечению Господа, чтобы ребёнок рос под Его спасительным присмотром.

—Да я всё это понимаю, отче, я ведь за тем и пришёл, чтобы договориться о крещении. Только вот я не знаю, когда жену выпишут из роддома, а так как мы не местные, то нам надо будет сразу уезжать. Вот я и хочу спросить: можно ли нам будет крестить детей—а она родила двойню—без предварительной записи? В Криниченске, где мы живём, храма нет, а добираться в Колпашево и обратно не намного легче, чем сюда.

—Ну... вы хотя бы с утра зайдите предупредить, чтобы я знал и приготовился. Вы примерно знаете, когда ожидается выписка?

—Скорей всего, послезавтра. Где-то, я думаю, в районе обеда.

—Хорошо, я буду иметь в виду. Только вы всё же скажите утром матушке в свечной лавке, чтобы она вас записала. И жену свою оставьте в гостинице, потому что в храм ей пока ещё заходить нельзя...

Отстояв всенощную службу, я приложился к мощам Феодора Томского, затем погулял минут тридцать по пустынным морозным улицам вечернего Томска и возвратился в отель.

—Ужинать будете?—спросила меня дежурная, выдавая ключи от номера.

—Пожалуй, да,—согласился я, вспомнив, что ничего сегодня, кроме утренних блинов Василисы Макаровны, ещё не ел.—А где это можно сделать?

—Можно заказать еду себе в номер, а можно покушать в буфете.

Она показала мне, где находится буфет, и, сбросив у себя в номере тулуп и шапку, я направился в маленький уютный зальчик и заказал официантке стакан сметаны, отварную картошку с двумя большими котлетами и чёрный чай со сладким сдобным пирожком. Довольно быстро умяв всё

это, я попросил принести мне ещё одну чашку чая и уже просто так сидел с ней, наслаждаясь теплом, светом, покоем и удобным прочным стулом под задницей. Похожие чувства я испытывал раньше после ежегодного возвращения с полевых работ, когда, протаскавшись месяца четыре с рюкзаком по тайге и наночевавшись в спальных мешках и палатках, я приезжал в Читу и оказывался в бревенчатом общежитии на углу улиц Ленинградской и Угданской. Первые дни после возвращения мне казалось невиданной роскошью спать на мягкой кровати, не слыша комариного звона над собой, ходить в цивилизованный туалет, умываться по утрам над белой раковиной и слышать за окнами общаги гул моторов да бибиканье автомобильных сигналов…

И вот сейчас я испытывал такие же ощущения снова. Всё опять повторялось. Не знаю зачем, но жизнь вновь и вновь выводила меня на одни и те же сюжеты, только каждый раз на каком-то качественно новом уровне. Казалось, судьба пишет какую-то неведомую мне поэму, в которой повторялись, рифмуясь между собой, разделённые годами, как строчками, события. Новая встреча и новое расставание с Танькой, очередное появление на моём жизненном пути Вадима, многомесячный рейд сквозь тайгу и степи, кочевая жизнь с ночёвками в шатре и едой у костра, и теперь вот очередное возвращение к цивилизации и ожидаемая впереди новая встреча с Татьяной — всё это уже имело свои «рифмы» в далёком и недалёком прошлом, уже происходило когда-то в моей судьбе, оставив в памяти весёлые или грустные воспоминания и определённый опыт.

Единственным, что несло с собой неведомые дотоле ощущения, была посапывающая сейчас где-то на подушке рядом с Татьяной двойня не виденных мною пока малышей, одна только мысль о встрече с которыми обжигала мне сердце новыми чувствами и тревожила душу ожиданием каких-то решающих перемен. Теперь у меня были сыновья, наследники, и это кардинально отличало меня сегодняшнего от того, со страницами жизни которого судьба рифмовала сейчас столь изощрённо выстраиваемую ныне реальность. И уже завтра или послезавтра я смогу их увидеть и прижать к своему истосковавшемуся по любви и домашнему очагу сердцу…

Позавтракав утром в кафе яичницей с колбасой и выпив под круассан большую чашку кофе с молоком, я вернулся в свой номер, оделся и направился к роддому. В палату меня, конечно же, не пропустили и Татьяну ко мне вызвать отказались, но записку написать разрешили и вскоре передали на неё ответ. Танька писала, что наблюдение подходит к концу, но когда её конкретно выпишут, пока неизвестно. Она рассчитывала, что это произойдёт уже завтра, но только что был обход, и врач ничего конкретного не сказал, но зато назначил ей ещё один анализ, так что, может быть, придётся провести в больнице на день дольше, чем она думала. Чтобы не зависеть от милости вечно занятых медсестёр, вынужденных таскать наши записки, Танька предлагала мне купить недорогой мобильный телефон, которые сейчас продаются на каждом углу, и спокойно по нему разговаривать. Она себе такой незадолго до больницы купила, хотела купить также и тётке, чтобы быть с ней на связи, но не успела, поэтому звонила по нему за всё это время всего один раз — своим криниченским соседям, через которых передала Василисе Макаровне сообщение о родившейся двойне.

В конце записки был крупными цифрами написан номер её мобильника и добавлена просьба прямо сейчас пойти в магазин и купить трубку. «Мне не терпится услышать твой голос, — писала она, — а главное, я хочу дать послушать его нашим мальчикам, потому что, говорят, голос, который они услышат в первые дни своей жизни, останется в их памяти навсегда, и даже если ты объявишься следующий раз лишь через двадцать лет, то стоит тебе будет заговорить, и память тут же подскажет им, что перед ними родной человек».

Дочитав записку, я аккуратно сложил листочек вчетверо, сунул его в брючный карман и вышел на улицу. «Ну уж дудки! — подумал я, повторяя про себя написанные Танькой строчки. — Двадцать лет — это слишком большой срок, я появлюсь рядом с моими малышами раньше. Мне надо очень многое сказать им до того, как их начнут оболванивать хохмачи из «Comedy club». Неужели же я допущу, чтобы кумирами для моих ребят стали Пенкин и Моисеев? Или чтобы главной мечтой их жизни было сбежать из России и найти себе тёпленькое место на Западе?.. Нет, для моих парней найдётся дело и здесь, на Родине. Кто-то же должен делать свою землю счастливее и богаче…»

Войдя на проспекте Ленина в первый же увиденный мною магазин сотовой связи, я купил себе за две с половиной тысячи рублей симпатичный тёмно-синий телефончик модели «Sony Ericsson», привлёкший меня прочной металлической окантовкой, что показалось мне максимально надёжным при моей кочевой жизни, когда вещи целыми днями трясутся от верховой езды или брякаются с седла наземь. Молоденький продавец вставил мне сим-карту и дал коробочку с инструкцией и зарядным устройством. Осталось только набрать восьмёрку и заветные десять цифр — и я услышу голос своей любимой женщины и писк дорогих мне малышей…

25.

Весь остаток этого дня и двое последующих суток практически целиком поглотили мои телефонные

беседы с Татьяной и малышами. От Таньки я узнал, что её беременность протекала с какими-то испугавшими врачей отклонениями и, учитывая её возраст и выявленную на узи двойню, рожать её увезли в Томск. До последней минуты речь шла о кесаревом сечении, но потом всё-таки решили принимать роды обычным путём, и всё, слава Богу, завершилось благополучно. Правда, у неё дольше обычного длились кровотечения, и только позавчера вошло в норму давление, поэтому пришлось провести под наблюдением врачей несколько больше времени, чем лежат обычные роженицы. Здешний родильный дом имени Семашко считается одним из лучших в областном центре, программой Всемирной организации здравоохранения ему даже вручён международный сертификат «Больница, благожелательная к ребёнку», так что тут сделали всё, чтобы моя любимая и рождённые ею сыновья были здоровыми. Что мне и подтвердили два жизнерадостных мощных крика, то и дело прерывающих собой голубиное воркование наших с Татьяной разговоров.

— Богатыри!— не смог удержать я ликования, в очередной раз услышав в мобильнике трубные голосищи своих наследников.— Новые Ильи Муромцы!

— Ты хочешь назвать их обоих Ильями?— рассмеялась Татьяна.

— Нет, мы назовём их Сергеем и Дмитрием,— вспомнил я терзавшую меня в предыдущие месяцы проблему выбора между двумя этими именами,— в честь Сергия Радонежского и Димитрия Донского. Чтобы было кому в будущем защищать наше Отечество от нашествий. Один— своим словом в молитве, другой— своим подвигом в битве.

— Ну вот,— заметила она, перестав смеяться,— ты опять заговорил стихами. Значит, твоя душа ещё не застыла, раз способна творить гармонию, а это главное. Ещё немного, и всё у нас будет хорошо. Я это чувствую, поверь мне. У нас это фамильное…

Не буду описывать те удивительные чувства, что охватили меня при виде двух свёрнутых из синих одеял конвертов, внутри которых, словно два живых письма в простирающуюся впереди вечность, сопели две крошечные жизни, точно божественные искры, высеченные нашей с Танькой запоздалой любовью. Было уже два часа дня, в Казанском соборе нас ожидал для совершения крещения батюшка, и мы прямо из роддома двинулись по направлению к монастырю. День выдался солнечный, не очень морозный, поэтому мы не стали брать такси, чтобы одолеть какие-то две-три сотни метров, отделяющие роддом от монастыря, и пошли пешком. Оставив Татьяну греться в иконной лавке, я с двумя малышами в руках вошёл в храм, куда ещё утром занёс всё необходимое для крещения. Литургия давно закончилась, и священник был готов приступить к совершению таинства. Правда, со всеми малышами были, помимо их родителей, ещё и крёстные отцы и матери, и только я был один, да ещё и сразу с двумя младенцами в руках.

— У вас нет ни одного знакомого в городе?— спросил батюшка.

Я отрицательно покачал головой.

— Тогда погодите,— сказал он,— я сейчас.

Священник на несколько минут отошёл в глубь храма и что-то сказал одному из проходивших мимо монахов в бархатной скуфейке. Тот понимающе закивал, вынул из-под рясы мобильник и, быстро набрав номер, о чём-то с ним поговорил. Минут через пять после этого в храм пришёл ещё один монах в высоком чёрном клобуке, и они вместе подошли к священнику.

— Вот, они будут восприемниками для твоих сыновей,— сказал батюшка, указывая на подошедших.— Познакомься. Это иеромонах отец Даниил и игумен отец Варсонофий.

Я склонил в приветственном поклоне голову, и монахи взяли у меня из рук малышей: отец Даниил— Сергуню, а отец Варсонофий— Димку. Батюшка прочитал над детьми оглашения, после чего ревущих на все лады младенцев по очереди троекратно погрузили в купель со святой водой.

— Крещается раб Божий Сергий во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. Крещается раб Божий Димитрий во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь,— произнёс священник, после чего отец Даниил и отец Варсонофий приняли моих мальчишечек на белые полотенца, облачили их в купленные мною здесь же накануне новенькие беленькие рубашечки («блистающие ризы») и надели на них нательные крестики.

После этого им помазали освящённым миром голенькие стопы ног, кисти рук и лобики, потом батюшка губкой омыл с их тел миро и крестообразно состриг частицы волос с головок. Затем он оставил нас стоять возле купели, а сам по очереди взял на руки каждого из окрещённых только что малышей и сначала поднёс их к Царским вратам, а потом вошёл с ними внутрь и пронёс по алтарю. После завершения обряда крещения он вынес из алтаря чашу со Священными Дарами и причастил новокрещённых из маленькой золотой ложечки.

Вместе с нашими двойняшками сегодня было всего четверо или пятеро крещаемых, поэтому совершение всего таинства заняло чуть больше часа. Отцы-восприемники помогли мне завернуть моих маленьких христиан обратно в одеяльца, и, прижимая к груди свои драгоценные сокровища, я вышел из храма и поспешил к заждавшейся меня в свечной лавке Татьяне. Та немедленно заглянула под синие клапана одеял и расцеловала личики успокоившихся после завершения крещения малышей, после чего отобрала у меня из рук Сергуньку, и мы заторопились в гостиницу.

Какое же это было счастье — идти, прижимая к груди маленький живой комочек, осознавая, что в нём струится твоя собственная кровь и дышит часть твоей плоти. Я вдруг с какой-то внезапной ясностью почувствовал, что этот момент перевешивает собой абсолютно всё, что было в моей жизни до этого, и всё то, что ещё только ожидает меня в последующем. Наверное, такие же точно чувства испытывал после создания Земли и сам Господь, увидевший, как горячо задышали ожившие по Его слову вулканы, заплескался у берега изумрудный морской прибой, потекли, радостно звеня на перекатах, кристальные чистые реки, осеняемые кронами пышнолистых и тонкоигольчатых деревьев, потянулись над степями стада белорунных облаков, засияло влюблённое во всё живое солнышко... Во время своей многолетней работы в тайге, просыпаясь иной раз среди ночи или под утро и слыша, как самозабвенно заливаются в гуще листвы за палаткой соловьи-красношейки, горихвостки, белобровики, клесты, завирушки, крапивники и другие лесные солисты и хористы, внимая тому, как упоительно выводят они свои рулады, трели и коленца, я пришёл однажды к тому выводу, что Господь для того, может быть, только и сотворил на Земле человека, чтобы было кому оценить то потрясающее пение, которое Он услышал среди созданных Им лесов и перелесков, потому что создавать такое чудо ни для кого (а сами птицы вряд ли в состоянии оценить красоту издаваемых ими звуков, так как для них это только язык функционального общения) было бы абсолютно бессмысленно.

...Гостиница Таньке понравилась, она быстро обжила пространство всех трёх комнат и санузлов, разложив и развешав повсюду ползунки, пелёнки, памперсы, простыни, пакеты с питанием, бутылочки с молоком, соски-пустышки, погремушки, чепчики и другие принадлежности неведомого мне ранее мира, так что свободной осталась только широченная кровать в самой дальней комнате, которую я использовал под спальню и на которой мы и отлёживались до конца этого дня, спеша наговориться после всех этих тревожных и долгих месяцев разлуки. На разложенном вширь диване в гостиной беззаботно посапывали наши пацаны, а мы лежали на кровати и, время от времени поглядывая через открытую дверь на спящих малышей, тихо шептались о том, что приключилось со мной этим летом.

— Слушай, ну неужели же ничего нельзя сделать? — вновь и вновь возвращалась Татьяна к поведанной мною истории о походе армии Вадима на Москву. — А если рассказать обо всём журналистам? А?.. Пусть они обнародуют материал в газетах или Интернете, на сигнал прессы власть ведь обязана будет как-то отреагировать. Разве нет?..

— Нынешняя власть не реагирует ни на что, кроме шелеста купюр. Да и как ты себе представляешь этот сигнал? В виде интервью, взятого у одного из воинов армии Чингисхана? Ты думаешь, кто-то этот бред будет читать? Если его вообще напечатают...

Я немного приподнялся, опершись на локте, и, вытянув шею, выглянул через открытую дверь в гостиную, прислушиваясь, не плачут ли там наши малыши, и опять опустился рядом с Татьяной.

— Ты думаешь, почему в СССР не было сообщений об НЛО и других аномальных явлениях? Это ведь не потому, что их у нас никто не видел, а потому, что каждый, на каком бы уровне власти он ни находился, получив известие о чём-то ему непонятном и необъяснимом, думал в первую очередь о том, как это будет воспринято выше. И если попавшая ему в руки информация была непонятна и вызывала сомнения, то она, естественно, никуда не пересылалась. Ты только сама подумай, как такой серьёзный человек, как, например, первый секретарь райкома партии, мог рапортовать в обком или, не дай Бог, куда-нибудь ещё выше о том, что на вверенной ему территории видели летающую тарелку с зелёными человечками на борту? Или вынырнувшую из местного пруда динозавриху? Или разгуливающего по окрестным горам снежного человека?.. Поверить этому на слово невозможно, серьёзных свидетельств не существует до сих пор, а значит, автора подобной информации просто приняли бы за сумасшедшего, в лучшем случае — за чудака, ну а чудак, как ты понимаешь, первым секретарём райкома быть не может... Не так ли происходит и теперь? Сообщения о продвижении орды Вадима, если они и были, оказались никем не восприняты всерьёз. Милицейских протоколов нет. Свидетельских показаний нет. Сожжённых городов и трупов нет. Где-то разграбили продуктовый ларёк и увели со двора корову? Боже мой, нашли о чём говорить! Это происходит в любом районе по пять раз в неделю. Так что — выкиньте из головы этот бред про Чингисхана, пока вас не упекли в психушку...

— Всё равно надо бить во все колокола, поднимать шум, кто-нибудь да услышит!

— Первым эти колокола услышит Вадим и пришлёт своих нукеров в Криниченск, чтобы они сожгли посёлок, а людей перерезали. Так что идти по этому пути опасно.

— Тогда что? Молча смотреть, как его войско движется на столицу?

— Ну почему же?.. Следующим летом мы выйдем на европейскую часть России, там город на городе, много воинских частей... Я, допустим, могу вывести войско на какой-нибудь охраняемый военный объект или спровоцировать конфликт при прохождении какого-то крупного населённого пункта. Ну, скажем, начну стрелять в полицию,

чтобы вызвать столкновение. Тогда нас, наконец, заметят и…

— …И тебя убьют в перестрелке. Или посадят. Так что придумай что-нибудь получше.

— Я думаю, моя радость, я каждый день только об этом и думаю… Если не думаю в это время о тебе,— поцеловал я её в худенькое тёплое плечо.

В ответ она прильнула к моей груди и тяжело вздохнула.

— Грибов этой осенью было видимо-невидимо, хоть косой коси. А я выйду с лукошком в лес и плачу там, как дура… Сижу, как сестрица Алёнушка, на пенёчке и слезами обливаюсь. Зачем они мне одной?.. Мне без тебя ни грибов, ни ягод, ничего не надо,— жарко зашептала она, обжигая меня своим горячим дыханием, и ещё плотнее прижалась ко мне своим худеньким телом.

— Ничего, родная, потерпи. Следующей осенью мы обязательно будем собирать их вместе. Я тебе обещаю,— поклялся я в ответ и каким-то пятым или шестым чувством вдруг почувствовал, что так всё действительно и будет, обязательно.— Ты, главное, смотри, чтоб наши витязи росли здоровыми и крепкими. И топи баню…

…На следующее утро я сбегал и попрощался с крёстными отцами наших мальчиков, записал на всякий случай номера их мобильных телефонов и, попросив их молитвенной помощи, благословился на дорогу и вернулся в отель. Татьяна уже собрала вещи, завернула в одеяла малышей и ждала моего сигнала. Оплатив проживание в гостинице, я вызвал через дежурную администраторшу машину, договорился с водителем о цене, и часов в одиннадцать утра мы выехали за окраины Томска и покатили в сторону далёкого Криниченска. Из машины Танька дозвонилась до соседей и попросила их сообщить Василисе Макаровне, что мы уже находимся в пути и рассчитываем к вечеру быть дома.

По сторонам дороги потянулись уже виденные мною во время поездки с Иваном Григорьевичем убелённые снегом окрестности, потом мы в обратном направлении пересекли по Шегарскому мосту скованную льдами Обь, выехали на укатанную машинами автотрассу и помчались в направлении Колпашево. И, глядя на пролетающие за окнами автомобиля знакомые мне по летнему рейду места, я никак не мог с уверенностью сказать себе, было ли это фантастическое шествие стотысячной монгольской орды через сибирские просторы реальным фактом, или же — это лишь какое-то чудовищное наваждение, привидевшееся моему растревоженному сменой жизненных обстоятельств сознанию… Вот здесь мы летом свернули с трассы на грунтовую дорогу и углубились в тайгу в поисках заброшенной военной дороги; вот по этой крайней улице мы в течение целых суток или даже более шли через Колпашево, сопровождая возы с провизией и разобранными шатрами; а на этом вытащенном нынче на берег железном пароме перевозили через Обь свои телеги… Странно, но все вокруг продолжают жить своей обычной жизнью, как будто ничего этого никогда и не было. Похоже, что люди сегодня действительно перестали видеть что бы то ни было в мире, если оно не имеет непосредственного отношения к ним самим, их делам, бизнесу или их близким. Какое, собственно говоря, живущим в этой таёжной глуши лесорубам и охотникам дело до того, куда движется стотысячная толпа вооружённых луками и стрелами узкоглазых всадников и что она собирается совершить в скором будущем на просторах России? Разве им объясняли такие вещи раньше, когда мимо их сёл и деревень проезжали, увеча поля и дороги, на какие-то свои засекреченные учения тяжёлые армейские тягачи с зачехлёнными ракетами и крытые брезентом грузовики с солдатами? Вот всем, в конце концов, и стало пофиг всё то, что происходит за заборами их личных дворов и усадеб. Особенно теперь, когда родина не просто перестала писаться с большой буквы, но превратилась в конгломерат предельно равнодушных друг к другу, чужих по крови и духу лиц и сообществ, не объединённых фактически ничем, кроме всеобщего презрения к закону и власти…

Ворча, что слишком задёшево согласился везти нас в такую даль по сплошному бездорожью, где он в клочья порвёт о торосы покрышки своей новенькой «Нивы», водитель осторожно пересёк по льду замёрзшую Обь и выехал на правый берег, где лежал последний, самый раздолбанный и дискомфортный участок пути, отделяющий нас от дома Василисы Макаровны и жарко натопленной (на что я особенно рассчитывал) в конце её огорода бани. Последние тридцать километров заняли у нас около двух часов времени, наполненных бесконечными сетованиями и причитаниями вёзшего нас шоферюги, испытывающего чуть ли не физические муки из-за того, что, как ему теперь казалось, он не учёл всех тягот предстоявшей дороги и сильно продешевил, договариваясь со мной об изначальной цене поездке. Это его нескончаемое нытьё убило во мне всякое желание доплатить ему за действительно неблизкую и нелёгкую дорогу, о чём я ему без обиняков и сказал, вручая в конце нашего путешествия оговоренную при отъезде от гостиницы сумму.

— Но я же не знал, что тут никто, кроме лесовозов, не ездит! — оправдывался водитель.— А ты сам видел, какая после Колпашево пошла колея — это же настоящие противотанковые окопы! Я еле прополз по ней, чтобы не усесться на днище. А как мне теперь назад ехать? Через полчаса темнеть начнёт, по темноте я точно там засяду…

— Так чего ж ты тогда поехал, если не знал толком, какая тут дорога?

— Жить-то на что-то надо. По городу ведь много не выездишь, так себе, копейки… Да и помочь я вам захотел, вижу — с двумя детишками, намучаетесь в автобусе, — явно начал привирать на ходу мужик, рассчитывая надавить нам на жалость. — Ради ребятишек чего только не сделаешь, лишь бы только им было хорошо и покойно. Так ведь, хозяйка? — заискивающе улыбнулся он Татьяне.

И та не выдержала.

— Дай ему ещё три тысячи. Я не хочу, чтобы вокруг наших малюток клубились чьё-то раздражение или обида, это плохо отразится на их самочувствии. Пусть они приносят всем только радость.

— Три тысячи мало, хозяюшка! Младенцев же двое! Вот за каждого по три тысячи и добавьте! — ухватился за услышанную мысль водитель, что окончательно вывело меня из себя.

— Слушай, ты, крохобор! — психанул я. — Вот тебе ещё пятёрка, и кати в свой Томск, пока тебя волки в тайге не задрали. Нельзя же быть таким жадным! Ты себе так не машину на днище посадишь, а совесть.

Я ткнул ему в руки ещё одну пятитысячную бумажку и, не слушая больше никаких стонов и причитаний, забрал из рук Татьяны одного из закутанных в одеяла малышей, подхватил вынутую из багажника сумку и шагнул в калитку двора Василисы Макаровны…

26.

Куда делись последующие две недели, я, честно говоря, и не заметил. Кажется, я всего-то пару раз наколол у сарая дров да принёс в дом воды, а по деревянным тротуарам Криниченска уже зазмеились жёсткие белые позёмки и наступил февраль. Большую часть моего времени, конечно, забрали на себя пацаны, от которых я просто не в силах был отойти, настолько ново и необычно было для меня это чувство — ощущать себя отцом. Тем более что Татьяна до этой поры никак не могла восстановиться после родов, так что нам оставалось только держать друг друга за руки, вести бесконечные разговоры да мечтать о тех днях, когда она полностью окрепнет и почувствует в себе прежнюю способность к близости. Она даже пришла однажды ко мне в предбанник натопленной бани, но так и не стала раздеваться, а просто немного посидела рядом со мной в накинутом на плечи полушубке и ушла, оставив меня наедине с раскалённой печкой, тазами и мочалками.

Надо было возвращаться в становище. Оттягивать расставание дальше не имело никакого смысла, так как это только делало его тяжелее и болезненнее. Выстиранные и выглаженные Танькой бельё и рубашки были аккуратно сложены в сумку, носки были заштопаны, пуговицы пришиты, так что оставалось только договориться с кем-нибудь из соседей о машине до Колпашево и отправляться в обратный путь; но тут снова, как и перед моим выездом из лагеря, задули сильные метели, и дорога превратилась в сплошной тридцатикилометровый сугроб, так что пришлось ещё неделю ждать, пока установится нормальная погода и бульдозеры расчистят дорогу. Но вот, наконец, пурга угомонилась, трактор разгрёб снежные заносы, и Иван Григорьевич согласился подбросить меня за пять тысяч рублей до райцентра.

Пересчитав деньги, которые остались у меня от выданных Токтонбаем ста тысяч после покупки мобильника, оплаты крестин, гостиницы, расчётов с жадным водителем и других необходимых трат, я отдал двадцать тысяч рублей Татьяне, а остальные оставил себе на обратную дорогу и возможные непредвиденные обстоятельства. Затем сходил к Ивану Григорьевичу и договорился с ним, что завтра утром он отвезёт меня на своём «жигулёнке» в Колпашево, а уже оттуда я на рейсовом автобусе, частнике или с каким-нибудь попутным лесовозом спокойно доберусь до Томска. Вернувшись от него, я обошёл напоследок двор Василисы Макаровны, расколол на поленья несколько толстых чурок, расчистил от свежего снега дорожку от крыльца до калитки, принёс от колодца пару вёдер воды и, не зная, чем занять себя дальше, вошёл в избу, разделся, вымыл руки и присел около распелёнатых в тепле малышей. Они были прекрасны. Это было самое совершенное из того, что я мог сотворить в этой жизни, и я мог любоваться ими часами. Танька иногда даже боялась, чтобы я их ненароком не сглазил. Но я не мог причинить вреда своим мальчикам, ведь я их любил — и тогда, когда мы с Татьяной их только зачинали, и тем более сейчас, когда они лежали, разбросав пелёнки, посреди разложенного дивана и тянули ко мне свои розовые пальчики. А любовь навредить не может, это самая светлая энергия во Вселенной, так что Танька напрасно боялась…

Ночью она впервые после родов пришла ко мне в постель не просто пошептаться о делах и потом уйти спать возле малышей, а так, как это было у нас раньше, ещё до моего вынужденного ухода с ордой Вадима. Правда, сначала мне было боязно к ней прикасаться, казалось, что у неё всё ещё болит и кровоточит, и потому я каждую минуту ожидал от неё невольного вскрика или стона, но всё, слава Богу, прошло благополучно, и мы только под утро уснули, прижавшись друг к другу и не расцепляя истосковавшихся жадных объятий.

Утром за мной заехал на своих «Жигулях» Иван Григорьевич, мы быстро одолели расчищенные бульдозером тридцать километров, и в одиннадцать часов тридцать пять минут я уже выехал из Колпашево рейсовым автобусом до Томска. Автобус — не легковушка, он и летом-то движется не с крейсерской скоростью, а по обледенелой зимней трассе вообще еле ползёт, поэтому до Томска мы

добрались только к девяти часам вечера. У меня и за эту-то дорогу затекли и онемели все члены, а представив, как я буду ещё часов шестнадцать, а то и больше трястись в автобусе до Омска, я пришёл в ужас. «Нет уж,—сказал я себе,—лучше поездом»,—и, перейдя через лежащую перед автовокзалом площадь, вошёл в здание железнодорожного вокзала станции Томск-1. Посмотрев расписание, я увидел, что спешить мне пока что некуда, так как ближайший поезд Томск—Анапа, на котором я мог добраться до Омска, отправляется только в три часа ночи, а потому спокойно купил в кассе билет в плацкартный вагон и, выбрав среди вокзальных кресел место, где меньше дует, вынул из сумки приготовленный мне на дорогу узелок с едой и побаловал себя испечёнными Василисой Макаровной пирожками с яйцами и зелёным луком, который она выращивала на подоконниках в сколоченных из оструганных дощечек ящиках с землёй.

Поезд подали вовремя, и в половине четвёртого ночи, после того как проводница прошла по вагонам и проверила билеты, я забрался на свою верхнюю полку, благо постель там уже была приготовлена, и улёгся спать. Проснулся я часов в одиннадцать, уже после Новосибирска. Умылся, заказал чаю и, вспомнив про свои пирожки, принялся за завтрак, поглядывая время от времени на то, мимо чего мы ехали. А за грязноватым вагонным окном тянулись заснеженные болота, перемежаемые то лесопосадками, то естественными берёзовыми рощицами, мелькали заколоченные на зиму дачи, одинокие дома, старые деревянные здания вокзалов на каких-то полузабытых станциях. Изредка от станций куда-то уходили проложенные в глубоком снегу дороги, похожие на санные пути.

Вот поезд резко повернул вправо, слева мелькнуло белое замёрзшее озеро, и я услышал, как кто-то в соседнем отсеке произнёс его название—Иткуль, после чего поезд опять потянулся вдоль продутой зимними ветрами унылой лесополосы. Проехав ещё немного по открытой заснеженной местности, состав простучал по мосту над какой-то неширокой речкой, после чего слева по ходу движения показалось здание большого вокзала эпохи Сталина или Хрущёва с названием «Чулымская», за которым мелькнула водонапорная башня, строения небольшого городка, и вскоре за окном опять потянулись широкие белые луга и берёзовые перелески.

«Блин!—вспомнил вдруг я.—Это же именно здесь мы пересекали в конце лета автотрассу и железную дорогу!»—и начал жадно всматриваться в мелькающие за окном пейзажи, будто надеясь увидеть там какие-то оставленные нами следы. Но главный след от прожитых событий остаётся обычно не на земле, а в душе и памяти, поэтому, глядя сейчас за запотевшее между стёклами окно, я видел перед собой не выбеленные снегом луга и замёрзшие озёра, а чёрную предосеннюю ночь и некую шевелящуюся в её утробе фантастическую массу из тысяч людских и конских голов, торчащих над ними копий, многочисленных скрипучих телег и всхрапывающих во тьме лошадей.

За окном промелькнула станция Каргат, и, потеряв интерес к проезжаемой местности, я поднялся с места и направился к купе проводников. На стенке в начале вагона висела схема маршрута, наложенная на примитивную географическую карту, и, посмотрев на неё, я вдруг увидел, что от Новосибирска до Семея, в общем-то, примерно такое же расстояние, как и от Омска, так что можно было спокойно сойти с поезда три часа назад, и сейчас я бы уже ехал в автобусе по территории Казахстана. А так теперь придётся до вечера париться в поезде, а потом ещё, наверное, сидеть до утра на автовокзале, так как ночью междугородние автобусы, скорее всего, не ходят. Одно утешение, что я никуда не опаздываю и у меня нет необходимости во что бы то ни стало приехать завтра, а не послезавтра. Хоть Вадим наверняка уже и нервничает, но не думаю, что до такой степени, чтобы слать по моим следам головорезов. Завтра после обеда я буду в Семипалатинске, к ночи доберусь до Караула, а там и до становища рукой подать. Так что, думаю, ничего страшного пока не произошло. Так, небольшая задержка по техническим причинам, и не более. Так что можно пока взять ещё один стаканчик чаю и съесть очередной пирожок...

...Но, Боже Ты мой, как же я ошибся! Проведя ночь на скамейке в зале ожидания железнодорожного вокзала, я с первыми же признаками рассвета, едва только начал ходить городской транспорт, перебрался на омский автовокзал и был просто шокирован, увидев в расписании, что автобуса до Семипалатинска нет не только ночью, но и утром! Оказывается, он отправлялся из Омска только в шестнадцать часов тридцать минут, и всё остающееся до половины пятого время мне надо было где-то проболтаться! Торчать целый день на морозе было немыслимо, сидеть на вокзальных скамейках не было сил, так что надо было обязательно куда-нибудь пойти, но вот только—куда? В кино на три сеанса подряд? В какой-нибудь ресторан? Или пойти послоняться по омским магазинам? Куда, Господи?..

«Коммм-мне! Коммм-мне!»—отозвалось на мои вопросы само, как мне показалось, небо, и, заворожённо последовав на этот льющийся колокольный призыв, я вышел из автовокзала на улицу с именем неизвестного мне Степанца и, пройдя по ней около сотни или чуть больше метров, увидел высокий красно-белый храм, окружённый оградой из тонких металлических прутьев.

«Комммм-мне! Комммм-мне!»—зазывали меня внутрь колокола, и, подчиняясь их магическому голосу, я осенил себя крестным знамением и, миновав открытые ворота с висящей рядом табличкой «Расписание служб Христорождественского собора», вошёл в церковь.

Литургия ещё не начиналась, людей в соборе было немного, и, купив у свечного ящика десяток свечей, я свободно прошёл к центральному аналою и, приложившись к иконе, поставил свечу на пока ещё не заполненный подсвечник. Потом прошёлся по храму и возжёг свечи перед иконами Спасителя, Божьей Матери, святой Татианы, Сергия Радонежского, Димитрия Донского, Николая Чудотворца и других святых. Последнюю я поставил на канунник в поминовение об усопших.

— Вы на исповедь?—спросил меня, выходя из алтаря и устанавливая переносной аналой, пожилой священник в жёлтой рясе и, не дожидаясь моего ответа, приглашающее кивнул:—Подходите.

— Я не на исповедь, отче,—испытывая неловкость от неготовности к разговору, смущённо заговорил я.—Но я хотел бы с вами посоветоваться по одному вопросу…

— Слушаю вас.

— Даже не знаю, как начать… Понимаете, так получилось, что против своей собственной воли я оказался вовлечён в дело, которое может иметь для меня нехорошие последствия. Но отказ от этого дела может принести беду моим близким. И я не знаю, как мне поступить и какой путь выбрать.

— Мне трудно правильно судить о деле, суть которого я не знаю, но, насколько я понимаю, дело это не совсем богоугодное. Тот факт, что вы оказались вовлечены в него против вашей воли,—заблуждение. Это только кажется, что какие-то вещи в этой жизни происходят помимо нашего желания, на самом же деле мы сами, может быть, правда, того не осознавая и не ведая, подготавливаем свершаемые в нашей судьбе события своими предшествующими делами. И если вы хорошенько пошарите в своём далёком и недалёком прошлом, то обязательно увидите ту дверь, через которую в вашу сегодняшнюю жизнь пришло это опасное для вас и ваших близких дело.

— Но разве я могу сегодня закрыть ту дверь, которую открыл год или даже более тому назад?

— Что невозможно человеку, то возможно Богу. Молитесь, и Господь подскажет вам правильное решение и укрепит ваши силы. Но свои грехи мы всё равно должны искупать сами, и исправлять свои ошибки—тоже.

— Спасибо, отче, я понял вас. И, кажется, я начинаю видеть ту дверь, о которой вы говорите,—сказал я, смутно припоминая, как несколько лет тому назад в посёлке Агинское я утаил от капитана Птицына, что разыскиваемый по всей Читинской области беглый уголовник сидит сейчас в стоящем прямо у крыльца Агинского райотдела милиции вездеходе и с нетерпением ожидает, «заложу» я его ментам или нет.

Я—не «заложил». А сейчас и хотел бы «заложить», да история приобрела такие масштабы, что в неё не поверит ни один капитан Птицын…

Отстояв литургию, я приложился к кресту и вышел на улицу. До отправления автобуса оставалось ещё четыре с половиной часа, так что мне всё равно пришлось поболтаться по промёрзлым улицам и позаглядывать от нечего делать во встречающиеся на пути магазины. Хорошо, что среди них попался небольшой книжный, где я простоял часа полтора, листая сборники стихов и выхватывая из них зацепившие меня чем-то строки. К примеру, такие, как в одном из стихотворений уфимского поэта Владимира Денисова в книге «Не повторятся наши лица»:

Застоявшись в угрюмые годы,
Не умея взлетать в стремена,
Мы на дикие степи свободы
Смотрим жадным зрачком скакуна…

Уже из-за одних этих строчек я купил его сборник, в котором потом нашёл ещё и замечательную «Евразийскую историю», содержащую, в частности, такие не могшие не затронуть меня своей первозданно-стихийной мощью строки:

Урал. Такой седой, что припади
Щекой к земле—услышишь непременно
Сердец монгольских уханье в груди
От монотонных песен Керулена.
Там полонянка пела под луной
Про кипчаков отравленные стрелы.
Уж не она ли встретилась со мной,
Сорвавшись с ханской войлочной постели?
Она. Вот так же взгляд её сверкал
Под жарким буйством ханского дыханья.
Нас разделяют звёзды, и века,
И сонных трав степное колыханье…

Купив несколько поэтических книжек, я возвратился на автовокзал, и в это время неожиданно зазвонил мой мобильник. Я совсем забыл, что у меня теперь есть телефон, и не сразу даже понял, что сигнал исходит из моего собственного кармана. Надо же, я мог уже сто раз позвонить Татьяне и поговорить с ней, услышать голоса наших малышей, а я даже не сообщил ей о том, что благополучно добрался до Омска.

— У тебя всё в порядке?—услышал я в трубке самый родной для меня голос.

— Да, моё солнышко, всё хорошо. Я в Омске, ожидаю автобус до Семея. Сегодня, наверное, переночую в Карауле, а утром отправлюсь дальше. Думаю, что завтра уже буду на месте. А как ты? Как мальчики?

— Слава Богу,— вздохнула она,— с нами всё хорошо. Только тебя не хватает. Я так ждала от тебя звонка…
— Ты не поверишь, но я забыл, что у меня есть мобильник. Вспомнил, только когда ты мне на него позвонила. Я ведь им всего несколько раз пользовался, когда звонил тебе в больницу.
— Будет возможность заряжать его — звони. мтс сейчас принимает по всей стране, лишь бы рядом была какая-нибудь вышка. И, пожалуйста, помни о нас… Я почему-то верю, что ты что-нибудь придумаешь, чтобы скорее вернуться домой.
— Обязательно придумаю,— пообещал я.— Ведь я люблю тебя. И очень хочу быть рядом с вами…
— Мальчики второй день крутят головами, как будто ищут кого-то…
— Береги их. Я скоро вернусь.

И я вдруг почувствовал, как у меня незнакомо защемило в глазах, и захотелось сморгнуть с ресниц неведомо откуда взявшуюся слезинку…

Дождавшись своего автобуса, я занял место у окна в начале салона, и вскоре мы выехали в Семей. Проведя полубессонную ночь на скамейке железнодорожного вокзала, я почти сразу же после отправления автобуса наглухо вырубился и проснулся только уже на самом въезде в Семипалатинск, когда за окном потянулись частные дворы с голубыми воротами, четырёхэтажные серые дома да какие-то производственные цеха или склады, окружённые высокими каменными заборами. Набрав Танькин номер, я попробовал дозвониться до неё и сообщить о своём прибытии в Семей, но связи уже не было. Однако набранная эсэмэска вроде бы всё-таки ушла, и это меня успокоило.

Тем временем мы подрулили к вокзалу. Подождав там не больше часа, я пересел на рейсовую маршрутку до Караула и уже к обеду был в доме, где меня дожидался всё это время Арслан с нашими лошадьми.
— Ну наконец-то!— обрадованно воскликнул он, увидев меня на пороге.— Я уже устал тебя ждать. Мы пропустили столько событий! Во-первых, свадьбу Великого Хана с китайской принцессой. А во-вторых, обряд наречения его именем Чингисхана Второго, для которого в Шынгыстау приезжали старейшины казахских и китайских родов. Но зато мы приведём ему в качестве свадебного подарка эскадрон потомственных сибирских казаков. Двести сорок сабель — это тебе не мешок урюка!
— Казаки? Двести сорок сабель?— удивился я.— Откуда они здесь?
— Из Новосибирска,— пояснил Арслан.— Третий день уже стоят тут постоем, дожидаясь, когда ты прибудешь, чтобы всем вместе отправиться в лагерь. Без проводника выступать не хотят, боятся, что их могут принять за врагов и начать стрелять. И правильно делают, я думаю, в таких делах без посольства нельзя обходиться.
— Но откуда они тут взялись? Кто их привёл?
— Сами пришли. Земля слухами полнится, вот они услышали про нас — и пришли. У кого-то из них живут родичи в Жидебае, вот они что-то прослышали про нас и сообщили им… Но ты об этом лучше сам спроси атамана, он как раз должен скоро прийти к нам обедать. Вот вам и будет о чём поговорить… А я пока пойду и задам лошадям корму, у них ведь тоже обед по расписанию…

И, накинув на плечи потёртый овчинный полушубок, Арслан нахлобучил на голову какой-то замызганный треух и вышел из избы, а я присел на диван в ожидании гостей и обеда. Я вдруг вспомнил, что последний раз я перекусывал пирожками Василисы Макаровны ещё ночью и сейчас абсолютно не прочь поесть чего-нибудь горячего, какого-нибудь супу и мяса. А может быть, и выпить…

27.

Атаман пришёл не один, а со своим эскадронным священником. Сам почти двухметрового роста, он и батюшку для своих казаков подобрал такого же — не ниже двух метров и с косой саженью в плечах. Вдобавок к этому — длинные, как у хиппи, рыжеватые волосы до плеч, спадающая волнами на грудь борода и горящие, как у футбольного фаната в день матча, глаза. Батюшка был без головного убора, на нём была вылинявшая чёрная ряса, большой наперсный крест на груди и надетый поверх неё пятнистый армейский бушлат. И вообще он был похож на Никиту Джигурду, только не такой рыжий.

У самого же атамана были широкая грудь, непокорный белоснежный чуб, небесного цвета глаза и какая-то абсолютно детская обезоруживающая улыбка.
— Будем знакомы,— радостно улыбаясь, протянул он широкую ладонь.— Виктор Морозов, потомственный казак, атаман новосибирского казачьего эскадрона. А это наш эскадронный священник, отец Сергий,— и сначала он, а потом и батюшка по очереди пожали мне руку, выказав таящуюся в каждом из них богатырскую силу.

Как выяснилось по ходу дальнейшего разговора, в этом не было ничего удивительного, так как Виктор с самого раннего детства готовился под руководством своего отца для возможной жизни в походах, обучаясь верховой езде, стрельбе, фехтованию, приёмам рукопашного боя и другим казачьим делам, воспитывающим в человеке мужество и развивающим силу и ловкость. Что же касается отца Сергия, то он вообще — бывший десантник, прошедший первую чеченскую войну, во время которой он получил ранение на печально знаменитой площади Минутка в городе Грозном, но отказался от госпитализации и не

только довоевал до дембеля, но и остался потом на сверхсрочной службе, прослужив аж до самого вывода нашей армии после хасавюртовских соглашений 1996 года. В 1999 году он снова приехал в Чечню в качестве контрактника и участвовал в контртеррористической операции до 2001 года, а потом возвратился домой и, приняв священнический сан, в течение нескольких лет служил настоятелем в одном из небольших храмов Новосибирска. Года четыре назад недалеко от его храма, взяв в долгосрочную аренду неработающий Дом быта, открыла свой молитвенный дом новообразованная секта мормонов седьмого дня, которая начала активно переманивать к себе прихожан храма отца Сергия. Действовали они не просто навязчиво, но в высшей степени нагло и беспринципно, перевербовывая молодёжь с помощью всяких хитроумных психологических приёмов и заставляя их отрекаться от православной веры. Более того — пошли слухи, что под их влиянием некоторые молодые люди начали отказываться от своих родителей и уходить жить в секту, где они шесть дней в неделю собирали по городу пожертвования, а на седьмой предавались коллективной любви и молитве. Некоторые даже продали имевшиеся у них квартиры, отдавая вырученные за них деньги возглавляющему общину пастору Джону.

Отец Сергий один раз сходил к этому Джону, прося его прекратить свою деятельность на территории прихода, потом второй раз, третий, четвёртый, но пастор только лицемерно улыбался в ответ и продолжал свою агитацию. Услышав однажды весть о том, что он ввёл в своей общине таинство дефлорации и лично осуществляет превращение двенадцатилетних девочек в женщин, отец Сергий не выдержал, закатал рукава и, припомнив свою десантную молодость, пошёл в одно из воскресений прямо в бывший Дом быта, где праздновали свой седьмой день мормоны пастора Джона, и навешал и ему, и его наглым помощникам, и всем, кто попался под руку, таких откровенных пиндюлей, что все они через час уже сидели в приёмном отделении местного травматологического отделения — кто с переломом челюсти, кто с ушибом головы, кто с вывихом руки, а кто и со сломанными рёбрами, тогда как сам батюшка очутился в то же время в районном отделении милиции (это было как раз незадолго до её переименования в полицию), где против него было возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений. До суда это дело доводить не стали, побоявшись спровоцировать тем самым межрелигиозную распрю, но епархиальное руководство всё же было обязано как-то прореагировать на случившееся, так что отец Сергий на целых пять лет был запрещён в служении.

Оставшись без дела и без паствы, он начал посещать всевозможные общественные собрания и на одном из митингов познакомился со своим сверстником, успешным на тот момент молодым бизнесменом Виктором Морозовым, возглавляющим новосибирский филиал одной из зарегистрированных на Кипре энергетических компаний, а в свободное время серьёзно занимающимся изучением вопроса происхождения казачества. Будучи и сам казачьего рода-племени, отец Сергий благословил бизнесмена-казаковеда на организацию собственного казачьего войска, и вскоре из двухсот с лишним потомственных казаков был создан новосибирский казачий эскадрон, который и был сейчас расквартирован в Карауле, ожидая выхода в Чингисские горы для соединения с войском Чингисхана Второго.

— Но разве казаки — это не оплот государства? — не удержался я от вопроса, когда, закончив трапезу, мы уже просто так сидели за обеденным столом с початой бутылкой водки и вели незаконченную беседу. — Вы же всегда выступали на стороне законной власти. Как же ты решился присоединить своих воинов, по сути, к бунтовщикам?

Примерно одинаковый возраст и выпитая за обедом водка позволили нам быстро снять всякую неловкость и перейти на «ты», так что мы разговаривали как давным-давно знакомые между собой приятели.

— Ты плохо знаешь историю, — спокойно заметил на это атаман. — Кто такие, по-твоему, казаки? Откуда они произошли?

— Ну-у… есть несколько гипотез о происхождении казачества, — напряг я свою отчасти замутнённую алкоголем память. — Наиболее вероятно, что предками современных казаков были жители древнерусских селений, основанных в одиннадцатом-двенадцатом веках на границе между Русью и Степью — чаще всего у водных переправ и торговых путей. Их ещё называли «бродниками», так как они жили возле бродов через реки. В этих, так сказать, «буферных зонах» обитали бежавшие от своих князей смерды и отбившиеся от своего племени половцы, сюда приходили удравшие или отпущенные из половецкого полона русские воины, здесь жили поджидающие выгодного «контракта» русские и половецкие наёмники. Там работали кузнецы и оружейники, нанимались проводники для походов в Степь и переводчики для визитов на Русь, проводились регулярные торги и ярмарки. Все эти «искатели воли» и создали где-то к середине шестнадцатого века особую организацию, получившую название «казачество». Но некоторые учёные считают казаков особым этносом, возникшим ещё в античную эпоху от смешения разных древних племён.

— Я знаком со всеми этими гипотезами. Да и не только с этими, — пренебрежительно махнул рукой Морозов. — Ни одна из них не объясняет ни того, почему казачий совет называется «круг», ни откуда

у казаков потрясающие военные навыки, ни даже откуда произошло слово «атаман». Хотя оно-то как раз и даёт ключ к тайне происхождения казаков.
— То есть?— заинтересовался я.— Объясни, что ты имеешь в виду.
— Сейчас объясню,— кивнул он.— Но для начала вспомни, как будет по-монгольски «десять тысяч»?
— «Десять тысяч»?— переспросил я.— Тумен, а что?
— А то, что военачальников в войске Чингисхана называли «старший над десятью тысячами», то есть буквально— «отец десяти тысяч», «ата тумен». Слово «ата» на всех тюркских языках означает «отец». Впоследствии «ата тумен» слилось в единое слово «атаман».
— Ты хочешь сказать, что казаки— это часть войска Чингисхана?
— Типа того. Не непосредственно самого войска, но оставляемых ханом на границах завоёванных им государств надёжных погранотрядов. Подчиняя себе ту или иную державу, он оставлял там своего наместника и брал с местного населения в качестве так называемой «дани кровью» определённое количество молодых воинов, которых он освобождал от всякой работы, кроме военной подготовки. Они днями совершенствовали свои воинские навыки, а потом несли службу по защите границ империи, получая за это хорошее жалованье. Эти воины сохраняли свою веру и свой язык, были формально тем же народом, что и их соотечественники, но на деле представляли собой абсолютно новую, обособленную от основной массы касту со своим уникальным бытом, традициями, духовной конституцией, воинской тактикой и образом жизни. Есть казаки сибирские, калмыцкие, украинские, астраханские, ногайские, донские и так далее, у всех сохраняются свой язык и своя вера, но жизненный уклад, ценности— примерно одни и те же. И огромное количество общих слов, берущих своё начало в походном быте войска Чингисхана. К примеру, такая форма совета, как «казачий круг», объясняется единственно тем, что раньше казаки собирались для обсуждения той или иной проблемы в большой атаманской юрте и, рассаживаясь под её стенами, невольно повторяли описываемую основанием юрты форму окружности. Я собрал целую кучу материала на книгу, доказывающую, что казачий этнос обязан своим происхождением орде Чингисхана, в которой он зародился и от которой впоследствии отпочковался, продолжив свою самостоятельную жизнь после исторического завершения Орды. Вот только не успел её написать, так как услышал про армию Вадима и поспешил к вам.
— Таким образом…
— Таким образом, присоединяясь сейчас к воинству Чингисхана Второго, мы ни в малейшей степени не изменяем сегодняшнему российскому государству, поскольку всего лишь возвращаемся в лоно своей родной, когда-то породившей нас империи.
— И что вы хотите в итоге от Великого Хана?
— Как минимум быть услышанными. Сегодняшняя власть нас в упор не замечает. Если она задумала, к примеру, строить какие-нибудь могильники для ядерных отходов или устраивать свалки под боком у местного населения, то ты хоть сто референдумов проведи, она всё равно будет делать своё. А мы хотим быть хозяевами на своей земле. И сами решать, что нам строить под нашими окнами, а что— нет.
— Но власть— это ещё не Родина, как и государство— ещё не Россия. Не грех ли, протестуя против неправедной, на ваш взгляд, власти, выступать против своего же Отечества?
— Одна из казачьих заповедей звучит так: «Веруй твёрдо в правоту своего дела, ибо вера— единственный камень, на котором ты построишь новую Отчизну». Так что главное для нас сегодня— сберечь нашу веру, которая и станет главным фундаментом для воссоздания нашего исконного, исторического Отечества.
— И это Отечество— Орда?
— Это Отечество— родная земля и жизнь, устроенная на ней по вере и обычаям наших предков. Почему, по-твоему, восточные цивилизации оказались более живучими по сравнению с западными, включая мощнейшую советскую цивилизацию? А потому, что они опираются на традицию, хранят свои тысячелетние уклад и веру, а Запад всё это давно размыл и утратил, в том числе и Россия. Россию вообще, начиная со времён Петра Первого, только и делают, что стараются оторвать от своих исторических корней. Бесконечные реформы, революции, перестройки. В семнадцатом году один раз выбили почву из-под ног, в девяносто первом другой раз… А Восток стоит на своей исторической памяти крепко, бережёт свой дух и традиции, в этом и есть его сила. А сильный— рано или поздно обязательно победит слабого, утратившего свой дух и потерявшего смысл жизни. Ведь культивируемое нынче в России накопление денег не может быть историческим смыслом существования народа. Этот культ ведёт не к укреплению страны, а наоборот— к её ослаблению. Сам подумай: если цель жизни— деньги, то какая разница, где их зарабатывать— в России или на Западе? Вот самые талантливые и уезжают из страны в поисках больших денег. Артисты, программисты, футболисты… В России ещё и сегодня рождаются былинные богатыри типа Микулы Селяниновича и Ильи Муромца, но они уже не понимают, почему эта земля называется Родиной, какой смысл несёт в себе это слово и что им и от кого надо защищать в России. Поэтому они выступают на

стороне США, Германии и других стран, где им очень хорошо платят.
— Но разве казаки поступают не так же? По-моему, они всегда были наёмными войсками и выступали на стороне тех, кто пообещает им большую плату. Или я ошибаюсь?
— Они были на стороне тех, кто способен сохранить вековой уклад жизни и не допустить разрушения традиций. А требование большой платы — это всего лишь способ обеспечить свою семью средствами на время участия казака в походе. Благодаря этому как раз и удавалось в течение долгого времени сохранять привычный уклад жизни.
— Так вы хотите просить у Великого Хана плату за своё участие в походе?
— Ну что ты! Денежное довольствие эскадрону я выплатил из своих личных средств, я ведь президент крупной энергетической компании. А к его войску мы хотим присоединиться, чтобы наполнить свою жизнь высоким смыслом. Ведь это так ничтожно и мелко — жить ради того, чтобы съездить в Куршавель и оттянуться там с малолетками! Мы хотим жить для того, чтобы восстановить в России кровное родство человека с его родной землёй, историей и друг с другом. И чтобы власть в стране была не наёмным менеджером, думающим только о том, как обеспечить себе максимальные бонусы, сэкономив на заботе о живых людях, а снова стала народу любимым батькой-атаманом и родным отцом-командиром.
— И это может дать только Чингисхан?
— «На небе есть только один Бог, и на земле есть только один хозяин — Чингис Хан, — писал в тысяча двести пятьдесят четвёртом году хан Монк Святому Луи. — Когда волей Вечного неба весь мир, от самого востока, где восходит солнце, до самого запада, где оно заходит, будет объединён в радости и мире, тогда будет ясно, что нам предстоит сделать».
— Если бы «в радости и мире»! — вздохнул я. — А то, как сказал в своей бессмертной фразе Виктор Степанович Черномырдин, мы часто замышляем как лучше, а получается как всегда. Кстати, а как ты узнал о существовании Орды и о том, что она движется на Москву? Об этом же никто нигде не сообщал. Все молчат, как будто воды в рот набрали. Или в самом деле ничего не видят…

Атаман засмеялся и разлил по рюмкам оставшуюся в бутылке водку.
— Орда движется на Москву уже два десятилетия. Сегодня там живёт столько казахов, таджиков, узбеков, якутов, бурятов, татар и других восточных народов, сколько их не живёт, наверное, в их собственных республиках. Я уже не говорю про корейцев, китайцев и выходцев из республик Кавказа. На всех ключевых постах во всех структурах нынешней российской власти сидят сегодня представители Орды. Ты помнишь, как в тысяча девятьсот девяносто шестом году чеченцы отбили у федералов Грозный? Они заранее завозили в город оружие и боеприпасы, просачиваясь туда поодиночке и небольшими группами. Точно так же в течение всех послеперестроечных лет новые ордынцы, может быть, даже абсолютно неосознанно, не понимая пока стратегического значения своих действий, проникают в Москву и устраиваются там работать в ОМОН, ГИБДД, ЖКХ, полицию, на транспортные предприятия и другие важные для обеспечения жизнедеятельности города места, что даёт возможность в случае необходимости моментально взорвать российскую столицу изнутри. Но эту тихую оккупацию, этот постоянно дующий с востока миграционный ветер никто пока не хочет замечать. Нынешняя власть вообще ничего не хочет замечать, кроме посягательств на её личные интересы! Поэтому если не повторять ошибок Ходорковского, возомнившего себя весомее президента, то этакой тихой сапой можно добраться до самых кремлёвских ворот, и никто на тебя даже внимания не обратит. А там Бог подскажет, что делать дальше…
— Да, Бог подскажет, — задумчиво повторил и я. — Только бы не прослушать эту Его подсказку…
— Ну что ж, друзья! — очнулся от долгого безмолвия молча слушавший наш разговор отец Сергий, вставая и поднимая перед собой наполненную рюмку. — Давайте выпьем за то, чтобы Господь не оставил без своей милости ни нас, грешных, ни нашу великую и многострадальную Россию!
— И чтобы мы не умножили своими делами её страданий, — добавил, поднимаясь вслед за ним, и я.
— И чтобы радость и любовь возвратились на русскую землю и обосновались здесь на долгие века, как казачество, — подвёл итог атаман, и, коротко звякнув сдвинутыми над столом стопками, мы махом опрокинули в себя обжигающий, как мысли о России, и горький, как сама правда жизни, напиток.

28.

На следующее утро мы выехали из Караула. Завтракать мне не хотелось, я просто выпил стакан крутого чаю с парой кусочков рафинада и вышел на улицу.
— Слушай, — спросил я Арслана, — а куда девался снег? Когда я уезжал, все окрестные горы были белыми, а сегодня на многих вершинах уже видно землю.
— Так ветром сдуло. Тут две недели подряд такой дикий ветродуй был, вот он и слизал весь снег. Зато лошадям теперь будет легко идти, не будут увязать в сугробах.
— Вот об этом я как раз и подумал, — кивнул я. — Если такой маленький покров остался и на

остальной территории, то он сойдёт намного раньше, чем мы предполагали, и значит, выступать можно будет не в апреле, как планировалось, а уже в середине марта…

Тем временем две с лишним сотни всадников с двумя дюжинами запасных лошадей, навьюченных свёрнутыми палатками и мешками с амуницией и провиантом, покидали дворы приютивших их на несколько дней хозяев и, двигаясь цепочками вдоль сонных ещё улиц, стягивались к дальней околице посёлка в ожидании полного сбора. Встретившись там с атаманом и отцом Сергием, мы с Арсланом обменялись с ними дружескими приветствиями, после чего эскадрон выстроился в колонну попарно, и мы выступили в путь. Увидев, что рядом со мной едет на своей пегой кобыле казачий батюшка (который сегодня опять был без головного убора), я не удержался и спросил его, насколько это по-божески — благословлять людей на вооружённый бунт против законной государственной власти и фактически против своих же соотечественников, а возможно, даже братьев по вере.

— А кто тебе, сын мой, сказал, что моя деятельность в отряде ограничивается исключительно раздачей благословения? Разве армейские священники, кроме благословения, ничем другим не занимаются? Или, скажем, те батюшки, что отправляют службы в тюремных храмах, — разве они заняты только тем, что благословляют заключённых на новые грабежи и изнасилования? Ты, видно, забыл, что люди нуждаются и в исповеди, и в покаянии, и в отпущении грехов… Как раз тем, кто живёт суровой походной жизнью, сильнее всех-то и требуется духовное утешение. Казак — это воин, а воин всегда неразлучен со смертью, ходит с нею в обнимку. В любую минуту могут убить его, а может убить и он сам. Поэтому воину всегда нужно быть чистым, свободным от греха. Он должен обязательно исповедоваться перед сражением, чтобы в случае внезапной смерти не предстать перед Творцом нераскаянным. А выйдя невредимым из боя, он должен поблагодарить Спасителя за дарованную ему милость остаться в живых и опять-таки — принести Ему покаяние за пролитую в сражении кровь. Ведь убитые им в поединке враги — это тоже люди, Божьи создания, а возможно, и его единоверцы… Поэтому в казачьих полках всегда имелись свои полковые батюшки. Поэтому и я — здесь, вместе со своими казаками. Кто-то же должен окормлять их в пути и молиться за их души. Да и многим другим людям в вашем войске наверняка понадобится моя молитвенная помощь…

Так, за разговорами, я и не заметил, как мы одолели отделявшие становище от Караула километры и въехали в лагерь. Увидев свой шатёр на склоне холма, я вдруг обрадовался, как будто вернулся домой после долгого путешествия. Воистину, странно устроен человек: стоит ему немного обжить какой-то сарай или лачугу, привыкнуть к виду горстки берёз за тюремным окошком, и он прирастает душой даже к месту своего заточения.

Подняв взгляд к небу, я увидел всё так же кружащего над шатром Вадима чернокрылого орла, а потом увидел идущего нам навстречу Аюндая.

— Кто это с тобой? — спросил меня, подходя, сотник. — Что за люди, откуда?

— Новосибирский казачий эскадрон под командованием атамана Виктора Морозова, — представил я. — Двести сорок человек со своими лошадьми и священником.

— И оружие есть?

Я вопросительно посмотрел на Морозова.

— Пусть не волнуется, казаки экипированы по полной программе.

Он кивнул находившимся рядом с ним воинам, и, откинув полы полушубков, те показали висевшие под ними десантные автоматы АКМС без прикладов.

— Зови Великого Хана, пусть принимает пополнение, — сказал я, спрыгивая с коня и отдавая поводья подбежавшему денщику.

— Хан пока занят, он встретится с вами позже, — сказал Аюндай. — А сейчас вам отведут участок для стоянки и покажут места для костров. Если у вас есть свои продукты, можете готовить сами, а можете питаться из общих котлов, только предупредите об этом коменданта, чтобы на вас готовили. Располагайтесь, отдыхайте с дороги, занимайтесь военной подготовкой и ждите дальнейших распоряжений…

— Великий Хан и правда очень занят? — спросил я, когда эскадрон Морозова проследовал мимо нас к другому краю долины для разбивки лагеря.

— Сейчас узнаем. Он ведь без тебя тут успел жениться, так что у него теперь медовый месяц. Раньше обеда тревожить запрещено, — усмехнулся сотник.

— Ну так сейчас как раз время обеда, — потянул я носом воздух, в котором явственно пахло свежеиспечёнными лепёшками и чем-то аппетитным ещё, так что у меня в желудке мучительно засосало — всё-таки одного стакана пустого чая на завтрак для походной жизни маловато.

— Пойдём узнаем, — позвал Аюндай.

Но узнавать ничего не пришлось, так как в эту самую минуту Вадим сам вышел из шатра и, увидев меня, приветливо заулыбался.

— Ну, с возвращением! — распахнул он руки для объятья. — Ты не представляешь, как мне тебя все эти дни не хватало! Это был необычайно плотный по событиям месяц, в него столько всего уместилось…

— Неужели прошёл уже месяц? — искренне удивился я.

— Даже больше. Ты уехал где-то между Рождеством и Крещеньем, а сейчас уже двадцатое февраля. Вот и посчитай… Чуть больше месяца. Но это я не в упрёк, а просто к тому, как быстро летит время.
— Говорят, тебя можно поздравить с молодой женой?
— Десять дней уже как семейный человек,— довольно улыбнулся Вадим.— Так что не только у тебя были бурные ночи… Впрочем, что это мы тут стоим? Заходи в шатёр, я тебе всё расскажу, на жену мою посмотришь. А заодно и пообедаем. Ты, наверное, проголодался с дороги?— и он отступил на шаг в сторону, освобождая мне проход в шатёр…

…Судя по услышанному мною за обедом, прошедшее время оказалось действительно одним из самых насыщенных периодов в и без того непредсказуемой и бурной жизни Вадима. Во-первых, буквально на второй же день после моего отъезда из лагеря он решил съездить к священной горе Белухе, которая, согласно представлениям и верованиям буддистов, является «сердцем» Вселенной. По их преданиям, здесь располагается вход в легендарную заоблачную страну богов Шамбалу, откуда великий Будда-Гаутама пришёл однажды в Индию. Здесь же находится и «пуп» Земли, энергетически связанный с Космосом и дарующий людям заряд бодрости и здоровья. Да и древние христиане тоже были уверены, что расположенное рядом с Белухой Беловодье— это благословенная страна, где люди чувствуют себя абсолютно счастливыми и умиротворёнными.

Вот Вадим и захотел посетить эти священные места и напитаться благодатной космической энергией, в равной мере необходимой ему как для совершения грядущего рейда на Москву, так и для предстоящей женитьбы. Сама эта идея возникла в разговоре с приехавшей к нему на снегоходах из Жидебая делегацией казахов, которые ненароком затронули эту тему, рассказав Вадиму о той силе, которую Белуха может дать побывавшему на ней человеку. Они хотя и не одобрили его неожиданного порыва к совершению паломничества, но сказали, что в случае его желания организуют ему вертолётную доставку непосредственно к подножию священной горы.

При этом Вадиму было сказано, что сами алтайцы стараются не приближаться к Белухе, потому что подойти к ней, не навлекая на себя гнева охраняющих её призраков лемурийцев, можно только полностью «очищенному» человеку. По уверениям местных жителей, и казахи в это тоже верили, в тамошних пещерах находятся в состоянии соматического сна-бодрствования десятки жителей древней страны Лемурии, которые с прадавних пор охраняют это священное место. Поэтому все многочисленные попытки создать здесь пансионаты, турбазы и поселения обрекались на провал, да и удачными восхождениями на её вершины могут похвастаться не очень многие счастливчики.

Взбираться на саму гору Вадим не собирался, так как не считал себя даже начинающим альпинистом и не любил лазить по скалам, но побывать в Беловодье и постоять у подножия Белухи, общаясь через незримый энергетический канал непосредственно с самим Космосом— от этого он отказаться не мог. Он очень хорошо помнил, как сильно изменили его судьбу произнесённые несколько лет назад в Храме Ворот на Алханае молитвенные обращения, поэтому, услышав о возможности побывать на Белухе, тут же загорелся этим желанием и уже на следующий день выехал вместе с казахами на одном из их снегоходов в Жидебай, а оттуда на другое утро вылетел на вертолёте Ми-2, принадлежащем местному управлению сельхозавиации, к подножию Белухи.

Но если люди отзывались на его просьбы и повеления практически без колебаний, то о стихиях этого сказать было нельзя. Более того, природа не просто не сопутствовала осуществлению его замысла, но всячески ему мешала, стремясь помешать его контакту со священной горой. А может быть, это сама Белуха посчитала его не «очистившимся» и потому отталкивала от себя, чтобы не осквернить контактом с ним свою святость. Как бы то ни было, а едва вертолёт приземлился в долине километрах в полутора от подножия горы, как тут же разбушевалась необыкновенно дикая метель, при этом ветер каким-то странным образом дул со стороны горы, сильно толкая в грудь и не давая идти вперёд. Авиаторы принялись срочно закреплять вертолёт, а он без всякого сопровождения ломанулся навстречу ветру по направлению к горе.
— …Я уже думал плюнуть на всё и вернуться назад,— рассказывал Вадим, отпивая маленькими глоточками крепкий чай, который нам подавала его прекрасная жена-принцесса.— Думаю, фиг с ней, с этой горой, раз уж разыгралась такая непогода. Прямо как в стихотворении Пушкина, блин… «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя,— вспомнил я вдруг заученные ещё во время учёбы в школе строки и на каком-то автопилоте продолжил читать их дальше:— То по кровле обветшалой вдруг соломой зашуршит, то, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит…» И представляешь? Я вдруг заметил, что порывы ветра стали намного тише, и мне стало легче идти. Метель начала затихать, и снег уже не так бил в лицо. Ещё ничего не понимая, я, пока ещё просто так, чтобы проверить мелькнувшую в сознании смутную полудогадку, ещё раз повторил пушкинские строки и увидел, что метель действительно слабеет. К сожалению, я не помнил всё стихотворение до конца, из памяти удалось вытащить ещё только четыре строчки— ну, ты наверное,

помнишь их: «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей...» И я прочёл их ещё раз и ещё, а потом как заведённый начал вспоминать первые попавшиеся стихотворные строки и выкрикивать в лицо вьюге стихи Лермонтова, Есенина, Маяковского, Высоцкого... «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана?..» «Не жалею, не зову, не плачу, всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охвачен, я не буду больше молодым...» «Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!..» «Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал...» Словом, всё, что только отыскалось в моей памяти из написанного кем-либо в столбик и с рифмой. И—хочешь верь, а хочешь нет, но пурга прямо на моих глазах потихоньку улеглась, и я более-менее спокойно дошагал до места, где, как мне показалось, долина начинает переходить в гору. И я вдруг с невероятной отчётливостью почувствовал, что—всё, я выдержал этот негласный экзамен и допущен до канала связи. Ну не чудо ли, а?..

Он знаками показал молодой супруге, чтобы та сменила остывший чайник на новый, и посмотрел на меня.

— Вся жизнь состоит из чудес,—утвердительно кивнул я в ответ,—так что ничего удивительного в том, что с тобой случилось, я не вижу. Удивительно как раз то, что мы очень мало этими чудесами пользуемся, хотя могли бы управлять не только людьми, но и стихиями, укрощая бури и землетрясения. Поэзия—это ведь не просто род искусства, призванный тешить чувства узкого круга ценителей словесных созвучий, поэзия—это инструмент гармонизации Вселенной, космический фортран, если хочешь, или код, с помощью которого можно изменять и программу бытия народа, и свою судьбу, делая их созвучными музыке небесных сфер. Пока в жизни человека присутствует поэзия, небо будет на его стороне. Запомни этот случай, он тебе ещё обязательно пригодится...

Гибкая, как бамбук, восточная красотка с кукольно-фарфоровым личиком принесла нам свежезаваренный чайник и с не сходящей с лица улыбкой поставила его на низенький столик в центре ковра. Вадим жестами указал ей на наши чашки, и она наполнила их душистым свежим чаем.

— По-русски совсем не понимает?—легонько кивнул я в её сторону.

— Ни слова,—подтвердил он.—Но для того, чтобы зачать наследника, это и не обязательно. Главное, чтобы перед моим уходом на Москву она осталась беременной. Тогда помощь Китая будет нам обеспечена. Таково условие брачного договора.

— Она из какого-то знатного рода?

— Не просто из знатного!—с важностью произнёс Вадим.—Её зовут принцесса Мин Яньлинь, она наследница великой императорской семьи, родоначальник которой был императором Китая. В четырнадцатом веке он основал в Китае династию Мин, а через пару с лишним столетий произошёл переворот и их всех казнили. Но одна или две боковые ветви уцелели, вот она—представительница одной из них.

— Интересно, эти имена сегодня для китайцев что-нибудь значат? Или они теперь интересны только историкам?

— Не знаю. Но тут столько китайской знати было... На свадьбу рядовой китаянки столько бы не приехало. Значит, они имеют на неё какие-то виды. Может, хотят восстановить с её помощью империю, расширив свои границы в сторону России. Иначе зачем бы им меня поддерживать? А так, мол, по-родственному всё потом и решим... От Маньчжурии и до Урала...

— И ты им по-родственному всё это отдашь?

Вадим как-то неуверенно хмыкнул, а потом отвёл взгляд в сторону и, словно уговаривая сам себя, произнёс:

— На какие-то компромиссы, безусловно, пойти придётся. Не воевать же нам с Китаем? Да и вряд ли мы сейчас в состоянии эту войну выиграть. Армия развалена, ракетные шахты взорваны, подводные лодки распилены на металлолом... Вместо модернизации Вооружённых сил и их перевооружения у нас двадцать последних лет занимались единственно моделированием элегантной военной формы... А поэтому хочешь не хочешь, а сотрудничать с Китаем, как наиболее сильным соседом, будет необходимо. Отдавать я им, конечно, ничего не собираюсь, но какие-то долгосрочные концессии на использование дальневосточных ресурсов заключить всё же придётся. Тем более что они и без этого уже давно хозяйничают и в Забайкалье, и в Хабаровском крае, и в Приморье. И лес вывозят, и металл, и пушнину... Так что лучше уж всё это делать по договору, на коммерческой основе.

— Это понятно. За всё, как говорится, надо платить. Особенно за признание легитимности своей власти... Ну а как свадьба-то хоть прошла? Народ хорошо повеселился?

— Да как тебе сказать?—поморщился он.—Лично я, скорее, намучился до ужаса. У них же всё должно проходить по строжайшему церемониалу, этикету, без которого нельзя ни свободного шага ступить, ни вольного слова произнести. Я отыграл труднейшую роль в своей жизни. Слава небесам, теперь она позади!

— Поздравляю.

Мы подняли свои чашки, как заздравные чаши, и отхлебнули по глотку чая.

— Я слышал, на Шынгыстау собирался курултай, на котором тебя нарекли Великим Ханом. Так что теперь ты—законный Чингисхан Второй?

— Да, и это было гораздо интереснее, чем свадьба. Жаль, что ты этого не видел! Чего стоил момент,

когда старейшины подняли меня на белой кошме и верховный шаман провозгласил ключевую фразу: «Голубое небо назначает князя Вадима, и никого иного, Монгольским Ханом — Чингисханом Вторым…» Вот этого я, наверное, до самой своей смерти не забуду… До сих пор дух захватывает.

— Думаю, теперь к тебе начнут стягиваться толпы народа. Сегодня, кстати, уже прибыл один казачий эскадрон из Новосибирска. Парни — хоть в кино снимай, просто орлы!.. Только боюсь, что теперь нам будет труднее удерживать в тайне и информацию о своём продвижении. Казахстан — это ведь не Сибирь с её тайгой, тут сплошные степи, а в степях мы видны как на ладони. Может, целесообразнее будет разделиться на несколько групп и выступать с небольшими интервалами — ну, скажем, хотя бы через день или два друг за другом? А где-то перед Волгой опять соединимся.

— Я уже думал об этом. В ближайшие дни мы, наверное, вышлем вперёд три или четыре отряда по паре тысяч человек, чтобы они готовили площадки для биваков по ходу нашего следования, и как только в долинах сойдёт снег, мы выступим по уже подготовленному для нас маршруту. Но не все сразу, а, как ты и предлагаешь, отдельными группами: сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья… Что касается пополнения, то добровольцы уже начали подходить, неделю назад к нам влились два отряда китайцев, но в основном прибывают казахи. За последнюю неделю присоединилось тысяч пять или семь всадников. Вот их-то я, скорее всего, и пошлю вперёд, в направлении Темиртау, Джезказгана и далее по ходу нашего продвижения к границе с Россией. Они местные, знают казахский язык и обычаи, так что им будет легче, в случае чего, контактировать со здешними властями и организовывать для нас временные лагеря… Ну а ты пока не теряй времени, набирайся сил, продолжай тренироваться в стрельбе из лука — в общем, готовься к нашему решающему броску на Москву. Весна, как говорят аксакалы, будет в этом году ранняя, так что времени для отдыха почти не осталось. Земля подсохнет — и мы сразу же тронемся в путь, нам нельзя здесь засиживаться…

29.

Оставшиеся до выступления дни (а окончательно снег сошёл только к середине марта, да ещё дней десять нельзя было ехать, так как земля была влажной и конские копыта опасно скользили на склонах непросохших косогоров) я занимался тем, что время от времени снова выбирался со своими верными нукерами на прогреваемые солнцем и оттого быстрее сохнущие вершины окрестных сопок и продолжал там оттачивать разработанную мною ещё осенью систему синхронной стрельбы. Не знаю, зачем это мне было нужно; может быть, просто, так и не научившись как следует стрелять из лука сам, я хотел, чтобы мои дружинники стали как бы моими дополнительными руками и глазами, без промаха пуская стрелы туда, куда я не могу попасть самостоятельно. Как бы то ни было, а тактика пускания стрел в направлении вытянутой мною руки была нами доведена если и не до совершенства, то, по крайней мере, до вполне устраивавшего меня уровня, и стоило мне только ткнуть пальцем в любую неподвижную или даже мчавшуюся цель, как она тут же была пронзаема девятью жужжащими стрелами, без колебаний выпускаемыми из своих луков моими преданными воинами.

В остальное время я, в основном, или общался со своими камердинерами, пытаясь прояснить, какие упования они связывают с воцарением Вадима на московском престоле (что, главным образом, сводилось к восстановлению полностью, на их взгляд, утраченной ныне в государстве справедливости), или же перечитывал купленные мною в омском книжном магазине поэтические сборники, отыскивая в них созвучные моим сегодняшним мыслям и эмоциональным состояниям строки. В один из таких дней, когда я, возвратившись из очередной отработки своей стрелковой методики, лежал в шатре с однотомником избранных стихотворений Евгения Евтушенко, ко мне в гости заглянул прибывший вместе со мной неделю назад из Караула атаман Морозов. Увидев отложенный мною в сторону при его появлении сборник Евтушенко, он пренебрежительно поморщился и заметил:

— Как ты можешь читать этого лицемера? Он же практически перечеркнул своей жизнью всё, что провозглашал в стихах. Никто ведь его за язык не тянул, сам брякнул: «Если было несладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил нескладно, для России я жил». Но только вот жил почему-то не в России, которую, по его словам, он любил «всею кровью, хребтом», а по большей части в США, где и посытнее, и полегче. Зато в стихах прямо-таки извёлся весь, бедный: «И надеждою маюсь (полный тайных тревог), что хоть малую малость я России помог». Распинался перед всем светом: «Если будет Россия, значит, буду и я», — а на деле уже и России давно почти не осталось, а он всё читает свои лекции американским студентам, зарабатывая себе доллары на рассказах о том, как он «помог» бедной Родине своими стихами.

— Не очень ли ты жёстко его судишь? Ведь цитируемое тобой стихотворение «Идут белые снеги» — одно из самых ранних, оно ещё в пятидесятые годы написано. Разве поэт может заранее знать свою судьбу?

— Да суть ведь не в том, чтобы уметь предвидеть что-то заранее и не делать в жизни ошибок или не произносить поспешных слов. Суть в том, чтобы,

совершив такие ошибки или наговорив кучу пустых обещаний, не пытаться потом строить из себя героя, быть честным перед собой и перед людьми, я уже не говорю про Бога, а Евтушенко как раз всё время старается преподнести свои ошибки как подвиги, изобразить из себя этакого извечного борца с советским режимом. Ты читал его поэму «Дора Франко»? Она была недавно опубликована в «Независимой газете».

— Нет. А о чём она?

— Ну, в общем, он там рассказывает, как во время поездки по Латинской Америке в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году у него там случился бурный роман с красавицей-фотомоделью Дорой Франко. Вся поэма посвящена живописанию их невероятной любовной страсти, по ходу которого то там, то здесь воткнуты, как будто некие обязательные пошлинные платежи в копилку сегодняшней демократии, совершенно, как мне кажется, ненужные для поэмы упоминания о травле Пастернака, подавлении Пражского восстания и другие неуклюжие реверансы в адрес уже позабытого всеми диссидентства. И в одном из эпизодов поэмы он рассказывает о том, как его возлюбленная вдруг попросила его не уезжать в Россию, а остаться с ней за рубежом, чтобы переждать, как можно догадаться, возможное «завинчивание гаек» в СССР, вызванное событиями в Чехословакии. О, как это предложение взорвало нашего поэта! Он тут же заподозрил Дору в том, что она работает на ЦРУ, которое специально и подложило её к нему в постель, чтобы уговорить сделаться невозвращенцем!.. Получив от своего любимого убийственную отповедь с обвинением в предательстве, Дора чуть было не бросилась от обиды в кишащую пираньями Амазонку, хотя уж с её-то стороны никакой вины перед поэтом не было, поскольку она своим бабьим нутром как раз и увидела подлинного «Еухенио» — того, который, перестав вдруг бояться происков пресловутого ЦРУ, выберет себе в тысяча девятьсот девяносто первом году для жительства и заработка именно злейшего врага России — Соединённые Штаты Америки, навсегда оборвав этим самым связь с тем народом, от имени которого он всю свою жизнь говорит.

— Но, может, всё гораздо проще? — пожал я плечами. — Ему предложили интересную и хорошо оплачиваемую работу, вот он и согласился. В России-то сегодня за стихи не платят, современным издателям нужна не поэзия, а эротика, триллеры, детективы. То, что можно быстро продать... Скажи, вот если бы тебе за хорошую зарплату предложили создать в Америке казачий кадетский корпус или молодёжный учебно-тренировочный и воспитательный лагерь, ты бы согласился там работать?

— Это смотря для кого. Если для детей — выходцев из России, то с удовольствием, ведь это будет наша колонна в Америке. А если для американской молодёжи, то, пожалуй, что и нет. На фига это я буду обучать боевым искусствам своих потенциальных противников, а?.. А ведь Евтушенко работает не с русскими студентами, а именно с американскими. Нет, брат, если ты действительно любишь Родину, то надо не бежать из неё туда, где лучше, а пытаться сделать так, чтобы здесь стало лучше, чем там. Разве у нас недостаточно для этого ресурсов или рабочих рук? Или умных голов?.. Вот ты разговаривал со здешним контингентом, спрашивал, почему они идут на Москву и какие у них главные претензии к власти?

— Спрашивал, — вздохнул я. — Круг обид на государство у всех примерно один и тот же. Говорят, что власть окончательно потеряла совесть, стала чужой и живёт не по правде. Причём дело даже не в том, что сегодняшние чиновники непомерно жиреют, строя себе дома на Рублёвке да виллы в Испании, — национальная элита всегда жила богаче простых людей, с этим все давно смирились. Но нынешняя власть просто в упор не видит своего народа, вот в чём беда. И элита для неё — это, в основном, одни только олигархи и попса, шоумены и банкиры, депутаты да медиамагнаты, для которых она создаёт благоприятные законы, финансовые льготы и комфортные условия существования, а все остальные — это только стадо, которое надо меньше кормить, но чаще стричь и доить.

— Вот! Именно поэтому в этом лагере сейчас находится уже чуть ли не сто с лишним тысяч воинов, готовых рисковать собой ради лучшей жизни. Причём лучшей — не только для самих себя, но наконец-то — для всех!

— И ты знаешь, что нужно сделать для устройства такой жизни? — с сомнением поинтересовался я.

— Примерно, — кивнул атаман. — Ну, скажем, в первую очередь я бы законодательно запретил вывод денег в зарубежные банки. Потом ввёл бы прогрессивный налог на доходы и существенный налог на роскошь, особенно на имущество за рубежом. За казнокрадство и взяточничество надо конфисковать имущество не только непосредственно у преступника, но и у всех членов его семьи. За выезд из России на постоянное место жительства в другие страны брать компенсационную плату, допустим, в сто тысяч долларов — ведь государство бесплатно учило человека в школе, лечило, воспитывало, пускай он при отъезде всё это возмещает. Я бы также освободил от налогов организации и учреждения, занимающиеся подлинной культурой, но увеличил налоги на шоу-бизнес. Кроме того, для всех организаций и предприятий, которые участвуют в социальных программах, реально помогая старикам, инвалидам, детям или поэтам, я бы установил существенные налоговые льготы. Способов улучшить жизнь рядовых людей существует множество, надо только захотеть их

увидеть. А нынешняя власть, похоже, этого и хотеть не хочет…

Он полистал лежащую на табуретке книгу Евтушенко и вздохнул.

— Вадим как-то рассказывал мне, что в Краснокаменской колонии он сидел вместе с небезызвестным бизнесменом Михаилом Ходорковским, и тот тоже говорил о назревании в народе массового недовольства жизнью, способного породить революционные настроения,— вспомнил я.— По его мнению, девяносто процентов населения России считают приватизацию девяностых годов откровенно несправедливой, а тех, кто нажил на ней свои капиталы,— ворами, присвоившими всенародную собственность. Поэтому, говорил он, бизнес просто обязан делиться частью своих немыслимых доходов с народом. И лучше — если он будет делать это сам, не дожидаясь, когда народ придёт и всё у него отнимет. Причём делиться надо серьёзно, а не просто помахав перед носом яйцами Фаберже… Но, кажется, никто нашего опального олигарха не услышал, иначе этого рейда на Москву, возможно, и не возникло бы.

— Жадность. Ослепляющая и оглупляющая жадность. Вот тот диагноз, который приведёт российскую власть к летальному исходу…

…Тем временем снег по долинам почти окончательно растаял, и Вадим принял решение выслать вперёд по предстоящему нам маршруту передовые отряды для подготовки временных лагерей-биваков — с тем чтобы впоследствии основные силы не тратили бы время на сбор сушняка для костров и подготовку ночлегов, а приходили на уже готовые базы, где их ожидали бы еда, чай и сухие настилы для сна. В течение недели снялись и ушли из лагеря четыре казахских отряда по тысяче человек с несколькими десятками телег, гружёнными хозяйственным инвентарём и котлами. Но взамен ушедших продолжали притекать всё новые и новые отряды добровольцев, так что лагерь не только не уменьшился, но и постоянно продолжал разрастаться. Вдобавок ко всему, к нам начали прибывать не только верховые на лошадях и верблюдах, но также и добровольцы на автомобилях, из которых начала складываться отдельная моторизованная бригада. Основную массу составляли испытанные временем и дорогами старенькие «Нивы», зелёные армейские «уазики», подержанные американские джипы, японские внедорожники-пикапы и полугрузовички «тойота» с небольшими открытыми кузовами, а также некоторое количество разномастных импортных легковушек. Несмотря на хозяйственные сложности, которые создавало сосредоточение столь большой массы людей, техники и животных в одном месте, Вадим откровенно радовался прибывающему пополнению и, едва подсохли дороги, отправил часть автомобилей с вербовщиками в Башкортостан, Татарстан, Оренбуржье, Калмыкию и другие регионы.

Проплывающее над Шынгыстау, точно орёл над ханским шатром, круглоликое тюркское солнце пригревало с каждым новым днём всё конкретнее и конкретнее, и вскоре под его лучами не только затвердели подсохшие тропы и дороги, но и стремительно начала зеленеть вдоль них молодая сочная трава, снимая тем самым проблему обеспечения кормом наших многочисленных лошадей, верблюдов и другого скота, часть которого было решено гнать с собой для пропитания. Эти-то стада и отары Вадим и отправил раньше всех других отрядов на подготовленные впереди временные базы, чтобы к приходу туда каждой из последующих колонн забойщики успели освежевать и приготовить для них нужное количество свежей баранины, говядины и конины.

В последних числах марта выступили и мы. Я не думал, что мне будет так жалко расставаться с обжитым за прошедшие месяцы становищем, привычным видом Чингисских гор вокруг лагеря, заполненной лошадьми, людьми и шатрами долиной и всем тем, что составляло мою жизнь, начиная с прошлой осени и вплоть до минуты отъезда. Но человек настолько быстро прирастает ко всякому месту, которое успеет назвать своим домом, что, покидая даже временный свой приют, испытывает такие муки, как будто он привязан к нему пуповиной. Похоже, что и с нашей временной жизнью на этой земле происходит такая же история, коли уж мы, несмотря на обещанное нам Спасителем вечное существование наших душ в небесных чертогах, так цепляемся за каждый лишний день пребывания на этой не очень-то уж и балующей нас радостями планете…

Застоявшиеся за зиму лошади легко и охотно несли на себе отдохнувших всадников, тащили гружённые имуществом и провиантом подводы, поскрипывающие возы с разобранными шатрами и палатками да лёгкие кибитки с жёнами и детишками ушедших вслед за Вадимом целыми семьями агинских бурят. Машины ушли по другой дороге — на Жидебай, оттуда по трассе на Семей, а далее на Павлодар, Акмолу, Кустанай, Челябинск, Уфу и Самару, с тем чтобы в Жигулёвске переправиться по мосту через Волгу и по пензенской трассе двигаться в сторону Москвы, на подступах к которой мы потом все и соединимся. Мы же избрали себе другой маршрут — по широким казахским степям мимо Караганды, Аркалыка и Актобе на Уральск и далее с выходом на Саратов, чуть выше которого, у села Пристанное, находится автомобильный мост, которым мы решили воспользоваться для переправы нашей орды на правый берег Волги.

Обдумывая план продвижения войска к столице, Вадим — ещё до отправления четырёх передовых

отрядов, которым предстояло создать временные лагеря отдыха на пути нашего дальнейшего следования,—собрал у себя в шатре небольшой совет, решив обсудить на нём с ближайшими соратниками ряд важных для исхода всей операции моментов. Во-первых, сказал он, орда разрослась настолько, что скрыть её продвижение от посторонних глаз, особенно сейчас, когда вокруг уже не тайга с отдельно встречающимися малолюдными посёлками, а давно и хорошо обжитые и освоенные территории, будет практически невозможно. Тем более что по ходу движения к нам должны будут присоединиться новые группы добровольцев, завербованные специально направленными в регионы агитаторами. А во-вторых, подчеркнул он, на нашем пути лежит такая серьёзная водная преграда, как Волга, и её тоже незаметно не переплывёшь, это не безлюдная и малосудоходная Обь. Так что нужно заранее выработать какую-то тактику взаимодействия с властями, с которыми нам неизбежно придётся контактировать в процессе реализации задуманного плана и давать какие-то вразумительные объяснения насчёт того, кто мы такие и какого хрена здесь делаем.

— Да нефиг нам с ними объясняться,—решительно заявил Аюндай,—пора уже, наверное, показать всем нашу силу! Что мы всё за кустами держимся, таимся от чужих глаз? Пусть они нас боятся, а не мы их! Вон у нас сколько отчаянных воинов! Прокатимся лавиной, и хрен нас кто остановит!..

— Ну-ну, дорогой, не горячись, ещё не пришло время для атак,—похлопал его по плечу Вадим.—В открытом сражении регулярная армия разгромит нас за два дня. Куда нам против боевой авиации, танков, пулемётов?.. Сейчас нам нужны не столкновения, а, скорее, сотрудничество, взаимодействие. Если мы не можем скрыть своего существования от властей, то надо думать о том, как его легализовать, какой правдоподобной легендой запудрить всем мозги, чтобы на нас не обращали внимания.

— Можно сказать, что мы проводим какие-нибудь военно-тактические сборы, учения по гражданской обороне или отрабатываем тактику массовой эвакуации,—предложил впервые приглашённый на ханский совет атаман Морозов.—Это объяснит скопление такого большого количества людей и транспортных средств.

— Учения?—переспросил Вадим, прокручивая в уме возможную реакцию городских и областных чиновников на такое объяснение.—Нет, боюсь, они начнут повсюду звонить и выяснять, надо ли им как-то отчитываться о результатах этих учений, согласованы ли они с командованием близлежащих воинских частей, а главное—сколько денег можно списать на это мероприятие. Им ведь в первую очередь важно правильно «распилить» бюджет. И выяснится, что никто ни про какие учения не знает, ни с кем они не согласованы, и вообще всё это вызывает большие сомнения... Во всяком случае, эту идею можно использовать только раз или от силы два, да и то лишь в каком-то небольшом, районном масштабе. А надо бы придумать какую-то долгоиграющую, многосерийную фишку...

И тут меня осенило.

— Кино!—воскликнул я, вскакивая с места.—Мы скажем, что снимаем многосерийный художественный фильм о массовом передвижении народов, этакую философскую притчу о великом кочевье, растянутом через века и континенты. Точно! Фильм будет называться «Вирус Чингисхана» и исследовать стремление людей к покорению новых территориальных, исторических и культурных просторов. Для жанра художественно-философской притчи как раз естественно смешение лошадей и верблюдов, копий и автоматов, телег и автомобилей. Надо составить рекомендательное письмо за подписью Никиты Михалкова с просьбой ко всем административным органам страны оказывать максимальную помощь съёмочной группе знаменитого японского режиссёра Масиро Сукагавы, работающего над созданием нового шедевра. Я на всякий случай набросаю даже синопсис сценария для особо любопытных чиновников. Напишу там, что фильм представляет собой сюрреалистическую картину того, как история человечества движется через времена и страны, наслаивая друг на друга образы орд Чингисхана, отрядов Пугачёва, войск Наполеона, полков барона Унгерна, банд Махно, дивизий Котовского и Чапаева, армий Гудериана и Жукова... Укажу, что сценарий фильма предусматривает показ массовой эвакуации людей, и в частности—сцену переправы большого количества беженцев по мосту через Волгу. Короче, сюда можно вогнать всё, что хочешь, ещё и попросить власти о содействии. Киносъёмкой мы сможем объяснить всем буквально всё. Телеги, кони, шатры, вооружение—это всё, мол, только съёмочный реквизит. Масса народа на лошадях с луками и стрелами—массовка. Надо только раздобыть где-то несколько видеокамер и мегафонов да изготовить кучу всяких киношных удостоверений—я думаю, наш специалист по корочкам это сумеет.

— Сделать удостоверения операторов и помощников режиссёра не проблема,—махнул рукой Вадим, выслушав моё предложение.—Японских физиономий у нас тоже в избытке—бери любого бурята или казаха, вот тебе и готовый Ясиро Сукабука или как там зовут твоего режиссёра. Думаю, это действительно продуктивная идея, так как никто никакому Михалкову звонить не станет и проверять достоверность его подписи не будет. Съёмки какого-то очередного кинофильма—это для властей явление несерьёзное,

во всяком случае — не повод для волнений. Надо только тщательно обдумать все возможные нюансы и заготовить любые документы, которые могут понадобиться.

И, повернувшись непосредственно ко мне, добавил:
— Займись этим. Твоя идея — тебе её и реализовать. Так что ещё раз всё как следует продумай и держи на контроле…

Так в одночасье я стал администратором и продюсером многосерийного художественного фильма гениального японского режиссёра Масиро Сукагавы «Вирус Чингисхана», в подтверждение чего и получил вскоре первые корочки, которые изготовил разысканный по указанию Вадима и доставленный в Жидебай старый специалист по производству «ксив» любой сложности по кличке Паспортный Стол. Корочки были красивыми, имели безупречный вид и вызывали трепет и уважение, только слово «продюсер» было напечатано с двумя «с». Но это было несущественно.

Потом мы составили и отпечатали «михалковские» письма с просьбой об оказании содействия для руководителей тех отрядов, которые выезжали обеспечивать нам временные ночлеги по ходу следования, чтобы с их помощью заранее подготовить местные власти к информации о прибытии в их районы огромного количества вооружённых всадников.

К моменту нашего выступления из Чингисских гор в моём подчинении была уже полностью укомплектованная «съёмочная группа», состоящая из нескольких «операторов», «помощников операторов», «режиссёров», «ассистентов режиссёров», бригады «осветителей» и других профессиональных «киномастеров», что подтверждалось соответствующими справками и удостоверениями. У нас даже была в наличии одна видеокамера и громкий белый мегафон на батарейках. Оставалось только снять кино…

30.

Не помню точно, но, кажется, в прочитанной мною несколько лет тому назад книге расстрелянного в 1930-е годы писателя Артёма Весёлого «Россия, кровью умытая» есть глава, которая состоит всего из одного-единственного слова: «Шли». Так писатель показал, во-первых, длительность происходящего в ней действия (целую главу его персонажи шли до нужного им места!), а во-вторых, монотонность и однообразие этого действия (шли и шли, и ничего больше не происходило). Примерно так же мог поступить бы и я, описывая наше более чем двухмесячное шествие по Казахстану. Двигаясь то неширокими межгорными долинами, то бескрайними казахскими степями, мы проходили путь от одного бивака до другого, распрягали и кормили лошадей, пили чай, ужинали у костров, спали на расстеленных поверх сухой травы кошмах, укрывшись ковровыми покрывалами, а утром снова трогались дальше, до следующей ожидающей нас стоянки. Отгрохотали свои весенние рок-концерты первые ликующие от наступления тепла пичуги, затейливой красочной мозаикой украсили склоны сопок и поляны цветы, как зелёные цунами, взметнулись по лугам пошедшие в рост травы, деревья спрятали свои сухопарые тела под комбинезонами листьев, и в мире окончательно установилось лето. А мы тем временем всё шли и шли, хотя, слава Богу, не на своих двоих, а на четырёх лошадиных.

За Актобе к нам присоединились подошедшие с севера оренбургские казаки, за Уральском подошли с юга двумя группами тысяч двадцать калмыков, большой отряд астраханских казаков и полк ставропольцев, а уже перед самым Саратовом примкнули спустившиеся вдоль Волги татары и башкиры. Там же нас ожидала небольшая команда добровольцев из города Коврова, которые привезли с собой десятка два гранатомётов РПГ-18 с запасом снарядов к ним. Всех новоприбывших казаков отдали под начало атамана Морозова, создав, таким образом, полноценную казачью дивизию, а гранатомётчиков рассредоточили по другим сотням и отрядам, чтобы каждое подразделение имело свою собственную «ракетную артиллерию».

Приход тепла оживляет и будит не только природу, но и людей. Проведя добрую половину зимы за плотными стенами шатра и общаясь, в основном, лишь со своими нукерами да камердинерами, я рад был опять оказаться среди шелеста трав и листьев, дыхания степного ветерка, лошадиного ржания, множества открытых лиц и разговоров. В те вечера, когда Вадим не приглашал меня в ханский шатёр на совещания или ужины, я с удовольствием присоединялся к какому-либо из казачьих куреней и, уплетая с ними разливаемую из общего котла похлёбку, слушал мимолётно вспыхивающие то тут, то там беседы о жизни современного казачества, проблемах взаимоотношений казаков с активно заселяющими страну мигрантами и, конечно же, высказываемые ими надежды и чаяния, связанные с намечающимся превращением России в ханскую Орду.
— …В империи Чингисхана все улусы от Китая до Руси были одинаково равноправными, у него не было никаких регионов-льготников, — делился своими мыслями с товарищами бородатый ставропольский казак, когда я подсел с наполненной кашей тарелкой к их куреню. — А у нас, к примеру, в Чечню сегодня миллионы льются потоками, а соседние области находятся на голодном пайке. Это, по-вашему, справедливо? Вот и я говорю, что нет… Поэтому я хочу, чтоб у нас всё опять стало честно, по-чингисхановски, и чтобы для

нашей власти были одинаково близкими и Чечня, и Ставрополье, и все другие субъекты.
— Точно! — подняв на минуту голову от котелка с исходящей паром кашей, поддакнул ему молодой длинноусый казак. — Если будем жить по-чингисхановски, то работать будем — по-стахановски! — и счастливо захохотал, заломив на затылок картуз с мерседесово блеснувшим в отсвете костра лакированным козырьком.
— А я вот слышал, что тревожить тени великих завоевателей очень опасно. Неважно там — Чингисхана, Наполеона или Гитлера, — заговорил, вытерев губы ладонью, седоволосый есаул. — А особенно опасно для человечества будоражить их захоронения. Говорят, если найти и раскопать могилу Чингисхана, то в мире обязательно разразится кровопролитная война или какая-нибудь другая, ещё горшая холера…
— Кремль — это и есть могила Чингисхана, — мрачно резюмировал дискуссию первый бородач. — Потревожишь власть — выпустишь в мир беду хуже любой холеры. Власть, чтобы не потерять свои манатки, на любую войну готова.
— Так как же вы решились пойти против такой власти? — не удержался я от вопроса.
— А так и решился, что если её не сковырнуть теперь всем миром, то так она скоро всю Россию и заложит в американских банках. Это Чингисхан считал себя отцом народов, Сталин… А нынешние открыто называют себя наёмными работниками, типа, мол, менеджерами. А самое главное для менеджера — что? Заработать себе максимально высокие бонусы. На чём угодно. Вот ничего, кроме распродажи природных богатств и государственных секретов, в нашей стране все последние годы и не происходит…

В середине июня мы вышли к окраинам Саратова и, обойдя город с севера, остановились напротив села Пристанного, дожидаясь, когда подтянутся идущие следом с интервалами в одни сутки подразделения. Пока мы стояли в укрытой Чингисскими горами многокилометровой долине, размер нашего воинства хотя и производил впечатление, но не такое потрясающее, как здесь, на ровной открытой местности вблизи нескольких автострад и областного города. Прибывающее частями войско рассредоточивалось на огромной территории между сёлами Раскатово, Луговское, Ясеновка и Генеральское, и скрыть от глаз такое пугающее скопление вооружённых верховых людей было абсолютно немыслимо, нужно было как можно быстрее форсировать Волгу и двигаться дальше, поэтому, вооружившись сварганенными Паспортным Столом удостоверениями, справками, ходатайством Министерства культуры и рекомендательным письмом Никиты Михалкова, я срочно отправился на приём к губернатору для решения вопроса об оказании «съёмочной группе» мистера Масиро Сукагавы помощи в съёмках сцен массовой переправы через Волгу.

Попасть непосредственно к самому главе области мне, несмотря на все мои усилия, не удалось, так как его график был посекундно расписан на три ближайших месяца вперёд, но меня всё-таки принял один из его первых заместителей. Это был сухопарый мужчина лет пятидесяти пяти с усталым серым лицом и глубоко запавшими грустными глазами.
— Что это последнее время киношников на Чингисхана потянуло? — спросил он, перебирая представленные мною справки и ходатайства. — Я в течение двух последних лет уже несколько фильмов про него посмотрел. И с каждым новым фильмом он всё более идеализируется.
— Ну, скажем так, фильм мистера Масиро Сукагавы не совсем про Чингисхана. Это, скорее, попытка найти некий общий для всех веков и народов ген, который движет историю, толкая людей на покорение новых пространств и новых форм общественной жизни. Просто Чингисхан — это самая яркая личность в этом ряду, поэтому его имя использовано в названии, а вообще в фильме в той или иной мере задействованы такие персонажи как Аттила, Тамерлан, Пугачёв, Разин, Наполеон, Ленин, Сталин…
— Обсирать будете?
— То есть? — не понял я.
— Ну, опять Сталина обсирать будете? — повторил он. — Сейчас же это модно. «Палач», «людоед», «параноик». Как будто это не при нём отсталая Россия превратилась в ведущую державу мира.
— Н-нет, зачем же… Сталин ведь тоже из породы Чингисханов, он вёл огромные массы на покорение нового общественного строя, а это ничуть не легче, чем покорять пространства… Хотя он не забывал и о расширении границ своей империи, создав после войны жизнеспособный социалистический лагерь. Кстати, устроен этот лагерь был абсолютно на тех же принципах, на каких Чингисхан создавал свои улусы, то есть — с назначением на должности тиунов верных себе представителей коренных народов и созданием защитных гарнизонов из местных воинов, но всё это — под своим контролем и с сохранением репрессивных возможностей. Вспомните подавление восстаний в Венгрии и Чехословакии…
— Ну, коли так, то ладно. Если не будете делать из Сталина идиота и чернить нашу историю, тогда работайте. Сколько времени вам понадобится для съёмки?
— Я думаю, ночь или чуть больше. На некоторые сцены ведь уходит по нескольку дублей.
— Значит, как я понимаю, нам придётся закрыть мост в Пристанном часов с десяти вечера и примерно до следующего обеда. А весь поток

транспорта оттуда перенаправить на эти часы на мост в Энгельсе… Сказать по правде, мне это совсем не нравится, так как создаст для нас целую кучу проблем, но раз уж о помощи вам просит сам Никита Михалков, то придётся, видимо, уважить. Только мы должны успеть заблаговременно оповестить население, а для этого надо напечатать объявление в газетах и сообщить всем о временном закрытии моста по радио. Кроме того, нужно будет дать соответствующее распоряжение в ГИБДД, чтобы они обеспечили вам на это время работу постов с обеих сторон моста. Причём надо будет выставить посты ещё и на самих трассах, чтобы загодя направлять идущие к Пристанному машины на Энгельс. Да перекрыть боковые выезды к мосту со стороны Генеральского и Прибрежного. Так что предоставить вам мост для съёмок получится не раньше, чем… Ну, скажем,—он на некоторое время погрузился в подсчёты, листая лежащий на столе календарь, и наконец принял решение:—Наверное, послезавтра. Да, послезавтра, в двадцать два ноль-ноль, можете приступать к началу съёмок. Я к этому времени подъеду к вам, и если будут какие-то вопросы, мы их решим на месте. Но за безопасность своих людей во время передвижения по мосту вы отвечаете сами.

— Да, конечно,—согласился я.—Только нам бы сопровождение ГИБДД хотя бы до Каменки, а там мы сойдём с трассы и разобьём где-нибудь на обочине лагерь.

— И куда вы потом всю эту армаду людей денете? Отправите по домам?

— Нет, они нам ещё понадобятся. У нас запланирована съёмка массовых сцен под Москвой, в районе Егорьевска. Здесь мы снимаем только один из эпизодов фильма, а там предстоит снять несколько больших сцен. Так что мы потом будем переправлять всех туда… Своим ходом, но по разным дорогам, чтобы не создавать неудобств на трассах. Бюджет фильма уже трещит по швам, но проект запущен, и надо доводить его до конца.

— Всё в этой жизни надо доводить до конца. Нельзя оставлять неразрешённым ни одного вопроса, даже второстепенного,—задумчиво произнёс замгубернатора.—Хотя, на мой взгляд, второстепенных вопросов в жизни вообще нет, они таковыми лишь кажутся, а на деле все—главные… Впрочем, я желаю вам успеха. Дай Бог, чтобы искусство снова начало работать на укрепление духа, а не только на разжигание страстей. Ну а я послезавтра загляну к вам на съёмочную площадку…

Мы крепко пожали друг другу руки, и, с трудом переводя дух, я покинул здание областной администрации. Я даже не надеялся, что решение казавшегося столь трудным вопроса пройдёт так легко и быстро, без всяких пугающих согласований с инстанциями, подстраховочных звонков в Москву и даже без традиционных для нашей рыночной поры «откатов». Хотя деньги для этого я на всякий случай у Toктонбая взял и теперь размышлял о том, как мне с ними лучше поступить—возвратить назад казначею или же оставить себе и сказать, что я раздал их чиновникам. Меня очень подмывало сделать второе, но душа воспротивилась соблазну и всё-таки убедила меня не мелочиться. Хотя жёгшая ляжку сумма была отнюдь не мелочью…

В последний день перед переправой, незадолго до обеда, меня пригласили в палатку интендантской службы и предложили выбрать себе из сваленных кучей в коробке трубок заряженный мобильный телефон. Оказывается, замыкавший наше передвижение арьергардный отряд, встретив вчера на окраине посёлка Степное магазинчик связи, не удержался и выгреб из него около сотни разносортных мобильников с сим-картами, а также целый ящик разнородных зарядных устройств. Так что в преддверии сложного ночного перехода Вадим распорядился раздать эти средства связи всем сотникам, есаулам и членам ханского совета.

Порывшись в груде телефонов, я наткнулся на такой же «Sony Ericsson», какой я купил себе в январе в Томске, и решил, что будет разумно иметь два одинаковых, чтобы в случае поломки или утери аккумулятора или зарядного устройства можно было воспользоваться их взаимозаменяемостью. По этой же причине я обычно покупаю себе сразу несколько пар носков одинакового цвета, чтобы в случае протирания дыры на одном из них его можно было использовать в паре с любым другим—и так до тех пор, пока не останется один последний, к которому уже негде подобрать пару.

Быстро набрав комбинацию «решётка-сто-решётка», я проверил баланс и, увидев числящиеся на нём полторы тысячи рублей, довольно задвинул крышку с дисплеем.

— А где заряжать аккумулятор, когда он сядет?—спросил я, пряча в карман мобилу и зарядное.

— Это уже вы думайте сами,—развёл руками хозяин палатки.—Где-нибудь на пути наверняка встретится дом с розеткой, вот и воспользуетесь им. Или попробуйте раздобыть где-то дизель-генератор, тогда можно будет заряжать здесь.

Поблагодарив завхоза, я вышел на улицу и поспешил к своему шатру. В течение всех этих двух с половиной месяцев я ни разу не устанавливал своё жилище, так как ночлеги наши были краткими, рано утром мы выступали в путь, и чтобы не тратить время на возню с установкой и разборкой шатра, я спал прямо на брошенной на сухую траву кошме, либо под брезентовым навесом на четырёх кольях, либо вообще укрываясь куском ковра, как одеялом. Но тут, собирая поочерёдно подходящие к месту сбора войска и группы новых добровольцев, мы стояли уже целую неделю, и поэтому я снова разбил свой шатёр и жил в нём,

спрятавшись за войлочными стенами от неугомонного шума разросшегося уже до ста сорока с лишним тысяч воинов лагеря.

Придя в шатёр, я спешно вытащил из рюкзака свой собственный «Sony Ericsson» и торопливо поменял в нём давно севший аккумулятор на новый, вынутый из только что полученного мною у завхоза мобильника. А затем, волнуясь и не попадая пальцем в кнопки, набрал номер Танькиного телефона.

— Алло, это ты? — спеша и задыхаясь, заговорил я, услышав в трубке возникший за тысячи непостижимых километров от меня, но самый дорогой и узнаваемый в этом мире меня голос. — А это я, — добавил я и почувствовал, что других слов для передачи наполняющих моё сердце чувств, в общем-то, уже и не найти, и для полного счастья остаётся только услышать в ответ те, которые мне могут произнести мои сыновья.

И я попросил Таньку дать мне послушать голоса моих беззаботно агукающих где-то рядом с нею мальчишек…

31.

После обеда — я только хотел было прилечь и немного поспать в преддверии бессонной ночи — ко мне в шатёр неожиданно заглянул Вадим. Великий Хан пришёл без сопровождающей его обычно свиты и даже не оставил у входа в шатёр своего личного охранника.

— Привет! — сказал он, отбрасывая в сторону закрывающий вход полог. — Можно к тебе по-соседски, без приглашения? Я, правда, без бутылки, но сегодня нам предстоит трудная ночь, так что лучше быть трезвым. И желательно бы хорошо выспаться… Ты ещё не ложился отдыхать?

— Только что собирался.

— Ну вот, а я тебе, выходит, помешал.

— Ничего, времени ещё достаточно.

— Время — субстанция неоднозначная. Поверь мне, один и тот же жизненный отрезок может быть и ничтожно коротким, и невыносимо длинным. Медовый месяц у новобрачных пролетает как одна секунда, а тот же срок в следственном изоляторе тянется дольше года… Я много думал о парадоксах времени; жаль, у нас нет его сейчас, чтобы о нём поговорить. Да и вообще — посидеть, пообщаться. Ты-то хоть можешь выйти и с кем угодно поболтать, а я разговариваю только с сотниками да советниками… Кстати, что это ты, как мне сообщают, всё время выспрашиваешь у людей, зачем они идут на Москву? Зачем тебе это?

— Я не выспрашиваю, — обиделся я. — Я просто хочу понять, чего люди ждут от нашей победы, чтобы потом не разочаровать их и не превратить из своих союзников в противников. Почему революции обычно пожирают своих детей, как ты думаешь? А потому, что те связывали с ними какие-то свои ожидания, надеялись получить какие-то выгоды от своего участия в революции, а их вожди об этом даже не задумывались и после победы начинали реализовывать свои собственные программы, забыв о единомышленниках. И их вчерашние сподвижники стали их главными оппозиционерами.

— Как Троцкий?

— Ну да. Или как Руцкой, который в августе девяносто первого года был вместе с Ельциным, а уже в октябре девяносто третьего — против него. Вот я и беседую с людьми, чтобы узнать их ожидания и не обмануть их потом, повторив извечную ошибку всех прежних революционеров.

— Ну, ты это… Осторожнее беседуй… Я же тебе говорил, что Пурген существует не в единственном экземпляре. Тут повсюду есть глаза и уши, которые мне всё докладывают. А насчёт людей ты не бойся, мы никого не обманем. Не для того я всё это затеял…

— А для чего? Ты ведь никогда толком не декларировал того, что ты собираешься делать, придя в Кремль, и на кого планируешь опереться. Токтонбая ведь министром финансов не поставишь, тут нужен специалист несколько другого уровня. С кем ты собираешься строить новую жизнь в России?

— Я думал об этом, не беспокойся, и у меня уже есть примерный список кандидатур.

— Например?

— Ну, допустим, премьером я назначу Михаила Ходорковского. А министром образования и науки возьму Перельмана…

— Это того учёного, что от миллиона долларов отказался?

— Его самого. На оборону поставлю на первых порах Аюндая, он справится, а потом поглядим. Ты, если хочешь, можешь возглавить Министерство культуры, я тебе это уже предлагал. А если не хочешь — я его Владимиру Берязеву отдам, пускай культурой управляет поэт; ты же сам говорил, что поэзия гармонизирует жизнь, вот пусть наша действительность наконец и обретёт гармонию. А чтобы, кроме гармонии, в стране был ещё и порядок, я отдам МВД казакам, пусть этим займётся атаман Морозов.

— Тебе в первую очередь надо будет объяснить своим гражданам и всему остальному миру, какой общественный строй ты собираешься утверждать в России. Беда нынешней власти как раз в том, может быть, и заключается, что за два с лишним послеперестроечных десятилетия она так и не определилась с тем, какой строй она у нас создаёт.

— Я буду строить интегральный феодализм, — ни минуты не колеблясь, пояснил Вадим. — Страна будет поделена на улусы, которыми будут управлять назначенные мною нойоны, а сам строй будет соединять в себе лучшее из опыта мирового

капитализма и нашего недавнего социализма. Все будут подотчётны Великому Хуралу, а Великий Хурал будет подотчётен Великому Хану. За казнокрадство и взяточничество я введу отрубание рук и полную конфискацию имущества, причём не только у самого преступника, но и у всей его родни. Если жизнь в каком-либо улусе будет бедной, то приедет мой визирь и посадит руководителя улуса в клетку. Лидеров политических партий и движений, руководителей отраслей и предприятий, а также бизнесменов, банкиров и олигархов, экономическая, хозяйственная, организационная и политическая деятельность которых не ведёт к процветанию страны и улучшению жизни людей, я буду пожизненно лишать права возглавлять какие бы то ни было структуры и хозяйства, а также заниматься политической деятельностью. Их счета будут заморожены, а имущество конфисковано.
— Круто,— хмыкнул я.— Но очень похоже на сказку.
— А ты не хмыкай,— обиделся Вадим.— Я действительно так сделаю, потому что по-другому в этой жизни ничего не изменить.
— Да я понимаю и, в принципе, не против предложенных тобой мер, только боюсь, что на практике всё окажется несколько иначе. Ты ведь не учитываешь того давления, которое на тебя начнут оказывать, во-первых, страны Запада, а во-вторых, внутренняя оппозиция. Языки-то всем не отрубишь.
— Оппозиция — это те, кто хотел бы рулить страной, а штурвал власти находится в чужих руках. Вот они и мутят воду, чтобы оттеснить законного капитана от руля и самим встать на его место. По конституции-то, сегодня стать президентом страны может любой гражданин России. А я сразу же объявлю о династической передаче власти наследнику по мужской линии, чтобы отсечь на этот счёт любые мечтания. Когда нет шансов, тогда нет и соблазнов.
— Соблазны есть всегда. Если не в том, чтобы занять место первого человека в государстве, то хотя бы в том, чтобы иметь возможность на этого человека влиять, стать, как говорится, «серым кардиналом». Вспомни, как действовал Березовский, одаривая дочь Ельцина и добиваясь через неё принятия выгодных для него решений.
— Со мной эти номера не пройдут, у меня нет дочери.
— Отыщутся другие слабые места. Ну и — не забывай о мировом общественном мнении. Запад этим рычагом пользуется постоянно.
— Запад может делать всё, что ему угодно, мне на это наплевать. Пока у России есть ракеты, Запад нам не страшен.
— А ты уверен, что они у нас есть? Судя по тому, как США, совершенно не считаясь с нашим мнением, изнасиловали Сербию, оккупировали Афганистан, раздавили Ирак и столкнули в яму гражданской войны всю Северную Африку, никаких страшных ракет у нас давно уже нет, и Запад об этом прекрасно знает. Так что тебе придётся считаться с очень многими негативными факторами, которые будут мешать осуществлению твоих замыслов.
— Ладно. Если ты будешь со мной, мы что-нибудь придумаем. А пока надо отдохнуть. Давай-ка ложись и спи. Пару часиков дремануть просто необходимо. И прошу тебя, поменьше настораживающих разговоров у костров, иначе тебя могут неправильно понять...

...Пару не пару, а часа на полтора я и в самом деле отключился и спал бы, наверное, ещё дольше, да только мне этого не дали сделать. Лагерь начал готовиться к предстоящему ночью переходу по двенадцатикилометровому волжскому мосту, за стенами шатра поднялись суета и галдёж, и я подумал, что и мне будет не лишним ещё раз проверить готовность моей команды к ожидающей нас через несколько часов инсценировке киносъёмок. Поэтому я отбросил покрывало и пошёл собирать свою «съёмочную группу».

Первым делом я осмотрел инвентарь и технику. В наличии имелись четыре разнокалиберные японские видеокамеры — неплохие, как мне сказали, по качеству, но, конечно же, не профессиональные, а любительские, хотя, будучи установленными на трёхногих штативах, они и смотрелись как киношные. Было также два мегафона, классическая ассистентская хлопушка, три театральных светильника на высоких стойках, работающие от автомобильных аккумуляторов, и два автомобиля «тойота» с открытыми кузовами, с которых, собственно, и предполагалось «вести съёмку». Роль режиссёра Масиро Сукагавы была поручена буряту Базаржапу Тойбонову, который почти не говорил по-русски, но имел колоритную восточную внешность: узкие глаза, жёсткие чёрные волосы до плеч и реденькая бородка под нижней губой. Все прочие роли тоже были распределены и детально обговорены.

В половине десятого мы загрузили съёмочную аппаратуру в машины и выехали из лагеря. Одна из «тойот» остановилась у въезда на мост на левом берегу, а другую я на всякий случай отправил на правый, к селу Пристанному,— вдруг кто-то из администрации подъедет посмотреть на нашу работу с той стороны реки. Я велел им установить треногу с камерой и один из светильников в кузове «тойоты» и делать вид, что они снимают сходящие с моста подразделения. Но я почему-то был уверен, что замгубернатора появится на нашей стороне, и потому самую большую видеокамеру, чёрно-белую хлопушку, два светильника и готового к работе Базаржапа оставил с собой здесь.

И я не ошибся. Где-то минут через сорок после того, как сотрудники ГИБДД перекрыли движение по шоссе в сторону Пристанного моста и по нему колонной по двенадцать всадников в ряд с интервалами в полкорпуса двинулась наша армада, по вспомогательной дороге со стороны Прибрежного подкатил сверкающий в свете фонарей, как чёрная волжская вода, «мерседес», и из него вышел уже знакомый мне сухощавый губернаторский заместитель с одним из своих помощников.

— Базаржап, работай! — прошипел я сидевшему в кузове без дела «режиссёру», и тот, испуганно вскочив, начал с неистовым усердием отрабатывать порученную ему роль.

— Мотор!!! — страшно выпучивая глаза и надувая жилы на шее, свирепо орал он в мегафон, так что проходящие мимо «режиссёрской» машины шеренги всадников в ужасе напрягали лица и, задерживая дыхание, будто они ныряли в это время под воду, проносили мимо «работающих» камер свои неестественно неподвижные, одеревеневшие от ответственности момента физиономии. — Мотор!!! — «отсняв» одну прошедшую мимо нас партию, хрипел Базаржап, и мимо машины, точно окаменевшие мумии, проезжали на испуганно прядающих ушами и фыркающих лошадях новые шеренги перепуганных всадников.

— А что они такие все зажатые, точно скованные? Камеры боятся, что ли? — глядя на проезжавших мимо нас, не мигая, воинов, спросил меня прибывший вместе с замгубернатора чиновник.

— Нет, это специально так, — прямо на ходу начал я выстраивать какое-то правдоподобное объяснение. — Ретро-стиль называется. Вы видели, как сейчас фотографии делают под старину, с желтизной такой, будто они пожелтели от времени? Вот и в кино есть такая практика: снимают так, как будто это было снято в начале тысяча девятисотых годов. Вспомните кадры старой хроники: люди действительно замирали перед фото- и кинокамерами, задерживая дыхание и боясь моргнуть, потому для них это были моменты чрезвычайной важности. Вот это внутреннее состояние и хотел бы передать в своём фильме господин Масиро. Избранный им художественный метод соединяет в себе множество самых разнообразных приёмов, помогающих добиться исторической достоверности. Помните кадры из «Броненосца Потёмкина», как там все неестественно бегают? Или знаменитые фильмы Чарли Чаплина с его суетливыми движениями? Вот и здесь потом плёнку прокрутят немного быстрее, и будет полная имитация съёмки вековой давности.

— А почему такое странное смешение одежд и вооружения? — не мог понять происходящего помощник замгубернатора. — У одних я вижу копья и луки, у других ружья, а у третьих и автоматы… В какое время происходит действие фильма?

— Видите ли, — снова напрягся я, — это не просто фильм, а фильм-притча, в котором история представлена в виде единого неостановимого потока людских масс, движущегося через времена, пространства и общественно-экономические формации. Все века представлены как бы одномоментно, у истории ведь, как и у Бога, нет ни «вчера», ни «завтра», а всё происходит в едином «сейчас», поэтому перед зрителем проходят представители сразу всех исторических эпох одновременно.

— Сюр, что ли?

— Гротескный мифоконцептуализм с элементами турбореализма.

— Короче, хрень собачья, — выругался помощник.

— А нормальное кино сейчас снимать разучились, вот все и вымудряются, — подал голос замгубернатора. — Кому только от этой турбомешанины будет хоть какая-нибудь духовная польза?

— Зато именно за такую стряпню, блин, сейчас дают все эти зарубежные кинопремии. А настоящее кино при этом вымирает. Одни дурацкие сериалы по всем каналам идут да ещё эти пошлые шоу…

— Ладно, — отвернулся от проходящих мимо нас колонн замгубернатора. — Постарайтесь закончить это ваше… турбоискусство пораньше. Не хватало ещё из-за такой ерунды парализовать тут на сутки движение.

— Мы постараемся, — поспешно заверил я представителей власти, с облегчением глядя, как они удаляются в сторону ожидающего их «мерседеса».

— Мотор!!! — чуть не срывая себе голос, истерически проревел им вдогонку в мегафон «великий режиссёр» современности Масуро Сукагава…

32.

К десяти часам утра вся наша многотысячная армия вместе с возами и запасными лошадьми была на правом берегу. Слава Богу, мост в Пристанном обходил Саратов стороной, так что, почти никому особенно не мешая, мы перемахнули за ночь через лежавшую на нашем пути Волгу и, не снижая темпа, миновали Дубки, пересекли трассу на Клещёвку и остановились только в районе посёлков Малая Скатовка — Свинцовка — Кривопавловка — Неёловка, вызвав огромное недовольство местных жителей. Идти дальше такой огромной армадой было немыслимо, надо было срочно рассредоточиваться.

— Давай сюда Паспортного Стола, — сказал я Вадиму. — Надо срочно разослать информацию о нашем продвижении во все городские, сельские, областные и прочие администрации, чтобы там заранее знали о возможном появлении орды на их территориях и были готовы оказать нам содействие.

— Как ты собираешься всё это осуществить?

— Мы с Паспортным Столом и его лабораторией сейчас срочно вернёмся в город, снимем номер

в первом попавшемся отеле, изготовим послания главам городов, областей и районов, потом в каком-нибудь интернет-кафе отыщем через Интернет адреса нужных нам администраций и разошлём всем — кому по электронке, кому обычной почтой — письма с просьбой оказывать содействие съёмочной группе режиссёра Масиро Сукагавы.

— Блин, меня уже тошнит от этого имени…

— Меня тоже, но другое придумывать поздно. Здесь не сибирская глушь, тут через каждые полкилометра — село, посёлок, город, повсюду дороги, люди, власти. Власть тут, наверное, такая же неповоротливая, как и везде, но если каждые пять минут из каждого населённого пункта ей будут звонить о нашествии каких-то непонятных банд, то нами всё-таки заинтересуются. Поэтому лучше самим, не дожидаясь неприятностей, заранее сообщить всем о себе то, что для нас будет максимально безопасным. Пусть уж это будет наша легенда о съёмках фильма. Если сообщения о продвижении многочисленной массовки разослать главам всех лежащих на нашем пути администраций, то куда бы потом кто-то из них ни позвонил, ему скажут, что да, у нас тоже есть информация о работе съёмочной группы в наших местах, так что никто больше ничего выяснять не будет, а, может, ещё в чём-нибудь и помогут.

— Ну хорошо, давайте… Лучше бы это, конечно, было сделать ещё вчера или позавчера, ну да ладно. Только постарайтесь оперативно, сам понимаешь — нам тут торчать не резон.

— Я думаю, ты можешь пока делить орду на части и немного рассредоточивать её по соседним районам, а заодно прорабатывать с сотниками предстоящие им маршруты. Надо, чтобы в итоге мы все вышли на линию Воскресенск — Павловский Посад и чтобы там же нас ждали ребята из нашей автороты; они уже, кстати, давно должны быть на месте…

Взяв с собой несколько расторопных помощников, мы с Паспортным Столом и его оборудованием погрузились на две «тойоты» и «Ниву» и через полчаса уже вселялись в двухкомнатный номер первой же встретившейся нам гостиницы с названием «Мираж». Собственно, гостиница нам была нужна только из-за розеток, к которым можно было бы подключить три имевшихся у нас ноутбука и принтер. Пока мы с Паспортным Столом составляли, а потом распечатывали на бланках Министерства культуры письмо с просьбой оказывать содействие съёмочной группе фильма «Вирус Чингисхана», наши помощники на двух компьютерах занялись выборкой адресов городских, сельских, районных и областных администраций Пензенской и Рязанской областей, Республики Мордовия и, на всякий случай, юга Нижегородской области. Честно говоря, эта часть работы заняла у нас как раз больше всего времени, затянувшись далеко за полночь, а когда список был готов, мы просто сбросили по программе массовой рассылки почти все наши письма на электронные адреса администраций, а тем из них, у кого до сих пор нет электронной почты, отправили распечатанные на принтере письма в обычных конвертах. Но это было уже утром, когда открылись почтовые отделения.

А часов в одиннадцать я уже вернулся в лагерь и отдал Вадиму около сотни рекомендательных писем для наших сотников, которые им предстояло предъявлять в случае необходимости представителям власти во время своего рейда к Москве. О том, что финальная часть съёмок будет проходить в Подмосковье, там тоже было написано, я постарался предусмотреть всё и подстраховаться от любого подвоха. Так что можно было сниматься с места и пускаться в путь, хотя сам путь с этого дня разветвлялся на целых три десятка самостоятельных русел, по которым разделившаяся на тридцать разнокалиберных отрядов орда продолжала своё приближение к не чующей опасности российской столице. Как написал бы в главе об этом шествии писатель Артём Весёлый, «шли». А впрочем, может быть, это я цитирую и не его, я давно уже не перечитывал его книги…

Первое время идти по новым территориям было очень сложно: Россия оказалась заселена настолько плотно, что в ней почти уже нельзя было найти ни клочка свободного пространства! У меня было такое ощущение, что мы идём не по лесным и просёлочным дорогам, а по ярмарочной площади, заполненной праздно шатающимся и пялящимся на всё подряд народом. Весь мир вокруг оказался застроен дачами! Дач в стране было больше, чем просто жилых домов, и даже больше, чем самого населения. Мы то и дело натыкались на бесконечные дачные посёлки, из-за которых порой приходилось делать крюк в несколько лишних километров, потому что они росли где попало и как попало, то отрезая заборами выход к реке, то перегораживая степную дорогу, а то заслоняя собой выход из леса или рощи.

В нашем отряде было пять тысяч человек, хотя Аюндай хотел, чтобы Великого Хана сопровождала его двадцатитысячная сотня. Но Вадим отправил Аюндая одной из параллельных дорог, а с собой взял только пять тысяч верных нукеров, не считая девятерых моих лучников.

Главное в этом шествии было не допускать наших воинов до вторжения в чужие дома и дачи. Но время от времени у нас заканчивались какие-нибудь продукты, и тогда удержать кого-либо от ночной вылазки в дачный посёлок было невозможно. А иногда они пытались прихватить что-нибудь и прямо во время прохождения отряда через посёлок, на глазах у подозрительно следящих за ними отдыхающих.

Но дачники срединной России были совсем не такими робкими, как жители сибирских хуторов и деревень, они отбивались от нападения ордынцев граблями и лопатами, выкрикивали им в лица ругательства и проклятия и тут же начинали звонить по мобильникам, которые лежали в кармане любого старика и ребёнка, в полицию или местную администрацию, так что мне пару раз приходилось выезжать для улаживания конфликтов в ближайшие посёлки и отмазываться от грозящей нам статьи за разбой. Я не знал, что, оказывается, умею давать взятки, но, как показала жизнь, это не такое уж и трудное дело. Устав слушать зачитываемый главой поселковой администрации перечень злодеяний, совершённых нашими всадниками и нанёсших непоправимый ущерб личным хозяйствам одного из дачных кооперативов, я вынул из кармана двадцать пять тысяч рублей пятисотрублёвыми бумажками и, держа их перед собой, сказал, что я понимаю, что полностью ущерб этими деньгами не возместить, но, может быть, хотя бы части населения можно выдать небольшую компенсацию, а с остальными мы рассчитаемся позже, когда фильм выйдет в прокат и нам начнёт поступать прибыль. Главу администрации такое решение вполне устроило, он быстро взял у меня деньги, и тема была закрыта. В других случаях мне удалось обойтись без траты общественных денег, я просто объяснил чиновникам, что данное происшествие — никакой не грабёж, а это просто артисты вживаются таким образом в свои роли. Они уже несколько месяцев находятся в образе свирепых ордынцев и, боясь потерять нащупанное состояние, специально ведут себя так, как вели бы себя воины Чингисхана. Зато эти непредусмотренные «репетиции» на пленэре окупятся в итоге высочайшей художественной правдой создаваемого фильма.

Чиновники, успевшие получить по электронке или обычной почте изготовленные Паспортным Столом официальные письма Минкульта с просьбой оказывать нам содействие, только безнадёжно махали рукой на мои объяснения и спрашивали, чем они могут помочь, чтобы предотвратить повторение подобных «репетиций» на их территории. Я называл перечень необходимых продуктов, мне выписывали фактуру, и я возвращался к ожидающему меня отряду в сопровождении машины с макаронами и тушёнкой, после чего мы продолжали свой путь дальше.

В августе, созваниваясь и корректируя движение всех подразделений, мы прошли между Воскресенском и Егорьевском и сомкнулись с отрядом Аюндая. Выше остановились казаки атамана Морозова, за ними калмыки и другие пришедшие раньше нас части. В целом, не считая одного сбитого фурой китайца и его лошади, орда добралась до места сбора без потерь, хотя увидеть это воочию было невозможно, так как позиции войска были растянуты километров на восемьдесят, опоясывая Москву с востока широкой дугой, напоминающей серп или лук без тетивы. Предупреждённые письмами местные власти отнеслись к нашему появлению терпимо, авторитет Министерства культуры и особенно Никиты Михалкова работал исправно, но вот жителям Московской области и неисчислимым подмосковным дачникам на просьбу Никиты Сергеевича о помощи японскому режиссёру было наплевать, присутствие прямо у них под боком нескольких тысяч непонятных грязных людей, похожих на полчища гастарбайтеров, и их ржущих и постоянно гадящих лошадей их несказанно раздражало и наполняло воздух тревожным недовольством, грозящим с минуты на минуту перерасти в ненужную нам войну. Да и не за тем мы сюда явились, одолев семь тысяч километров, чтобы ругаться с бабами из-за потоптанного конскими копытами огорода или разбуженного отблесками костра ребёнка. Надо было приступать к главному.

— Ну? — спросил меня как-то Вадим. — Есть у тебя какие-то мысли относительно того, что делать дальше? Что бы ты мне сейчас посоветовал?

С минуту помолчав, я покрутил головой и принюхался. Похоже, что где-то в стороне кто-то бросил в костёр какую-то вонючую хреновину вроде старой подмётки, и ветер доносил до меня слабоватый, но довольно противный запах.

— Ветер сейчас откуда? — спросил я его вместо ответа. — Со стороны Егорьевска?

— Ну да, — повертел он головой, — вроде бы оттуда…

— Тогда прикажи всем отрядам немедленно поджигать траву. Надо, чтобы начались лесные пожары и загорелись торфяники… Пока ветер с востока, он будет гнать дым на Москву. А что обычно делают президент, премьер и другие важные чиновники, когда Москву начинает заволакивать дымом горящего торфа? А?.. Я думаю, тут трудно ошибиться. Они уезжают по срочно возникающим у них государственным делам куда-нибудь в Италию, Германию или, на худой конец, в Сочи. Проверить, как там идёт подготовка к шахматной универсиаде. И в Кремле не остаётся — ни-ко-го…

— И в это время, невидимые за дымовой завесой, мы просто войдём в город и займём опустевшие апартаменты власти, — закончил за меня Вадим. — Гениально! Я сейчас так и сделаю.

— Только надо будет потом всем сказать, чтобы закрыли себе лица мокрыми платками, чтобы не отравиться. И морды лошадям тоже…

В тот же день, торопясь, пока ветер не сменил своего направления, Вадим отдал приказ поджечь сухую траву, и от Воскресенска до Павловского Посада поползли лижущие землю языки низовых пожаров, от которых уже через день-другой

заполыхали окрестные леса и начали тлеть торфяники, окутывая российскую столицу крайне неприятным, вонючим дымом, от которого начинают болеть лёгкие и повышается давление.

Заняв под штаб одну из пустующих дачек, мы регулярно просматривали по оставленному хозяевами старенькому телевизору новости, стараясь проследить информацию о реакции властей на торфяные пожары. Но первая информация пришла не с экрана телевизора, а прямо с неба.

— Вертолёт! Смотрите, вертолёт!— услышал я однажды крики за стенками шатра и, выскочив на улицу, посмотрел в небо.

— МЧС прилетело!— крикнул один из моих камердинеров, указывая пальцем в стрекочущую белую стрекозу с красно-синими полосами на борту, кружащую вдоль линии неостановимо разгорающихся пожаров.

Похоже, что больше, чем картина очагов возгораний, внимание наблюдателей привлекло огромное скопление людей и лошадей вдоль всей линии пожаров, потому что вертолёт всё больше и больше кружил не над дымящимся лесным массивом, а над нашими шатрами и палатками, разглядывая тысячи привязанных у прясел лошадей и толпы снующих вдоль линии огня людей с луками и ружьями на спинах.

— Где ковровцы с «Мухами»?— услышав крики про вертолёт, выскочил из своего шатра Вадим.— Сбить немедленно! И срочно передать по всем отрядам, чтобы все появляющиеся вертолёты были немедленно сбиты! Немедленно! И пожарные, и эмчэзсовские!

Я не видел, как гранатомётчики производили выстрел, они стреляли где-то в стороне от меня, заметил только, как, оставляя в небе дымный белый шлейф, к эмчээсовскому борту метнулась чёрная точка гранаты, после чего над лесом вспыхнул багровый шар огня, и разломленный взрывом на две части вертолёт рухнул на территорию горящих торфяников, подняв там высокий столб искр и алого свечения.

— В выгоревший торф провалился,— сказал кто-то за моей спиной.— Как в преисподнюю ухнул.

— Вертолёты сбивать немедленно!— грозно повторил для всех Великий Хан.— Если нас здесь увидят наблюдатели МЧС, нам не помогут никакие письма Михалкова. Их доклад — это не звонки скандальных дачников, учтите это...

С этого дня по всей линии дислокации войска было установлено круглосуточное дежурство, при котором в состав дозорной группы, помимо обычных стрелков, обязательно включался гранатомётчик с «Мухой». И результаты не заставили себя ждать. В течение недели было сбито ещё два вертолёта и захвачен в плен автобус с десятью сотрудниками МЧС. Автобус был загнан под деревья, а эмчээсовцев временно изолировали в подвалах трёх ближних дач, владельцы которых не выдержали соседства с нами и с дымящимся лесом и давно свалили отсюда в город.

После одного из очередных совещаний Вадим попросил меня задержаться и, когда все посторонние ушли из шатра, вынул откуда-то бутылку водки и пригласил меня к столу.

— Садись, а то мы с тобой так ни разу за бутылкой и не посидели.

— Почему же? А на Новый год?

— Ну, вспомнил!.. Это как будто в другой жизни было! Белый снег Шынгыстау, белая кошма, белое платье невесты... Всё это осталось за спиной, и его уже не вернуть, вызов брошен.

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что сбитых вертолётов нам не простят. Это ведь уже не игры на Болотной площади, это вооружённая борьба против существующей власти. Пока мы не стреляли, нам могло сойти с рук всё — даже наше вторжение в Кремль! Ну чем оно отличалось бы от того, что сделали эти дурочки из группы «Бюсти драйв», ворвавшись в Успенский собор Кремля и исполнив там антипрезидентскую песню? Ничем, такое же хулиганство. А теперь мы — вооружённые мятежники... Преступники... Не боишься?

— Знаешь,— сказал я, задумавшись,— однажды я летел на самолёте из Читы в Иркутск, хотел восстановиться там в университет на геологическое отделение, и на нашем пути оказался грозовой фронт. Облетать его было слишком далеко, фронт был широкий, и лётчики решили его перепрыгнуть. Признаюсь тебе, я жутко боюсь летать на самолётах, даже в тихую погоду, а тут ещё — гроза, да какая!.. Впервые в жизни я видел эту устрашающую стихию не над собой, а под собой. Ты просто представить себе не можешь, какое это жуткое зрелище — вспыхивающие под тобой молнии и грохочущий под тобой гром! В первые минуты у меня аж волос дыбом вставал... А потом стало вдруг пофиг. Понимаешь, я смотрел на эту грозу не из обычного, а уже как бы из иного — какого-то потустороннего — бытия. Как будто я уже давно живу в обителях Божьих и мне нет ни малейшего дела до того, что происходит где-то там, внизу, в моей прежней жизни... Гроза страшна, когда она гремит над твоей головой. А когда она гремит под тобой — она превращается в абстракцию... Примерно так же и теперь. Я уже будто пережил всё, что может со мной случиться. И теперь я смотрю на происходящее, как на ту грозу,— уже не снизу, а сверху...

— Ну, тогда давай,— поднял он рюмку.— Чтобы никакая гроза была для нас не страшна. За победу!

Я молча кивнул и выпил.

— А вот скажи,— заговорил он снова, поставив свою рюмку.— Если бы выбор жизненных путей зависел только от тебя, с кем бы ты предпочёл сейчас быть — со мной или с нынешней властью?

— С Танькой,— ответил я, усмехнувшись.— И со своими пацанами.

Он удивлённо посмотрел на меня, но ничего больше не спросил. А я не стал ему развивать свою мысль. Да и что в этой мысли нового? Разве кто-то сам не видит, к чему нас приводят обновления? Все эти революции, перестройки, реформы… Уже и слепому давно должно быть понятно, что лучше не воевать за власть, а молиться, чтобы Господь просветил её своим учением и помог ей вспомнить о народе, который она представляет, и своей великой миссии перед ним…

33.

Нужная информация прозвучала через три дня, когда огонь надёжно ушёл в глубь торфяных болот и Москва утонула в невыносимом едком смоге. В дневном выпуске новостей мимоходом сообщили, что президент страны вылетел в сочинскую резиденцию «Бочаров Ручей» для заслушивания отчёта по темпам строительства объектов будущей шахматной универсиады, а премьер выехал с инспекторской проверкой в Анапу, в пригороде которой разворачивалось строительство крупного курортно-рекреационного комплекса. В срочные командировки отправилось также большинство членов правительства, министров и других государственных деятелей, и даже мэр Москвы выехал на экстренную встречу с мэром города-побратима Бангкока.

Посмотрев выпуск новостей, Вадим отдал приказ готовиться к выступлению и ушёл собираться. Каждый воин должен был приготовить себе платок для защиты лица от дыма и взять с собой объёмную флягу с водой, чтобы смачивать его ткань во время движения по задымленной территории. Такой же платок рекомендовалось набросить и на морду лошади.

Выходить решили с наступлением вечера, когда прохладный воздух хотя бы немного осаждает едкую вонь, а также замирает общественная жизнь и прекращают работу государственные службы. Решили идти налегке, оставив пока обоз на месте под охраной. Оседлали лошадей, проверили оружие, подняли знамёна, сверили по мобильникам время… И, наконец, отзываясь щемяще дрогнувшей ноткой в сердце, прозвучало столь давно ожидаемое и пугающее слово: «Пора…»

…По Москве мы прошли, как нож по маслу, не услышав ни одного свистка постовых и не встретив ни малейшего препятствия; нас как будто давно уже в этом городе ждали. Единственная попытка преградить путь была сделана непосредственно в воротах Спасской башни, но там наши нукеры мгновенно разоружили кремлёвских охранников и закрыли их в какой-то подсобке. Вихрем пронёсшаяся по кремлёвским зданиям служба ханской безопасности без труда разоружила кремлёвский гарнизон и немногочисленную службу охраны, не оказавшую никакого сопротивления. Глубокой ночью Великий Хан Чингисхан Второй ступил под своды Московского Кремля и потребовал призвать к себе коменданта. Коменданта в это время в Кремле уже не было, но обнаружился один из его помощников, с помощью которого открыли президентский кабинет и по спецсвязи оповестили все центральные СМИ о произошедшей смене власти. На одиннадцать часов утра в Кремль были созваны те из министров, которые ещё оставались в Москве, на двенадцать — приглашены олигархи и ведущие бизнесмены, на час — лидеры политических партий и общественные деятели. А на десять часов утра была назначена встреча Великого Хана Чингисхана Второго с народом и прессой у ворот Спасской башни.

Отдав необходимые распоряжения, Вадим велел позвонить оставленным с обозом воинам и ехать всем в Москву.

— Разбивайте шатры на Красной площади, это теперь ваш город,— сказал он сотникам.— Ты пока тоже поживи со всеми,— сказал он мне.— Потом как-нибудь мы со всем разберёмся и решим, как быть дальше. А сейчас так будет лучше,— и, уже поворачиваясь, чтобы уйти в глубь кремлёвских коридоров, добавил: — Извини, брат. Время стихов закончилось. Начинается проза…

…Обоз пришёл часов в восемь утра, имущество из телег переложили на машины и таким способом быстренько привезли его на Красную площадь, которая, и без того забитая конными людьми и набежавшими к этому часу журналистами, превратилась в гудящий средневековый майдан, где на глазах поражённых прохожих возводились шатры и палатки, ржали кони и толпились экзотически одетые и чем попало вооружённые люди.

Я слез с коня, отдав поводья одному из чудом не потерявшихся в этой толчее камердинеров, и прохаживался недалеко от Спасской башни, разминая затёкшие за ночь в седле ноги. Недалеко от меня, не слезая с коней, стояли, чутко ловя любое моё движение, мои верные девять нукеров. У всех на лицах были повязаны влажные платки для защиты от дыма, но я их уже узнавал и в платках, настолько мы успели привыкнуть друг к другу и изучить характеры.

В девять часов, требовательно сигналя и продавливая носом кишащую толпу, сквозь площадь проехал гигантский серый лимузин со звёздно-полосатым флажком на капоте и скрылся в воротах Кремля.

«Этому-то здесь какого хрена надо?» — недовольно подумал я, но потом понял, что без приглашения Великого Хана он бы сюда не приехал.

Прибыв раньше всех для встречи с Великим Ханом, возле меня всё утро крутилась худенькая, как мышка, журналисточка с коротко стриженными чёрными волосами и тёмными, заметно сдвинутыми к переносице и косящими глазами.
— Альбина Ледкова, собкор четвёртого канала,— представилась она, узнав, что я член ханского совета и могу подвести её к Великому Хану.— А это — моя команда,— и она кивнула на полусонного оператора с кинокамерой в руках и такого же невыспавшегося ассистента.
— Вы мне покажете Великого Хана, когда он выйдет?— приставала она.— Я хочу взять у него интервью. Представляете? Первое интервью великого преобразователя России, данное им лучшему демократическому каналу! Мы давно ждали и приближали этот момент, и мы имеем право на первое интервью с ним. Вы мне его покажете?
— Ну почему же нет? Как только он появится, я вас ему сразу же представлю.
— Вау!— взвизгнула журналистка.— Блеск! Я потом найду способ вас отблагодарить.
— Вы мне пока лучше скажите, кто это там так радуется?— спросил я в свою очередь, увидев появившуюся недалеко от ворот Спасской башни бурно ликующую группу людей, которые, не скрывая своего восторга, весело подпрыгивали на месте, размахивая самодельными плакатами с надписями: «Наш герой — Чингисхан Второй!»
— Ну как же?— удивилась моя собеседница, недоумённо закатив глаза и всплеснув руками.— Это известные оппозиционеры — Сергей Молодецкий, Алексей Провальный, Борис Немцало и Михаил Квасьянов, а рядом с ними создатель знаменитой рок-группы «Махина бремени» Гордей Квакаревич. Чуть левее от них — светская львица Пульхерия Стульчак и артист нетрадиционной ориентации Ирис Борисеев. Как же можно не знать таких людей!
— А там что за клоуны в масках? Ку-клукс-клан какой-то,— кивнул я на неистово скачущих неподалёку девиц, на головах которых были надеты матерчатые колпаки-капюшоны ярко синего, красного, жёлтого, зелёного и розового цветов с прорезями для глаз и ртов.
— Так это же феминистская панк-рок-группа «Бюсти Драйв»! Неужели же вы не слышали об их нашумевшей протестной акции, проведённой в Успенском соборе? Об этом писали все газеты мира, Интернет просто переполнен материалами о них.
— У меня нет Интернета... А против чего они там протестовали?
— Они устроили там несанкционированный концерт. Ворвались, как разноцветные молнии, на аналой, расчехлили свои гитары...
— Вы хотите сказать, на амвон?
— Ну да, на эту площадку перед алтарём, похожую на невысокую сцену. Да как врезали хором: «Матерь-Богородица, милость сотвори: нашу власть-уродицу — на фиг убери!..» Запад был просто в восторге, а наши их чуть было не посадили. Полгода в кутузке промучили, а сегодня утром выпустили.
— А чему все так радуются сейчас? Они же ещё не знают, что им скажет новый глава страны...
— Ну как же!— артистично повторила закатывание глаз журналисточка.— Это же счастье — быть причастным к рождению нового справедливого государства, идти в одном ряду со знаменитыми людьми своего времени. Посмотрите — это же совесть российской интеллигенции, борцы с авторитаризмом, нетолерантностью и косностью! Лучшие люди государства, нравственная элита. Вон — Михаил Жбанецкий, Владимир Кознер, Мина Дундулаки, миллиардер Прохорчук, известные депутаты, артисты, политики. В них — опора новой власти, будущее нашего государства.
— В них?— повторил я, вглядываясь в лица и маски беснующихся.— Вы не ошибаетесь?
— А в ком же ещё?!— гордо подтвердила журналистка.— Более достойных людей в стране нет, можете мне поверить... Но где же наш герой? Это не он там выезжает из ворот?— и она вытянула тоненькую хрупкую шейку, жадно ища взглядом человека, несущего России подлинную свободу от застоявшейся псевдодемократии и набирающей силу непсевдодиктатуры.
— А где народ?— спросил я в свою очередь, глядя на ликующую «элиту».
— Народ на фазендах, картошку копает. А то скоро начнутся дожди, пропадёт урожай... Ой, смотрите, смотрите! Это там не Великий Хан?

Но это ехали Хайдар и Аюндай. На них были шикарные сверкающие красные халаты, зелёные сапоги с загнутыми кверху носами и кругловерхие шапки с песцовой оторочкой. На боку висели кривые сабли в красивых ножнах, а на уздечках и поводьях сверкало серебро и лучились бликами разноцветные камни, так что невольно можно было принять любого из них за верховного правителя и главнокомандующего войском.
— Нет, его среди них нет,— сказал я.
— А вон там дальше — не он?

Вслед за Хайдаром и Аюндаем показались другие воеводы и сотники, одетые в яркие кафтаны и халаты, но Вадима среди них тоже не было. Тем временем Хайдар и Аюндай начали разъезжаться налево и направо от ворот, образуя как бы почётный караул, а следом за ними начали разъезжаться и выстраиваться по бокам в стройные шеренги и остальные военачальники, члены Великого Хурала и старейшины племён. И только после этого я увидел, как в образовавшийся коридор выехал на своём чёрном, как душа дьявола, жеребце сам Великий Хан Алханайской Суверенной Буддисламской Империи Чингисхан Второй.

— Вот он! — чётко произнёс я и резко выбросил вперёд правую руку, указывая пальцем на одетого в небесно-голубые одежды Вадима.

И в ту же секунду, тонко пропев в воздухе, над головами толпы пронеслись девять голодных, словно весенние пчёлы, остро отточенных стрел, которые пропороли своими жалами голубое, как небо, одеяние Великого Хана и впились в его смертное, как и у любого из стоявших вокруг людей, тело. Судорожно дёрнувшись в седле, Вадим вскинул, будто в державном приветствии, вперёд и вверх правую руку, отчаянно заскрёб растопыренными, как орлиные когти, пальцами пустоту московского дымного воздуха и, заваливаясь на левый бок, рухнул с лошади.

— Снимаем! Быстро всё на камеру! — взвизгнула от восторга журналистка и чуть ли не пинками погнала свою команду туда, где под копытами красавца-коня ловил свои последние секунды жизни несостоявшийся властелин новой великой Империи Чингисхан Второй.

Расталкивая застывших в оцепенении воевод и невостребованную опору новой власти, оператор судорожно протиснулся между политиками, бизнесменами и шоуменами и, выставив впереди себя дрожащими то ли от возбуждения, то ли от вчерашнего перепоя руками камеру, поспешно ловил в видоискатель замирающую на земле фигуру бывшего Великого Хана с девятью расплывающимися по нежной голубизне кафтана алыми пятнами.

Пространство перед Спасской башней мгновенно превратилась в кипящее варево. Кто-то истерично пытался протиснуться к упавшему на брусчатку Вадиму, кто-то судорожно лез им навстречу, торопясь от греха подальше уйти от этого не сулящего ничего хорошего места и случившегося здесь происшествия. При этом все что-то неистово кричали и размахивали руками. Слева от ворот завязалась какая-то нелепая в данной ситуации драка, кто-то дико размахивал шашкой, крича, что порубает всех, на хрен, на куски. В воздухе продолжала висеть едкая и вонючая дымка, от которой слезились глаза и першило в горле, а тонувшая в мутно-белёсом мареве реальность казалась каким-то выморочным, болезненным сном, который должен скоро развеяться и уступить место здоровой правде и ясности.

Оттеснённый мечущейся толпой от Спасских ворот, я как-то быстро потерял из виду в образовавшемся водовороте и журналистку с её командой, и моего камердинера, державшего на поводу моего коня, и моих верных нукеров с их наделавшими делов луками — и незаметно для самого себя оказался вдруг на противоположном краю площади, там, где ограда собора Василия Блаженного закругляется и образует некий мягкий угол. Людские вихри бурлили и здесь, завиваясь в засасывающие воронки и стремительно растекаясь в противоположные стороны: один поток лился в сторону Большого Москворецкого моста, а другой — в сторону Исторического музея. Не знаю, как так получилось, но я почему-то потёк вместе с теми, кто двигался к музею, и вскоре меня вынесло к маленькой церковке иконы Божьей Матери «Казанская», проходя мимо которой, я успел украдкой перекреститься и попросить про себя Её помощи, хотя я и не уточнил в чём. Потом меня протолкнуло сквозь Иверские ворота, и я оказался на огромной, как какое-нибудь колхозное поле времён эпохи социализма, площади перед разрушенной и впоследствии заново отстроенной гостиницей «Москва».

— Не подскажете, где тут ближайшее метро? — с трудом выбираясь из несущего меня потока, спросил я у кого-то из прохожих.

— Пройдите немного вправо и увидите вход в вестибюль станции «Площадь Революции». С неё же можете перейти на «Театральную» или на «Охотный ряд».

Поблагодарив за помощь, я пошагал в подсказанном направлении и вскоре действительно увидел вход в метро. Войдя в вестибюль, подошёл к висевшей на стене схеме линий метрополитена и посмотрел, где я нахожусь. Найдя станцию «Площадь Революции», я проследил за разбегающимися от неё в разные стороны синей, красной и зелёной ветками и вдруг остановил свой взгляд на станции «Комсомольская», до которой от меня было всего лишь четыре остановки по красной линии. А ведь там, как я помнил, находится Казанский вокзал, с которого по нескольку раз в день отправляются поезда сибирского направления. Мне всего-то и надо, что проехать эти четыре остановки да купить в кассе Казанского вокзала билет на ближайший поезд до Томска. А уж там-то я как-нибудь доберусь и до своего Криниченска. Подумаешь — триста километров по асфальту да каких-то три десятка по грунтовке! У меня в заначке ещё оставалась некоторая сумма после колпашевской переправы, так что доеду. Главное, чтобы Танька была дома и топила баню…

Михаил Тарковский

Камень

Юрию Беликову

1.

Где-то с Запада тащит туман и сырь…
Атлантический перегар…
А у нас за Камнем всё та же ширь,
И морозный припал загар
На балык скулы, на скулу скалы,
На калёную плоть смолы.

Здесь, за Камнем, настолько кристальна синь
В небе выстывшем и сухом,
Что на ветер слово сырое кинь—
И к утру упадёт стихом
На крутой порог, на олений рог,
На морозный парок дорог.

Здесь Усинский тракт сквозь навес хребтов
Чует Чуйского братский бок,
И свивает синь снеговых бортов
За камазом в седой клубок.
И сюда не добьют облака простуд
И Европы несметный гуд.

Там, за Камнем, грядёт облаков гряда,
И спалённая клеть Москвы
Отдана врагу. То лиха беда
Начинается с головы,
Чтоб, одевшись в смог, отравить исток
И отправиться на восток.

Не соболий кот, схоронившись в ель,
Напрягает до звона слух,
Не осенней мглой зверовой кобель
Вдруг причуял медвежий дух,
И не стан волков в тишине белков
Заходил мехами боков.

То не хиус ушами стрижёт марал,
И не ирбис когтём скребёт…
Это Батька-Камень, седой Урал
Ощетинил тайгой хребёт,
Чтоб громадой плеч на полнеба лечь
Иноземному ветру встречь.

Дует Запад, трещат у увалов лбы…
Не заткнуть штормовую дырь
В обветшалых стенах уральской избы,
Не уснуть—за спиной Сибирь.
Но не видно гор, хоть повесь топор—
Не сдержать дымовой напор.

Ты стоял. И порыв кое-как зачах
На расчёске твоих лесов,
Ты всю гарь собрал в своих пихтачах,
Но закрыл Сибирь на засов.
Ты с утра до утра очищал ветра
И мокротой забил фильтра.

2.

Я окрикну даль: отзовись, Урал,
Непокрытая голова!
Это я виноват, что ты захворал,
Раз Сибирь до сих пор жива.

Тронет Север калёным смычком скалу,
Это наши гудят ветра.
Я всю жизнь просидел у тебя в тылу,
И настала моя пора.

И за Камнем есть кому встать грядой.
Так что ты не дури, заляг,
Отдышись, отпоись чусовой водой
Из базальтовых гулких фляг.

Приложи к виску холодок ленка,
Чтоб душа, докрутив витка,
Отойдя чуток в хрустале проток,
Встала жабрами на восток.

3.

Вновь дымки́ в отвес к сизоте небес,
И слезят глаза моро́за,
Не жалеют дров. И с седых яров
За сто вёрст слышны поло́за.

О шершавый снег не набрать разбег.
Кто велел снарядить обоз?
Под такую кать не в тайге блукать,
Бесконечен уральский взвоз.

Извиняй, Урал, но опять аврал,
Собирай на разгруз бичат.
Звеньевой серчат: тузлуки сочат
Из кедровой клёпки бочат.

Выходи к гостям, коль остался тям
Принимать добро под надзор:
Вот хакаска-соль из степных озёр—
Ты её приложи к костям.

Здесь в настой небес Енисей вложил
Перескрип эвенкийских скал,
И нерпячий жир для настройки жил
Для тебя натопил Байкал.

И ещё один заповедный взвар
Сквозь прозор читинских степей
Ранним утром тебе протянул Амазар,
Ты его натощак испей:

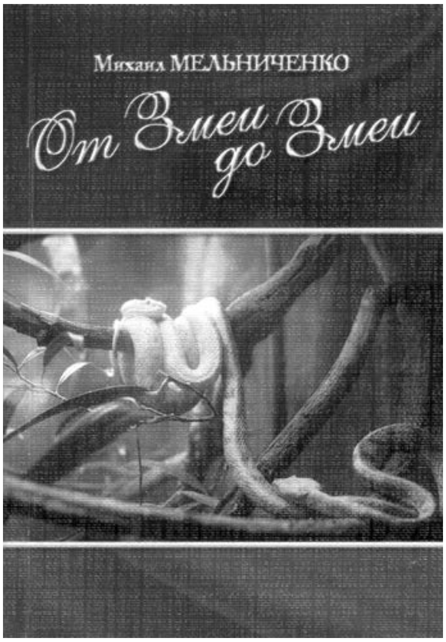
Там росток свечи на морозном окне,
Как дрожит её остриё…
И колени… как стонут под утро оне!
И вот это, почти моё:

Океан, и креста четыре луча,
И дымящие горы вдали,
И туман на зеркальной грани меча
От дыхания русской земли.

Я искал зеркал себе по глазам
И однажды едва не ослеп.
И одну половину разбил я сам,
А другую завесил креп.

Вот и всё, Юрец, и строке конец,
За неё споёт кладенец,
Раз из всех зеркал нам остался меч,
Чтоб хоть что-то ещё сберечь.

В облаках проём—значит, будет взъём,
Вот и я к тебе доберусь,
Чтоб с лесным зверьём да с тобой вдвоём
Постоять за Святую Русь.



Михаил Мельниченко

От змеи до змеи

Красноярск: «Восьмой день», 2013.—256 с.

В новом сборнике известного красноярского поэта Михаила Мельниченко—избранные произведения последних двенадцати лет. Здесь юмористические и сатирические стихи, лирика, сонеты, мини-поэмы. Для почитателей творчества Михаила Мельниченко станут приятным открытием его философские строки, а многомерное авторское видение мира подарит ощущение причастности к сиюминутности и вечности.

• • •

Кем же ты будешь—скрипкой?
Или ты будешь смычком?
И он ответил со скрипом:
«Можно, я буду сверчком?»

• • •

В России—нет, не две беды.
Беда одно, зато—сплошная.
Всё ждём какой-то красоты,
Что где-то ходит, мир спасая.

• • •

Нет, весь я не умру,
останется слушок,
останется стишок,
и не один, а множество.
Нет, весь я не умру,
останется горшок,
где я сажал цветок,
а он расцвёл и множится.

• • •

Плачу за свет, тепло и воду,
А за хорошую погоду
Пока что денег не берут,
Чего-то проглядели тут.

Юрий Беликов

Истачиваться в бездны мирозданья

* * *

Русские женщины, быстро минуя розарий,
будто вдоль моря бредя в кривизне ностальгии,
банки заморские на азиатском базаре
к уху подносят, как раковины морские.

В чёрной рубахе на торжище вымахну: «Твари!»
И против гирь кистенёк уроню на весы я.
Где ты, Россия, коль жёны твои на базаре
слушают банки, как раковины морские?!

Спиноскоп

Такой спиной—за звёздами следить,
по ней одной—о времени судить,
поскольку лишь согбенная спина
к земле и к небесам обращена.

Мне по душе степенность стариков:
идёт сбор солнца между облаков.
А если плечи жёстки и прямы,
то солнца не улавливаем мы.

О, сколько нужно миру мастерства,
и мышц годов, и проб, и какова
фантазия его должна быть, чтоб
изобрести подобный спиноскоп?

Половик, утыканный иглами

Мать половик убирает с порога…
Не половик, а тряпица для игл—
в радугу эту натыкано их
столько, что ёж молока бы не трогал.

Сыплет ненастье, крадётся хвороба,
и за порогом размыта стезя…
Мать половик убирает с порога.
Хватит. Намыкались. Больше—нельзя.

Сын, сокрушённый ветрами Босфора,
бродит—с одышкою, пишет—едва.
Мать, половик убирая, права:
сколько под ним ядовитого сора!

Чёрная магия ткёт суеверья.
Мать, половик беспросветный сверни,
чтоб за дверями стоящее время
больше не прятало ноги свои.

После болезни

Относит лодку память бытия.
Шумят всё глуше перекаты быта.
И то, что прежде помнилось, забыто.
И звёздный плёс восстал из забытья.
И мчатся, не затрагивая слух,
куда-то вдаль наказы домочадцев,
и слышно, как в окно моё стучатся
копытца почек—тополь их пастух.
И видно, как вприсядку пляшет дом
соседский в быстрых линзочках капели,
и в то, что я воскрес как две недели,
мне отчего-то верится с трудом.
Мир полон двоеверия пока.
А я, как тот язычник, право слово,
огню предавший идолов былого,
теперь пасу одни лишь облака.
И, подводя бесшумную черту
своим веслом, ускорившим теченье,
войду я в золотое заточенье,
где, может быть, постигну темноту.

Берег со сломленным деревом

Плыву на лодке письмена стрижей
читать на красных глиняных скрижалях.
Но берег древней линией своей
(наверное, чтоб их не дочитал я)
так за год изломался, что уже
неузнаваем, как неузнаваем
я сам, возможно, берегом читаем
с не меньшей поглощаемостью же,
лишь чувства отболевшего фантом,
как дерево—горчащая осина,
над берегом склонённая насильно,
напомнят мне и берегу о том,
что было прежде.
                    А теперь гляди:
с подорванной системой корневою
вот дерево. Оно ещё живое.
Но знает, что с ним будет впереди.
А посему, хотя неровен час,
есть дерево, которому ты равен,
и берег, где уже не будет нас.
Ты на него ступить сегодня вправе.

Пикник на партизанской стоянке

Я был из тех, кем я страшился быть.

Пришла за мною вечером машина.
Меня везли нагрудные значки
по Брянщине осенней. Ящик водки
подрагивал у ног моих. Машина
свернула с магистрали. Лай собак
вогнал по шляпку в спящую округу
последний гвоздь. И спицы наших фар
к вязанью приступили. И катился
лес шерстяной. И слышал я, как страх
ползёт по мне — иль, может быть, какой-то
колючий самовяжущийся свитер.
Я снять его пытался. Но не смог.
И только лишь спросил: — Куда мы едем?
— А едем мы неведомо куда! —
хихикнули нагрудные значки. —
Устал небось от саун? — и машина
затормозила. И при свете фар
я различил на дереве табличку:
«Стоянка партизанского отряда», —
землянку, стол и над столом — навес.

А в это время пели партизаны,
В столовках оперевшись о стаканы,
о чём «шумел сурово брянский лес».

Опустошив за вечер ящик водки,
мы бросились листву топтать ногами
под музыку приёмника, затем
я целовал в землянке чью-то шею,
покуда о значок не укололся,
и, фарами, как смертник, ослеплённый,
опять топтал листву, и вдруг по мне
пополз знакомый страх — тот самый свитер,
который привязался по дороге,
из проволоки будто бы колючей
сплетаемый, из петель, что уже
ключиц коснулись и вцепились в горло
воротником. Нагрудные значки,
смеясь, за рукава меня щипали:
— Ты где достал такой ажурный свитер?
Тебе он явно, батенька, к лицу!

Я отшатнулся прочь. И расступился
лес предо мной, как будто заступился,
а после рассердился на меня.
— Вернись! — звенело по лесному своду,
но лес мне всюду не давал проходу,
язвительными иглами дразня.
Я брёл сквозь лес. И он, сгущая краски,
переходил из брянского в уральский,
а тот вступал сибирскому в родство,
но дух везде един у древесины,
и пусть сигналят на весь лес машины,
а мне уже не выйти из него.

Чужая жизнь

Я в этих отпущенных мне временах
себя испытал на излом.
Мне нужно пройти сквозь дожизненный страх,
схлестнуться с непознанным злом.

Я тут-то, у жизни своей на виду,
быть может, ещё простою.
Но как я, не сбитый, себя поведу,
принявши юдоль не свою?

А ну-ка ступай со стрельцами на казнь!
Пребудь непреклонен и чёрств,
когда, огласив заскорузлый указ,
повесит тебя Пугачёв!

И снова к страдальцу седому иди
с единым вопросом немым:
как синенький номер на впалой груди
совпал с телефонным твоим?

Пастух

— Куда?! — пастух орёт всегда.
Вся жизнь его неумолимо
свилась в истошное «куда».
А дальше — непереводимо.

Быки бредут или века —
не разобрать в наплывах дыма.
— Куда?! — одно у пастуха.
Ему на свете всё едино.

Молчат пророки, как года.
Мычат стада неудержимо.
Пастух ответил бы, куда.
Но дальше — непереводимо.

● ● ●

На мне горят не клейма дел,
а несодеянного клейма —
то, что помыслить я посмел,
и то, что умерло келейно.

Ни перед кем не виноват,
но виноват перед собою.
Невыносимее стократ
болеть неведомой виною.

Она растёт день ото дня,
она мой лик незримо метит,
как будто мир вокруг меня
мудрей на несколько столетий.

• • •

Просеменил, а семена рассыпал…
Ищи-свищи, кому он не помог.
Под лупой неба сетует под липой:
за что ему не помогает Бог?..
А Бог не помогает слишком щедрым,
кто Божий дар на жертвенный манок
усталым душам и бесполым недрам
дерзает передаривать, как Бог.
И всё же утешает осознанье
само́й неповторимости игры:
истачиваться в бездны мирозданья,
как будто в родоносные миры.

Речь Ивана

Иван взошёл на трибуну.
И речь произнёс Иван.
А после: — Ты будешь? — Буду!
И — дзиньк в кулаке стакан.
И — хлынула кровь из раны,
и, ей не мешая течь,
сказал он: — Вот речь Ивана,
а та мухота — не речь…
Он пахнул смолой и смутой.
И вскоре уснул без сил.
И долго Иван кому-то
во сне кулаком грозил.

Дочь Мёртвого моря

Ко лбу твоему должны прилипать монеты…
но всё пояснит обхваченная поясница —
Прогнулась! И вся прилипаешь ко мне ты,
и запах, как взрезанный цитрус, мурашками плоти дымится.

Он иссиня-горький, твой запах. Он смугло-тлетворный. Опасный.
В нём выдохлась камфара амфор, и соль догнивает в изморе.
Волнуется Мёртвое море. Я в нём никогда не купался.
Откуда ж я знаю: так пахнет лишь Мёртвое море?!

А влажная линия жизни?! А лоб, что мгновенно стареет,
лишь что-то припомнит? А в горле — царапинка? А поволока?
Твой род до седьмого колена они выдают, чтоб скорее
в мешке опрокинутой юбки тебя на полок поволок я!

Не ври, что язык твой окрашен черёмухой — он перепачкан
оскоминой чёрной иврита, чей вкус ускользающе-узкий
могучий монгол не осилит, француз потеряет в шампанском,
германец сквозь зубы процедит, но сможет почувствовать русский.

Марина Саввиных

Крепость несокрушимая

К 75-летию красноярского писателя Александра Астраханцева

С незапамятных советских времён и доселе этот день празднуется в нашей стране как День защиты детей. Символично, что Александр Астраханцев пришёл в грешный мир сей именно под его дружелюбными звёздами. Если сделать попытку одним-двумя словами определить магистральную идею его прозы, то для меня это слова: защита главного. Это сорняки растут повсеместно и агрессивно. А главное, высшее, сверхценное нуждается в защите. Разоблачая мещанские хватательные инстинкты, часто скрытые под маской респектабельности и светского лоска, печалясь о трагических нелепостях жизни, Александр Астраханцев и его герои до конца остаются борцами-моралистами, рыцарями — не без страха и не без упрёка, но всё-таки превозмогающими гнёт непреодолимых искушений и остающимися людьми.

Герой прозы Астраханцева — человек сугубо нормальный. Обычный порядочный человек, воспитанный в духе «кодекса строителя коммунизма», то есть, по моему глубочайшему убеждению, далеко не худшего свода нравственных установок. Он дорожит своей работой и исполняет её не просто добросовестно, за деньги, а с творческим энтузиазмом. Он любовно и радостно вглядывается в жизнь, обращая внимание на её неожиданные или типические подробности. Ему необходим смысл жизни и её цель, и он с завидным упорством продолжает объяснять мир, всё более необъяснимый и все безнадёжнее погружающийся в бездну абсурда.

В произведениях Астраханцева на наших глазах обычный человек, пусть не гоголевский — «маленький» и не герой Достоевского — «униженный и оскорблённый», но всё-таки обычный, средний человек восстаёт один на один против взбесившейся Вселенной за это своё право — *быть нормальным!* Оказывается, для того, чтобы просто отстоять свою «нормальность», иногда требуется проявлять недюжинные свойства натуры, граничащие с прямым героизмом. Ещё бы! Ведь «неандертализм», как определяет современное направление культурной жизни «лирический герой» рассказа «Мы живём в мире модерна», забил уже все душевные поры нашего житья-бытья. «Да, конечно, под напором их жизни исчезнут деревья, цветы, травы — но на их месте вырастет искусственная, рукотворная природа, и трудно сказать, что ценней и прекрасней! Мы, люди с нашими традиционными, патриархальными взглядами, грустим по уходящему миру, зелёному и голубому, — но на его месте растёт и ширится мир иной — новый, невиданный: крашенный гарью и ржавчиной свалок, сверкающий консервными банками, цветным битым стеклом, пластиком из-под фанты и кока-колы, мир ярких наклеек, украшающих землю вместо однообразной зелени травы и деревьев. Поблагодарим же нынешних творцов за этот их терпеливый, неутомимый ежедневный труд!» — горько иронизирует герой-рассказчик, и солидаризируешься с ним невольно. Уж очень точно подмечены чёрточки типичного современного деятеля — от науки ли, от «шоу-бизнеса» ли, просто ли от бизнеса: «…а повадки-то, а глазёнки-то хитрющие, а эти движения рук, которые невольно гребут к себе, куда денешь? Поня-атно, откуда они?»

«Городские рассказы» Астраханцева — это по нынешним меркам банальные, а с точки зрения проверенной веками человечности ужасающие свой аморальностью житейские истории: «Презентация», «Вампир», «Дневник обречённого»… В каждом из них — пересечение естественного человеческого мироотношения с противоестественной, но повсеместной — тотальной! — экспансией хищничества и разрухи. Любопытно, что гибель героя в этой неравной схватке Астраханцев вовсе не считает неизбежной. Писатель как раз всем пафосом своего творчества призывает читателя к нравственному сопротивлению или хотя бы к сознательному неучастию во зле!

Меня как читателя больше всего взволновал рассказ Александра Астраханцева «Мастер каратэ». Я очень долго находилась под благотворным впечатлением от этой мудрой и, надо сказать,

очень сильной в художественном отношении вещи. Рассказ представляет собой монолог тренера-каратиста, обращённый к новичкам. Смысл его — утверждение приоритета силы духа, высших моральных мерок в любом деле, даже в таком, как «драка», боевая или спортивная борьба. Тренер рассказывает мальчишкам о своей жизни, о величайшем испытании быть Учителем, об ответственности человека за каждый поступок, который он совершает осознанно или бессознательно…

Некоторые слова мудрого Мастера настолько оказались мне близки, так точно выражают мысли, давно уже не дающие мне покоя, что я выписала их в свою заветную записную книжечку и время от времени перечитываю сама и читаю своим ученикам: «…Зло никогда не побеждает, оно в конечном счёте жалит себя само. Если ты его сотворил, и оно не успело обернуться и настигнуть тебя, — оно найдёт твоих детей и внуков; цепь замкнётся. В старину об этом хорошо знали. Это теперь, когда привыкли жить единым днём, подзабыли, но закон-то работает! Поэтому на зло надо отвечать добром. Это даже не Христос первым сказал — у китайцев, у индусов, у того же Платона эти азбучные истины записаны лет на пятьсот раньше. Так что ж, значит, зря я каратэ изучал? Нет, может, именно поэтому никто никогда даже не был со мною невежлив: от меня, видимо, исходит некая энергия уверенности в себе… только от этого мне легко жить. Кажется, я свободен от зависти, от жадности, от злобы — они остались где-то там, внизу… В конце концов, что такое жизнь, ребята? Это луч над бездной, сияющий, тонкий, как струна, луч, и по этому лучу — нам идти. Идти бережно, легко и стремительно, иначе — бездна. Это — искусство жить достойно и отвечать перед собой за своё достоинство».

И ещё одна цитата, чтобы, как говорится, «на этой оптимистической ноте» закончить разговор: «Жизнь — одна, и такая быстрая, ты ещё только собрался, а она уже машет тебе рукой: прогрохотала на стрелках. Всё, что не стало тобой, уходит бесследно. Как не было. А когда говорят, что жизнь — непременно борьба, так это чаще всего демагогия. Сразу спросите себя: а с кем борьба? И за что? Может быть, она не стоит усилий? Потому что борьба — это чаще всего пустая злоба, это — уничтожать и мучить друг друга: злую энергию в себе надо как-то переливать в другие русла. Как? Если бы, как говорится, знать, где упасть… Это большая работа, ребята, если не главная. И никто её за нас не сделает… Надо, конечно, объединяться: наши поражения — от одиночества. Всякое зло, как я заметил, быстро объединяется. Но нам-то тоже как-то надо, а? Подумайте, ребята!»

В день юбилея хочется пожелать писателю Астраханцеву творческого подъёма и осуществления надежд. Пусть Ваша крепость, Александр Иванович, стоит несокрушимо — в этом залог будущих заветных плодов, которые обязательно принесёт молодая литературная поросль.

Марина Саввиных

Для встречи тайной и счастливой

Николаю Ерёмину — 70 лет

Кажется, я знаю его целую вечность! Во всяком случае, моя сознательная жизнь точно началась при непосредственном участии Николая Ерёмина. Литературным крещением я обязана именно ему. Как давно это было!

Мы посвятили друг другу множество стихов — и открыто, и тайно. И даже если нет над особенно взволновавшими меня строчками прямого посвящения — по ведомым только нам с Николаем Николаевичем приметам я угадываю, кто их адресат. Уверена: то же самое чувствует и он, когда перечитывает мои стихи, обращённые к нему. Никогда и ни с кем за всю мою — тоже большую уже и совсем непростую — жизнь у меня не было такой святой, возвышенной и чистой дружбы. Творческой. Тревожной. Трудной.

Был момент, когда мы жестоко повздорили. И несколько лет даже не разговаривали друг с другом, избегали встреч. Причём — видит Бог! — я так и не поняла вполне, что было тому причиной. Просто что-то тёмное и тяжёлое резко и непроницаемо встало между нами. Это было время мутных перемен — в самом Ерёмине, вокруг него, в стране и в городе, да, наверное, и во мне. И вот мы так же нечувствительно — вдруг — снова оказались рядом. Совсем не похожие на тех, какими были раньше. Ставшие, может быть, мудрее и проще, но, возможно, и потеряв что-то очень важное, что держало нас обоих на высоте той метафизики, которая всегда влекла меня к его негромкой, но невероятно плотной, музыкальной, жизнеутверждающей лирике.

Для меня Николай Ерёмин был и остаётся поэтом-философом, продолжающим в русской поэзии линию Афанасия Фета. Только чёрствую, лишённую внутреннего слуха душу не тронут такие строки:

Вдоль берега потрескался гранит,
Река суровой стала, молчаливой.
Который год судьба меня хранит
Для нашей встречи, тайной и счастливой.
Какая мука сладкая — любить,
Надеяться и знать, что не напрасно
В нас это чувство продолжает жить,
Ни времени, ни смерти не подвластно.

Как просто и точно! Какая безупречная форма! Ничего лишнего. Никаких изысков и спецэффектов. Каждое слово достигает цели, и стихотворение запоминается с первого чтения, намертво врастает в сердце. Это ли не признак подлинности поэтического вещества? Не свойство драгоценной вещи, сработанной рукою мастера?

Все цветы, все деревья в осеннем лесу
Осыпаются — только задень.
Я берёзовых листьев домой принесу,
Чтоб хоть так сохранить этот день.

<…>

Станут листья закладками в книгах моих,
В самых нужных и важных местах,
Чтоб шуршащий рисунок берёз золотых
Никогда не рассыпался в прах.

Если рассматривать созданное любым художником, так сказать, «с точки зрения вечности» — что же осталось в живой человеческой памяти даже от наших великих? Николай Ерёмин как литератор невероятно плодовит. Сколько томов на текущий момент включило бы его полное собрание сочинений? Стихи, проза, пародии, посвящения, публицистика… Есть в этом потоке текста что-то мучительно-роковое. Но лучшие строки, излившиеся как бы сами собой — птичьей песней — из кроткой, ласковой, открытой и щедрой на любовь души его, достойны самой строгой русской поэтической антологии. Я это точно знаю! Поэтому и гляжу до сих пор на каждое новое сочинение Ерёмина — в ожидании чуда. Не всегда и даже не часто, но моя надежда — бывает! — утоляется. И тогда меня охватывает такая радость и благодарность, что, кажется, десятки лет в одночасье слетают с плеч, и хочется побежать быстрее ветра, замахать руками и взлететь. Этому переживанию полёта Николай Ерёмин и научил меня когда-то. Давным-давно.

О, если б из моих следов произрастало семя!
Разросся бы весною сад везде, где я спешил.
О, если б голосом моим заговорило время,
Я стал бы ветром в том саду и очень долго жил.

Многая лета, Николай Николаевич! «Может, никогда не повторится, но пускай продлится этот день!»

Николай Ерёмин

За новогодним поворотом

Сказочный сюжет

Баба Яга—костяная нога—
В каждом Иванушке видит врага,

Ждёт на скамеечке возле ворот,
Мимо спокойно пройти не даёт:

— Друг мой Иванушка, в гости зайди!
Хочешь узнать, что нас ждёт впереди?

Если

Если меня
Приподнять над землёй
И отпустить:—Лети!—

Я полечу
К земле головой…
Другого не будет пути.

И окажусь—зачем? Боже мой!—
На,
А потом—под землёй…

● ● ●

С детства
Под присмотром вечности,
Ради тех, кого люблю,

Я стремился
К бесконечности…
А теперь—стремлюсь к нулю.

Чтобы—
Так тому и быть!—
Свято место уступить.

Мечты

Все сбываются мечты.
Это знаешь ты.

Все мечты твои сбылись,
А друзья спились…

Зная, что грозит сума,
Жил ты, добр и зол.

Кто мечтал сойти с ума—
Тот давно сошёл…

● ● ●

Всё,
Завершился двенадцатый год.
Я ему дал от ворот поворот…

— Не возвращайся! Ты стар и устал!—
Он усмехнулся—
И памятью стал.

● ● ●

Поэт
Предчувствует кончину,
Но говорит,
Что смерти нет,
И проклинает мертвечину,
И воспевает белый свет…
И, как положено по штату
Меж экстрасенсов и пророков,
Себе предсказывает дату—
День подведения итогов…

Кедр

На горном склоне
Ветра игры—
Свобода, воля, благодать…

Кедр
Пересчитывает иглы
И всё не может сосчитать.

А между гор
Пленяет взор
Вдаль убегающий простор!

● ● ●

Мне Христос сказал:
— Куда ты?
Думай о добре и зле!

Крест—
Твои координаты:
Место встречи—на нуле.

Путь один со всех сторон…
И не бойся
Похорон!

Там, за океаном

Там погоды
Лучше, чем у нас…
И свободы
Больше про запас…

Там дела
Решаются легко…
И слова
Взлетают высоко—

Там, где ананасы
Тут и там…
Там, где папуасы
Бьют в тамтам…

Там, где рядом
Ева и Адам…
Где Христос гуляет по водáм…

В поздний час
Над гладью голубой
Только нас
Не может быть с тобой…

Два билета

Билет туда,
Билет обратно…
Как долго я не видел брата!

Как долго
С ним не говорил
Среди родительских могил!

Как долго—
Вечность, не совру,—
Не видел я свою сестру…

Железная дорога

В моём окне—
Декабрьский вид.
Жизнь—замороженно-убога.

А за окном
Шумит, гудит,
Гремит железная дорога…

Над ней—
Подвижное жильё…
Она одна—в тепле и в силе.

Я знаю:
Не было б России,
Когда бы не было её.

● ● ●

Где паровозы детства моего?
Где пароходы юности моей?

Лечу на самолёте: о-го-го!—
И хочется лететь ещё быстрей…

● ● ●

Всё холоднее в зиму светлую…

И все,
Кто выжил на морозе,
Прижаться мне скорей советуют
К сосне,
Осине
И берёзе…

Декабрь
Среди ночей и дней
Всё холодней и холодней…

Другу

1.

И там, и тут—
Тот гений, этот бездарь—
Брутальный Брут
И небрутальный Цезарь.

Мой друг хороший,
Ты ж не идиот,
Спроси прохожих:
—Стойте!
Кто идёт?

2.

С даром
Или без дара,
Каждый, увы, стихоплёт
Завистливого удара
От неприятеля ждёт…

Тот, кто наносит удар,
С криком:
—Не дрогнет рука!—
Вышибить Божий дар
Хочет наверняка…

О, мой неведомый друг,
Глянь—
Вышибалы вокруг…

● ● ●

Слабеет ум,
Слабеет тело…
С годами всё грустнее дни…

Я вспоминаю то и дело
Тебя…
Господь тебя храни!

Как будто нет ни расставанья,
Ни времени,
Ни расстоянья…

И снова в сердце—
Боже мой!—
Свобода, ставшая тюрьмой…

Перед зеркалом

Как хорошо,
Мой друг сердечный,
Что—слышишь?—таракан запечный
Нам вновь о вечности шуршит…

Вином наполнены стаканы…
И заморочки-тараканы
Стихов
Шуршат ему в ответ
Уже не помню сколько лет…

А за окном—чудесный вид:
Луна…
И—слышишь?—снег шуршит…

Судьба

Стихи прошли…
Теперь на сердце—проза,
Борьба за жизнь… Такие, брат, дела.

В Сибири—тридцать градусов мороза.
В Майами—тридцать градусов тепла.

У каждого своя судьба, заметь:
Кому—замёрзнуть,
А кому—сгореть…

Перед весами

Когда поэт
Стоит перед весами
И спирт разводит горькими слезами—

Не отнимайте,
Зверя не будите,
Поговорите с ним и накормите…

И утром,
После выплаканных слёз,
Проснётся он, как стёклышко тверёз…

Кризис

Знаю я,
Что кризис—это враки.
Всюду бродят денежные знаки!

Просто
Жадный стал ещё жадней…
Ну а пьяный стал ещё пьяней…

Оттого и возникают драки
Между ними…
Трезвому видней.

Старик

—В детстве я воровал по садам…
А теперь, виноват, по судам
Я хожу и—хочу не хочу—
За ущерб причинённый плачу…

● ● ●

Когда мне будет нечего сказать
(А это, знаю, непременно будет)—
Возьму обет молчанья, так сказать,
И пусть меня поэзия забудет!

А нынче, негодуя и любя,
Я говорю, чтоб выразить себя,
И отдаю в свободную печать
Всё то, о чём так и не смог смолчать…

Неофутуризм

Вокруг—
Народ,
Идущий к Иисусу…

Возврат
К «Пощёчине общественному вкусу»—
И флуд, и слэм, и рэп…

Увы,
Речисты,
Неистовствуют неофутуристы…

Чтоб показать, чего они хотят,
Опять
Идут к реке—топить котят…

Я ж—
Ниже по теченью—Боже мой!—
Котят спасаю—
И несу домой…

● ● ●

Булгаков, Чехов, Вересаев…
Увы, писатели-врачи
Россию от беды спасали—
Хоть стой, хоть падай, хоть кричи…
. . . .
Неизлечимая Россия
Среди неисправимых бед
Вновь молится:
—Приди, Мессия!
. . . .
А Он
Безмолвствует
В ответ.

Источник

Вот—источник
Тоски и печали…

На кресте
И в терновом венце,
Знает Он,
Что случилось в начале…

Знает Он,
Что случится в конце…

Дисгармония

1.

Я
Жил,
Пространством ограничен…

Был
С временем я органичен,
А сам с собой—дисгармоничен,

Поскольку видел я,
Мой друг,
Железный занавес вокруг…

А в театральном государстве
Все рассуждали о коварстве,
О лицемерии и лжи
Душителей живой души—

Покуда не ушли из жизни
Мечтавшие о коммунизме
И о бессмертии вожди…

И
Занавес железный
Рухнул…
Сверкнула молния…
Гром ухнул…

И до сих пор идут дожди…

2.

Постепенно—от мифа до мифа—
Дисгармония зреет в душе…
И теперь диссонансная рифма
Мне, признаться, милее уже.

Повторение сердцу не ново.
Всё, что будет, известно судьбе.
И всё чаще стихи Ивановой
Я кладу под подушку себе…

И всё чаще, проснувшись внезапно
От тревоги в кромешной ночи,
Я смотрю, очарованный светом,
Как прекрасны Земля и Луна…

● ● ●

Нет,
Не надо
Ни Рая, ни Ада!

Пусть продлится моя Илиада…
Пусть продлится моя Одиссея…

Я
На берег иду Енисея,
Где гудит теплоход…
И плыву
Днём и ночью—во сне, наяву…

Воля к жизни

1.

—Я воскресить хотел отца и мать.
Хотел я необъятное объять…
Была мне воля к жизни по плечу…

И что же?
Ничего я не хочу!

А ведь хотел и мог,
Уж ты поверь,
Пройти тогда через любую дверь…

2.

—Опять—
Семь бед,
Один ответ,—

Тоска,
Не много и не мало…
И никакого смысла нет
Вернуться и начать сначала…

3.

Он мне сказал,
Что умиранью рад,
А я сказал,
Что я ему не верю.

Был листопад…
И дождик был…
И град…
И ветер хлопал окнами и дверью…
И выпал снег…

…А он и говорит:
—Смотри,
Какой чудесный зимний вид!

След в след

Я
По краю добра
Еду к Раю—
И дорогу не выбираю…

Потому что,
Движению рад,
Знаю точно, что зло—это Ад…

Зло
По краю,
Как тень, стороной,
Точно эхо, спешило за мной,

За спиной
Повторяя, след в след,
Много лет
Семантический бред…

За фестом — фест

1.

На поэтическую трассу
От диссонанса к ассонансу
Нас вдохновение ведёт,
О Муза милая, с тобой

Вперёд…
И вдруг — за поворот,
Наоборот,
Любой тропой…

2.

Славно —
Господи, спаси! —
Фестивалить по Руси,

На халяву, натощак
Пить и водку, и коньяк…

Лёгких девушек любить…
Самому любимым быть…

А потом —
Писать стихи
И замаливать грехи…

3.

И нападала критикесса,
И защищалась поэтесса,
И замолкали…

И опять
Они пытались доказать
Свои на истину права…

И каждая была права.

4.

Дева
Пела, шутила,
У веселья во власти…

От неё исходило
Диво
Солнечной страсти…

А как песню пропела
Посреди карнавала —
На тебя посмотрела
И куда-то пропала…

5.

У неё
Влеченье к сладкой жизни…
У него
Влеченье к сладкой смерти…

6.

Я помню, как
Под солнечными струями
Любовь передавалась с поцелуями…

Я помню,
Пели все: — O, money, money, —
И: — I love you… —
Светлане, Тане, Мане…

Но это —
С сожалением и с болью —
Уже никто не называл любовью.

7.

Поэзия
Кончилась в марте,
Когда верещали коты…

Когда
Своё старое зеркало
О тумбочку грохнула ты,

Увидев
В своём отраженье —
Всеобщее выраженье…

8.

Дань отдав беспочвенным обидам
Посреди обыденных забот,
Поэтесса травится крысидом…
А поэт пускает пулю в рот…
. . . .
А обидчик, сплетник, обормот
До сих пор живёт и хлеб жуёт…

9.

Он путал Австрию с Австралией,
Страну Италию с Анталией…
Английский алфавит с китайским,
Край Краснодарский с Красноярским…
День, ночь, свет *этот* и *тот* свет…
Недаром критик в час прощальный
Сказал: — Увы, сомненья нет,
Что был поэт он гениальный…
Да, гениальный был поэт!

Время

— Время быстро летит,
А душа не стареет! —
Мне признался пиит, —

Жаль, что тело болеет…
А казалось, увы,
Не сносить головы…

● ● ●

Я вырос
В замкнутом пространстве.

Замки,
Куда ни посмотри,
Напоминали мне о рабстве—
Увы, снаружи и внутри.

О!
Если б я, мечтая, смог
Взломать хотя б один замок!

Ялта

Перед нами
Плещет море,
Широко и глубоко…

Я—в миноре,
Ты—в мажоре.
Нам расстаться нелегко.

У матросов
Бравый вид.
А корабль уже гудит…

Удача

Я
Желаю,
Чуть не плача:
—Ты вернись ко мне, удача,
И, жалея счастья дни,
Счастье
В Новый год верни…
Чтоб,
Забыв про докторов,
Жил я весел и здоров!

Перед грозой

Как глаза мои сухи!
Сам с собой вдвоём
Почитай-ка мне стихи…
. . . .
А теперь—нальём!
Вот он—мёд,
А вот он—яд,
Словно две слезы…

Как глаза твои блестят
В зеркале грозы!

Метафизика притяжения

Мы шли тогда
Одной тропою—
Ты хороша, и я хорош…

Соединяла нас с тобою
Метафизическая дрожь…
. . . .
Где
Та тропа,
Скажи на милость?

А притяженье сохранилось!

Домик в деревне

Буханку хлеба,
Пачку чая
Несу в свой деревенский дом…

Где пугало
Меня встречает,
Качая рваным рукавом…

И пёс,
Мотая головой,
Мне посвящает визг и вой…

В ресторане

Здесь, где жизнь убога,
Славно петь, однако,
Под гитару Блока
Или Пастернака…

Петь для местной пьяни,
Как когда-то, смел,
Трезвый Северянин
И Есенин пел…

Здесь, где всех к ответу
Призывает смерть…
На Руси поэту
Больше негде петь.

Семь рассказов

Книги на продажу

Всю жизнь слесарь АТП — автотранспортного предприятия №184 — Иван Иванович Пиндосов мечтал уйти на пенсию, чтобы написать роман о современности.

Мечтал, потому что свободного от работы времени у него практически не было. Днём он чинил старые автобусы, а вечером, у себя в гараже, восстанавливал кому-нибудь разбитую в ДТП иномарку, за что и получил прозвище Пиндос — золотые руки.

Мечты сбываются!

Едва исполнилось ему шестьдесят лет, как сказал он своему начальнику:

— Всё, напахался! Оформляйте меня на пенсию.

И когда получил первую пенсию, прикинул, что если два года он будет писать роман и откладывать часть денег на его издание в частной типографии, то всё у него получится в лучшем виде.

Жена Мария не возражала.

— Пока я работаю бухгалтером, — сказала она, — не пропадём. На еду хватит.

Роман назывался «Перестройка» и начинался стихами:

Перестройка, перестройка,
Ты лети, как птица-тройка!
Жизнь по-новому любя,
Мы приветствуем тебя!

Образ птицы-тройки лошадей, мчащихся по обновлённой Руси, связывал повествование Ивана Ивановича Пиндосова с прозой Николая Васильевича Гоголя, творчество которого он очень любил ещё со школы и не случайно взял за образец.

И вот упорный двухгодичный труд завершён.

Роман написан и издан.

Все пятьсот экземпляров в картонных ящиках привезены домой и стоят в прихожей двухкомнатной хрущёвки, дожидаясь встречи с читателями.

Ящики с романом остро пахли типографской краской, от которой у Ивана сладко ныло сердце, а у Марии начались частые приступы бронхиальной астмы. И она, после очередного приступа удушья, категорически заявила:

— Срочно что-то делай с этими ящиками! Или я сама сыграю в ящик! Вместе нам не жить.

И загрузил Ванька Пиндос пятьдесят экземпляров в рюкзак и пошёл по городу, по книжным магазинам, распространять тираж.

Но в магазинах «Книжный причал», «Родное слово», «Аристотель» и в других ему вежливо объяснили, что все книжные магазины приватизированы одной солидной московской фирмой, снабжаются книгами из своих издательств и не имеют права на реализацию произведений местных авторов.

Попытался было Иван сунуться в одну, другую, третью конторы в центре нашего прекрасного сибирского города Абаканска, ещё во времена социализма превращённого в центр высокой культуры самой читающей в мире страны, однако охранники довольно недоброжелательно посылали его подальше:

— Шёл бы ты, папаша, отсюда подобру-поздорову. Тут, кроме тебя, желающих продать хватает, еле отбиваемся, — то косметику, то шмотки предлагают, достали уже!

И свернул он с центральной улицы в направлении когда-то колхозного, а ныне Славянского рынка Гагика Хачикяна.

У пивной палатки перед входом на рынок за круглым пластмассовым столиком сидели в пластмассовых креслах три алконавта и пили водку из пластмассовых стаканчиков.

— Привет, мужики! — радостно обратился к ним Иван. — Купите у меня мою книгу! Вот, роман о нашей современной жизни написал, «Перестройка» называется. А вот, на второй странице, мой портрет: узнаёте?

Молча полистали алконавты книгу, повертели так и сяк и вернули.

— О современности мы сами всё знаем, и не понаслышке! — сказал первый.

— Никогда не читал книжек, не читаю — и не буду читать! — сказал второй. — Может, угостишь нас?

— Что вы, ребята, я давно уже сам не пью и вам не советую!

— А валил бы ты тогда кулём отсюда! — сказал третий. — А не то мы так тебе физиономию разукрасим, что ни в одной фотографии больше сфотаться не сможешь!

Понял Ваня Пиндос, что дело туго, наклонился и достал из-за голенища сапога длинную остро отточенную отвёртку, с которой никогда не расставался, и похлопал ею о левую ладонь.

Алконавтов как ветром сдуло.

И сел Иван в автобус, и поехал к железнодорожному вокзалу: может, там повезёт?..

Ехал и любовался из окна прекрасным нашим сибирским городом Абаканском, пальмами и фонтаном на площади имени Великой Октябрьской социалистической революции, а также пальмами и фонтаном около Театра музыкальной комедии, в котором он, к сожалению, ни разу не был, а также фонтаном на Привокзальной площади, в центре которого, на высоком мраморном постаменте, омываемый разноцветными струями, возвышался символ города — лев, стоящий на задних лапах, в правой лапе — серп, в левой — молот.

Ж. д. вокзал был недавно отремонтирован. Стены и полы внутри сверкали отполированным

саянским мрамором. Пассажирам здесь должно было быть торжественно и чудно…

Но когда Иван Иванович разложил свои книги на парапете маленького фонтанчика в центре зала ожидания, к нему тут же подошли два квадратных полицейских в пуленепробиваемых жилетах, молча взяли с обеих сторон под руки и повели к выходу.

— Что вы со мною делаете? Я свободный гражданин и живу в свободной демократической стране, где наконец-то совершилась долгожданная перестройка!

— Делаем то, что надо! — сказал один.

— Но я — писатель! Вот мои книги! Я хочу, чтобы их купили и прочитали!

— Хотеть не вредно! — сказал второй. — А будешь сопротивляться и права качать, в обезьянник отведём, там читатели уже есть!

И обескураженный писатель оказался на площади перед вокзалом, лицом к лицу со львом, символом города, держащим в лапах серп и молот.

Тут по радио объявили, что на первый путь второй платформы прибывает скорый поезд Владивосток — Москва.

Иван быстро перешагнул через рельсы на вторую платформу и прислонился к продуктовому ларьку, сбросив рюкзак с книгами перед собой.

«Тяжёл труд писателя, — подумал он. — Напиши, издай, да ещё и продай…»

Подошедший состав прервал его размышления. Из вагонов выбежали на платформу весёлые пассажиры и стали покупать в ларьке газировку и пирожки с ливером.

— А ты чем торгуешь, дед? — спросил один из них.

— Да вот, роман написал, «Перестройка» называется. Писатель я, Иван Пиндосов.

— Как интересно! Продайте мне! Сколько стоит?

— Цена договорная — сколько не жалко.

— Мне не жалко пятьсот рублей. Беру два экземпляра, себе и соседке по купе. Соскучился, понимаешь, по хорошему чтению!

Мгновенно образовалась толпа.

Все кричали:

— И мне!

— И мне!

И пятьдесят экземпляров были расхватаны, точно горячие пирожки с ливером.

Девять раз за текущий месяц приходил сюда с рюкзаком писатель Иван Иванович Пиндосов.

Деньги, вырученные от продажи книг, тратил он на самые дорогие лекарства от бронхиальной астмы — и жена его Мария, слава Богу, выздоровела!

А как только выздоровела, сказала:

— Садись, пиши продолжение романа! Вот, письмо тебе из Москвы пришло. Предлагают роман твой переиздать массовым тиражом, но с условием, что через два месяца ты пришлёшь им продолжение. А ещё через два месяца — окончание. Трёхтомник твой они задумали выпустить!

— Как же так? — радостный, воскликнул Иван. — Ведь я пишу очень медленно. И роман писал два года. А тут — два и два месяца?

— Ничего, я тебе помогу! — сказала Мария. — Помнишь, у писателя Достоевского была жена-стенографистка? Он диктовал, а она записывала. А чем я хуже? Включаем ноутбук — и вперёд! Диктуй!

Биороботы

— Все мы — биороботы! — сказал писатель.

— С чего вы это взяли? — возразила поэтесса.

— А с того, что все мы пишем не по своей воле, а по воле Всевышнего.

— Вы верите в Бога?

— Как же в него не верить, если повсюду — доказательства, что он правит нами, а мы, рабы Божьи, созданы по его образу и подобию?

— Например?

— Ну, например, к вам пришло вдохновение — и вы сочинили стихотворение.

— Но ведь это я сочинила.

— А вдохновение откуда? От Него, родимого! Он вдохнул в вас и содержание, и форму стихотворения, вы только послушно записали! Вдох-выдох, вдох-выдох… Даже дышите вы не по своей, а по Его воле. Попробуйте не дышать — и у вас ничего не получится! Вы просто вынуждены будете сделать очередной вдох. Или — попробуйте не писать! Это одно и то же. Поэтому вы — поэтесса, а я — писатель. Мы не можем не писать! Мы вынуждены описывать всё, что происходит у нас в душе и за её пределами. Мысли, чувства, события, кто что сказал, кто что сделал… И так — из года в год, из века в век… Посмотрите, сколько уже написано книг! Кажется, всё сказано — ан нет, нарождается новое поколение — и переписывает всё заново! Даже историю. Всем нужно что-то новенькое, душещипательное. Новые стихи, новые песни! А я уже устал быть биороботом, устал писать не по своей воле.

— Так пишите по своей! — сказала поэтесса.

— Это практически невозможно. За то, что я написал для себя, ради своего удовольствия, сейчас мне никто не заплатит ни рубля! И я вынужден работать в газете. Вот уже много лет я пишу, пишу, пишу для этого бумажного чудовища, которое называется «газета», и хочет выходить в свет ежедневно, и требует свежую информацию и рекламу. А редактор, как дракон, руководит этим дьявольским процессом. И платит мне! И я свожу концы с концами. Но стоит мне уйти из газеты, как я стану никем! Нулём без палочки! И не смогу пригласить вас не то что в ресторан, а даже в простую кафешку!

— А сегодня можете? — улыбнулась поэтесса.
— Сегодня могу, — кивнул писатель, — могу, но не хочу, уж извините. Вы только посмотрите на меня. На кого я стал похож? Какой из меня Ромео? Или Дон Жуан, или Казанова? Все жизненные силы высосала из меня эта газета, журналистика такая-сякая, эта вторая из двух древнейших профессий. Кстати, с чем вы и зачем на этот раз пожаловали к нам в редакцию?
— Как с чем и зачем?
— Ну вы же наверняка знаете, что газеты стихов сейчас не печатают.
— Но если стихи очень хорошие?
— Даже если очень хорошие. Раньше мы печатали стихи и платили за них гонорары. А теперь все приходят со стихами и предлагают заплатить нам, лишь бы напечататься! Деньги, конечно, были бы не лишними. Но приходится отказывать. Такой нынче художественный уровень. Пусть уж читатель наш остаётся без стихов, чем прочитает халтуру или графоманщину, которая стала повсеместной, загляните в Интернет!
— Как же мне быть?
— Пойти в типографию, они сейчас на каждом углу, и издать книжку стихов за свой счёт, а потом поторговать ею на авторском вечере или на книжной ярмарке.
— Я уже издала книжку, вот она. Называется «В ожидании любви». И если вы не хотите и не можете пригласить меня в ресторан, то я — и хочу, и могу. Бросайте свою работу! «Мерседес» у подъезда. Едем! Какой из ресторанов вы предпочитаете? Только не подумайте, что я имею какое-нибудь отношение к первой древнейшей профессии.

Танец живота

Гвоздём юбилейного ужина был танец живота.

В полуподвальном помещении ресторана «Забава» пахло водкой и жареной рыбой. Кондиционер не работал. Гости уже изрядно выпили.

И тут между столами, сдвинутыми в виде буквы «П», появилась танцовщица Танечка Молчанова.

Двадцать пять лет. Шоколадное тело. Высшее юридическое образование и курсы восточного танца.

Зазвучала ритмическая мелодия.

Зазвенели мониста на груди и бёдрах танцовщицы.

Публика замерла в восхищении.

Восьмидесятипятилетний юбиляр Курт Шпильберг оживился и стал хлопать в ладоши. Танечка, ритмически изгибаясь, двигалась вдоль столов. Иногда она застывала, изображая какую-то таинственную букву сексуального алфавита, но мышцы её живота и бёдер продолжали вибрировать, вызывая тонкое эхо в двух колокольчиках, продетых сквозь пупок…

Курт был счастлив. Юбилей удался на славу. Все, кто пришёл в ресторан, осыпали его подарками и цветами.

Чего ещё желать? Жизнь прожита. Итоги подведены.

Давным-давно, маленьким мальчиком, был он сослан с родителями, как и многие немцы Поволжья, в Сибирь, на вечное поселение.

Сначала жили в Норильске, потом в Енисейске, а потом обосновались в прекрасном сибирском городе Абаканске.

Здесь он, преодолевая моральные и материальные трудности, поступил в художественную школу имени Сурикова, потом, окончив институт, вступил в Союз художников, получил мастерскую — и стал создавать полотна, воспевающие величие сибирских новостроек и передовиков производства, первопроходцев, романтиков социализма.

Приходилось рисовать в основном по заказу, а не по велению сердца, — например, портретную галерею членов ЦК КПСС к седьмому ноября. Но он поставил себе чёткую цель: выжить в любых условиях, которые диктовала ему, ссыльному немцу, действительность, и вернуться в Германию, на родину отцов и дедов, во что бы то ни стало.

Работал много, по меткому выражению поэта, «наступив на горло собственной песне». Поэт, кстати, пустил себе пулю в лоб, а он выжил, каким-то чудом преодолев ранний репрессанс и поздний реабилитанс — две составные части эпохи марксизма-ленинизма.

И стал сначала заслуженным, а потом и народным художником России! Случай исключительный, почти невероятный.

И когда выдал он двух своих дочерей замуж, похоронил жену, когда неожиданно развалилась империя СССР, переехал он в Дрезден, чтобы спокойно дожить оставшиеся годы.

В Дрездене приняли его со всеми подобающими почестями.

Предоставили шикарную квартиру в центре города, мастерскую на лоне природы, солидную пенсию, двойное гражданство.

Пиши, твори, радуйся жизни!

Ан нет, всё есть, а чего-то не хватает.

И стал он по нескольку раз в году прилетать в Абаканск, и стал рисовать сибирские пейзажи — и вернулось к нему вдохновение, и посыпались как из рога изобилия шедевры живописи, один лучше другого…

А когда подошло время очередного юбилея, оказалось, что в Абаканске даже нет такого помещения, которое могло бы вместить работы последних лет. Пришлось делать одновременно две выставки, в двух залах: Союза художников и Художественного музея.

Танечка Молчанова почувствовала восторженное к ней отношение со стороны юбиляра, как только их взгляды встретились.

Музыка усиливалась, ритм ускорялся. Юбиляр хлопал в ладоши и готов был присоединиться к танцу.

Танечка приблизилась к нему, и наступил кульминационный момент, когда голова и плечи танцовщицы сохраняли полную неподвижность, а живот и бёдра вытворяли всё, чему их научила на курсах знаменитая индианка, незакатная звезда Роза Ханум.

Полгода занималась Танечка на курсах восточного танца у Розы Ханум. Курсы были очень дорогими и очень престижными. Всего двенадцать молодых женщин отобрала Роза, только тех, кто желал овладеть искусством танца, чтобы покорить сердца своих возлюбленных и выйти за них замуж.

— Это ваш исключительный шанс!—сказала Роза Ханум.—Учитесь, и успех обеспечен.

После окончания юридического факультете некоторое время работала Танечка юрисконсультом в частной фирме ооо «Фемида».

Очень скоро стала она любовницей директора фирмы, который в минуты страсти назначил ей ежемесячное содержание в сто тысяч рублей.

Целый год аккуратно получала Танечка Молчанова эти деньги, но когда шеф узнал, что она, как говорится, подзалетела и находится в интересном положении, он резко переменил к ней отношение, заставил прервать беременность и снизил размеры ежемесячной суммы до пятидесяти тысяч.

Что делать?

Сходила Танечка к гадалке-знахарке, чтобы та предсказала ей судьбу и дала совет. А та ей и посоветовала: походи, говорит, к Розе Ханум, научишься танцевать—не пожалеешь!

Но директор «Фемиды» к успехам Танечки на курсах «Танец живота» остался равнодушен.

Он восстановил серьёзные отношения со своей законной женой и уволил Танечку без выходного пособия. После чего пришлось ей устроиться в ресторан «Забава» и показывать своё танцевальное умение на банкетах и юбилеях.

Курт Шпильберг уловил взгляд Танечки Молчановой—и мурашки побежали у него по спине… Потом по рукам и ногам. Почувствовал он, как бес вошёл к нему под ребро—и овладевает всем телом.

И вскочил он с бархатного юбилейного кресла, напротив танцовщицы, и стал выписывать ногами замысловатые кренделя…

Публика восторженно закричала—все сорвались с мест и пустились в пляс…

Танечка, в центре внимания, вскочила на стол и уже там продолжала священнодействовать своим шоколадным телом, доведённым в сауне и в солярии до изумительного совершенства.

Наконец раздался последний удар барабана, прозвучал последний аккорд—и юбиляр Курт Шпильберг, упав на колени перед Танечкой, произнёс:

— Богиня! Муза! Я покорён! Делай со мною что хочешь!

И взял он её за коричневую нежную руку, и, прижав её пальцы к своим губам, проводил к праздничному столу, стоящему особняком, и посадил рядышком на бархатное кресло… И налил ей бокал шампанского.

И выпили они на брудершафт, глядя друг другу в глаза, и не отходили друг от друга весь юбилейный вечер…

Через день, когда я зашёл в мастерскую художника, то увидел, что Танечка позирует ему в классической танцевальной позе, сложив ладони шалашиком и устремив улыбающийся взгляд ввысь.

Через месяц картина «Танец живота» была готова и выставлена на всеобщее обозрение в зале Союза художников.

Более ста тысяч посетителей оставили свои записи в книге отзывов. Самый яркий отзыв гласил: «Несколько часов простоял я в восторге перед картиной, которую назвал бы «Сибирская Джоконда». Спасибо художнику! Он воистину народный!»

Закрывая выставку одной картины, мэр прекрасного нашего сибирского города Абаканска прикрепил к груди Курта Шпильберга высшую награду—золотого льва, держащего в лапах лопату,—усыпанную бриллиантами, и объявил его почётным жителем города.

А ещё через месяц в аэропорту отправляли мы народного художника и его молодую жену Танечку Молчанову чартерным рейсом в Дрезден, и Курт Шпильберг обещал нам, что они вернутся, чтобы отметить в Абаканске сначала девяностолетний, а потом и столетний юбилей.

Ландшафтный дизайн

На последнем курсе универа влюбился я в студентку филфака поэтессу Веронику Петрову, или просто Нику. И стали мы жить в гражданском браке, сначала тайком, а потом и с вынужденного благословения её папы и моей мамы.

Папа Вероники, Иван Иванович, крутой перец, держал контрольный пакет акций всей ликёро-водочной промышленности прекрасного нашего, любящего выпить, сибирского города Абаканска, был любвеобильным и богатым многожёнцем.

Мой папа бросил меня и маму, когда мне не было и годика, поэтому я его не помню.

Мама моя заведовала департаментом образования в областной администрации.

Естественно, рос я маменькиным сынком, точно связанный с нею неразрезанной пуповиной. Она дышала надо мной и надышаться не могла. Мечтала, чтобы стал я ландшафтным дизайнером, и сделала меня им, потому что все дороги для меня к высшему образованию были открыты.

И в конце концов я получил диплом с отличием.

По этому случаю решили мы с Никой и с моим приятелем Максом пойти потанцевать в ночной клуб «Планета Абаканск».

Я надел модные джинсы и свитер, Макс обрядился во фрак.

Наряд Ники представлял нечто воздушно-поэтическое.

Муза во плоти.

Так что на неё оглядывались, когда мы шли к «Планете» от машины.

Охранники при входе расшаркались перед Максом и Никой, а меня остановили со словами:
— Вам нельзя!
— Почему?—возмутился я.
— Сходите переоденьтесь, как ваш друг, тогда будет можно.
— Да у меня самый модный прикид в Абаканске! Даже в Москве меня в нём везде пропускали!
— В Москве пропускали, а здесь нужно выглядеть прилично.

Охранник загородил рукой проход, я откинул его руку, рука охранника изогнулась и, скользнув по моей груди, обвилась вокруг шеи.

Я начал вырываться, извиваться.

Подбежал Максим.

Завязалась потасовка, перешедшая в драку.

Приём.

Контрприём.

Удар.

Ещё удар.

Ника визжит.

Толпа вокруг улюлюкает.

Из глаз у меня летят искры, из носа льётся кровь…

Как нас развели—не помню.

На следующий день мама, осмотрев меня, ужаснулась и сказала:
— Едем в судмедэкспертизу, составлять акт! Они ответят за каждый твой синяк, за каждую ссадину!

Папа Ники, посмотрев на меня, сказал:
— Молодец! Боевое крещение принял. Никуда ходить не надо. Никому ничего не докажешь. А с охранниками я сам разберусь. Готовьтесь лучше с Никой к переезду в Москву. Куплю вам квартиру, подучишься в аспирантуре, а потом и к бизнесу моему подтянешься. Идёт?

И я согласился, как ни плакала моя мама, как ни возражала.

И вот в один прекрасный вечер заснули мы с Никой в самолёте в Абаканске, а проснулись в Москве, на Калининском проспекте, в шикарной двухкомнатной квартире после евроремонта, на двенадцатом этаже.

Красота! Вся Москва—как на ладони!

И стали мы вести московский богемный образ жизни.

Я учился в аспирантуре, повышал свою квалификацию и писал диссертацию на тему «Ландшафтный дизайн и современные коттеджи».

Ника сочиняла стихи и ходила по злачным местам.

Она была не только поэтессой, но и красавицей, и очень скоро покорила все гламурные круги столицы.

Её фотография появилась на обложке журнала «Караван».

Пьеса в стихах «Танатос и эрос» вдруг пошла на малой сцене театра «Колизей», а сама она стала сниматься в бесконечном телесериале «Ник и Ника», изображая молодую продвинутую бизнесменку, патриотку, страстно мечтающую о возрождении России и о собственном ребёнке.

От серии к серии кинематографическая мечта её героини сбывалась.

А в жизни, сколько я ни предлагал Нике, всё время получал отказ.
— Давай поживём для себя!—возражала она.—Мы же ещё молодые, а ребёнок—он от нас никуда не убежит!

Убежал.

И счастье семейное, о котором мы мечтали, убежало, как вода из-под крана между пальцев.

Я и не заметил, как Ника увлеклась сначала алкоголем, потом курением всяких травок, а потом и одноразовыми шприцами, наполненными какой-то очень дорогой дурью.

Вечеринки, которые она устраивала на нашей квартире, я было пытался запретить, но безуспешно. Через салон «УНики» прошёл весь сочиняющий и играющий на гитарах авангард и андеграунд…

И когда Иван Иванович, Никин папа, крутой перец, навестил нас через год, вместо сверкающей чистотой после евроремонта квартиры обнаружил он ободранные, разрисованные губной помадой стены и горы немытой посуды на кухне и на балконе.
— Да, не справился ты, дорогой мой зять, с поставленной перед тобой задачей,—грустно сказал Иван Иванович.—А поэтому срочно, все трое, мы садимся в машину и возвращаемся в Абаканск, на свежий сибирский воздух, мозги ваши от столичного угара проветрить.

Услышав эти слова, Ника закатила истерику:
— Никуда я не поеду! Мне и здесь хорошо! Видала я в гробу ваш прекрасный Абаканск!

Но делать было нечего.

Папа, я и шофёр скрутили её по рукам и ногам, посадили на заднее сиденье джипа и поехали восвояси на дикой скорости.

Прощай, столица!
Прощай, аспирантура!
Прощай, богемная жизнь!

Мчались мы день, мчались мы ночь, а наутро, где-то под Омском, возник вдруг перед нами КАМАЗ, гружённый гравием, помигал фарами да и выехал на нашу полосу движения… И врезался в наш прекрасный лимузин, только железки и кости затрещали…

Как потом мне сказали, шофёр наш погиб на месте. А нас спасатели МЧС вырезали из разбитого автомобиля автогеном…

Ивана Ивановича, живого, но сильно покалеченного, транспортировали сначала в Омск, потом на самолёте в Москву, а потом — в Лондон, где его буквально сшили по частям и вернули с того света.

После лечения в травматологии Нику по приказанию папы увезли в Италию, где она проходит курс реабилитации и лечения от наркотической зависимости.

Я, слава Богу, отделался несколькими царапинами и лёгким испугом и живу сейчас в Абаканске с мамой, как маменькин сынок, связанный с нею неразрезанной пуповиной.

Она буквально ни на шаг не отпускает меня от себя, так как предполагает, что столкновение с КАМАЗом неслучайно, и советует мне порвать всяческие отношения с Никой и её папой.

— Добром это не кончится, — сокрушаясь, говорит она.

Иногда ко мне заходит Макс, и я откладываю работу над диссертацией: жалуюсь ему на судьбу и говорю, что мечтаю о встрече с Никой, потому что, несмотря ни на что, очень-очень-очень её люблю и хочу, чтобы у нас родился маленький мальчик или дочурка, мне без разницы, лишь бы она захотела.

А уж я-то никогда не брошу ни её, ни своих детей.

Что нас ждёт

— Я тебя люблю! — сказала Вероника. — Очень сильно люблю. И готова застрелиться на твоей могиле, как Бениславская на могиле Есенина, чтобы доказать тебе свою любовь.

— Верю, верю, — сказал Александр. — И не надо ничего доказывать! Кстати, по новым данным, Есенин не повесился, а его убили, а потом инсценировали повешение. И Бениславскую — застрелили, а потом привезли на могилу поэта.

— Откуда это тебе известно?

— Откуда? От верблюда! Книжки читать надо. И любить друг друга, ничего не доказывая.

Вероника и Александр были знакомы два года.

Судьба свела их на одном этаже «Бизнес-центра», где они, молодые бизнесмены, стали арендовать помещения под офисы.

У Александра была фирма «Учись без двоек!», а у Вероники — фирма «Счастливые половинки».

К Александру стекались студенты-двоечники со всего Абаканска, и он организовывал им через огромный круг знакомых образованных людей контрольные, курсовые, дипломные работы — за приличное вознаграждение.

Богатенькие двоечники не скупились. Бизнес процветал.

Вероника выявляла и сводила одиноких людей с разбитыми сердцами, желавших найти себе спутника или спутницу. Знакомила, проводила сеансы психотерапии, после чего две половинки объединялись в одно целое и бежали в церковь венчаться или в загс, чтобы зарегистрировать своё новое гражданское состояние счастья.

Обретшие счастье не скупились. Бизнес процветал.

И когда однажды Александр заглянул в соседний офис к Веронике и решил в шутку, закрыв глаза, под медитативную музыку испытать воздействие первого сеанса, шутка превратилась вдруг в серьёзную потребность взаимного общения.

И Александр вновь поддался гипнозу любви!

Хотя первая жена покинула его три года назад, отсудив в свою пользу и в пользу дочки полквартиры, машину и дачный участок на платформе Пугачёво. И он был вынужден перебраться в однокомнатную хрущёбу, напротив Дворца труда. Типичное холостяцкое логово, доставшееся по дешёвке от спившегося алкоголика.

Здесь и развивался роман Вероники и Александра.

Первой главой романа стал евроремонт, под руководством Вероники проведённый в кратчайшие сроки.

Второй главой — съезд с Вероникой.

Вероника мгновенно продала свою и его однокомнатные — и купила трёхкомнатную, новой планировки, на Взлётке, где раньше был аэродром, а сейчас финны строили престижный микрорайон.

Третьей главой стало новоселье.

Новоселье совместили со свадьбой, на которой, как поётся в песне, было много веселья, было много вина.

— Любимый мой! — воскликнула Вероника после первой брачной ночи. — Как мне с тобой хорошо! Как я счастлива!

Александр тоже был на верху блаженства и не скрывал этого. Тем более что Вероника пообещала родить ему мальчика, сына, о котором он мечтал.

Вдохновлённый, он стал даже сочинять стихи и печатать их в альманахе «Новый русский литератор»:

Вероника, Вероника!
На меня, мой друг, взгляни-ка!
И прочти в моих глазах
То, что не прочтёшь в стихах…

Всё было хорошо.

Но тут возник алчный владелец «Бизнес-центра» и вписал новую главу, заявив, что он повышает арендную плату за офисы в шесть раз всем фирмам, в связи с галопирующей инфляцией, девальвацией и грядущей деноминацией.

И фирмы «Учись без двоек!» и «Счастливые половинки» вынуждены были прекратить своё существование.

Количество двоечников в нашем прекрасном сибирском городе Абаканске резко увеличилось. Так же, как и количество половинок с разбитыми сердцами…

Но Фортуна не отвернулась от Александра и Вероники.

Хеппи-энд в романе был предопределён судьбою.

Законодатели Абаканска, увлечённые реформами, решили реорганизовать высшие учебные заведения города в ОСУ — Объединённый сибирский университет — и постановили, чтобы финансировался он из федерального бездонного бюджета.

А поскольку все чада депутатов были недавно двоечниками, совершенно не случайно предложили законодатели Александру стать ректором ОСУ.

И он согласился.

Естественно, что Вероника возглавила в универе Институт прикладной психологии.

А в скором времени у них родился сын Ник, который стал миллионным и с рождения почётным жителем Абаканска.

Ник растёт гениальным ребёнком, вундеркиндом.

Он посещает самые интересные занятия в универе и скоро станет доктором всевозможных наук.

Я недавно, как председатель ВАК — Высшей аттестационной комиссии, ознакомился с авторефератом его диссертации «Перспективы футурологии», и, скажу я вам, глубиной и яркостью идей, возникших на стыке многих известных мне направлений, это впечатляет.

Прочитал я и понял основную мысль диссертации, а она гласит, что всех нас, без сомнения, в скором времени ждёт прекрасное будущее!

Третий позвонок

Вот уж никогда не думал я, что на старости лет стану поэтом! Всю жизнь прожил спортсменом-борцом, от победы к победе.

Всё у меня есть: жена молодая, Верочка, третья по счёту, дети, внуки, почести, награды, дом, машина «Тойота», дача.

Что ещё надо?

Работа — не бей лежачего, я — тренер по греко-римской борьбе.

Все воспитанники — чемпионы.

И чёрт меня дёрнул новичку этому, Муртазалиеву, приём «двойной нельсон» показывать! Раззадорился, молодость вспомнил, блеснуть, видите ли, решил перед новой группой. Нет чтобы на словах, как обычно, объяснить.

А он возьми да и охвати меня, да так ловко, да так неожиданно присел, да как меня через себя кинет!

Перелетел я, значит, через него да на затылок и приземлился.

Хрустнула моя шея — и потерял я сознание. Очнулся на больничной койке, в гипсовом корсете. Диагноз: компрессионный перелом третьего шейного позвонка.

Открыл я рот да как в рифму заговорю:

— Это что ж это со мной? Неужели я больной?

— Да ты никак поэтом стал? — жена моя Верочка удивляется. — Больной, больной, лежи спокойно.

А я опять в рифму:

— Где у нас здесь туалет? Хочет пи-пи-пи поэт!

Больные на соседних койках как захохочут, а один из них в унисон мне и отвечает:

— Надо вам пройти чуть-чуть и налево повернуть!

От нечего делать взял я карандаш, тетрадку школьную и стал свои рифмованные высказывания записывать. И к моменту выхода из больницы накопилось у меня пять исписанных мелким почерком тетрадей.

Пока лежал, выздоравливал, пристрастился я к сочинительству, даже по заказу несколько стихотворений настрочил — на дни рождения докторам и медсёстрам, которые были мне очень благодарны и хвалили от всей души.

Но дома ситуация резко обострилась.

Вечером, когда Верочка стала звать меня в супружескую постель и говорить шутливо: мол, пришло время долги мои семейные отдавать, соскучилась, дескать, и всё такое, — прилетел ко мне Ангел с небес и стал стихи диктовать.

Жена зовёт, и Ангел зовёт.

Позвала, позвала жена, да и заснула. А Ангел — знай диктует, а я — знай записываю:

Здравствуй, Муза дорогая!
Прилетела ты из Рая,
Чтобы здесь устроить Рай…
Что ж, целуй и обнимай!

Заглянула утром Верочка в тетрадку мою, прочитала и ужаснулась.

— Так я и знала, что у тебя кто-то появился на стороне! — кричит. — Уж не медсестра ли это та, которую ты стихами с днём рождения поздравлял? Как её зовут?

— Да нет у меня никакой медсестры! — оправдываюсь.

— А почему тогда со мной в постель не ложишься? Супружеские обязанности не выполняешь? Зачем на мне женился?

— Да тут дело такое. Ангел ко мне ночью прилетает, стихи диктует.
— Ангел? Мужчина, что ли?
— Да нет, Муза он, то есть женщина бесплотная.
— Так мужчина или женщина?
— Ангелы — они двуполые, — поясняю.
— Слушай, да у тебя, я вижу, крыша поехала! Надо что-то предпринимать. Знаешь, позову-ка я священника из Покровской церкви, пусть он освятит нашу квартиру и тебя заодно.

Пока Верочка священника искала-договаривалась, оформился я на первую группу инвалидности по травме, распрощался со спортшколой, любимыми своими учениками и записался в литературное объединение «Абзац» при Абаканском книжном издательстве.

Редактор Иван Викторович Рыбаков прочитал мои тетрадки, задержал после заседания литобъединения и сказал:
— Вам, батенька, нужно срочно книгу издавать!
— Как книгу? У меня ведь и литературного образования нет.
— И не нужно вам никакого образования. Все поэты — от Бога. Сейчас это уже научно доказано. Вот и ваш случай подтверждает это. Кто вам стихи диктует? Ангел. А ведь Ангел — это посланник Бога.
— Но издание книги, наверное, каких-то денег стоит?
— Да уж стоит, — согласился Иван Викторович, — и немалых. Но практика показывает: есть рукопись — будут и деньги. Тут обычно возникает магическая взаимосвязь. Так что ищите спонсора. Ищите — и обрящете!

И спонсор нашёлся.

После сеанса лечебной физкультуры в спортзале «Авангард» зашёл я в душевую — а там на полу лежит визитная карточка: «Все виды спонсорских услуг».

Позвонил. Пришёл. Объяснил. И всё.

Спонсор перечислил деньги Ивану Викторовичу. Тот расстарался — и книга моих стихотворений «Ангелы поют» под псевдонимом Альберт Хрустальный, триста страниц, сто экземпляров, увидела свет…

На обложке — мой портрет: в виде Ангела поэт. На последней странице — реклама «Авангарда».

И была шикарная презентация.

Весь тираж разошёлся мгновенно между членами литобъединения «Абзац».

Меня много хвалили за смелость, знание жизни и плодовитость. Не стесняясь, пророчили мне будущность великого поэта-самородка. Шампанское лилось рекой.

Я был счастлив и ждал хвалебных статей в прессе. Но их всё не было.

Тогда я послал книгу в самую престижную газету «Абаканский труженик» и через неделю на почте получил заказное письмо.

«Уважаемый господин А. Хрустальный! Сейчас, в эпоху гласности и свободы слова, когда каждый второй житель нашего прекрасного сибирского города Абаканска пишет стихи, издать книгу за свой счёт или за счёт спонсора — не проблема. Типографии на каждом углу.

Вопрос: является ли книга фактом Художественной литературы или Поэзии с большой буквы?

Ответ: Ваша книга — не является.

Вы просите отобрать из неё лучшее и опубликовать и предлагаете деньги.

Сообщаем, что у нас очень высокие требования к стихам. А за деньги мы публикуем только объявления, поздравления и рекламу.

Найдите в себе смелость и мужество посмотреть на то, что Вы издали, со стороны.

Крепкого Вам здоровья.

С уважением.

Главный редактор В. Марковский».

Прочитал я это письмо прямо на почте и пригорюнился. Прихожу домой, а там жена моя и бородатый священник квартиру освящают.

Священник молитвы читает, крестит направо и налево, кадилом машет, святой водой во все углы брызгает и: «Изыди, Сатана!» — повторяет.

Надышался я ладана, молитв наслушался и, когда священник удалился, лёг с Верочкой в постель супружескую и до самого рассвета долги ей отдавал…

А когда рассвет наступил, услышал я прощальный голос Ангела своего из-за облаков солнечных:

Ты прости меня, чудак,
Если было что не так.
Пусть другие этим летом
Назовут себя поэтом…

Сомкнул я веки утомлённые и заснул сладким сном в объятиях прекрасной, доброй, любимой и всё понимающей третьей по счёту жены своей Верочки.

А когда мы проснулись, собрали все мои тетради со стихами, сели в «Тойоту», приехали на дачу, растопили камин, откупорили бутылку «Донского игристого» и долго-долго жгли стихи — по листочку, любуясь ярким фиолетовым пламенем…

Террорист

Мой папа в юности был похож на Сальвадора Дали, а мама — на Сару Бернар.

Вот почему я родился гениальным ребёнком.

Я прекрасно рисую, сочиняю стихи, пишу музыку.

Но лучше всего я пою.

Стоит мне услышать какую-нибудь арию из оперы в исполнении, скажем, Рафаэля или Паваротти,

как я тут же могу воспроизвести её — голосом Рафаэля или Паваротти, в совершенстве, без ошибок.

Как мне это удаётся, не представляю, но всё, что я пою, отражается в моём сознании.

Таким образом я стал полиглотом. Ни итальянский, ни испанский, ни английский, ни французский языки — для меня не проблема.

Мой папа сделал всё, чтобы развить мои уникальные способности. У нас прекрасная библиотека, фонотека, рояль, компьютер с музыкальным центром, позволяющим записывать и воспроизводить любые творческие фантазии.

Сначала мы дружной семьёй жили в Крыму, но обострение отношений между крымскими татарами, русскими и украинцами вынудило нас перебраться в прекрасный сибирский город Абаканск, где никто не придаёт значения национальному вопросу. Будь ты хоть негром, хочешь жить в Сибири — живи, работай на радость себе и окружающим.

Папа занялся квартирным бизнесом, мама — преподавательской деятельностью в консерватории, которую я окончил без труда сразу по двум отделениям: композиция и вокал.

Когда я защищал две свои дипломные работы, зал консерватории был переполнен. Два часа длилась моя защита. Собственно, это был концерт в двух отделениях, с небольшим антрактом.

Папа записал его на аудио и видео.

В первом отделении я сыграл на фортепиано фантазию на темы композиторов всех веков и народов. Во втором — спел самые выразительные арии из сокровищницы оперного искусства.

Папины записи потом продавались в виде двойного альбома во всех музыкальных магазинах Абаканска, Москвы, Парижа, Лондона, Милана, Мадрида, Рима и других городов.

Я был нарасхват. Последовали приглашения на гастроли по странам Европы, Америки, Азии и Африки.

Папа был счастлив. Мама — на верху блаженства. Ещё бы! Их сын стал звездой первой величины. Все их тщеславные мечты сбылись.

Но тут я внезапно, видимо переутомившись, затосковал по Крыму, где не был с детства и где у нас, в районе Алушты, оставался в собственности небольшой домик с приусадебным участком и садом, где росли яблони, груши, виноград… И розы, розы, розы…

Тропинка круто спускалась по косогору из нашего сада к Чёрному морю.

В лучах восходящего или заходящего солнца я любил купаться, нырять, заплывать далеко от берега, ложиться на спину и любоваться бездонной бирюзой южного неба…

Наш домик пришёл в запустение.

Сад зарос. Но деревья плодоносили.

Мы навели с мамой порядок дома и в саду. И стали жить-поживать, наслаждаться отдыхом.

Но вокруг, как много лет назад, по-прежнему кипели страсти-мордасти. Крымские татары устраивали демонстрации, марши протеста, требовали вернуть им земли предков. Процесс шёл, но медленно и болезненно.

Слава Богу, на наш участок никто не покушался, кроме воров, которые повадились по ночам срезать наш виноград и собирать наши яблоки и груши…

Только-только мы с мамой соберёмся сварить варенье из золотого ранета, с расчётом на долгую сибирскую зиму, а дерево уже обобрано.

Только мы захотим собрать и засушить на зиму грушу «Конференц», а её уже обтрясли…

В конце концов, такая постановка вопроса меня разозлила, и решил я угостить воров по-настоящему, от всей души.

В беседке посреди нашего сада на круглый стол поставил я большую вазу, а в вазу положил самые красивые яблоки и груши с запиской: «Дорогие воры, кушайте на здоровье!»

А чтобы им было вкуснее, соорудил я, вспомнив давний школьный опыт, взрывное устройство. Не буду описывать его составные части, чтобы другим неповадно было. И спрятал его в центре вазы, среди фруктов.

Одну ночь ждал, вторую, третью…

Наконец, на четвёртую ночь, ровно в двенадцать часов, в беседке раздался долгожданный взрыв.

Вор лежал рядом с беседкой и стонал. Правая рука, оторванная по локоть, валялась рядом.

Что дальше?

Естественно, приехала милиция. Взяли у меня показания. Завели уголовное дело. И поместили в симферопольскую тюрьму, где я находился под следствием полгода.

Настроение у меня было приподнятое. Я радовался, что восстановил справедливость на земле.

И пел — днём и ночью арии из опер, да так божественно, так красиво, что вся тюрьма замирала, в буквальном смысле ничего не делала, как бы парализованная, зачарованная, когда я в порыве вдохновения выводил нежнейшее «ля» второй октавы.

Наконец, вызвал меня к себе начальник тюрьмы и сказал:

— Послушай, певец, что это ты вытворяешь над нами, простыми работниками правоохранительных органов, и над нашим контингентом?

— А что, собственно? — спрашиваю.

— А то, что ведёшь ты себя, как сумасшедший! Сам не спишь и другим не даёшь. Задолбал ты всех нас своим сладострастным пением. Терпели мы, терпели и решили направить тебя в психобольницу,

на судебно-психиатрическую экспертизу. Пусть там решат, кто ты есть на самом деле — или певец гениальный, или террорист.

И перевели меня из тюрьмы в Симферопольскую психобольницу, где признали меня душевнобольным, которым, кстати сказать, я себя не считаю. И решением суда определили на принудительное лечение в психобольницу общего типа по месту жительства, в наш прекрасный сибирский город Абаканск, где я и нахожусь по настоящее время по адресу: улица Курчатова, 14.

И сколько будет длиться это лечение, то есть издевательство надо мной, я не знаю. Вот почему изложил я свою историю вкратце, чтобы разослать во все бесплатные газеты, которые даёт читать нам наша администрация.

Может быть, кто-нибудь напечатает мой рассказ, и заинтересуется кто-нибудь, и приедет по вышеуказанному адресу, и поставит вопрос о снятии с меня принудительного лечения…

Петь мне здесь запрещают, играть на пианино тоже.

И пропадают мои гениальные способности ни за что ни про что.

А ведь я мог бы откликнуться на одно из многочисленных приглашений, которые ещё в силе, и уехать куда-нибудь на гастроли, и радовать людей талантами, которыми наградил меня Господь Бог при помощи моих замечательных родителей, которые каждый день ходят ко мне на свидания, носят передачи… И плачут, пока голодные нищие санитары поедают то, что они принесли, а я томлюсь, когда же они наедятся и выведут меня к моему папе, который в юности был очень похож на Сальвадора Дали, и к маме, походившей на красавицу Сару Бернар, а сейчас стали от горя похожими на старичка и старушку…

ДиН ревю

Сергей Аринчин

Возвращение на Джеликтукон

Красноярск: «День и ночь», 2013. — 48 с.

Мой мир наполнен идеей времени. Как он выглядит? Да очень просто — берег Джеликтукона…

Снова идёт снег и застилает пределы мира видимого такой плотной пеленой, что уже не видно и этих пределов. Уносит лодку Джеликтукон. Всё дальше и дальше. Снег погружает реку в белое безмолвие.

Плывёт лодка, и качается лодка, и творится путь, покуда рокочет река на перекате.

С белым дымом разносятся по реке скорбь и печаль души человека. Он знает, зачем собираются к нему гости, и небо открывается к ночи, и будет дорога на рассвете.

Может быть, здесь, на Джеликтуконе, удивительное место перехода в тот неведомый мир, куда душа возвращается после смерти, и у нас есть проводник, который поможет нам, сохранив сознание, пройти в этот мир?..

Вслушаться в себя и вслушаться в мир. Для этого нужно не так уж и много — тишина Джеликтукона.

> Я хотел бы прийти сюда умирать.
> Как старый эвенк, у воды присесть
> И растаять с годами, как след костра,
> И принять тишину, как желанную весть.
> Вечно небытие. Глухо плещет вода.
> Оттолкнётся и лодку направит Харон.
> Я хотел бы прийти умирать сюда —
> В верховья речки Джеликтукон.

Я знаю, что ждёт меня там, за сверкающим игольным ушком. Я уже вижу солнце над сопками и путь к берегу. Я выбрал Джеликтукон.

Печаль посвящённого — вынести путь времени.

Сергей Аринчин

Сергей Кузнечихин

Луна в квадрате

Барак военной поры

Брату Анатолию

Вдоль коридора—корзины и санки,
Плесени запах ползёт из угла.
Чёрная муха, как вражий десантник,
Вроде труслива, но очень нагла.

Мальчик трёхлетний бежит по бараку—
Долгий, прямой, но извилистый путь—
Ссору, грозящую вырасти в драку,
Слышит за дверью, охота взглянуть.

И не боится поймать оплеуху,
Верит пострел, что не тронут свои.
Дальше бежит и в фашистскую муху
Целится, воображая бои,

Видит, как папка встаёт из окопа…
Муха пикирует нагло и зло.
Дёрнулся мальчик, запнулся—и об пол.
Чувствует, как из ноздри потекло.

Мухе расправиться легче с лежачим.
Страшно. От страха больнее вдвойне.
Слёзы набухли, но мальчик не плачет—
Знает, что плакать нельзя на войне.

● ● ●

Почему всё не так?
Бесполезный вопрос
В нашу землю живучим репейником врос,
Чтоб в любую погоду расти и цвести,
Не оставив возможности мимо пройти.

За любого цеплялся. Вопрос задавал
Очень юный корнет и седой генерал.
И бездарный поэт, и великий поэт
Задавали вопрос и теряли ответ.
Не спаслись от него ни мудрец, ни простак:
«Почему всё не так?»
«Почему всё не так?»

Похороны первого апреля

Нетрезвый попик перед выносом
Отпел, но не отвёл беду.
Весна, погода на два с минусом,
Переметает снег по льду.
И поскользнулся бедный родственник,
В могилу чуть ли не снесло,
Перепугался…
И, юродствуя,
Напомнил месяц и число.
Подбросив ветру снега месиво,
Неумно шутят облака.
Могилам тесно, ветру весело,
У провожающих тоска.
Могилу забросали комьями
Тяжёлой смёрзшейся земли.
Родня и прочие знакомые
К столу накрытому прошли.
Продрогли близкие и дальние,
Потребность задаёт настрой:
Блюдя приличья ритуальные,
Сказали тост, за ним—второй.
Потом, накатанными рельсами,
Не сдерживая жар и пыл,
Пошла брехня первоапрельская
О том, каким он парнем был.

● ● ●

Квадрат окна. Луна в квадрате.
Чужие стены до небес.
А в телефонном аппарате
Скулят чумные смс.

Вот и ещё одна записка
С вопросом:
«Разве ты живой?»
И где-то рядом, очень близко,
Шального байка волчий вой.

● ● ●

Откуда светлые стихи?
Из тьмы, как это ни печально.
И рифмочка «стихи—грехи»
Стара, но вовсе не случайна.

И надо, что ни говори,
Не озаренье, не прозренье,
А нечто тёмное внутри,
Чтоб выдохнуть стихотворенье.

Памяти Льва Тарана

Не принимает шуток
Трагический герой
В жестокий промежуток
Меж первой и второй.

Не рюмкой, с нею проще,
Сам выпил, сам налил.
И пьет поэт, не ропщет
На дефицит чернил.

Талантом—не последний
И ярко стартовал…

Почти двадцатилетний
Меж книгами провал.

Надежда еле тлеет
На донышке души.
Советуют: «Светлее
И радостней пиши,
За бодренькие вирши
Дадут на белый хлеб».

А как светлей напишешь,
Когда не глух, не слеп?

Товарищ Запад хвалит:
Там—свет, а здесь—тюрьма.
И говорит, что свалит
От русского дерьма.

Хотел ему по роже,
Да развели мосты…
И всё-таки не гоже
От Родины в кусты.

Уж лучше дальше в пьянку.
С повинной головой
Крутить свою шарманку,
Пока ещё живой.

Поэты виноваты,
Как слабое звено.
А докторской зарплаты
Хватает на вино.

Памяти Алексея Васильева

Не признающий правил,
На слово скор и спор,
Однофамилец Павел—
Пример? Или—укор?

Пример!
Мальчишка вроде,
Но, не жалея жил,
Он словом верховодил
И сам ему служил.

Собольим, волчьим, лисьим—
Разливом всех мехов
Горяч и живописен
Напор его стихов.

Сверкают самоцветы
Немыслимой игры.
Завистливы поэты,
А женщины щедры…

Но зависть перезрела.
И он, конечно, знал
Рассветного расстрела
Логический финал.

Весёлая Россия—
Здесь плодоносит прах.
И заново Васильев
Возник на Северах.

Рождённый не сутулым,
Погибшему под стать,
И словом, и разгулом
Стараясь не отстать,

Без придури народен,
Калёный на ветру…
Но тоже неугоден:
Не в масть, не ко двору.

Критические рыльца,
Пока сильней не стал,
Спешат однофамильца
Поднять на пьедестал.

Подсказывает случай—
Кадить или дымить,
Лишь было бы сподручней
Унизить, заклеймить.

Ребятки знают дело,
Не задирался чтоб,
Без тюрем, без расстрела,
Но дружно гонят в гроб.

Анатолий Аврутин

Что за ангел стоит у плеча?..

● ● ●

На большую печаль
мне Отчизна ответит печалью,
На рыданье ответит стократным рыданьем она…
Что-то тихо сверкнёт
над промозглой измученной далью,
Дальний гром прогремит…
И опять тишина, тишина…

Вскрикнет робкий кулик
над своим безымянным болотом,
Скрипнет ржавая дичка в холодном забытом саду…
И листву подгребёт
ветер к старым, забитым воротам,
Где замок побуревший
с висящим ключом не в ладу.

Кто-то мимо пройдёт,
но сюда не свернёт с первопутка,
Где-то вспыхнет фонарик, чтоб снова погаснуть в ночи.
Да над чёрной запрудой
вспорхнёт одинокая утка
И о чём-то далёком,
о чём-то своём прокричит.

И стоишь посреди
позабытого Богом простора,
И гадаешь: когда же Всевышний припомнит о нас?
Может, скоро?.. Но небо
опять повторяет: «Не скоро…»—
И не можешь заплакать,
хоть катятся слёзы из глаз…

● ● ●

Как-то съёжилось все, почужело…
Да и сам я здесь получужой…
Больше чёрного стало на белом,
Меньше злата в ночи золотой.

Средь неласковой этой юдоли
Всё гадаю, строку бормоча:
Что за свет всё мерцает над полем?
Что за ангел стоит у плеча?..

Болезнь

1.

Коснись меня… И боль уйдёт…
От твоего прикосновенья
Светлеют чёрные мгновенья…
Коснись меня… И боль уйдёт.

Коснись меня… И хлынет свет
В зрачки, отвыкшие от света,
И в декабре вернётся лето…
Коснись меня… И хлынет свет.

Коснись меня… Как божество
Порой касается больного.
И хвори отступают снова…
Коснись меня… Как божество…

Коснись меня…

2.

Мгновенной тенью отразясь в окне,
Коснувшись снимка, что глаза туманит,
Ты, может быть, припомнишь обо мне?..
А я пойму… И сразу легче станет.

И будет так же виться виноград,
В плоды вбирая вечное свеченье.
И повторять я буду невпопад
Давным-давно забытые реченья.

О том, что, болью мучимый вдвойне,
Всё глубже понимаю: слово ранит…
Ты, может быть, припомнишь обо мне?
А я пойму… И сразу легче станет.

И снова заструится теплота
Под гипсом по измученной ладони,
И снова осень станет золота́,
И поздний август в золоте утонет.

А вечером, при меркнущей луне,
Когда опять тревога забуянит,
Ты, может быть, припомнишь обо мне?..
А я пойму… И сразу легче станет.

3.

…Так зачем говорить про напрасное чудо прозренья,
Про осколки созвездий, застрявшие в тающем льду,
Если нету прощенья?.. Я знаю — мне нету прощенья,
И под зыбкие кроны я больше уже не приду.

Что копилось в душе, то осталось в снегах ноздреватых,
Что забылось — забыто, что просто ушло в никуда…
И — распят на ветру — среди тысяч невинно распятых,
Ты кропишься водой и не знаешь, что это вода.

Заскорузлой душе даже этого кажется много.
Что ей серое небо и долгий грачиный галдёж,
Коль ответили все — от убогой гадалки до Бога,
Что под зыбкие кроны ты больше уже не придёшь?

Будет просто гонять шалый ветер траву перекатом,
Будет в омуте чёрном обманчиво булькать вода,
Будет давняя боль ночевать на диване несмятом,
Будет чёрная кровь запекаться у впалого рта…

И услышит в ночи только старый бобыль одичалый,
Что не спит и всё шепчет молитвы всю ночь напролёт,
Как с котомкой бродил непонятный расхристанный малый
И всё мямлил под нос, что он больше сюда не придёт…

● ● ●

Женщины, которых разлюбил,
Мне порою грезятся ночами,
С робкими и верными очами —
Женщины, которых разлюбил.

Я их всех оставил… Но они
Никогда меня не оставляли,
Появляясь в дни моей печали
И в другие горестные дни.

Женщины, которых разлюбил,
Мне зачем-то изредка звонили,
Никогда вернуться не молили
Женщины, которых разлюбил.

С расстоянья ближе становясь,
Все мои терзанья разделяя…
Появлялась женщина другая,
Обрывала вспомненную связь.

Женщины, которых разлюбил,
Мне и это, кажется, прощали.
До смерти разлюбятся едва ли
Женщины, которых разлюбил.

● ● ●

Ещё не стемнело…
    И можно немного пройтись
Вдоль влажной лощины
    по серо-зелёному полю.
Недоля струится отсюда
    в небесную высь,
А высь переходит
В безбрежную эту недолю.

И чтоб надышаться,
    здесь нужно дышать и дышать,
Стараясь запомнить,
    как стонут забытые травы.
И чуять: струится
    в безмерную даль благодать,
А в той благодати —
Безмерная доля отравы.

Есть только мгновенье…
А суток и вечности нет…
Мгновенье к мгновению —
    вот и дорога к прозренью.
О свет мой вечерний,
    туманный бледнеющий свет,
Для белого света ты тоже
Подобен мгновенью.

Ведь скоро над полем
    неярко засветит звезда.
Пора возвращаться…
Невидною стала дорога.
Пусть что-то осталось…
    Но что-то ушло навсегда…
И так же далёко
До истины…
    Сути…
        И Бога…

● ● ●

Писать стихи,
    пить водку,
        верить в Бога…
И Родиной измученной болеть…
Одна поэту русскому дорога —
Чуток сверкнуть
    и рано отгореть.
А отгоришь,
    не понят и не признан, —
Останутся худые башмаки,
Пустой стакан,
    забытая Отчизна,
Божественность
    нечитанной строки…

Сергей Аринчин

Я на свет выхожу

● ● ●

Мы слушаем дыханье океана
На берегу, подёрнутом туманом.
Так миллионы вопрошают манны,
Так миллионы шепчут: «О, Осанна!»

Ты—мира животворная граница,
Здесь сходятся земля, вода и воздух,
Здесь узнают друг друга звери, рыбы, птицы,
Здесь отражённо вспыхивают звёзды.

Какой простор, какие дни и ночи
На берегах пустынного залива!
Из века в век здесь волны камни точат,
А океан вздыхает молчаливо.

И пусть мой край речной, таёжный, горный
В моей душе хранится непрестанно,
Меня зовёт дыханье океана,
И души звёзд, и бездна ночи чёрной.

Ты—соль земли, ты—первенец Творенья!
Густела магма, превращалась в скалы.
И Дух Святой открыл твои теченья,
Паря по водам, и заря настала.

Ты великан, родивший великанов,
Тех трёх китов, что вечно держат сушу.
Я слушаю дыханье океана
И даже словом вечность не нарушу.

● ● ●

Звени, звени, звени, звени, не умолкая,
Красавица моя ты, речка быстрая.
Верни меня, верни от самого от края,
Откуда без тебя не возвращусь и я.

Когда я уходил, был весел лес весенний
И сказочный костёр горел на берегу.
Но я ещё тогда не думал о спасении,
Не знал, что без тебя прожить я не смогу.

И вот, когда уже давно всё стало ясно,
И некого винить, и не на что пенять,
Я обернусь к тебе мучительно и страстно,
Чтоб вымолвить: верни, верни, верни меня.

● ● ●

В. А. Новикову

В потемневшем зеркале постарели лица.
Слава тебе Господи, гости разошлись.
То ли мне печалиться, то ли веселиться,
То ли просто посидеть, думая за жизнь.

На листке черновика—пролитое пиво,
Дух сомнения с утра мучает нутро.
Что-то, видно, к старости стал я суетливым:
Хлопочу и хлопочу, только всё не впрок.

Только всё неможется, теплюсь еле-еле:
Вот и гости разошлись, а стакан в руке.
Разлеглась бессонница на моей постели,
Да молитва за полночь крутится в башке.

Не прошу у Господа славы и отваги,
Ни дороги дальние, ни казённый дом…
Ниспошли Ты, Господи, для меня, бродяги,
Тропку вдохновения на поприще мирском.

● ● ●

Кого я жду на гулком побережье
Среди туманов и среди огней?
Ведь на себя надеюсь я всё реже,
А на тебя надеюсь всё сильней.

Какая глушь, какие дни и ночи…
Тебя я жду, любимая, к себе,
Ведь с каждым днём становится короче
Та жизнь, в которой было столько бед.

Расстался я с виденьями дурными,
С холодным «завтра», с призрачным «вчера».
Кружу один и повторяю имя,
Один в ночи под небом до утра,

Я повторяю имя, как молитву,
И до утра в ночи глухой зову.
Какая глушь! Но небеса открыты,
Они для нас открыты наяву!

Детство

И вот гасили на ночь дома свет.
И кот, свернувшись, прятал нос (к метели!).
И по сугробам голубые тени
Гнала луна летящим тучам вслед.

Тепло, дремотно бормотала печка—
Домашний бог, уютный и большой.
И дом затихший мне казался вечным,
Как звёздный странник в стороне земной.

Нас время уносило вместе с ним
Сквозь снег и лес навстречу снам моим.

А утром было холодно вставать
И весело…
И разве мог я знать,
Что я уеду, старый дом снесут,
Что жизнь не ждёт
И что её не ждут?

• • •

…глас Твой внуши Мне.

Молебный канон Песнь Песней, составлен протоиереем Геннадием Фастом, песнь 9

Нет, мне не отмолить запущенных грехов.
Я жизнь прошёл, и вот—почти у края…
Где столько мне найти и времени, и слов,
Чтоб вычистить тебя, душа живая?

Как возбудить в себе молитвенный порыв,
Чтоб жертвенник горел, не угасая,
И удержать его до той поры,
Пока не расцветёшь, душа живая?

Я тороплюсь, спешу, мне надо так спешить,
Успеть спастись, не дошагав до края.
Единственной тебе могу я посвятить
Мои стихи, моя Душа Живая!

Мария

Черемши наелся до икоты,
Больше было нечем закусить.
С вермутом покончили мы счёты,
Оставалось только водку пить.
Мы сидим вдвоём со странным другом
В мастерской зачуханной его,
Голова плывёт гончарным кругом:
Слышу всё, не вижу ничего.

Говорил он, брызгая слюною,
Как велик он в горестных трудах,
Как сейчас покажет мне такое,
Что взойдёт, нетленное, в веках,
Что его ещё поставят рядом
С Босхом, Гойей, Врубелем, Дали…
Я хотел сказать, что врать не надо,
Но не стал и по глотку́ налил.

Но когда совсем осточертела
Мне его пустая болтовня,
Красота неведомых пределов
Вдруг с холста взглянула на меня.
От неё не по себе мне стало,
Как во сне—ни крикнуть, ни сказать:
Лишь лицо—сияющим овалом,
Да на нём печальные глаза.

Как же ты, пресветлая Мария,
Забрела неведомо куда,
Где в распадках кедры вековые,
Где на реках взгорбилась вода?
Неужели кореш мой случайный,
Что кривлялся с пеною у рта,
Лик твой разгадал, и взгляд твой тайный
Осветил угрюмые места?

Неужели над водой и твердью
Он тебя провёл, как поводырь?
К твоему взывает милосердью
Богом позабытая Сибирь.

Похотью реакторов и топок,
Жлобством пристяжных временщиков
Сыты мы по горло, в горле копоть,
Так спаси, Мария, дураков.
Может быть, тебе виднее свыше
И Тюмень, и устье Колымы,
Весь тот край, откуда мы все вышли?
Так скажи: зачем на свете мы?

Ночь в окне, и льётся мрак бесшумный,
Спит художник мирно, как святой.
Успокой, Мария, неразумных,
Пусть они умолкнут пред тобой.
Пусть по справедливости отметит
Взгляд твой и трудяг, и подлецов,
Пусть не проклянут нас наши дети,
Как и мы не прокляли отцов.

От стыда вином не откупиться,
На чужом пиру не отдохнуть.
Посмотри, Мария, в наши лица,
Дай нам знак: туда ли держим путь?
Всё должно когда-то повториться,
Вновь придёт твой первенец на свет.
Посмотри, Мария, в наши лица:
Есть за нами правда или нет?

• • •

Эта тонкая грань, за которой покой и молчанье.
Эта только игра в расставанье, которого нет.
Ты скажи мне, судьба, побренчав равнодушно ключами,
Почему так влекут миражи, появляясь на свет.

То вино, то зеро, то хранимый легендами опыт,
То внезапность открытья, а то мимолётность стиха.
На иконах моих настоялась столетняя копоть,
И никто не придёт посмотреть на меня, старика.

Почему ты молчишь? Ты не знаешь, что дальше отмерить?
Я на свет выхожу, точно старец, прошедший затвор.
Подбери-ка ключи и открой на удачу мне двери—
И забудь про меня и про этот пустой разговор.

Я уйду, чтобы жить, на себя и на Бога надеясь,
Подвяжу деревца, пусть и дальше до неба растут.
Я похож на отца и совсем не похож на злодея.
Дай мне, Бог, обрести в жизни новой по силам мечту.

Поэма пейзажа

И словно с картин из сгоревшего барского дома
Явились и разом сошли на пустой горизонт:
Долины, и гроты, и свет розовато-истомный,
Лишь вместо лошадок—железнодорожный вагон,

Да баржи, застывшие тупо у низких причалов,
Да синее небо с избитою кличкой—лазурь,
И сам я, играющий роль записного нахала,
И сказанных слов, соответственно, жуткая дурь,

И ты, по наивности слушать готовая лажу.
Но всё это вместе расставлено мудрой рукой,
Но всё это вместе зовётся осенним пейзажем,
В котором припутался исподволь сонный покой.

И этот покой, обречённый остаться под спудом,
Как Божью Идею навеки закрыли дымы,
И я, оглянувшись, ищу это прошлое чудо,
В котором любовью случайно отмечены мы.

И машет хвостом с пониманьем приблудная псина,
И преданный взгляд покупает меня на корню,
И девочку ту, что причуды мои выносила,
Я снова люблю и, вернувшись, ни в чём не виню.

И музыка сфер, и пространство, и время сомкнулись
С осеннею дымкой, «Столбами» на том берегу,
И чёрные брёвна домов с николаевских улиц,
Как будто судьбу постигаю на каждом шагу.

Я стойко врастал в эту местность деталью пейзажа,
Как Гоша безногий, земной принимая удел,
Как вяз под окном… Ну а ты? Ты, наверно, всё та же,
Всё та же, которой когда-то коснуться не смел.

И словно на волю толкнула настырная осень,
Незваною гостьей вломившись в привычное вдруг.
Хотя и не ждём ничего, и у Бога не просим,
Но что-то осталось и в нас после стольких разлук.

• • •

Не луч, но лучше, но светлей,
И не заря, и не жар-птица
Цветёт меж грозовых полей—
Меж туч ночных цветёт зарница.

Вот так в глухом теченье сна,
В теченье дня глухом, убогом
Бывает вдруг озарена
Душа прикосновеньем Бога.

И долго памятью живёт
И ожиданьем встречи новой,
Иной красы, иных высот,
Что осветятся Божьим Словом.

Тогда, напраслину кляня,
Вернусь из тяготы сомненья.
Зарница Божья, на меня
Сойди, верни мне слух и зренье!

• • •

Любых болезней долгую нудьгу
Перенести с упорством я пытаюсь,
Но есть одна незримая и злая,
Которую осилить не могу.

Когда тебя со мною рядом нет,
Мир из-под ног мучительно уходит,
Потеря затмевает белый свет,
Я сам не свой, и нервы все на взводе.

Когда тебя со мною рядом нет,
Груз одиночества на сердце страхом давит,
Одна молитва голос мой направит,
Но я слабею, как от многих бед.

Любых болезней вынесу я груз,
Один остаться без тебя боюсь!

• • •

Обжитое окно,
В нём кубики домов.
Февральское тепло
Снег превращает в мыло.
Перебираю вновь,
Что будет и что было,
Уже не торопясь.
Я ко всему готов…

Так пусть ещё не раз
Вернётся первый снег,
И лёгким станет шаг,
И речь немонотонной.
А если уж весна,
То чтоб ручьи по склонам!
Обжитое окно я распахну весне!

Владимир Мялин

Амфоры

● ● ●

Там, где расходится натрое ствол,
Тополь воронье гнездо приобрёл;
Так моя радость, меж строк заперта,
Небо лохматит подобьем гнезда.

В дом её зимний ворона летит
С веткой потешной надежд и обид,
Хочет в гнездо родовое вплести,
Хочет вздремнувшее счастье спасти.

Только у счастья особенный дом:
Между стволов оно—в сердце твоём—
Всё совершает извечный обряд—
Кормит крикливых своих воронят.

● ● ●

Не знаю я—в том слабость или сила,
Что ничего не брал я с потолка:
По веткам кущ земных переходила
Живая жизнь—в живую плоть стиха.

В ней сердце жгло и лёгкие вздувало,
И ночь чернела—печень божества…
И всё, что ты любовью называла,
В ней обретало смысл и слова.

Когда за грань слепого пробужденья
Я перейду—и слог, и голос в ней
Вдруг запоёт, сложив в стихотворенье
Весь поздний пыл родных моих углей.

● ● ●

В небо уходит последний трамвай.
В инее пальчик окошко рисует—
Каждая звёздочка просится в рай,
Тянется светом и в губы целует.

Холодно, голодно; тихо, пока
Снежные токи дверей не раскрыли,
И не ступила ты на облака,
И небеса под тобой не поплыли…

Чуду железному ручкой махнёшь;
Скажешь: прости и прощай, рыжеватый,
Старое сердце—трамвайная дрожь,—
Зимнее небо во всём виновато…

● ● ●

Паровозы гудят, паровозы гудят.
Над столицей гудят паровозы.
Пар морозный клубя, мои годы назад
В снег идут паровозный, белёсый.

Паровозы стоят, паровозы молчат
И бегут, спотыкаясь, белея.
Ты, зима моя, этих скулящих щенят
Приюти, накорми поскорее.

Ты, зима, приюти, обогрей, накорми
Эту к рёбрам приставшую кожу,
Этих рыжих дворняг, эти ржавые дни,
Этот пар, на дыханье похожий.

● ● ●

Что тебе причитания ночи,
Фонарей убывающий ряд?
Тишины твоё сердце не хочет,
В нём иные огни говорят.

В нём смеётся холодное лихо,
Каталонкой пускается в пляс.
Мне же в сумерках больно и тихо,
И темно мне—хоть выколи глаз…

Не кончай же свой топот каблучный,
Звонко руку держа на бедре.
Мой осёл, музыкальный и вьючный,
Подыграет тебе на заре.

● ● ●

Спи, моя девочка, спи…
Это всё тролля проделки,
Что за часами сопит,
Трогая хрупкие стрелки…

Ночь перепутана с днём,
Точно и спать нам не надо;
В городе, в сердце моём
Трепет и дрожь снегопада…

В городе время рябит,
Бродит фонарик по крыше…
Спи, моя девочка… Спит—
Сердце, бубенчика тише…

Амфоры

Амфоры чёрных фигур — аппликации ночи,
Амфоры красные пламенем тёмным горят.
Семь колесниц обожжённых — и каждая хочет
Вырваться… Семь олимпийцев — танцующий ряд.

Сонно свершается жизнь и стремится по кругу
Выпуклой глины — война, вакханалии, быт;
Чёрной повязкой стянув обагрённую руку,
Полое время раскрашенной медью звенит…

Чаши содвинув, увитое острой листвою,
Силится вырваться — с круга сорваться оно.
Но колесницы летят и летят… Голубое
Льётся из жерла обратной струёю вино.

● ● ●

Смуглый друг мой в промозглом дворе,
Чем торгуешь в мышиной норе?
Может, каменным запахом лестниц?
Или всё же милей тебе сыр?
Обжигает твой вечный тандыр —
Солнце хлебное и полумесяц.

Я и солнце, и месяц куплю.
Я, признаться, мучное люблю.
Да и как без вина и без хлеба
В тесноватой коморке своей
Разделять одиночество дней
С потолком облупившимся неба?..

● ● ●

Мне дорог Бах…
Н. Ушаков

Мне дорог Бах… Зачем же по зиме,
По следу санному не едет он ко мне,
Подняв орга́н — и небо над собой?
Зачем жуёт мотив полуживой?

Как будто нет во рту его зубов,
На небе — звёзд, в безвременье — снегов;
Младенцев нет в утробах матерей,
И жизнь жива лишь тишиной моей…

● ● ●

Моя зима населена тобой;
Берёзами, воронами, ветвями;
И зубками, как жемчуг голубой,
И, как улыбка, свежими губами…

Светись, душа. Не бабочки полёт
И не листка паденье и касанье —
Зима, зима, зима тебя зовёт,
Как голос, чистая, живая, как дыханье…

● ● ●

Как на горе — корона из лучей,
Ты светишься над музыкой моей —
Кремнистой, полой, ветреной, живой,
И ласточки летают над тобой.

Фью-ить, фью-ить — кричат они во сне…
А ты тихонько клонишься ко мне:
Наклонена волос твоих копна —
И музыка к тебе наклонена…

● ● ●

Ты любишь море, пену вод
И неба золотую пену.
А мой далёкий пароход
Молчит и слушает сирену.

Поёт она про дальний край,
Обетованный, населённый…
Кифара, слушай и играй,
Как ветер, к струнам прикреплённый…

● ● ●

Брожу по улицам пустым
Сквозь невесомую окрестность.
И снег плетеньем золотым
Вьюнка — уводит в неизвестность.
Сушёный, со стены повис.
О чём шуршит? Куда он манит?
А улица сбегает вниз
С кирпичным городом в кармане.

Алексей Журавлёв

Апокалипсис

Вместо вступления

От меня ушёл муж… Событие это, в планетарном масштабе незначительное, для меня, тем не менее, стало трагедией, катастрофой, перевернуло всю жизнь. Моя некогда стройная система мировоззрений и мироощущений рухнула, похоронив под обломками остатки оптимизма и здравого смысла. И я вовсе не драматизирую ситуацию (не я первая, не я последняя, мужья уходят от жён, жёны уходят от мужей, так было, есть и так будет); дело не столько в том, что муж меня бросил, сколько в обстоятельствах, предшествовавших этому событию, и в том, что я не могу однозначно оценить его поступок. Да что там однозначно!.. Господи, я вообще ничего не понимаю, я окончательно запуталась.

Начну с того, что я даже не уверена в том, что муж от меня ушёл. Что он ушёл именно от меня. Что он вообще ушёл. Странно, правда? И это ещё не всё! Я совсем не уверена, что человек, оставивший меня и моего сына, и человек, с которым я прожила одиннадцать лет и которого мой сын называл папой,—одно и то же лицо. Впрочем, лицо-то как раз ни при чём, лицо практически не изменилось.

Нет, так не пойдёт! Любой прочитавший эти строки решит, что я нуждаюсь в помощи опытного психиатра, что мой рассудок в результате семейных неурядиц помутился, сочувствующе покачает головой и читать дальше не станет. Я, во всяком случае, именно так бы и поступила всего несколько месяцев назад. А я хочу, чтобы мою повесть (или рассказ, или исповедь) прочитали до конца. А для этого необходимо, чтобы её (или его) как минимум напечатали. И потому я постараюсь быть последовательной, попытаюсь по возможности объяснить то, что объяснить в состоянии, и приложу максимум усилий для придания своей повести… или рассказу… атрибутов литературного произведения.

Для начала попробую определиться с жанром моего опуса. Я не претендую на лавры… вообще ни на какие лавры не претендую, поскольку это произведение—моя первая попытка написать что-то, по объёму большее, чем письмо к тётке в Кисловодск. Кроме того, я весьма туманно представляю себе разницу между рассказом, повестью, романом и всем остальным. Серёжка однажды попытался мне что-то объяснить, приводил массу примеров, но примеры эти только окончательно меня запутали. Так что назову я своё произведение повествованием. Звучит это как-то нейтрально, без претензий на глобальность и масштабность, но в то же время литературно.

Если что-то в моём повествовании покажется вам чересчур фантастичным, надуманным, неправдоподобным—не обессудьте: я буду писать про то, что происходило с нами, и так, как я это видела, понимала, воспринимала.

Наткнувшись на стихи, не пытайтесь рыться в памяти или на книжных полках: это стихи моего мужа, того самого, который от меня ушёл.

Часть первая

Идущий—да осилит путь!
Но нет пути в полночном мраке.
Уставшему—не отдохнуть.
И правды нет. Всё ложь. Всё враки.

Где силу взять, когда она
В бессилье обратится снова?
Как неуютно. Тишина.
Хотя бы жест. Хотя бы слово.

До недавних пор желание заняться литературой, даже если бы оно и посетило меня, вызвало бы разве что ироничную улыбку. И дело даже не в недостатке или полном отсутствии литературного дара: я никогда даже не задумывалась над этим, таким мыслям просто не было места в моей голове. О чём было писать-то? В моей жизни всё было так, как должно было быть: детский сад, родители, школа, институт, работа, муж, ребёнок… Кого могла заинтересовать моя размеренная, распланированная, сбалансированная жизнь? А если писать не о себе, то о чём?

И вообще: есть профессиональные писатели, их дело—писать, этим они зарабатывают на жизнь. Есть профессиональные (читай: фанатичные) читатели, их дело—читать, им это интересно. И те, и другие—не от мира сего, а все остальные—нормальные люди. Я себя считала нормальным человеком: всё, что необходимо было прочитать в школе и университете, я прилежно прочитала,

сдала экзамены, написала сочинения, полученную информацию затолкала в самый дальний закоулок памяти, чтобы не засорять эту самую память, и в дальнейшем довольствовалась в основном Чейзом да братьями Вайнерами, хотя под настроение могла и Достоевского достать из второго ряда (книги у меня на полках в два ряда стоят: в первом ряду—Агаты Кристи с братьями Вайнерами, а во втором—Достоевские с Ницше).

На своих подружек и знакомых, готовых не спать ночами, читая всё подряд—от рукописных вариантов Стругацких до «Белых одежд» или «Полёта над гнездом кукушки», я смотрела снисходительно: книга должна быть либо средством для отдыха, как теннисная ракетка или футбольный мяч,—с любой страницы начал и на любой закончил, либо пищей для ума, но тогда её нужно читать вдумчиво, перечитывая, откладывая и возвращаясь через некоторое время. А какой прок от этих проглатываний за одну ночь, когда наутро уже не помнишь, как кого звали и кто кем кому приходился? И вообще, не стоит преувеличивать ценность иллюзорных миров и надуманных судеб, когда вокруг нас настоящая, реальная жизнь, от которой мы зависим, к которой мы приспосабливаемся. Я была реалистом и прагматиком, не скрывала этого и не стыдилась. С какой стати?

С первым серьёзным испытанием мои реализм и практицизм столкнулись в десятом классе. Испытание это явилось в образе одноклассника, Петьки Поздеева, который влюбился в меня до неприличия, обожал меня, боготворил. Он ходил за мной по пятам, носил мой портфель, ради меня готов был совершить любой подвиг, любой безрассудный поступок. Впрочем, тогда слова «подвиг» и «безрассудство» были для меня синонимами.

Надо сказать, внешностью меня природа не обделила, умом тоже, мальчики на меня стали поглядывать ещё с восьмого класса. Но на меня их ахи-вздохи и томные взгляды не производили абсолютно никакого впечатления, цену себе я знала. Тем более не мог быть моим кумиром Петька, невзрачный хиловатый пацан в очках, помешанный на литературе вообще и на лингвистике в частности. Но его ухаживания были так наивны и трогательны, он был настолько предан, что я позволяла ему таскать мой портфель, провожать меня до дома, тем более что жили мы по соседству, через подъезд. Эта непонятная благосклонность никак не устраивала прочих моих воздыхателей, и они попытались наставить Петьку на путь истинный, наставив ему синяков и шишек. Не тут-то было! «Заморыш» не желал отступать, храбро вступал в бой с превосходящими силами, затем вытирал кровь с разбитого лица и после уроков по-прежнему провожал меня домой.

Противная сторона решила поменять тактику и отвадить Петьку, высмеивая и вышучивая меня. Лучше бы они этого не делали! Мой верный рыцарь не психовал, не размахивал руками, не бранился—он защищал меня. Защищал сосредоточенно, самозабвенно, истово. В конце концов, Петьку перекрестили в «идальго» и оставили в покое. Он принял эту победу как нечто само собой разумеющееся, не задавался и ни на что не претендовал, кроме моего портфеля и моей благосклонности.

Не знаю, что на меня подействовало—то ли его упорство, то ли скромность. Сейчас, через много лет, я начинаю склоняться к мысли, что главным фактором явилось повышенное внимание девочек, и не только из нашего класса, к Петьке, моему оруженосцу, моему телохранителю и прочая, и прочая. Так или иначе, но я влюбилась—до слёз по ночам, до троек в дневнике, до банальной ревности. Это была уже не просто победа, это был полный триумф. Но и к нему Петька отнёсся с олимпийским спокойствием, его отношение ко мне не претерпело никаких изменений.

Но закончились экзамены, отшумел выпускной бал, наши объятья и поцелуи переместились с лестничной площадки на кухню—и пришла пора выбирать. Я решила поступать в университет на юридический. Петька выбрал литературу. Не помогли ни мои уговоры, ни увещевания родителей. (Петькины мама с папой были, между прочим, не последними людьми в городе, хотя на меня это не производило особого впечатления. Впрочем, как знать!.. Может быть, я лукавлю перед самой собой, стараясь казаться чище и лучше в собственных глазах. Наше подсознание—вещь хитроумная.) Авторитета и положения Петькиных родителей хватило бы и на МГИМО, но он заартачился, заявил, что намерен сам распоряжаться собственной судьбой, и поступил в пединститут.

Стать женой сельского учителя я бы, наверное, смогла, хоть и совсем не так представляла своё будущее, но особой радости от такой перспективы не испытывала. Петьке свои сомнения и колебания я старалась не показывать, но он их всё-таки почувствовал, замкнулся. В наших отношениях появилась трещина, которая расширялась и углублялась с пугающей быстротой. В конце концов, отношения наши дошли до постели и до разрыва. Причём оба эти события произошли практически одновременно. Не могу сказать, что первый сексуальный опыт разочаровал меня или вызвал чувство отвращения, но и удовольствия особого не доставил. Мы расстались без скандалов и взаимных упрёков, интеллигентно.

Сейчас я почти уверена, что тогда судьба предоставляла мне шанс, а я его упустила. Да ещё и пыталась успокоить себя тем, что мимолётное увлечение не оказалось сильнее меня, не испортило мне жизнь. Со временем я привыкла к мысли, что

это было действительно мимолётное увлечение,— не поверила, а именно привыкла.

С тех пор всё пошло как-то вкривь и вкось. С учёбой в университете проблем не было, умом, как я уже хвасталась, Бог меня не обидел. А вот со всем остальным… Старые друзья, в основном одноклассники, разъехались, а те, кто остался, с головой утонули в проблемах и проблемках, все устраивались и пристраивались кто как мог.

Было несколько увлечений, действительно мимолётных, которые легко начинались и ещё легче заканчивались, не принося особого удовольствия и не добавляя уверенности в себе. Побывав несколько раз в компании детей «сильных мира сего»—завмагов, товароведов и прочего начальства, я была неприятно поражена скудностью мысли и безграничностью самовлюблённости. В дальнейшем в такие компании меня больше не тянуло.

Постепенно вокруг меня стал образовываться какой-то вакуум, я начала задыхаться и паниковать. Но по-прежнему искала причину не в себе самой, а в окружающих, в обстоятельствах, в невезении. Даже в родителях, став невольным свидетелем одного из их разговоров.

Начало разговора не предвещало ничего экстраординарного. Мама выключила телевизор, где знатоки виртуозно распутывали очередное преступление, и озабоченно сказала отцу:

— Коля, тебе не кажется, что с Наташей надо что-то как-то решать?

— Ты же знаешь, я крещёный,—отец попытался отшутиться.—Если бы показалось—перекрестился бы обязательно.

— Тебе бы только шуточки шутить. А ребёнок вон скоро учёбу заканчивает.

— М-да, ребёнок!—отец хмыкнул.—У этого ребёнка скоро свои ребёнки будут. Так что готовься, мать, в бабки записываться.

— Коля, я серьёзно, а тебе хаханьки. И от кого ребёнки-то? Она же не дружит ни с кем.

— Ну, сегодня не дружит, завтра задружит. Их дело молодое. Что ты загодя соломки подстилаешь? Дочка у нас симпатичная, вся в тебя.

— Ты не подлизывайся, не подлизывайся. Надо её определить куда ни то, пристроить…

— А я не подлизываюсь,—голос отца прозвучал неожиданно жёстко.—Чего мне подлизываться-то? Не крал, не врал, не выпивал…

— Ты не придуривайся, дело-то не шутейное. С начальником цеха разговаривал?

— Не разговаривал. И не собираюсь. Что ты её в малолетки норовишь всё записать? Ей уже пора научиться своей головой думать, пора Натальей Николаевной становиться.

— Что ты заладил как попугай: Николаевной, Николаевной? Что ты меня ейным отчеством понукаешь?

— Не ейным, а её.

— Не придирайся. Какая разница? Это ведь и твой ребёнок, надо ей помочь пристроиться. А то как засунут в какую-нибудь Сычовку. Или Еловку. От кого там ребёнки могут быть-то—от быков-производителей, что ли?

— Что ты от меня-то хочешь?

— Поговори с Егорычем, он тебя уважает, посодействует. Сам же говорил, что место скоро освободится.

— Я это уважение своим горбом заработал. И тем, что не просил за себя никогда, не канючил.

— Ну и дурак, что не просил. Другие вон…

— Ты меня другими не попрекай. Другие по карманам кошельки тащат, так мне тоже прикажешь? Чего тебе в доме не хватает? Все эти стекляшки, бирюльки, люстры, диваны, горки какие-то… В квартире повернуться негде, а всё мало, всё не хватает,—отец сердито зашагал по комнате из угла в угол.—Не унижался никогда и не собираюсь. Говорено уже переговорено, а опять начинаешь шарманку свою…

— Ну не кипятись ты, не кипятись. Не будешь—так не будешь. Прям тебя уж и попросить нельзя ни о чём, сразу набычишься.

— Можно попросить, можно. Только если по делу попросить, без этих ваших дрючек…

— Что значит «ваших»?

— А то и значит. Наташка вон на тебя всё больше и больше походить стала, такая же расчётливая, себе на уме, всё выгоду ищет…

— А чем это плохо? Как без этого в жизни?

— А душа-то как? Как без души-то? Без любви? Вон, почему у них с Петькой не сладилось, как думаешь?

— Ну не сладилось, поссорились они. Наташа—девочка умная, к жизни серьёзно относится. А Петя этот—он же всё к небу голову задирает, а под ноги не смотрит. А под ногами лужи да канавы. Несерьёзный он какой-то, не пара он нашей дочке.

— Какая же ты… Он же любит Наташку, понимаешь? Ей повезло в жизни, а она нос воротит, принца ищет. А принцы на дороге не валяются. Да и заслужить принца надо, а не абы как.

— Заслужить, подумайте-ка! А он чем заслужил?

— Сколько раз его лупили, а он от Наташки не отступился. Мало этого, что ли?

— Тебя тоже лупили, а ты так и не поумнел… Вообще, конечно, родители у него—люди влиятельные. Только что ж он на учителя пошёл учиться?

— Тьфу ты, господи, опять за своё! Тебе бы всё по полочкам разложить, всё взвесить, посчитать. И почему ты так запросто за них решаешь?

— А что я решаю, что?

— Но ты же не дала мне с дочерью поговорить.

— И не дам! Знаю я, о чём ты с ней поговорить хочешь. Не дам! И думать не смей! Она моя дочь.

— Да твоя она дочь, твоя. А я как же? Сбоку припёка?

— Ты её воспитывал, ничего не могу сказать. И вообще… Но судьбу дочке калечить не дам!
— Она ведь взрослая уже, самостоятельная. Сама должна решать, что хорошо, что плохо, что правильно, а что нет. Сколько можно врать-то ей? А что, если какой доброхот объявится да и заявит Наташке: а ты знаешь, что твой папа — вовсе и не твой, вовсе и не папа, а…
— Перестань! Я сказала — нет!
— Это твоё последнее слово?
— Последнее не бывает.
— Ну как знаешь. Только как бы беды не было, лучше уж мы сами скажем, чем кто-то чужой.
— Типун тебе на язык! Не накликай беду — она и не явится.

Отец, хлопнув дверью, вышел курить на балкон, а я лежала, кусая подушку и не сдерживая слёз. Плакала от обиды, от разочарования. Они мне всю жизнь лгали, и я не могла, не хотела им этого прощать.

Промаявшись всю ночь, наутро я сказалась больной, не смея посмотреть родителям в глаза и не решаясь заговорить. Они, видимо, всё поняли, но тоже не начинали разговора. Так мы до сих пор и играем в молчанку, всё больше отдаляясь друг от друга.

Закончив университет, я осталась совершенно одна. Не считая родителей, конечно, и двух-трёх одноклассниц, с которыми встречалась от случая к случаю. Мне удалось устроиться по специальности в СМУ. И потекли месяц за месяцем, пустые, одинаковые. Я упорно не верила, что осталась у разбитого корыта, упорно надеялась на будущее.

И вот на одной из вечеринок, куда я попала случайно — видимо, для уравновешивания преобладающего мужского контингента, — я и встретилась с Серёжкой. Он был весел, остроумен, настоящий заводила, душа компании. Как-то так получилось, что домой меня провожал именно он. Наша беспредметная болтовня содержала минимум информации, но о Серёжке у меня сложилось впечатление как о человеке надёжном, уверенном в себе, имеющем перспективное будущее. И я видела, что нравлюсь ему, причём очень нравлюсь.

На следующий день мы встретились снова. И на следующий тоже. Нет, я не влюбилась безоглядно, это был не тот случай. Скорее, это был жест отчаяния. Но вскоре я убедилась, что мне наконец-то повезло и я сделала удачный выбор. Серёжка не сюсюкал, не разглагольствовал о любви и великих идеалах, был деловым, энергичным и целеустремлённым. Розетки в квартире работали, выключатели выключали, обои не отваливались, телевизор исправно показывал, а радиола послушно ловила все станции, а не только «Маяк». Правда, у меня несколько убавилось оптимизма, когда я узнала, что Серёжка работает всего лишь бригадиром, но я быстро успокоила себя тем, что это только начало, что всё ещё впереди. А вот к тому, что Серёжка иной раз преувеличенно небрежно здоровался с какой-нибудь девицей, пряча при этом глаза, я относилась почти равнодушно: я у него не первая, он у меня не первый, все на равных.

Уже был назначен день свадьбы, когда вдруг позвонил Петька и сказал, что его родители погибли в автокатастрофе и он хотел бы со мной встретиться. Прямо так и сказал, без паузы:
— Наташ, папа с мамой погибли в аварии, я хочу тебя увидеть.

Помолчал немного и добавил:
— Пожалуйста, если сможешь.

И я пошла, сама не знаю почему.

Петька был худой, бледный, глаза ввалились, нос заострился. Но гладко выбрит, ногти не обкусаны, как раньше, а аккуратно подстрижены, рубашка поглажена. В доме пахло хвоей и смертью. Я не знала, что говорить, что вообще говорят в таких случаях. Спросила только:
— Когда похоронили?
— Позавчера, — ответил Петька, подал мне тапочки и первый прошёл на кухню.

Я пошла за ним. Пока разогревался чайник, мы неловко молчали. Наконец я решилась.
— Прости, идальго, — я назвала его, как прежде, школьным прозвищем, — я не знаю, что говорят в таких случаях. Мне жалко твоих родителей, я понимаю тебя и сочувствую, это правда.
— Я знаю, — Петька поморщился, как от зубной боли, услышав своё прозвище, — знаю, что ты действительно переживаешь, и благодарен тебе. Но я хотел бы поговорить о другом.
— О чём?
— Наташа… Только ты не отвечай сразу и не перебивай меня, ладно. Наташ… выходи за меня замуж.

До меня не сразу дошёл смысл сказанного, а когда я поняла, то просто растерялась. Петька помолчал, видимо собираясь с духом, и продолжил:
— Конечно, это всё выглядит нелепо и даже дико. Но если я сейчас не скажу, то не скажу уже никогда. Я любил тебя, люблю и всегда буду любить. Кроме тебя, мне никто не нужен. Конечно, я не очень… внешне… и очки тоже… Но ведь не это же главное, Наташ, не самое главное.
— А что? — глупо спросила я, но Петька, похоже, даже не заметил моей реплики.
— Никто не сможет любить тебя так, как я. Никто! И Сергей этот не сможет. Ты не будешь с ним счастлива.
— Почему? — сипло спросила я, откашлялась и повторила громче: — Почему ты в этом так уверен?
— Потому что тебя трудно любить, — на этот раз он услышал, — очень трудно. А я люблю тебя. Такую. Любую.
— Почему, ну почему вы все обо мне… так? Почему вы меня… — я хотела сказать «хороните», но сдержалась, — …обижаете? Что я вам такого сделала?

Петька убрал с плиты закипевший чайник, сильно потёр лицо ладонями, виновато улыбнулся.
— Ты извини, Наташ, я что-то… Я не это хотел сказать, не так. Ты извини, ладно?
— А что ты хотел сказать?
— Я сейчас устроился на работу в институт, у меня неплохая зарплата и перспективная работа. В недалёком будущем я смогу защититься, получу повышение. У меня трёхкомнатная квартира. Наташ, выходи за меня замуж, я тебя очень прошу.
— Ты что же, хочешь купить меня за трёхкомнатную квартиру?
— Наташенька, не надо так воспринимать, не надо. Я не хотел тебя обидеть, и ты меня не обижай. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей женой.

Я помолчала, сдерживая слёзы, потом кое-как взяла себя в руки.
— Петя, я пойду, наверное, пока мы окончательно не рассорились. Я не хочу с тобой ссориться.
— Не уходи, я прошу тебя, не оставляй меня одного. Хотя бы сегодня. Ну пожалуйста. Я не буду больше об этом. Не уходи, останься.

И я осталась. Сначала осталась попить чаю, а потом осталась и на ночь. Мне было жалко его, жалко себя, жалко Серёжку. Я решила, что эта ночь будет прощальной. И теперь уже действительно навсегда. Я не хотела за него замуж, не могла. Былая любовь перегорела, угасла. Да и была ли она? Осталось лишь чувство горечи и вины. А на таком фундаменте семью не построишь, даже с квартирой и зарплатой.

Утром я проснулась рано. Потихоньку, чтобы не разбудить Петьку, соскользнула с кровати, оделась на ощупь и ушла. Ушла с уверенностью, что никогда уже не попаду в эту квартиру. Но человек предполагает, а Бог располагает. Впрочем, об этом позже, не буду забегать вперёд.

Серёжка ничего не спросил. Я ничего не рассказала. Маленькая ложь порождает большую, об этом благодаря отцу я хорошо помнила с самого раннего детства. Поэтому предпочитала не лгать вовсе. А если и лгала, то лишь в самых исключительных случаях. Этот случай не был исключительным, я даже не чувствовала себя виноватой. А промолчать — не значит солгать.

Не знаю, как бы всё повернулось, если бы Петька позвонил ещё раз, но он не позвонил. И всё пошло своим чередом. Была свадьба, народу на которой было немного, в основном мои одноклассники с одноклассницами да Серёжкины друзья. Петьке приглашение я после долгих колебаний всё же послала, но он не пришёл. Потом был незабываемый медовый месяц. Затем родился Игорёшка. Через полтора года Серёжке дали двухкомнатную квартиру, и туда переехали родители, оставив нам свою трёхкомнатную. Жизнь продолжалась. Петька иногда появлялся на нашем горизонте, я даже познакомила их с Серёжкой, без всяких уточнений, естественно. После этого знакомства Петька иногда забегал к нам в гости, очень нечасто, впрочем.

По моим представлениям, жизнь наша складывалась вполне удачно. Были, конечно, недоразумения, размолвки, как же без этого, но общей картины они не портили, и я считала, что имею все основания быть довольной своей судьбой. И я была довольна. До недавнего времени.

Началось всё с того, что Серёжка стал регулярно посещать баскетбольную секцию, четыре раза в неделю. Объяснил он это тем, что сидячий образ жизни (он тогда уже работал в типографии) требует разрядки или наоборот — подзарядки. Объяснение меня вполне удовлетворило, Серёжка получил добро в форме поцелуя. Недели через четыре я стала замечать, что с Серёжкой что-то происходит, и забеспокоилась слегка. Впрочем, не настолько, чтобы устраивать какие-либо разбирательства. А ещё через несколько недель наступил тот злополучный день, когда события обрушились на наши головы лавиной и понеслись вскачь.

Сначала мне позвонили из больницы и сообщили, что мой муж, Серёжка то есть, попал в аварию, находится в больнице, но ничего страшного, здоровью ничего не угрожает: сотрясение, несколько синяков да шишек — пустяки, одним словом. Причём сказано всё было таким бодрым тоном, что я заподозрила самое худшее и помчалась в больницу, даже не переодевшись, не накрашенная и не расчёсанная.

Серёжка был без сознания и выглядел ужасно. Но, слава Богу, всё действительно обошлось, и через четыре дня его выписали. Как оказалось, это было лишь начало, основные события были впереди.

Позже, когда я уже считала, что всё вернулось на круги своя, всё наладилось и закончилось (как я тогда заблуждалась!), меня посетила гениальная, как мне показалось, идея: описать всё произошедшее с нами. И я усадила Серёжку за стол, вручила ему ручку, стопку бумаги и предложила поработать писателем. После недолгих увещеваний он согласился, но с условием, что это будет не хронологический пересказ событий, а литературное произведение, в котором «любые совпадения имён и характеров должны считаться случайными». Я посмеялась и условие приняла. Серёжка занялся работой с воодушевлением, но быстро остыл и предложил мне самой дописывать, согласившись «в меру сил и способностей» комментировать написанное мною. Мне оставалось только согласиться.

Прочитав Серёжкино сочинение, я была изумлена, если не сказать поражена. С одной стороны, всё было описано правильно, хронология событий соблюдена, ничего не упущено, но с другой стороны…

С другой стороны, всё было поставлено с ног на голову, причудливо перемешано или вообще искажено до неузнаваемости. Себя Серёжка преподнёс как этакого деревенского увальня, простодушного, но себе на уме. Меня обрисовал как ангела с крылышками верхом на метле. Наши семейные отношения превратились в смесь идиллии с мелодрамой. И вообще…

Я долго ломала голову, что мне со всем этим делать, а потом решила дописать, по возможности придерживаясь Серёжкиного стиля и созданных образов. Если он смог—чем я хуже?! Для чего мне это всё было надо, я почему-то тогда не задумывалась. Взялась не за своё дело просто так, без видимых причин.

Так или иначе, но вселившийся в меня дух экспериментаторства сослужил мне хорошую службу: сейчас я имею возможность просто взять написанное тогда и вставить в своё повествование. Для описания событийного ряда (мало того, что я начала говорить, думать и писать как Серёжка, так ещё и Петькиных выражений нахваталась) эта рукопись вполне подойдёт. Назовем её «Рукопись №1», тем самым недвусмысленно намекая на то, что существует ещё как минимум одна рукопись. И она действительно существует, но об этом позже, всему свой черёд.

Хочу лишь ещё раз подчеркнуть: то, что описано в «Рукописи №1», и то, что было на самом деле,—не совсем одно и то же, а реальную картину произошедшего, боюсь, уже просто невозможно восстановить. Итак…

Рукопись №1

«Мысль изречённая есть ложь!»—
Промолвил как-то некто. Что ж,
Выходит, этот некто лгал,
Ведь эту мысль он изрекал.

1.

Всю жизнь завидовал писателям и поэтам. Работёнка у них—не бей лежачего, тяжелее ручки ничего поднимать не приходится. И гонорары опять же…

У поэтов-то ещё куда ни шло, рифмы искать надо, напрягаться, метафоры с гиперболами выдумывать. Есть у меня знакомый поэт, мужик в общем неплохой, но с прибабахом. Сидим, бывало, пивко потягиваем, треплемся. И тут он вдруг начинает лить мимо стакана, челюсть у него отваливается, а глаза становятся грустными, как у больного поросёнка… Блин, в жизни не видел больного поросёнка, а вот точно знаю, что глаза у него такие. И сидит он (не поросёнок, конечно) минут десять в отключке, бормочет что-то. Потом очнётся, глотнёт пивка и заорёт дурным голосом: «Эврика!» Довольный такой, руки потирает, часы заводит. Меня эта его дурацкая манера постоянно заводить часы уже и не раздражает даже, привык как-то. Пробовал я ему подарить электронные часы, так он на меня обиделся как на врага народа, дней шесть не разговаривали.

Помню, хохма была: собрались мы на рыбалку. Хотя какая рыбалка с этим шизанутым! Но на гитаре он играет классно и поёт здорово. Как выдаст своё коронное: «Господа офицеры, голубые князья…»—так прямо свой в доску, хоть портрет с него рисуй.

Да, так собрались мы на рыбалку. Договорились железно: в пять я к нему заруливаю, грузим барахло—и на все выходные. Чего мне стоило Натаху уломать: она рыбалку терпеть не может, а меня одного отпускать не любит. Ему-то что, один живёт, ни одна жена с ним больше года не выдерживает, сбегает. Три раза уже пробовал, теперь завязал. «Бог,—говорит,—троицу любит. А потому выходит, что Бога нет». Он вообще иной раз такое скажет, что хоть стой, хоть за пивом беги.

Да, так я в пять часов как штык, весь в боевом, в багажнике еды под завязку, а удочки и прочие причиндалы—это за ним закреплялось, так уж сложилось по жизни. Ну, стою это я, гудю ему… нет, не гудю, а как это? Короче, сигналю. А он, этот поросёнок энцефалитный…

Ну вот, Натаха прочитала, что я тут накарябал, и щелбана закатила. Шутя вроде, а во лбу до сих пор звенит. И откуда сила берётся: маленькая, стройная, пальцы ласковые такие, проведёт ими по щеке—и не верится, что полчаса назад брился. А надо же: как засветит в лоб, так что твой тяжеловес. Я ей как-то пригрозил, что тоже могу щелбана отвесить. Смеётся. Говорит ехидно так: «Придёшь домой пьяный да связанный—не обессудь». И слово-то какое ехидное—«не обессудь». Знает ведь, что риску никакого. Одиннадцать лет собираюсь, а даже по попке ни разу не шлёпнул. Люблю я её, что ли? А попка у неё, надо сказать…

Ладно, что-то я опять не туда поехал. Так вот, она мне говорит: «Я тебя что просила написать? А ты что пишешь? Кому интересно про твоего графомана читать?» И никакой он не графоман, его даже как-то пропечатали в журнале. Стих такой красивый, про природу. «Над мокрым жнивьём опустевших полей летит умирающий крик журавлей…» Ну называется журнал «Овцеводство», так ведь не одни же овцеводы его читают. А она своё талдычит: «Был болтуном, болтуном и остался. Ты про историю свою пиши, а не разглагольствуй. Переписывай давай!» Нет уж, дудки, больше не буду. Сколько можно? Пять раз уже переписывал. Я же не писатель. И не собираюсь. (Ха, нашёл кому завидовать, рука вон уже отваливается.) Если бы не Натаха… Да и история больно забавная.

Это сейчас она забавная, а тогда мне не до смеха было. Да и не только мне. Натаха вон ревела по

ночам, думала, что сплю и не слышу. Если бы не она, чёрт его знает, как бы всё обернулось.

Началось всё в июле. Числа не помню, где-то в середине месяца. «Жигу» я восьмого июля раздолбал, а недели через полторы примерно и началось всё. Тачку свою я уделал тогда намертво; когда меня вытаскивали, даже дверцы отрывать не надо было, сами отвалились.

А было так: возвращался я с дачи. Ехал один, слава Богу. Натаха с сыном тоже собиралась, но там какие-то дела образовались, Игорёха малость приболел — и я один поехал.

Дача эта дурацкая! Всё равно ведь не растёт ни черта: полешь, поливаешь, ползаешь на карачках всё лето — и без толку. Конечно, что же будет на этих каменюках расти? Я бы и сам не стал. Сколько говорил: давай продадим, купим поближе, где земля получше. Нет, говорит, здесь воздух чистый, природа, Игорёшке полезно. А поближе участки стоят столько, что если продать машину и гараж, то всё равно не хватит. Если только себя в придачу предложить. Хотя Натаха говорит, что со мной ещё и доплачивать пришлось бы.

Ну вот, полил-прополол я всё, что полагалось, и порулил назад. Двадцать минут по колдобинам прыгал, зубами лязгал, пока до асфальта добрался. Дорога у нас на даче умопомрачительная, как Натаха сказала, и я с ней согласен, хотя, само собой, назвал бы её покруче. На нашей дороге только вездеходы испытывать. На что уж я езжу аккуратно, и то умудрился однажды картер пробить. Тоже потеха была: дождь льёт как из ведра, смеркается уже, кругом лес, а у меня в картере дырка с кулак. Но доехал, не зря буржуи свой модификатор хвалили.

Зато на асфальте благодать, хоть боком катись. Вот я и покатился! Езжу я хоть и аккуратно, но иногда быстро. А тут торопился, дома ещё дела были, да и Игорёха, когда приболеет, капризный становится, канючить начинает, Натаха устаёт с ним. В общем, покатился я с ветерком.

Впереди какая-то иномарка телепается, шикарная, как королева Франции. Я до сих пор... Хотя нет, это же в Англии королева. Я до сих пор в ихних машинах не разбираюсь, хоть и сам «Тойоту» купил. Различаю только BMW и «Мерседес», и то когда эмблему вижу. Обычно эти колымаги так шустро шмыгают мимо, что приглядеться к ним нет никакой возможности. А этот не торопился, ехал себе километров сто.

Догоняю я его, включаю мигалку на обгон (с этим у меня строго, даже в чистом поле поворот включаю, привычка профессиональная), а навстречу ползёт агрегат типа МАЗа. Может, и успел бы обогнать, но бережёного Бог бережёт, притормозил. И ещё раз убедился, что Бога нет: этот лопух на иномарке вдруг выезжает на встречную полосу. Что он там забыл — не знаю, в больнице говорили, что задремал он. Это днём-то! Сам он мне потом рассказал, как дело было, но я ему не больно-то поверил. С женой он целовался, видите ли. Кретин! Нашёл где целоваться.

Короче, выезжает он на встречную полосу, а МАЗу деваться некуда, канава у обочины метра полтора. Он тоже на встречную полосу. Растерялся пацан, машина военная была, а какие из солдат шофера — это известно. Сам когда-то такой был. И получается кино: вот он МАЗ, а вот он я, лоб в лоб. Тормозить бесполезно, свернуть некуда, канава.

Как я успел заметить мостик этот — сам не понимаю. Говорят, стресс. А мостик чахленький такой, даже не мостик, а так, сворот. А за своротом дороги никакой, пни да ямы. Я вдарил по газам и перед самым носом у МАЗа проскочил на сворот этот окаянный. Проскочить-то проскочил, а дороги нет. «Жига» — машина хорошая, слов нет, но летать не умеет. Метров тридцать я уворачивался от пеньков, жал на тормоз, аж педаль погнул. А может, она позднее погнулась, не знаю. Только потом какой-то пенёк не успел отскочить в сторону, и пошёл я кувыркаться. Четыре раза крутанулся через крышу. Но не только дуракам везёт — ни одного перелома. Царапины, шишки, порезы... Но живой. И ни одного перелома! Головой вот только треснулся здорово, а так нормально. Но всё равно вырубился. Очнулся, только когда меня из машины вытащили. Лежу на земле, весь в масле, в грязи, головой мотаю. В ушах звенит, перед глазами круги разноцветные, тошнит. Сколько раз Натаха ехидничала: «Были бы мозги — было бы сотрясение», — и как в воду глядела. И мозги нашлись, и стряслись они — куда с добром! Четыре дня провалялся в больнице. Или пять. Нет, четыре, кажется.

Когда из больницы выписался, собирался пешком домой добираться: Натаха почему-то не встретила, а в кармане сквозняк, не то что на такси — на «Сникерс» не хватает. Правда, подкатывался какой-то жук, предлагал подвезти. Нам, говорит, по пути, я в вашем доме живу, в соседнем подъезде. Связываться я с ним не стал: не довелось нам почему-то встретиться за десять лет во дворе, да и соседей своих я знал — по крайней мере, в лицо. А тут подъезжает этот лопух на иномарке, тот самый, и затаскивает меня внутрь. Жена его сидит, вроде бы как ревёт в четыре ручья. Ага, думаю, сейчас начнут уламывать, чтобы в ГАИ как-то дело утрясти. Нашли время! А они меня привезли домой, сдали Натахе на руки, выгрузили кучу еды с выпивкой — и укатили.

Натаха тоже ревёт. Давай извиняться, что не встретила, но мы, говорит, с Колей договорились, он сам настаивал, что встретит тебя и домой привезёт. Так, думаю, с Колей, значит. Меня то Серым назовёт, то зубастым-клыкастым, то ещё

как-нибудь. А он, значит, Коля. Но сказать я ничего не успел. Когда Натаха начинает о ком-нибудь заботиться — выноси мебель. Через сорок минут я уже лежал в постели, умытый, накормленный, согретый и обласканный, не один лежал, сами понимаете. Среди Натахиных новостей, которые я слушал вполуха, попалась и интересная: у нас, оказывается, действительно новый сосед, молодой, холостой, вежливый, со всеми здоровается, симпатичный блондин. А того, что ко мне в больнице подходил, блондином можно только сослепу назвать. Интересно!..

На следующий день лопух Коля привозит кучу денег и бумагу, из которой следует, что я доверяю ему делать с моей «жигой» что угодно. А у Натахи глазки такие честные-честные. Выясняется, что Коля забрал по доверенности мою угроханную машину. На запчасти. (Интересно, куда он будет эти запчасти прикручивать?) И за такие деньги, на которые можно купить две новых.

Ну, две не две, а «Тойоту» мы через пару дней купили вполне приличную. Натаха тогда уговорила меня отпустить с миром лопуха этого. Оказалось, что он не лопух вовсе, а крутой бизнесмен какой-то. Мог ведь тогда смотаться с концами, я ни номер не запомнил, ни марку машины. Пацан с МАЗа вообще два дня не мог вспомнить, как его самого зовут, перепугался вусмерть. Понять его можно, зрелище не для слабаков. Видел я потом свою тачку, вернее, то, что от неё осталось. Впечатляет!

Мог бы смотаться, да ведь не смотался. Поймал попутку, чтобы меня в больницу отправить, два часа честно ждал гаишников, потом поймал какой-то трейлер, уволок мой металлолом в город. Да и заплатил не слабо, у нас отродясь таких денег не было. И в ГАИ всё сам уладил. Для себя старался, понятное дело, и всё-таки…

Так бы всё и закончилось более-менее нормально, если бы не последовавшая за этим история. Чудная история, непонятная.

Подъезжаю я к дому на новенькой «Тойоте», весь из себя. «Тойота», если честно, не совсем новенькая, но выглядит шикарно. Хлопаю дверцей, нажимаю кнопку на брелке, вякает сигнализация. Машина блестит, соседи завидуют. Красота, короче. Закуриваю сигарету, собираюсь сунуть пачку в карман, но что-то меня останавливает. Такое чувство, будто забыл что-то сделать. Подёргал дверцы — закрыты. Пошарил по карманам — все на месте. Тьфу ты, думаю, что за напасть? Сунул пачку в карман, а на душе кошки скребут, и сердце ёкает. Стою, как дурак, около машины, глазами хлопаю и матерюсь про себя. Опять пошарил по карманам, вытащил пачку треклятую. Чувствую, что-то с ней не так, неладно. Какая-то она *не такая*. Вертел её, вертел… Секунд через двадцать вдруг дошло: сигареты не мои. Я всегда курю «State Line», а эта пачка вроде бы того же цвета, а что написано — непонятно. Давай я её опять вертеть, но так ни одного знакомого слова и не нашёл, галиматья какая-то на пачке написана. И главное, совершенно непонятно, откуда она могла взяться: на работе никого, все по отпускам разбрелись, а в бухгалтерии никто не курит. Да и не заходил ко мне никто!

Вспомнил я, что в бардачке у меня всегда валяется нераспечатанная пачка сигарет, так, на всякий случай. Открываю я машину, достаю сигареты — и челюсть у меня отвисает, как у того знакомого шизанутого поэта. Точно такая же пачка с такой же галиматьёй! Ну всё, думаю, машина не моя. Перепутал случайно, эти иномарки все одна на другую похожи, а ключ случайно подошёл. И понимаю, что ерунда это всё, а другого объяснения найти не могу. Бегу рысцой к номерам — и обалдеваю ещё больше: там не только не мой номер, но и вообще не понять, что на нём написано. Какие-то закорюки. Правда, их столько, сколько и должно быть на номере, и флажок на месте, но что это за закорюки — леший знает.

Сел я на бампер, закурил незнакомые сигареты — вкус точно как у «State Line» — и призадумался. Вернее, хотел призадуматься. Но в голову лезла всякая чертовщина про иностранных шпионов, таинственных соседей, летающие тарелки и прочий бред. Не знаю, сколько я так просидел, но прилично, сигареты три выкурил. Так ничего и не придумав, поплёлся домой. Как у меня какой затык, так тянет к Натахе, как-то ловко у неё получается проблемы решать.

Дома пахло какой-то вкуснятиной. Готовить Натаха не очень любила, но иногда в неё вселялся бес, вернее, ангел, и тогда она готовила нечто сногсшибательное, перекопав всю библиотеку в поисках нужного рецепта. Игорёха сидел за столом и прилежно готовил уроки. Но в углу заводной автомобильчик упорно полз на стенку, и было ясно как Божий день, что за уроки мой сын сел только что, когда услышал, что я открываю дверь. Не то чтобы он меня боялся, но считал, что так безопаснее. И правильно считал, между прочим.

Я прохожу на кухню, чмокаю Натаху, хватаю что-то съестное со стола, привычно успеваю убрать руки от шлепка, а сам всё думаю, как бы так ловчее подкатить к Натахе, чтобы она прочувствовала серьёзность ситуации. Я сам был почему-то уверен, что ситуация дохлая настолько, что дальше некуда. Хотя, если разобраться, что такого случилось? Ну сигареты не те — и что? Но есть, видимо, это шестое чувство. Или седьмое.

Натаха сама замечает, что я не в своей тарелке, у неё на такие вещи глаз намётанный. Встаёт она, значит, в позу номер три — нетерпеливая, но внимательная паинька — и смотрит на меня проникновенно. А мне что-то совсем поплохело,

стою столбом и не знаю что сказать. Она начинает нетерпеливо покусывать губы, а я хорошо знаю, что за этим последует. Достаю я эту загадочную пачку, подаю ей. Она вертит её с недоумением и пожимает плечами. И тогда я брякаю такое, чего в жизни не говорил, даже когда мы с Натахой амурничали.

— Наташенька,—говорю я, глупо улыбаясь,—если б ты знала, как я тебя люблю!

Всё, думаю, сейчас она мне выдаст. Вины за собой никакой не чувствую, но муторно почему-то до невозможности. А она молчит растерянно и, пожалуй, даже испуганно. Вот это я сказанул—главное, вовремя! И начинаю я бормотать торопливо, пока она не очухалась:

— Нет, правда, мы с тобой уже столько лет живём, а я всё Натаха да Натаха… Да и ты тоже… Этого вон Колей называешь. Обидно даже…

Сам понимаю, что ерунду горожу, а остановиться не могу.

И вдруг глаза у неё сделались большие-большие, так и брызнули синевой. Уронила она мои сигареты на пол и говорит… что-то мне говорит. Вижу, спрашивает что-то, а понять ничего не могу, слова все незнакомые. И говорит так странно… язык сломать можно. Я по инерции продолжаю оправдываться: дескать, я не то вовсе имел в виду, и вообще, давай замнём для ясности—и пытаюсь её обнять. А она вдруг как шарахнется от меня. На плите что-то опрокинулось, пар, дым, но Натаха туда ноль внимания, и всё пятится к окну, и глаза у неё… как тогда, в больнице,—испуганные и жалостливые. Опять она что-то говорит, я опять не понимаю ни слова—и начинаю въезжать в ситуацию: у меня поехала крыша. Не было печали! Такой подлянки от судьбы я никак не ожидал, поэтому не нашёл ничего лучшего, чем грохнуться в обморок. Самым натуральным образом.

Дальше я всё помню смутно. Натаха ревёт, сын ничего не понимает, но тоже ревёт. И я с ними за компанию. Сколько мы так проревели—не знаю, но когда я проснулся (выходит, я всё же заснул), было уже утро. Солнышко в окошко светит, будильник тикает, на кухне из крана вода капает. Сколько раз я в этом кране прокладку менял, а толку никакого, всё равно капает. До сих пор, кстати. Под окнами двери гаражей скрипят и хлопают, народ на работу собирается.

Я привычно сползаю с дивана, потягиваюсь, да так и остаюсь стоять с поднятыми руками: Натаха моя в кресле около дивана одетая спит. И Игорёха рядом на полу примостился. И тоже одетый. Что, думаю, за чёрт, он же в школе должен быть, четверг же сегодня, точно помню. Открываю я рот, чтобы прокукарекать,—и вспоминаю наконец про вчерашнее. Таким меня и видит проснувшаяся Натаха: с поднятыми руками и разинутым ртом. Не знаю уж, что она там подумала, но вид у неё был ещё тот, кукарекать сразу расхотелось.

Руки-то я опустил и рот закрыл, но молчу как рыба об лёд, боюсь заговорить. И она молчит. Так поизображали мы глухонемых минут пять, но делать-то что-то надо. Промычал я нечто невразумительное—и к полке с книгами. Про номера на машине вспомнил. Хватаю «Заповедник гоблинов», он у меня всегда крайний слева стоит, открываю—галиматья! Тупо полистал страницы, посмотрел картинки. С картинками всё в порядке. Но ни одного знакомого слова, ни одной знакомой буквы. Да что там буквы! Где должны быть номера страниц, тоже закорюки торчат. И никаких цифр.

Бросил я книгу на пол, схватил другую. Та же история! Что-то у меня там замкнуло, в черепушке, и стал я вытаскивать все книги подряд, листать их и бросать на пол. Очнулся, только когда Игорёха проснулся и заревел. Сел я прямо на книги, руки дрожат, в голове ни единой мысли. Жена с сыном носами хлюпают, а на меня вдруг смех напал. Сижу, хохочу, будто мне на сдачу вместо червонца сотенную сунули.

Понемногу мы успокоились, я отхохотался, они отревелись. Натаха на часы взглянула, подскочила, давай Игорёху тормошить, в школу собирать. Тот даже не пискнул ни разу, мигом собрался и ускакал. Обычно эта процедура занимала в три раза больше времени и сопровождалась ворчанием и хныканьем.

Я тоже не очень любил в школу ходить в своё время, но не до такой же степени. Хотя… И уроки, помню, прогуливал, и тетрадки с двойками прятал. Как сейчас помню: в третьем классе схлопотал я по русскому двойку. И буквально следом—два кола. За скверное чистописание. И вообще… Да учительница ещё что-то грозное на полях написала, красными чернилами. Страница красивая такая получилась, но не тащить же её домой, отец у меня таких шуток не понимал, а его методы воспитания большим разнообразием не отличались, только ремни менялись, принцип же при этом сохранялся.

И я, молодой да глупый, решил эту тетрадку спрятать. Нет бы сжечь или в речку выкинуть, а я закопал её в снегу и пошёл, довольный, домой. До весны всё было в порядке, учительница сменила гнев на милость. Да и вообще, учился я хорошо, способный был. Но разгильдяй. А весной снег растаял, мои двойки с колами в руки к отцу попали. Три дня в школе я учился стоя. Так что Игорёха в меня пошёл, в меня, чего уж там. Яблоко от яблоньки…

Странное дело: Игорёха в меня пошёл, а я в кого? У меня и ремня-то даже нет, брюки и так прекрасно держатся, талия как у девочки. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно… И всё-таки непонятная штуковина эта наследственность. Иногда ребёнок—вылитый папа (или мама). И нос там, и уши, и прочее. Как

фотокарточка двадцатилетней давности. А характер такой, что и близко не лежало. Вон у Володьки Антон — вылитая мама, копия, один в один. Но Танюха, жена Володькина (мама Антона то есть), живчик неимоверный, пять минут на месте не сидит, везде заглянет, всё расспросит, везде нос сунет. Обидчивая страшно, на любую мелочь обидеться может, но через пять минут уже и не помнит, на кого и за что обиделась. Володька её сперматозоидом дразнит, он вообще мужик грубоватый. Но прозвище выдумал — в самую точку!

А Антон у них… чудо ещё то. Залезет в свой уголок с игрушками, что-то там мастерит, ковыряется, и всё молча, сосредоточенно. Не трогать его — так он может весь день в углу просидеть. Володька как-то пробовал его перемолчать, на второй день распсиховался и плюнул, а Антон ничего и не заметил. То есть непохожи абсолютно! Да мало ли ещё случаев таких…

Это я сейчас про наследственность рассуждаю, а тогда мне не до этого было. Игорёха в школу убежал, а мы с Натахой сидим и смотрим друг на друга. Молча. Потом она первая заговорила. Видимо, утешала меня. Я было подумал: а что меня утешать, дефектный я, что ли? Руки целые, ноги на месте, всё остальное тоже в порядке. Соображалка тоже, в общем… Хотя с соображалкой-то как раз проблемы и образовались.

И давай я тогда рассуждать, чем же мне моя напасть может обернуться, каким боком вылезти. Натахе просемафорил, чтобы не мешала, она на полуслове и замолчала. Смотрит на меня как на Иисуса Христа. И такая надежда у неё в глазах, что я чуть было слезу не пустил. Но взял себя в руки. В первую очередь, думаю, успокоиться надо, в себя прийти. Стал собирать книги с пола и на полки их составлять.

Надо сказать, по натуре я педант, люблю, чтобы всё было на своих местах, чтобы ровно и логично. Корректуры на работе аккуратными стопочками складываю. Даже хлеб откусываю так, чтобы край ровный был. Натаха над этим всегда хихикала, но, смотрю, и сама стала так откусывать. Книги на полках я тоже расставляю не абы как, а по размерам, по авторам, по томам.

Вот с томами-то я и запутался. Стал расставлять двенадцатитомник Стругацких, а как расставлять, если вместо цифр на корешках иероглифы какие-то? Натаха было взялась мне помогать, но я её отстранил по возможности мягче. Загадал для себя: расставлю по местам правильно — всё образуется. Давай вспоминать, на каком томе что нарисовано, по картинкам ориентироваться. Минут тридцать сортировал я эти двенадцать книжек, туда-сюда переставлял. Наконец решил, что все на местах стоят. Подозвал Натаху, показал ей на полку и смотрю вопросительно. Она молодец, моментально сообразила, о чём речь. Провела пальцем по корешкам и заулыбалась: дескать, всё в порядке.

Эта маленькая победа меня просто окрылила, ей-богу. Не всё, думаю, потеряно, поживём ещё. Не с таким справлялись, поборем и это!

Составили мы с Натахой остальные книги, и стал я думу думать, соображать, чем мне грозит эта фиговина и что с ней поделать можно.

Во-первых, надо проверить, как у меня со всем остальным дела обстоят. В смысле соображалки. Что-то ведь у меня там сдвинулось по фазе, видно, после аварии. Почему-то не сразу, правда. С этим тоже разобраться надо. Сначала самому попробовать; если не получится (а скорее всего, не получится: что я, врач, что ли?) — искать специалистов. На больницы особой надежды нет, там в основном коновалы сидят. Их, конечно, можно понять: толпа больных, рутина, запарка, на особые случаи ни времени, ни желания не остаётся. А случай у меня особый, это-то ясно как Божий день. Сходить в больницу можно, но надеяться на неё не стоит.

Во-вторых, разобраться с тем языком, на котором я говорю. Я-то ведь никакой перемены не почувствовал, значит, владею этим языком в совершенстве, как в анкетах пишут. А в совершенстве можно владеть лишь родным языком, я это по телику слышал, в какой-то передаче. Где же это я родился? Может, действительно порасспрашивать родителей, вдруг там какие-нибудь тайны мадридского двора, что-нибудь с генами? Впрочем, это не годится даже как рабочая гипотеза, не тот случай. Разве что во времена татаро-монгольского ига…

В-третьих, надо будет изучать русский язык. Вот, блин, помню же, что он именно русский, а ни черта не понимаю. Легко сказать — изучать! А как его изучать? В школу идти, что ли? Староват я для школы, придётся репетиторов нанимать. Сколько же это стоит? Могут ведь содрать три шкуры, а потом сказать, что это я сам такой тупой.

Стоп! А с работой-то завязывать придётся. Какой из меня книгоиздатель, если я по-русски ни бум-бум? Да и вообще, с работой может оказаться не так просто. Кем я могу в таком виде работать? Грузчиком — и то не получится: склады с вагонами перепутаю, на ящиках тоже что-то пишут, в накладных. Да и вообще, как я пойму, что надо идти именно туда и таскать именно то? На пальцах можно, конечно, объяснить, но кому это надо — со мной нянькаться? Рабсилы сейчас полным-полно.

Так, а что я вообще умею делать? Шофёром, в принципе, можно работать, если ездить по знакомым маршрутам, чтобы в названиях улиц не разбираться и в номерах домов. Куда ехать — написано в путёвке… Ага, написано. Кто б ещё прочитал, что там написано. Да и с гаишниками сталкиваться придётся, как ни крути. А что можно гаишнику на

пальцах объяснить, если он по-человечески ничего понимать не желает? Хоть ты ему серенады пой, а он своё талдычит: «Вы въехали на пешеходный переход на предупреждающий жёлтый сигнал светофора. Согласно пункту…» Нет, шофёром не получится. А если…

Так я перебирал профессии до тех пор, пока не запутался окончательно. Ладно, думаю, с этим потом разбираться будем. Сначала надо определиться с первыми пунктами. Потратить на это день (ага, как бы не так!), с работы за один прогул не выгонят, войдут в положение. А если ничего не изменится, то всё равно увольняться придётся. Куда ни кинь—везде клин…

Денёк этот был для нас, надо сказать, не из самых приятных. Совсем худо стало, когда я взял гитару и попытался петь. Пою я не ахти, конечно, но для настроения у костра, да ещё под сто грамм,—ничего, народ терпел. А тут… Аккорды играю, всё в порядке, слова помню, а пытаюсь петь—не получается ничего! Не ложатся эти слова на мелодию. Кучу песен перепробовал, но даже про кузнечика спеть не смог, ритм совсем другой, строчки длинные получаются, музыка гораздо раньше кончается.

Натаха опять разревелась. Гладит меня по голове, как Игорёху, и говорит что-то. А у самой слёзы текут. Я её обнял, тоже утешать пытаюсь. Она от моих утешений вообще в голос заревела, кое-как отпоил, стакана три воды выпила. Представляю, каково ей было. Я слушал потом самого себя, записали мы на магнитофон моё лепетанье. Хотя какое, к чёрту, лепетанье! Рычание с повизгиванием и мычанием, любого мужика испугать можно. Одним словом, завал полный. Я так умотался от всего этого, что часа в три уснул сидя на диване. Спал, правда, недолго, не больше часа. А когда проснулся, вижу—Натаха на полке книжки переставляет, Стругацких. И такая тоска на меня навалилась беспросветная! Пошёл на кухню, налил себе стакан водки и хряпнул без закуски. А потом вдогонку ещё полстакана.

Выпиваю я довольно редко, по праздникам или когда у друзей собираемся, в два-три месяца раз, иногда чаще. И выпить могу не очень много. Во всяком случае, после полутора стаканов меня развозит прилично: на ногах ещё стою, но язык начинает заплетаться. А тут голова ясная стала, и лёгкость во всём теле. И тоска исчезла. Взял я гитару и спел про кузнечика. Правда, слова пришлось переделать, чтобы под мелодию подогнать. И стала песня не про кузнечика, а про муравья. И про муравьеда. Но меня это не смутило. Какая, в конце концов, разница, кто кого съел, главное—спеть! Потом я ещё что-то пел, про подмосковные вечера, про казацкого атамана, про стюардессу… Натаха не знает, то ли ей плакать, то ли смеяться, пытается подпевать. Сумасшедший дом, одним словом.

Когда я маленько оклемался, было уже темно. Игорёха со школы к бабушке укатил, Натаха его отправила от греха подальше. Эйфория прошла. Тоска тоже. Осталось понимание, что наскоком этот узелок не разрубить. Взял я магнитофон, стал диктовать в него слова песен, которые у меня в песеннике были, в том порядке, в каком они были записаны. Натаха мне на пальцах объясняла, какая песня за какой следует. Пока записывали, она немного развеселилась, даже смеялась, когда я никак не мог понять, что она мне показывает. Записали мы двадцать четыре песни. Больше я, к сожалению, никаких текстов наизусть не знал. Потом она надиктовала те же песни на русском, и мы попытались сравнивать записи. Проковырявшись минут сорок, бросили это бесполезное занятие: ну не специалисты мы, что тут поделаешь.

Из словарей у нас дома нашлись только английский, немецкий и почему-то японский. Откуда взялся японский—ума не приложу, я вроде бы не покупал, Натаха тоже плечами пожимает. Да, она ещё позвонила по телефону, приехал Петруха, который языками чуть ли ни с детства занимается. Не профессионал, конечно, любитель, но всё-таки. Послушал он меня, головой покачал, переписал кассеты с моими песнями, мне руку пожал, с Натахой о чём-то в коридоре пошептался—и уехал. А чего шептаться, я ведь и так ничего не понимаю, можно хоть во всё горло орать.

Спать мы легли усталые, как собаки. Натаха сначала хотела на Игорёхину кровать уйти, я уже и обидеться успел: что же я, совсем чужой стал?—но усовестилась, пришла ко мне. Впрочем, нам не до секса было, вырубились моментально. И снилось мне, что я—голова профессора Доуэля, тела у меня нет, а вместо языка кассета от магнитофона.

11.

Серёжка устроил бунт на корабле. Пришёл на кухню, торжественно вручил мне ручку и листок бумаги, отступил на шаг и разразился речью, из которой следовало, что руки у него не железные, по русскому языку у него четвёрка, академиев он наших не кончал, что его следует нежить, холить и лелеять, и вообще, «от работы кони дохнут, а лошади умирают». Затем он сделал эффектную паузу и уже нормальным голосом сказал:

—Знаешь, что-то я выдохся. Давай так: ты пиши, а я буду комментарии вставлять. На отдельных листочках. А потом мы из этого винегрета салат сделаем. Лады? Ум—хорошо, а два с половиной—лучше!

Несмотря на беспардонную, незакамуфлированную лесть, я попыталась быть непреклонной:

—Случаи творческих тандемов в лице Ильфа и Петрова или твоих любимых Стругацких хоть и

признаны классическими, но являются всё же исключением из правил. У литературного произведения должен быть один автор и один стиль, и тому есть достаточно подтверждений. Взять хотя бы…

—…«Пикник на обочине». И авторов два, и стили разные, а вещь классная. Да и какой из меня писатель, ёлки-моталки? Такое даже в «Овцеводстве» не возьмут. И вообще,—он помялся немного, но всё-таки закончил,—у меня голова болит от этой писанины.

Это был запрещённый прием, пользовался им Серёжка очень редко. Значит, действительно устал. Пришлось соглашаться на его условия, тем более что инициатором этого литературного предприятия была я.

Перечитав ещё раз то, что написал Серёжка, я призадумалась. На литературное произведение это действительно мало походит, опубликовать едва ли удастся. Да и стоит ли? А бросать начатую работу жалко, уже столько труда и времени вложено. Пусть то, что получится, будет чем-то вроде дневника, этакие семейные хроники времён Натальи и Сергея. Ведь не каждый день случаются подобные происшествия. Будем на пенсии за чашкой чая почитывать.

Исходя из таких соображений, я и буду излагать эту необычайную историю.

Когда Серёжка вдруг заговорил на абсолютно непонятном языке, в первый момент я скорее рассердилась, чем испугалась. Решила, что это очередной розыгрыш. Все свои розыгрыши, иногда довольно безобидные и легко угадываемые, а иногда отрепетированные и подаваемые весьма искусно, Серёжка испытывал на мне. Если поверила хоть на пять секунд—можно разыграть коголибо ещё. В противном случае попытка считается неудавшейся и никогда больше не повторяется. Первое время эти его забавы меня раздражали и даже злили, но со временем я почти привыкла, и когда за пять минут до выхода куда-нибудь он вдруг делал испуганное лицо и говорил: «Ёлки-моталки, где это ты умудрилась такое пятно подцепить?»—я уже не бежала к зеркалу сломя голову. Зато когда Игорёшка засадил стекло в руку и Серёжка прибежал звонить в скорую, я наорала на него и трубку отобрала. До сих пор неприятно об этом вспоминать. И не потому, что не поверила, а из-за Игорёшки: с ним беда, ему больно, а я не почувствовала, звоночек внутри не прозвенел.

И тем не менее, мужа своего за одиннадцать лет совместной жизни я изучила досконально, не побоюсь этого слова. Уже в следующее мгновенье я поняла, что происходит что-то странное, непонятное. Ничего иностранного от Серёжки, кроме «C'est la vie, madam», я никогда не слышала. А тут хоть и торопливая, но вполне связная и естественная речь. И вот тогда я испугалась. Боже, как я тогда испугалась! Мне показалось, что рядом со мной кто-то чужой, невообразимо чужой, что произошла катастрофа, мир рухнул.

Я ещё попыталась пошутить—что-то о необходимости тщательнее закусывать. А когда он сам перепугался, а потом вообще упал в обморок, я совсем запаниковала. Побежала доставать аптечку, уронила её, всё рассыпалось по полу. Нашатырный спирт куда-то завалился. Я схватила телефонную трубку, всё на свете перепутала и позвонила в пожарную часть вместо скорой помощи. Скорее, кричу, приезжайте. На том конце провода приятный баритон принялся уточнять, по какому адресу возгорание и что именно загорелось. А я и адрес наш забыла, и про возгорание ничего понять не могу.

Пока я с телефоном воевала, Серёжка сам очнулся. Стыдно-то как! Не дай Бог, что с Игорёшкой случится, а я опять запаникую. Сейчас-то я написала на бумажку телефоны милиции, скорой помощи, больницы, пожарной части и приклеила на стенку рядом с телефоном. Знакомые шуточки всякие отпускают. Пусть веселятся, переживём.

Помогла я Серёжке до дивана добраться. Я вся в слезах. Игорёшка прибежал; глядя на меня, тоже заплакал. Позвонила я всё-таки в скорую помощь. Приехали они, послушали, простучали, а как узнали про аварию и что он в больнице лежал, сразу засобирались. При сотрясении мозга, говорят, всякое бывает. Надо лежать, отдыхать, не волноваться. В больницу везти отсоветовали, там ни лекарств, ни обслуживающего персонала не осталось. Дома хоть уход постоянный. Стала я объяснять про то, что не понимаю его слов и он меня не понимает, а они даже не делают вид, что слушают. Посттравматический синдром, говорят, ничего страшного, координация движений нормальная, речь связная. Да какая же она, говорю, связная, если понять ничего невозможно? Они пожали плечами и уехали. Серёжка, похоже, даже не заметил их приезда. Попыталась я с ним разговаривать, он головой мотает и морщится. Потом вдруг заплакал. Никогда раньше не видела его плачущим, в больнице он храбрился, шутил напропалую и порывался меня по коленке погладить. До чего же грустное зрелище—плачущий мужчина. Неужели и мы такие, когда плачем?

Следующий день был, пожалуй, самым тяжёлым из этой недели. Сначала Серёжка с книгами запутался, Стругацких расставил как попало. Я сделала вид, что всё правильно, а самой так жалко его стало. Как же он теперь жить-то будет? Это же ещё хуже, чем глухота и немота, никаких нервов не хватит. А он вроде бы как взбодрился, по комнате ходит, предметы всякие рассматривает, магнитофон включил. Поставил кассету и мне

рукой машет, подзывает. Что-то говорит, объяснить пытается, руками какие-то знаки делает и всё на кассеты показывает. А я ничего понять не могу. Прямо руки опустились… Как представила, что всю жизнь вот так будем друг другу руками махать… Ругаю себя, что не о том думаю, ему-то гораздо хуже, о нём думать надо. Вроде бы помогло, но всё равно на душе тяжело.

Потом сообразила, что он хочет послушать разные песни, на разных языках. Стала я ему включать все по очереди. На турецкой он вроде встрепенулся, но затем пожал плечами и выключил магнитофон.

С гитарой Серёжка долго мучился, всё пытался спеть что-нибудь. Аккорды правильно играет, а слова в мелодию не вписываются. Опять он расстроился, пошёл на балкон курить. А я выглядывала из-за занавески, как бы он с балкона не прыгнул. Не дай Бог ещё раз такое пережить!

Вроде бы и не делали ничего, а умаялись оба. Пока Серёжка спал, я решила зачем-то Стругацких переставить. А он возьми да проснись! Я сделала вид, что пыль стряхиваю, да поздно, он всё понял, посерел весь. Достал из холодильника водку и выпил, не закусывая, полтора стакана. Я ему принесла что-то поесть, сама ругаю себя за эти книги, бес меня попутал так не вовремя ими заняться. Бутылку потихоньку в холодильник спрятала: кто знает, как на него водка подействует?

Но ничего, взял гитару, начал петь. И складно так пел, хоть и непонятно. Я попыталась подпевать: может, думаю, вспомнит. Нет, ни слова не вспомнил. Но всё равно полегче стало.

Чем-то мы ещё занимались, на магнитофон записывали, таблицы разные составляли. Приходил Петька Поздеев, одноклассник мой, он ещё со школы языками интересовался. В десятом классе у нас роман был, влюбилась я в него без памяти, думала—на всю жизнь. А жизни той было всего четыре месяца, потом как-то всё завертелось: экзамены, институт, проблемы… Расстались мы друзьями. Но Серёжке я почему-то не рассказала про этот роман, хоть он и не ревнивый абсолютно. Или притворяется, что не ревнивый. Но если притворяется, то очень хорошо это делает. Иногда так обидно становится: мне кто-то глазки строит весьма недвусмысленно, а родной муж никакого внимания на это не обращает. А начинаешь ему выговаривать—он только плечами пожимает.

Впрочем, это только в первые годы я пыталась мужа воспитывать, пока не поняла, что занятие это неблагодарное и, что самое главное, ненужное. Даже вредное. Поскольку процесс воспитания очень быстро становится обоюдным, что ни к чему хорошему привести не может в принципе. Мужа, как погоду, нужно воспринимать таким, какой он есть. Что можно возразить против дождя со снегом? Если действительно любит, то сам постарается не огорчать и не расстраивать жену по мере возможности. При этом можно, даже необходимо подсказать, намекнуть, но ни в коем случае не давить, не воспитывать. А если не любит… Что же, не всем везёт в жизни.

Разумеется, всё сказанное в равной мере относится к обоим супругам. Мужчины ведь тоже иной раз любят повоспитывать жён; хорошо, если без рукоприкладства, а то ведь и такое случается сплошь и рядом. Мне, слава Богу, в этом отношении повезло.

> …Зато мне не шибко повезло, на лбу вон скоро рог вырастет. Что за вредный народ эти бабы (и женщины тоже), любым способом норовят мужику рога наставить. Или хотя бы один рог. Насчёт воспитания—это хорошо, это правильно, с этим я согласен на все сто. Про Петруху—старая новость, но тоже интересно. Чудак, ей-богу: столько лет прошло, а он до сих пор к своему подъезду вокруг дома ходит…

Но вся эта моя теория очень красиво и стройно выглядит на бумаге, а когда дело касается претворения её в жизнь, проблемы возникают порой самые неожиданные: то на работе устанешь неимоверно, то какая-нибудь болячка прицепится, то вдруг собственная теория покажется надуманной и нежизнеспособной.

Тогда, в тот первый день, никакой теории у меня не было. Более того, я вообще не думала о том, как это всё можно объяснить с научной точки зрения. Когда в семье беда, какие могут быть теории? Действовать надо, спасать семью. А Петька—тот сразу попытался взглянуть на вещи трезво, вопросы Серёжке задавал по какой-то своей системе, стал перечислять части света, географические названия, имена собственные… Переписал кассеты и долго меня убеждал, что надо нам в Москву ехать, поскольку случай уникальный, нигде о таком не упоминалось, а уж он-то перечитал умопомрачительное количество соответствующей литературы. Петька вообще сторонник радикальных мер. Ни в какую Москву я ехать не согласилась: кому мы нужны в столице? Петька повздыхал, но больше настаивать не стал, пообещал досконально всё обдумать и навести справки. С тем и отбыл.

А мы остались одни. Игорёшку я к маме отправила, ни к чему ему родителей в таком состоянии видеть. Когда спать собрались, я опять запаниковала: а вдруг и спираль не поможет? В консультации всякого наслушаешься, а как Серёжкино состояние на ребёнке скажется? Смешно, ей-богу, словно с чужим мужиком в постель надо было лечь. Кое-как уговорила себя, что это же Серёжка, мой муж, просто он болен. Оказывается, он заметил мои колебания и даже обиделся, а я так была занята собой, что и не поняла его обиды. Но к сексу мы действительно в ту ночь не были расположены. Может быть, это и к лучшему.

Серёжка сразу уснул, а ко мне сон никак не шёл, всякие мысли в голову лезли. О чём только я не передумала! И себя жалела, и его. Дачу эту злосчастную решила немедленно продать, словно именно она являлась причиной произошедшей катастрофы. Именно катастрофы, по-другому я это не могла воспринимать. Только успокоившись немного, я попыталась мыслить рационально. Меня по-прежнему мало интересовали научные обоснования феномена. И в самом деле, какая разница, как и почему всё произошло, если это уже произошло? Надо думать, как жить дальше, как приспособиться к новым обстоятельствам. Вспомнились первые месяцы нашей совместной жизни, когда я вот так же приспосабливалась к Серёжке, училась жить в новых для себя обстоятельствах. Эти воспоминания потянули за собой другие, и я стала перебирать нашу жизнь день за днём, месяц за месяцем, год за годом.

Когда за окнами понемногу стало светать, я была готова встретить любое развитие событий стойко и мужественно. Даже разработала оперативный план спасательной кампании: сначала необходимо обратиться к специалистам, для чего предварительно этих специалистов придётся где-то и как-то отыскать; если специалисты помочь не смогут, обучать Серёжку русскому языку, для чего тоже нужны специалисты… и так далее, всего пунктов восемь. Одним словом, к утру я была во всеоружии. Во всяком случае, так мне казалось тогда.

Заснуть я так и не смогла. Потихоньку встала, пошла на кухню. Решила приготовить любимый Серёжкин плов, который он иногда даже хвалил, в то время как всё другое съедал без комментариев, будь оно прекрасно приготовлено или пересолено-пережарено-недожарено. Когда было вкусно, я пыталась роптать, на что получала неизменный ответ: «Вкус—специфический. Попробовал—язык проглотил, дар речи лишился!»—и такой же неизменный поцелуй в щёчку. Когда было не особенно вкусно, я благоразумно помалкивала. Однажды, случайно посолив суп дважды и не заметив этого, я демонстративно подставила щёку, получила традиционный ответ про дар речи и только потом продегустировала своё варево. Есть было невозможно. Серёжка сделал вид, что всё в порядке, а мне было ужасно стыдно.

Услышав, что в зале заработал телевизор, который Серёжка всегда включал сразу же после пробуждения, я весело позвала его к столу. Вот дура-то! С этими хлопотами на кухне я совершенно забыла, что он ничего не понимает.

Не дождавшись реакции, я пошла в зал и с порога всё так же весело заявила, что если высокочтимый лорд, он же сэр, желает отобедать, то на столе его ожидает… И тут я увидела его лицо, представила себя на месте Серёжки и чуть не разревелась от досады и злости на себя. Дура самовлюблённая! Вот тебе и во всеоружии!

Утро было испорчено. Плов казался отвратительным, Серёжка—угрюмым, кухня—тесной и неопрятной… И все стратегические планы из головы улетучились.

> …Про плов—чистая напраслина, плов был что надо. Про всё остальное—тоже перебор. Человек должен быть самокритичным, включая и женщин, но не до такой же степени. Хотя, конечно, это весёлое щебетанье навело меня на мысль, что надо мной элементарно издеваются. Ну, кто старое помянет, тому пива не наливают…

Серёжка поел, поцеловал меня и медленно, отчётливо произнёс какую-то фразу. Потом так же медленно и отчётливо её повторил. Я поняла, что все эти «остааарх руиннндажью…»—не что иное, как его обычное «вкус специфический…», и он меня готовит к тому, что эту фразу я буду слушать ещё не раз. И тогда я опять расплакалась.

А день ещё только начинался, второй день этого кошмара. Я позвонила на работу, в свою фирму, а потом в типографию, где работал Серёжка. В типографии к тому, что Сергей Александрович приболел, отнеслись с олимпийским спокойствием, ни о чём не расспрашивали, поблагодарили за звонок и положили трубку. С моей работой было сложнее. Сначала я была проинформирована о том, что вчера в связи с моим отсутствием возникли некоторые проблемы. А узнав, что я и сегодня на работу не смогу прийти и вообще не знаю, когда смогу выйти, секретарша Верочка всполошилась и побежала искать шефа, которого в кабинете не оказалось, сказав, что он «непременно, сразу же, обязательно и незамедлительно перезвонит вам». На розыски шефа понадобилось двадцать минут, и он «обязательно и незамедлительно» перезвонил. И разговор у нас неожиданно оказался весьма занятным.

— Наталья Николаевна, почему это вдруг такое доброе утро оказалось таким недобрым? Мы по вам уже и соскучиться успели.

— У меня проблемы очень серьёзные в семье, с мужем несчастье случилось.

— Слышал я про вашу аварию, даже результаты видел: мы с Николаем, который вашу машину взял, знакомы. Но ведь, по имеющейся у меня информации, всё благополучно обошлось.

— Да, мужа из больницы выписали.

— Тогда в чём проблемы? Вы меня правильно поймите, Наталья Николаевна, я готов пойти навстречу в каких-то вопросах, но работа страдать не должна, а у нас договор в подвешенном состоянии.

— Я понимаю.

— Так в чём же проблемы? Или это что-то личное? Личные проблемы—это ваши проблемы, поймите меня правильно.

— Я даже не знаю, личные это проблемы или нет…

— Почему я из вас каждое слово клещами вытаскивать должен? Вы не Зоя Космодемьянская, а я не фашист. Незаменимых работников нет, поймите меня правильно.
— Я вас понимаю, но боюсь, что вы меня не сможете понять правильно.

Шеф от такой наглости дар речи потерял, помолчал немного, прокашлялся, потом вкрадчиво осведомился:
— Вы что, уже нашли новое место работы? Вас не устраивает оклад? Или вас не устраивает руководитель? Так вы скажите, мы его, то есть меня, мигом поменяем, какие проблемы.
— Роберт Иванович, вы простите, я очень расстроена, сама не понимаю, что говорю.
— Так что же произошло?—металла в его голосе не убавилось.
— Мой муж разучился разговаривать и понимать по-русски!—я сказала это так, будто в холодную воду нырнула, даже глаза зажмурила.
— Что за бред?—шеф явно растерялся.—Много я причин слышал, но такую—в первый раз. Разучился разговаривать по-русски… Как это? Он что, вообще разучился разговаривать?
— Нет, он говорит на каком-то непонятном языке.
— Слушайте, что вы мне лапшу на уши вешаете…—у шефа на языке явно вертелось общераспространённое «в натуре», но он решил из образа не выходить и нашёл более обтекаемую форму:—…в самом деле? Я же не настолько глуп, чтобы в эту чепуху поверить, поймите меня правильно.
— А насколько?—ляпнула я и чуть трубку не уронила.
— Что—«насколько»?.. Ну, знаете, я от вас не ожидал такого хулиганства!
— Роберт Иванович, я не обманываю. Я умоталась за эти два дня, ничего не соображаю, говорю что попало… Но я не обманываю! После больницы всё было нормально, а позавчера он пришёл домой…
— Подождите, не тараторьте. Врачам его хотя бы показывали?
— Да, приезжала скорая.
— Тоже мне, врачей нашли… И что они говорят?
— Посттравматический синдром.
— А по-русски это как звучит?
— Ну, последствия аварии. Они говорят…
— Подождите. Подумать надо. Последствия аварии, говорите?.. Это плохо. И очень некстати. Знаете что, я вам перезвоню немного погодя, мне тут звоночек сделать надо. Хорошо? Будьте дома, я перезвоню.

Он положил трубку, предоставив мне самой разбираться, уволена я уже или нет. Если меня уволят, это будет плохо. Да что я говорю—это будет катастрофа! Где я сейчас такую работу найду, с таким окладом, уж не говоря про премиальные из темной кассы? А из Серёжки сейчас какой работник? Надо что-то делать, как-то убедить.

Я лихорадочно набрала номер шефа. Ответила Верочка:
— Роберт Иванович занят, разговаривает по другой линии.

Голос у неё был испуганный, но любопытство в нём чувствовалось явное. Видимо, опять приоткрыла дверь и подслушивала. Как её шеф терпит? Говорят, амуры у них, но мало ли что болтают, это сейчас модно—начальство втихомолку грязью поливать. Впрочем, обсуждать размер оклада в постели тоже модно: и беседа протекает непринуждённее, и аргументы проще находить.

Звонок раздался минут через пятнадцать. Но звонил не шеф, а Николай, тот самый Николай, который Серёжку под МАЗ подставил.
— Добрый день, Наталья Николаевна. Я слышал, у вас беда приключилась.
— Откуда слышали? Мы же никому…—тут я поняла, кому звонил шеф.—Извините, я не поздоровалась. Добрый день, хотя для меня он совсем не добрый. Да, у нас беда. Только…
—… какое мне до этого дело?
— Ну, в общем… Не так грубо, разумеется, но… Мы обо всём договорились, вы за машину заплатили, у нас к вам никаких претензий нет.
— Не надо меня обижать, Наталья Николаевна.
— Простите, я не хотела вас обижать.
— Я понимаю ваше состояние. Мы не могли бы с вами встретиться где-нибудь, поговорить с глазу на глаз?

Я, признаться, была ошарашена: всё рушится, по швам трещит, а этот кобель свидание назначает. Но высказать своё возмущение я не успела.
— Только вы не подумайте, что я вас соблазнять собираюсь. Я просто хочу вам помочь, если смогу, конечно. Можно встретиться и у вас, но—не сочтите это за трусость—не хотелось бы встречаться с вашим мужем, удовольствие эта встреча ему вряд ли доставит.
— А как же Серёжка? Как я его оставлю одного? И как я ему объясню, куда и зачем пошла?
— Скажите, что необходимо ненадолго на работу съездить, дела уладить. Тем более что это в некоторой степени будет соответствовать истине.
— То есть?
— Не по телефону. Давайте встретимся и всё обговорим. Да не бойтесь вы меня, я замужних женщин не ем, гастрит, знаете ли.

Уговорил он меня. Договорились мы встретиться в кафе недалеко от нашего дома через час.

А ведь Николай этот просил позвонить ему, если какие-то проблемы будут, даже визитку оставил. Совсем из головы вылетело.

Нашла я эту визитку. Генеральный директор фирмы «Ника плюс». Не знаю, чем занимается эта фирма, но название на глаза попадалось. Даже в одном из наших договоров фигурировало. И что-то там такое было… С одной стороны—вроде бы

и есть фирма, а с другой стороны — ничего подобного, в природе не существует. Я тогда поломала голову: непросто доказать рентабельность клюквенного сада, да ещё обосновать необходимость применения суперсовременного оборудования для возделывания оного.

Серёжке я смогла объяснить только то, что меня какое-то время не будет дома. Он головой покивал, показал, что он в порядке, чтобы я не беспокоилась за него. Вытащила я из шкафа своё парадно-выходное платье, которое надевала всего несколько раз, но поймала подозрительный взгляд мужа и быстренько сунула его обратно в шкаф. Действительно, не на свидание же собралась.

> …Все эти взгляды подозрительные — развесистая клюква, и обосновывать ничего не надо, не было никаких взглядов. Сплошной поклёп!..

Встреча происходила в тёплой, дружественной обстановке, как любят выражаться политические комментаторы. Николай выглядел шикарно, принёс цветы, заказал шампанское. От еды я отказалась, аппетита не было совсем. Чувствовала себя скованно, опять подозрения появились: больно уж всё это напоминало банальное свидание. Чтобы избежать двусмысленности, спросила, знает ли его жена про эту встречу. Но вместо короткого «да» или «нет» вдруг услышала целую историю.

— Жена у меня есть, и она не знает, что я здесь. Она вообще мало интересуется моими делами. Её интересуют лишь мои деньги и наш ребёнок, у нас дочь, которую зовут Светлана и которую я очень люблю. Жену я не люблю, но отдаю ей должное: Светланку она боготворит, души в ней не чает. Супружеские обязанности она тоже выполняет добросовестно. Иногда мы выезжаем на какие-нибудь культурные мероприятия, но особого удовольствия это не доставляет ни мне, ни ей. Я даю жене столько денег, сколько она считает возможным истратить, взамен мне предоставлена полная свобода. Такое положение вещей устраивает и её, и меня. Женщина, с которой я приезжал к вам, не моя жена. Мы не афишируем наши отношения: она тоже замужем. На этом будем считать вводную часть законченной, если вы не против.

— А если ваша жена узнает?

— Возможны варианты. Либо она потребует развода и раздела имущества, либо проявит благоразумие. Скорее всего, второе. Но в любом случае огласка для меня нежелательна.

— Значит, вы просто пытаетесь избежать скандала?

— Хорошо, расставим точки над «i». Скандала я действительно пытаюсь избежать, но это лишь один из мотивов, и не самый главный, кстати. Я чувствую себя виноватым, ведь из-за меня ваш муж попал в аварию. И наконец, вы мне нравитесь. Не делайте такое лицо, я имею в виду вас и вашего мужа. Задавайте остальные ваши вопросы, и перейдём к делу.

— Сколько вам лет?

— Сорок два, — ответил он без запинки, нисколько не смутившись.

— Выглядите моложе.

— Спасибо. Это все вопросы?

— Да, пожалуй.

— Хорошо, теперь нам ничто не мешает поговорить о ваших проблемах. Итак, рассказывайте.

И я стала рассказывать. Рассказывала долго, путано, часто сбиваясь, то забегая вперёд, то возвращаясь. Николай не перебивал меня, слушал внимательно, иногда задавал вопросы. К концу рассказа на столе стояли две пустые бутылки из-под шампанского, в голове у меня немного шумело. Оказалось, что я рассказала и про нашу семейную жизнь, и про Игорёшку, и даже про роман с Петькой. Когда человек умеет слушать, это иногда бывает страшно. Страшно неудобно. Или страшно неприятно.

Сославшись на то, что ему необходимо сделать пару звонков, Николай пригласил меня в свою машину. Мне оставалось только согласиться. Не сидеть же одной за столиком под явно оценивающими взглядами представителей сильного пола, которых в зале хоть и было не очень много, но каждый мнил себя Аполлоном и Казановой в одном лице.

В машине Николай как бы невзначай задел моё колено, включая какие-то приборы. А может, действительно невзначай, поскольку никакого продолжения не последовало.

Пара звонков затянулась надолго. Я что-то уточняла, отвечала на самые неожиданные вопросы, которые задавали Николаю его собеседники: склонен ли Серёжка к агрессии, какой иностранный язык он изучал в школе, какой язык изучала я, устраиваем ли мы друг друга как сексуальные партнёры, не занимаюсь ли я мастурбацией… Последний вопрос вогнал меня в краску и разозлил. Какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? И я ответила:

— Да, конечно. Как же без этого?

Сразу же последовала целая серия вопросов: как часто? каким образом? знает ли об этом муж? принимает ли он участие? И всё это абсолютно серьёзно, без намёка на издевательство, в машине через какой-то динамик всё слышно было отлично. Пришлось сознаться, что сказала неправду. Николай посмотрел укоризненно, а его собеседник стал сердито мне выговаривать. Я чувствовала себя совсем голой посреди тротуара.

Закончив разговаривать по телефону, Николай некоторое время нажимал кнопки, о назначении которых я не имела никакого представления. Хоть у нас самих была «Тойота» с суперсалоном, и кнопок там было достаточно, но тут у меня сложилось

впечатление, что я нахожусь не в машине, а в кабине самолёта. Неудовлетворённый результатами манипуляций с кнопками, мой таинственный кавалер завёл мотор, отъехал метров сто, заехал в какой-то двор и опять заглушил двигатель.

— Наталья Николаевна, я не специалист в области психиатрии, но попытаюсь таких специалистов найти. Прошу вас пока не предпринимать поспешных решений.

— Что вы имеете в виду?

— Походы по больницам, письма в Академию наук, интервью журналистам…

— Что вы городите? Какие журналисты?

— Ну как же, у вас ведь есть знакомые журналисты, по крайней мере один.

— Нет у меня никаких знакомых журналистов!

— А у вашего мужа?

— И у Сергея нет. И вообще, при чём здесь журналисты?

— Странно… Мне показалось…

— Что показалось?

— Да нет, ничего. Видимо, обознался. В любом случае, ехать в Москву не советую, и в нашем городе есть специалисты. И, похоже, очень неплохие…

— Откуда вы знаете про Москву?

— Простите?..

— Ну, про Москву… Мы ведь в самом деле…

А действительно, чего это я? Откуда ему может быть известно про наш с Петькой разговор? Бывают ведь и совпадения.

— Наталья Николаевна, вы сегодня уже отвечали на множество странных вопросов, ответьте ещё на один: как вы относитесь к опытам на людях?

— Вот уж действительно странный вопрос! Как я отношусь? Да никак! Почему я вообще должна как-то к этому относиться?

— Ну, вы ведь можете абстрактно их одобрять или не одобрять, считать их приемлемыми или же абсолютно недопустимыми.

— Абстрактно? К чему вы клоните? — нелепое, дикое подозрение шевельнулось во мне. — Кто-то проводит опыты над Серёжкой?

— Ну что вы, откуда такие сумасшедшие идеи? — Николай рассмеялся вполне искренне. — Этот вопрос интересует лично меня, причём в чисто философском плане. Меня ведь интересуют не только работа и деньги. Как и любой нормальный человек, я…

— В таком случае можете считать меня ненормальной, — не очень вежливо перебила я его излияния, — но меня этот ваш вопрос не интересует вовсе. Ни в философском, ни в каком другом плане. А в то, что вы — человек разносторонне образованный и подкованный, я верю на слово.

Николай несколько мгновений смотрел на меня задумчиво, словно просчитывал в уме какую-то комбинацию, потом опять рассмеялся и поднял вверх руки.

— Очень сожалею, что вы восприняли это именно так. Извините за неуместный вопрос, и будем считать инцидент исчерпанным. А про работу не беспокойтесь, — Николай опять завёл машину. — Этот вопрос мы уладим. Вас подвезти до дома? А то муж уже, вероятно, волнуется.

Я решила не выяснять, кто такие эти «мы», и опрометчиво согласилась. А когда вышла из машины, увидела Серёжку, который курил на балконе. На свой этаж я поднималась как на казнь. Но ничего страшного не произошло, Серёжка встретил меня у дверей со спокойной улыбкой.

…Знала бы ты, чего мне эта улыбка стоила! Но дело не в ревности. Потом как-нибудь расскажу, как я провёл эти часы. А может, и не расскажу…

Пока я на кухне готовила обед, Серёжка рылся в библиотеке, выбирал какие-то книги. И опять я не сразу сообразила, что он же не понимает ничего, а когда сообразила и прибежала помогать, он засмеялся и махнул рукой: дескать, сам справлюсь. Потом вся эта кипа книг перекочевала на кухню. Были там, в основном, иллюстрированные тома энциклопедии.

Тут же, на кухне, и состоялся наш первый урок русского языка. Серёжка показывал на что-то в кухне или на картинке, я это называла, а он пытался повторить. Получалось у него хорошо, произносил он всё правильно, но почему-то хмурился всё больше и больше. А потом, указав на картину Айвазовского, «Девятый вал», кажется, он вдруг замер и уставился на эту картину, буквально открыв рот. Стал лихорадочно листать остальные тома, рассматривать картинки, на которых было изображено море, и на все лады повторял:

— Море, море, море…

Наткнулся на картинку с лошадью, указал на неё. Я назвала: конь, — а он мотает головой и на картинку всё показывает. Я стала перебирать: лошадь, кобыла, жеребец, — мотает головой и смотрит требовательно. Нашёл ещё одну картинку — тоже лошадь, но скачущая, — показывает. Я снова говорю своё «конь» — и опять не то. Господи, думаю, что же ему надо? Как ему объяснить-то? Вижу, он схватил вилку, давай ею рисовать что-то на картинке. Похоже на седло у лошади. Говорю: седло. Он повторил, подумал, пожал плечами и снова начал рисовать. Но я так ничего и не смогла понять, что от меня требовалось. Молчу, чтобы его с толку не сбить неправильным ответом. Он посмотрел, посмотрел на меня, улыбнулся устало, собрал книги и ушёл в зал. Кое-как закончила приготовление обеда (хотя какой обед, уже ужинать пора было), пришла в зал позвать его, а он спит. Села я рядом с ним, слёзы бегут, мыслей никаких…

Не знаю, сколько я так просидела, но суп пришлось разогревать, остыл совсем. Ужинали мы молча. Серёжка о чём-то думал сосредоточенно,

весь как-то в себя ушёл, нахохлился. Я старалась не мешать.

После ужина он снова стал листать книги. Меня не позвал, рассматривал картинки, некоторые мимоходом, некоторые подолгу, о чём-то сам с собой разговаривал вполголоса. Включил магнитофон, стал что-то надиктовывать на кассету. А я почти сразу уснула (всю ночь ведь не спала), даже раздеться сил не было. Как провалилась.

III.

Следующий день начался с визита телефонного мастера, которого мы не вызывали. Я удивлённо подняла трубку—гудка действительно не было. Мастер был молодой и разговорчивый. Ловко раскручивая телефонный аппарат, он объяснил, что мы подключены к телефонной станции нового поколения, которая все поломки сама обнаруживает. Правда, ремонтировать аппараты она пока не обучена. И слава Богу, а то и так везде безработица.

Не успел мастер уйти, как телефон ожил. Звонил Петька, который был возбуждён до крайности, тараторил без умолку, твердил о сенсации и набивался в гости сию же минуту. Отбиться удалось с трудом, выпросив час для завтрака и приведения себя в порядок. Но позавтракать нам не дали.

Сначала позвонил мой шеф, который был учтив и галантен, сама любезность во плоти:
— Наталья Николаевна, голубушка, рад вас слышать… Не смогу ли я чем-то помочь? Не стесняйтесь, всё, что в моих силах… Вчера я немного погорячился, поймите меня правильно… О работе не беспокойтесь, мы вам оформили командировку в Тверь, решайте свои проблемы…—и далее в таком же духе минут пятнадцать.

Как эта поразительная перемена в настроении шефа связана с фирмой «Ника плюс» и с её генеральным директором—не знаю, но связь, несомненно, существует. То, что с работы меня не уволили, можно было бы назвать хорошей новостью, если бы не одно обстоятельство: очень уж я не люблю быть обязанной кому-то, будь то начальство, знакомые, соседи или даже друзья. Поблагодарила шефа я чрезвычайно любезно, а от помощи отказалась хоть и вежливо, но твёрдо.

Затем позвонил Николай, извинившись при этом за ранний звонок, хотя время уже перевалило за десять. Он справился о нашем самочувствии, посоветовал не раскисать и не терять надежды и сказал, что договорился о консультации у одного специалиста, имя которого известно весьма узкому кругу лиц, но «если он не сможет помочь—не сможет помочь никто». Аудиенция назначена на три часа пополудни, время встречи, к сожалению, ограничено. Если у нас запланированы какие-либо мероприятия на этот период, придётся их отложить. В половине третьего внизу нас будет ждать машина. Представляться не надо, нас узнают.

На протяжении всего разговора в голове у меня вертелась дурацкая фраза: «Юстас—Алексу. Шлите апельсины бочками». Оптимизма вся эта таинственность не добавила, но появилась надежда.

Ещё позвонила мама, сказала, что с Игорёшкой всё нормально, и осторожно поинтересовалась, что у нас происходит, «а то внук таких страстей нарассказывал, я вторую ночь не могу уснуть». Я коротко обрисовала ситуацию, особо не вдаваясь в подробности. Мама заохала, запричитала. Кое-как успокоив её, я обещала звонить регулярно.

Только мы сели завтракать—заявился Петька, подпрыгивающий от нетерпения. Пришлось приглашать его к столу. Он не столько ел, сколько тараторил. Серёжка сначала пытался что-то понять из нашего разговора, потом замкнулся, нахмурился и ушёл в зал, так толком и не позавтракав. Петька виновато посмотрел ему вслед и шёпотом спросил:
— Может, мне уйти? Как-то я не вовремя.

Я махнула рукой: дескать, сиди уж, если пришёл.

Из его торопливого тарахтенья получалось следующее: случай абсолютно уникальный, нигде в литературе не описанный и никакому логическому анализу не поддающийся.
— Такого языка не существует, его просто не может существовать,—Петька говорил возбуждённо, но уверенно.—Я перерыл все словари и справочники, а у меня их—о-го-го сколько, сама знаешь.
— Ты что, все языки знаешь?
— Нет, конечно, но дело не в этом, совсем не в этом! Серёжка говорит на русском языке!

Я была ошарашена, а Петька торжествовал и даже не пытался скрыть своего торжества.
— Да-да, именно на русском! И ни на каком другом!
— Как же на русском, если понять ничего невозможно? Мы же пробовали, сравнивали…
— Необходим системный подход. И компьютер. И ещё немного серого вещества.
— Да ты толком объясни. Что выкаблучиваешься?

Петька посмотрел на меня оценивающе, задумчиво пожевал и наконец сказал:
— Боюсь, всех лингвистических нюансов ты всё равно не поймёшь. Поэтому попытаюсь попроще, на пальцах растолковать. В том языке, на котором говорит Серёжка, всё устроено так же, как и в русском. Есть слова, предлоги, предложения, смысловая зависимость синтаксических элементов…—он запнулся, неопределённо помахал рукой.—Словом, всё как в русском языке.
— А в других языках не так?
— В других языках тоже так, но не совсем. Понимаешь, есть различные группы языков. Между этими группами существуют различия, а внутри групп существуют аналогии.
— Ты сам-то понимаешь, что говоришь?
— Разумеется. Ну, например, в некоторых языках расположение некоторых элементов зависит от конструктивных особенностей фразы.

— ?..
— Ну, вопросительное слово стоит обязательно в начале фразы. Как в том же английском.
— Ну и что?
— Строго говоря, Серёжкин язык — не русский, но относится к той же группе языков. Лексика…
— А ещё попроще можешь?
— Не могу. Ты попробуй объяснить мне юридические тонкости трёхстороннего договора, или как он у вас называется, если я в юриспруденции — ноль и в терминах не ориентируюсь абсолютно.
— Смогу.
— Ну ладно, хорошо. Возьмём какую-нибудь законченную фразу, несущую смысловую нагрузку.
— Это как?
— Ой, господи! Мама мыла раму. Пойдёт?
— Пойдет.
— Теперь заменим во всех словах все буквы.
— Получится абракадабра.
— Естественно. Но если все буквы заменять всегда одинаково, по какой-то системе, то никакой абракадабры не будет, а будет новый язык!

Петька торжествующе поднял палец, но опрокинул при этом стакан с чаем, сконфузился и ожидаемого эффекта, надо полагать, не добился. Пока я вытирала стол, он немного утихомирился.
— Конечно, это упрощённое объяснение, очень упрощённое. Заменяются не только буквы, хотя буквы заменяются тоже. И звуки. Всё гораздо сложнее, но система прослеживается, несомненно.
— Ну хорошо, система прослеживается, ты молодец и гений. Практическую пользу из этого можно извлечь?
— Разумеется. Можно запросто выучить этот язык.
— Так уж и запросто?
— Ну, не запросто, но довольно быстро.
— А зачем?

Этот нехитрый вопрос заставил Петьку задуматься основательно.
— Чтобы с Серёжкой разговаривать, — уверенности в его голосе явно поубавилось.
— Не проще ли научить его русскому языку?
— Ну, не знаю. Если он начнёт сам что-то вспоминать, тогда конечно.
— А какой язык сложнее?

Петька опять было ударился в заумные рассуждения, но спохватился, почесал в затылке и удручённо сказал:
— Языки одинаково сложные. Или одинаково простые, зависит от точки зрения. Но это всё же лучше, чем ничего!

Я молча согласилась. Чай мы допили тоже молча.

Когда мы пришли в зал, Серёжка сидел на диване, ждал. На коленях у него лежала раскрытая книга, смотрел он вопросительно, но без особой надежды. Я не знала, что говорить, как его поддержать. До половины третьего было ещё два с половиной часа. Вдруг Петька подскочил как ужаленный, схватил свой дипломат, вытащил из него кипу бумаг и стал торопливо её просматривать, роняя листы на пол. Наконец он нашёл то, что искал, прокашлялся и что-то сказал. Серёжка удивлённо вскинулся, неуверенно ответил. Петька опять полистал свои бумажки, выудил из них ещё пару слов.

Как обрадовался Серёжка! Стал тормошить Петьку, обнял его, даже попытался расцеловать. Тот растерялся, бумаги уронил на пол, стал беспомощно разводить руками. А Серёжка говорил и говорил.

Впрочем, никакого диалога у них не получилось. Петька, окончательно запутавшийся в своих бумагах, выглядел удручённым, Серёжка же, напротив, ничуть не расстроился. Он принёс ручку и пачку бумаги, придвинул к столу второй стул, усадил на него Петьку, перетащил с дивана на стол свои книги и начал что-то объяснять, то листая книги, то рисуя на бумаге схемы, рисунки, фразы. Опять замелькали знакомые картинки: Айвазовский, лошади, фотография обратной стороны Луны, старинные парусники… Я попыталась принять посильное участие в этом, как мне думалось, уроке иностранного языка, но быстро сообразила, что уроком тут и не пахнет, это что-то другое. Петька на мои вопросы только мотал головой и бормотал:
— Потом, потом… Это такой материал, такой материал!.. Сенсация в чистом виде!

В конце концов, я отказалась от попыток что-либо понять, просто сидела и смотрела на них. Серёжка был такой воодушевлённый, весёлый, и я думала: «Вот это и есть настоящее счастье, всё остальное второстепенно».

…Ну, счастье не счастье, а на душе у меня тогда полегчало, это точно. Как будто я встретил в каком-нибудь Амстердаме, где все лопочут по-непонятному, крутого лингвиста, умеющего связать пару слов по-русски. Только в Амстердаме-то было бы попроще, пожалуй, там я бы знал, что есть страна, где меня иногда даже понимают, гораздо реже, правда, чем хотелось бы. Да и на кой он мне сдался, Амстердам этот, не был я там сто лет и ещё столько же обойдусь!

А тут я как на другую планету прилетел. Пока Натаха в ресторане шампанское попивала (это так, к слову, она же за правое дело страдала), я вдруг представил, что на всём шарике я один такой урод, некого к чёрту послать, никто ведь не поймёт. Все эти города, континенты, материки и прочие острова — а я один. Во всём мире один иностранец! Их всех миллиарды, а я один такой весь из себя. Запросто свихнуться можно, схлопотать манию величия.

Петруха, конечно, мужик заполошный, но голова у него варит, что есть, то есть. Как он про эти деепричастные обороты быстро раскумекал! И про Айвазовского с его морем сразу просёк,

> пяти минут хватило, а я полдня голову ломал, чуть мозги не вывихнул. А когда сообразил, что к чему, так вообще хоть волком вой: мало того, что меня никто не понимает, так я ещё сам не всегда понимаю, что же я такое говорю. «Наличие внесистемных разрывов ассоциативного ряда служит иллюстрацией…» Умники, блин!..

Когда ровно в половине третьего внизу просигналили, я не сразу сообразила, что это нам. А когда сообразила, то всполошилась: могут ведь не дождаться и уехать. Собирались как на пожар. Петьке я в двух словах объяснила ситуацию, и он загорелся поехать с нами.

Но ожидавший около машины (обычная «Волга», без всяких выкрутасов) шварценеггероподобный, но ужасно вежливый мужчина средних лет с приятной, но неброской наружностью твёрдо пресёк Петькины попытки сесть в машину. Петька растерялся и обиделся одновременно, стал доказывать необходимость своего присутствия, даже соврал о родственных связях, но охранник—или не охранник, но уж больно похож—был непреклонен. А вот бумаги взял охотно и даже поблагодарил весьма искренне.

Поехали мы за город, в какой-то, как мне показалось, санаторий или профилакторий. За всю дорогу никто не проронил ни слова. Шофёр иногда посматривал в зеркало, но не на нас, а на дорогу. Впрочем, меня он оценивающе рассмотрел, ещё когда мы садились в машину, но не навязчиво, а, скорее, машинально, повинуясь присущему всем мужчинам инстинкту.

Ворота открылись автоматически, никто нас не встречал. Охранник вышел первым, привычным жестом распахнул дверцу, с некоторой даже галантностью помог мне выйти, подождал, пока выйдет Серёжка, захлопнул дверцу, что-то негромко сказал шоферу и повёл нас по аллее к трёхэтажному корпусу. В небольшом вестибюле он отдал Петькины бумаги другому мужчине в белом халате, а нам сказал:

— Вас проводят. Машина будет через три часа.

Затем вдруг улыбнулся и добавил:

— Желаю удачи.

Консультация, однако, длилась более трёх часов, почти четыре. Серёжку куда-то увели, а меня усадили в кресло, на журнальный столик положили несколько последних номеров «Бурды», предложили чай или кофе и посоветовали не волноваться. От чая и кофе я отказалась, за совет поблагодарила, но волновалась жутко, просто места себе не находила. Без всякого интереса полистала журналы, затем встала и начала ходить по вестибюлю из угла в угол.

Минут через сорок пришёл другой мужчина, тоже в белом халате, но более солидный, в возрасте. Он вежливо поздоровался (вообще все были ужасно вежливы, это даже немного раздражало), выразил понимание и сочувствие, сказал, что Серёжка находится на обследовании, а ко мне у него есть несколько вопросов. Затем проводил меня в кабинет, где, помимо стола и нескольких кресел, из мебели были только шкаф-картотека во всю стену да компьютерный столик. Компьютер был включён, на экране крутились какие-то цветные линии, постоянно меняющие форму и цвет.

«Несколько вопросов» на самом деле вылились в двухчасовую беседу. Мужчину, который без тени улыбки представился Иваном Ивановичем, интересовало буквально всё, что касалось меня и Серёжки. Я всё ждала вопроса про мастурбацию, но его не последовало. И вообще, интимных сторон нашей жизни мы практически не касались, слава Богу.

Когда поток вопросов немного иссяк, Иван Иванович извинился, попросил немного подождать и вышел. Вернулся он через несколько минут с пачкой бумаги, в которой я узнала Петькины записи. Последовало ещё несколько вопросов, которые касались уже Петьки: как давно мы знакомы, моё мнение о нём, как он учился в школе, какой институт кончал.

В конце беседы Иван Иванович поблагодарил меня и попросил передать благодарность Петьке, чьи записи якобы представляют определённый интерес и способствовали более глубокому пониманию проблемы. Видя, что какие-либо объяснения вряд ли последуют, я сама отважилась на вопрос:

— Доктор, а как же Серёжка?

— Причин для беспокойства нет, никаких функциональных отклонений мы не обнаружили.

— Как не обнаружили? Ведь что-то же с ним произошло, какое-то объяснение этому должно быть.

— Случай очень нетипичный, поэтому определённо можно сказать лишь то, что существуют некоторые отклонения в деятельности центральной нервной системы, которые не представляют опасности ни для жизни, ни для здоровья вашего мужа.

— Но хоть что-то вы можете объяснить?

— Существует несколько гипотез, которые вам, как неспециалисту, трудно будет понять.

— А вы объясните популярно, упрощённо.

— Ну хорошо, попытаюсь упрощённо. В момент опасности у человека включаются некие защитные механизмы, принципы действия которых нам не до конца ясны. Убыстряется реакция, обостряются зрение, слух, обоняние. Организм ищет выход из сложившейся ситуации на подсознательном уровне. Увеличивается содержание адреналина в крови, учащается сердцебиение…

— А какое отношение ко всему этому имеет речь?

— Здесь начинается область предположений. Состояние стресса, связанное с автомобильной аварией, вызвало изменения в деятельности той

области головного мозга, которая отвечает за преобразование информации, полученной от органов чувств. При восприятии речи мы слышим звуки, которые затем преобразуются этой самой областью мозга в некие образы, понятия. В свою очередь, когда мы говорим, эта область преобразует наши мысли, образы в звуки, которые мы произносим с помощью речевого аппарата.
— А как же книги? Впрочем, какая разница…
— Да, принципиальной разницы нет, если вы это имели в виду. Мысли преобразуются в буквы, в знаки и, соответственно, наоборот.
— Но откуда взялся этот язык? Что это за язык?
— Вот это и является загадкой. Известны случаи, когда человек начинал говорить на языке, которого до этого не знал. Но то были в большинстве случаев существующие языки: английский, немецкий, испанский, русский, хинди…
— Даже хинди?
— А почему вас это удивляет?
— Ну, хинди не настолько распространён…
— Да, обычно человек имел какое-то представление о том языке, на котором неожиданно начинал говорить. Но не всегда. Зарегистрированы случаи создания нового языка. Правда, наблюдалось подобное у душевнобольных, и новый язык являлся частью иного мира, иной реальности, существующей только в голове больного. При этом общение с окружающим миром было необычайно затруднено либо невозможно вовсе. Но вашему мужу это не грозит, не волнуйтесь.
— Почему вы так в этом уверены?
— Есть основания…

Я ждала, но никакого продолжения не последовало, и мне пришлось прервать затянувшуюся паузу:
— И всё-таки непонятно, откуда взялся этот язык. Не мог Серёжка его придумать за несколько секунд!
— Но ведь с момента аварии прошло несколько дней, не так ли? Впрочем, дело не в этом…
— А в чём?

Иван Иванович удручённо развёл руками и мягко улыбнулся.
— Если бы мы знали ответ на этот вопрос, то проблема решалась бы гораздо проще. Но ответа мы, к сожалению, пока не знаем. Необходимо время. Существует гипотеза, что сознание человека многослойно. Наше «я» — это только часть нашего сознания, существуют ещё слои, содержащие, если можно так выразиться, наши дополнительные «я». Или альтернативные. В английском журнале «Windows» рассматривается возможность искусственного создания таких слоёв сознания, якобы на основе реальных исследований. Но всё это только гипотеза, причём гипотеза весьма фантастичная.
— Да, я что-то такое слышала, была передача по радио не так давно…
— А ваш муж слушал эту передачу? — Иван Иванович явно заинтересовался моими словами.
— Не помню. Да я и сама её не слушала, какие-то обрывки уловила случайно.
— Постарайтесь вспомнить, это может быть важно.
— Это было месяца три назад, если не больше. Я чем-то занималась, радио было включено… Не помню.
— А чем вы занимались?
— Да не помню я! Что-то вязала… Нет, перешивала Серёжке пуговицы на рубашке, вспомнила. А Серёжка спал, он с работы пришёл уставший, а предыдущую ночь практически не спал, мы с ним… ну, в общем, он спал.

…Да, ту ночь я помню. Я тогда из командировки вернулся, нас три недели обучали эффективно работать на компьютере. Ничего нового, сплошная нудятина. А в группе одни мужики были. Только и разговоров, что про баб (про женщин то есть) да про выпивку. Достали они меня этими разговорами! Многие обзавелись подружками из соседних групп, там какие-то бухгалтера обучались государство объегоривать. Но у меня с женщинами строго, все грехи молодости остались в молодости. К тому же риск…

Короче, вернулся я голодный во всех смыслах. И мы с Натахой вспомнили золотые годы медового месяца. Хорошо вспомнили, от души! Так что на следующий день я доработал кое-как и вечером вырубился. И никакой передачи не слышал. Какие там передачи!..

— Он мог слышать радиоприёмник?
— Мог бы, если бы не спал. Только он действительно спал, я точно помню.
— Как бы крепко человек ни спал, его органы чувств продолжают функционировать. Спасибо вам за эту информацию, хотя, может быть, она и не очень нам поможет.
— И что нам сейчас делать?
— Сейчас мы отвезём вас и вашего мужа домой.
— Нет, я имею в виду вообще…
— А вообще ничего страшного не произошло. Обучайте вашего мужа русскому языку.
— Но это же очень долго, а я не учительница.
— Не так долго, как вам кажется. Память вернётся очень быстро.
— Очень быстро — это сколько: день, неделя, год, десять лет?
— Ну, не драматизируйте. Я думаю, понадобится несколько дней, не больше недели. Пригласите в помощь вашего знакомого. Вот здесь, — он подал мне обычную канцелярскую папку, завязанную тесёмочками, — несколько рекомендаций, которые вам помогут. Во всяком случае, я на это надеюсь.
— Скажите, доктор, а здесь что, психиатрическая лечебница? Я имею в виду этот санаторий.

— Санаторий?—Иван Иванович засмеялся.—Нет, это не санаторий. И не психиатрическая лечебница. Назовём это научно-исследовательским институтом.

— А на самом деле?

— Научно-исследовательский институт. Кстати, тайны из этого визита делать не обязательно, но и чересчур откровенничать тоже не рекомендую, для вашей же пользы.

Иван Иванович встал, давая понять, что разговор закончен. Я тоже встала, оставив остальные вопросы при себе. Похоже, что на многие из них я так и не получу ответа.

В вестибюле нас уже ждали Серёжка и охранник из машины. Прошло уже почти четыре часа вместо трёх, но охранник никакого нетерпения не выказывал, просто сидел и ждал.

— Записи вашего знакомого пока останутся у нас. Для пользы дела, разумеется,—Иван Иванович пожал нам руки и ушёл.

До самого дома все молчали, лишь шофёр иногда вполголоса поругивал дороги. Серёжка выглядел усталым, но спокойным.

Поужинав, мы легли спать, поскольку даже я чувствовала себя усталой, что уж говорить о Серёжке. Впрочем, немного сил у него ещё осталось…

IV.

Следующие два дня были похожи один на другой, как братья-близнецы. В воскресенье позвонил Николай, который так и остался для меня человеком-загадкой. Он спросил, как прошла консультация, не нужна ли его помощь. Слова благодарности выслушал спокойно, без всяких «ну что вы, не стоит, какие мелочи», обещал перезвонить завтра и положил трубку. Болтуном его, во всяком случае, никак не назовёшь.

Только мы успели позавтракать, прибежал Петька. Этот был полон нетерпения и любопытства, засыпал меня вопросами. С Серёжкой небрежно поздоровался на тарабарском языке. Серёжка засмеялся и ответил длинной, как мне показалось, витиеватой фразой, которую Петька выслушал, не моргнув глазом, и даже ответил что-то. Серёжка опять засмеялся и показал большой палец.

Я процитировала Ивана Ивановича про бумаги, которые «представляют определённый… и способствовали более глубокому…». Петька заважничал, стал говорить солидно, неторопливо, но хватило его ненадолго, минут на пять. Пробежав глазами листочки из папки, переданной мне во время консультации, он опять стал подпрыгивать на месте, тараторить и поторапливать нас.

Так начался процесс обучения русскому языку.

До обеда я занималась своими делами, прислушиваясь к монотонному бубнению за стенкой. Насколько можно было понять, хоть Серёжка и старался быть прилежным учеником, дело двигалось медленно.

Во время обеда настроение хоть и не было похоронным, но весёлым его тоже нельзя было назвать. Поев, Серёжка произнёс своё «вкус—специфический…», но как-то нехотя, словно через силу. Петька озадаченно посмотрел на нас, но ничего не сказал.

Помыв посуду, я присоединилась к ним. И с удивлением увидела, что никаких «мама мыла раму» и в помине нет, Петька толковал о чём-то серьёзном, чуть ли не об особенностях прозы Льва Николаевича Толстого. Серёжка слушал напряжённо, морщась, как от зубной боли. На верхней губе у него выступили капельки пота. Потом Петька вдруг начал задавать вопросы, которые никак не касались того, о чём он говорил раньше. На большую часть вопросов Серёжка не отвечал, даже, по-моему, не понимал их, хоть вопросы и были лёгкими: как тебя зовут? какой сейчас год? как зовут твоего сына?—и прочие в том же духе.

Кончив задавать вопросы, Петька неожиданно начал декламировать Гумилёва. Декламировал он минут пятнадцать, ни разу не сбившись. Вот уж не ожидала, что Петька увлекается Гумилёвым.

Затем последовал Пушкин, «Евгений Онегин». Не полагаясь на память, Петька читал отрывки по книге, иногда останавливаясь и комментируя прочитанное.

Так продолжалось часа два, а потом Серёжка сломался. Он вскочил, швырнул в угол книжку, которую держал в руках, и стал что-то кричать, размахивая руками. Кричал он зло, обиженно, запинаясь и заикаясь. Потом демонстративно плюнул на ковёр, ушёл в соседнюю комнату, лёг на кровать и отвернулся к стенке. Я была ошарашена этим всплеском эмоций и чуть не закатила оплеуху Петьке, который улыбался и довольно потирал руки. Он опомнился и стал горячо меня убеждать, что всё идёт как надо, всё по плану. Что за план такой дурацкий, говорю, за такие планы можно и по физиономии схлопотать. Но Петька клялся и божился, что всё сделано так, как написано в этих листочках из папки.

— Надо вывести его из равновесия, разозлить как следует,—убеждал меня Петька.—В этом и состоит план: надо, чтобы он сам боролся, чтобы он воспринимал меня как врага, как опасность, как препятствие.

— Но он же не железный! Какое равновесие, опомнись, он же сам не свой, издёргался весь, умотался.

— Другого выхода нет, поверь мне. Надо, чтобы он боролся со мной, вернее, против меня.

— Ты не боишься, что он тебя отколошматит?

— За что? Я ведь для него стараюсь, он же должен это понимать…

…Петруха мужик умный, что и говорить, но дурак! Как это я мог бы понять, что он старается для меня? Я же это «планов громадьё» в глаза не видел, а если бы и видел — что толку? Филькина грамота… Я, понимаешь, наизнанку выворачиваюсь, мозги набекрень, пытаюсь хоть что-то выловить из всей тарабарщины, а он мне Гумилёва декламирует! Кстати, я ведь как-то понял, что это именно Гумилёв. И про Пушкина просёк. И это меня окончательно добило. Ну, думаю, лингвист хренов, изгаляться вздумал над рабочим классом, эксперименты производить, вместо того чтобы нормально обучать: мама, папа, мир, труд, май…

Но больше я на себя злился. Ведь есть же всё это где-то в башке, все эти Гумилёвы и Пушкины, лежат себе спокойненько, никуда они подеваться не могли.

А что я наговорил тогда — не помню, ерунду всякую, конечно. Потом неприятно было, словно вместо чая касторки хлебнул…

— А его кто будет понимать? План твой может сработать, может не сработать, ты же не уверен. Не уверен ведь?
— На сто процентов, разумеется, не уверен, но…
— Никаких «но»!.. Что он вам, кролик подопытный? Что вы над ним издеваетесь? Хватит!
— Наташ, надо верить, очень надо верить. Если ты не поверишь, не поможешь ему — ничего не получится.
— Да как я ему помогу? Чем? У меня уже сил не осталось, а ему каково!
— А что ты предлагаешь?
— Да ничего я не предлагаю, господи! Оставьте вы нас в покое!

Петька собрал свои бумаги, повздыхал, потоптался нерешительно, потом мягко сказал:
— Ладно, я пойду, пожалуй. А вы подумайте, посоветуйтесь… извини, не сообразил. Но всё равно посоветуйтесь… как-нибудь… Ты же его любишь, придумай что-нибудь! А я завтра утром позвоню, хорошо?

Не дождавшись ответа, он попрощался и ушёл. А мы опять остались одни. Одни со своей бедой.

И опять я сидела на кухне, вытирала слёзы и думала. Что же нам делать-то? Как быть? А если они ошибаются — и Петька, и эти, из института? Вдруг потребуется не несколько дней, даже не несколько недель? Серёжка же не выдержит, он же действительно не железный. План этот дурацкий! А если он и не дурацкий вовсе? Вдруг другого выхода просто нет?

Прошло всего несколько дней, а мне уже начинало казаться, что наша тихая, размеренная жизнь была ещё до эпохи исторического материализма, как говаривал незабвенный Остап Сулейман Берта Мария. И этот материализм, каким бы историческим он ни был, не нравился мне абсолютно. То есть настолько не нравился, что я готова была сделать что угодно, лишь бы всё быстрее закончилось. Любые глупости! Готова была переспать с Николаем, с Иваном Ивановичем, хотя сильно сомневалась, что интересовала их как женщина. У них были свои интересы и проблемы, которые, как мне показалось, каким-то образом перекликались с нашими: и Николай помогал не только, а может, и не столько потому, что чувствовал свою вину, и Иван Иванович этот вопросы свои задавал не из праздного любопытства. Но мне не было дела до их проблем. И интересов. Лишь бы помогли! А чем они при этом будут руководствоваться — какая разница?

Как быть-то, Господи? Подсказал бы кто-нибудь, надоумил, как поступить.

Впервые за всю жизнь я вдруг пожалела, что не верю в Бога. А может, Бог всё-таки есть, и это Он нас наказывает за неверие? Я даже попыталась вспомнить какую-нибудь молитву, но ничего, кроме «иже еси на небеси», не вспомнила.

Пришёл на кухню Серёжка, поцеловал меня, обнял — извинялся за свой срыв. И вдруг сказал:
— Хочу есть.

Я не сразу поняла, а когда поняла — думала, с ума сойду.
— Серёжка, ты заговорил? Скажи ещё что-нибудь! Ты заговорил, заговорил!

А он смотрит на меня удивлённо. И бормочет непонятно.

…Я тогда действительно ничего не понимал. Сказал как обычно, без всякой задней мысли. Да и без передней. Просто сказал — и всё. И вдруг на Натаху что-то нашло, вцепилась она в меня, как… ну не знаю… как клещами, синяк на руке остался. Ну, думаю, всё, оба свихнулись, выноси мебель…

Господи, как я ревела тогда! За какие-то несколько секунд — такое счастье и такое разочарование. Серёжка суетится, водой меня отпаивает. У меня уже дыхание перехватывает, а остановиться никак не могу.

Как-то мы и с этим справились. Даже поужинали, хотя аппетита у меня не было никакого. У Серёжки тоже. Но мы понимали, что нельзя раскисать, что нужны силы.

После ужина мы до самой ночи просто сидели, обнявшись, на диване. Набирались сил друг у друга. И так мне было хорошо рядом с Серёжкой, спокойно! Ни о чём не хотелось думать, просто сидеть и молчать. Мы так и заснули сидя.

А на следующий день был понедельник, и от воскресенья он отличался только тем, что с утра позвонил шеф, справился о самочувствии, успокоил насчёт работы: я по-прежнему числюсь в командировке.

Позвонил Петька. Голос у него был неуверенный и какой-то жалобный. Но я уже твёрдо решила: если есть возможность, её надо использовать, чего бы это нам ни стоило! И Серёжка думал так же, я видела по нему: он был собранный, решительный.

Петька пришёл сразу же после звонка. И урок продолжился, этот странный, жестокий урок. Я ушла от греха подальше на кухню. Не могла видеть, как мучается Серёжка, как он старается понять — и не понимает.

На кухне я попыталась заняться чем-нибудь, но всё валилось из рук. Кое-как приготовив обед, я взяла первую подвернувшуюся под руку книжку, но читать не смогла. Несколько раз прочитав название и так и не поняв, что же я такое прочитала, я отложила книгу и просто сидела, стараясь не прислушиваться к голосам в соседней комнате.

Позвонил Николай. Почувствовав, что я не расположена говорить, извинился и положил трубку.

Как ни настраивался Серёжка, но вечером он опять сорвался. Правда, не так бурно, но всё-таки сорвался. Видимо, устал окончательно. Петька тут же собрал бумаги и тихонечко ушёл. А Серёжка ходил из угла в угол, как раненый медведь, и то ли стонал, то ли мычал сквозь зубы. Жалко его было до слёз, но я крепилась. Решила не трогать его, пусть сам решит, хватит у него сил или нет.

И он переборол себя, успокоился. Пришёл на кухню. Я всё ждала, что он опять скажет: «Хочу есть», — но он не сказал. Видимо, вчера у него случайно получилось. Но если получилось вчера, должно же получиться снова! Когда же, когда? Сколько нам ещё ждать, сколько страдать? И за что нам это наказание?

И этот вечер мы просидели на диване. Серёжка вытащил все альбомы с фотографиями, начиная с армейского, и мы их листали вдвоём. Смотрела я на фотографии и думала: неужели это мы? Весёлые, жизнерадостные… Казалось, что это было так давно, в какой-то другой жизни. Хотелось верить, что всё вернётся, всё наладится, но не получалось. Я крепилась изо всех сил, но когда Серёжка уснул, я дала волю слезам. Вообще, за эту неделю я столько слёз пролила… А ведь никогда плаксой не была, даже в детстве.

Сейчас я понимаю, что плакала от бессилия, оттого, что не могла ничего сделать, никак не могла помочь. Что может быть хуже: видеть, как страдает любимый человек, и чувствовать, что ничем, абсолютно ничем не можешь помочь?

А ещё я чувствовала, была почти уверена, что что-то в этой истории не так, что-то оставалось за кадром, какие-то несоответствия, нестыковки.

Серёжка на глазах становился другим, совсем другим. И голос не такой, и движения, и поступки. И этот его взгляд… Когда он смотрел на меня, мне становилось холодно, мурашки бежали по коже. Было такое чувство, будто это смотрел и не Серёжка вовсе, а кто-то другой, находящийся внутри него. И этот кто-то смотрел печально и мудро, словно оценивал меня по каким-то своим, неведомым мне критериям. И от этого чувства, что мы втроём, становилось жутко, страшно было выключать свет, хотелось пройти по комнатам и заглянуть под кровати.

На следующий день я чувствовала себя совершенно разбитой. Всё валилось из рук, всё шло наперекосяк. Разбила любимую Серёжкину кружку, пересолила суп… Петьку на порог не хотела пускать, но пересилила себя, сказала только, что если он по-прежнему будет издеваться над Серёжкой — спущу с лестницы. Петька посмотрел на меня с опаской, поёжился, но всё же прошёл в зал. Серёжка был хмурый, не выспавшийся.

Помыв посуду, я решила прогуляться. Просто не могла больше находиться в четырёх стенах, слушать эти голоса в зале. Не могла видеть, как мучается Серёжка. Я устала, мне надо было отдохнуть, развеяться хоть немного. Меня не покидало ощущение, что я дезертирую с поля боя, трусливо отступаю.

Серёжка посмотрел вопросительно. Я взяла хозяйственную сумку, сделав вид, что собираюсь сходить в магазин. Петька выскочил в коридор, стал уговаривать долго не задерживаться, поскольку моё присутствие просто жизненно необходимо. Я пообещала не задерживаться, выдержав его укоризненно-подозрительный взгляд.

Во дворе почти никого не было, даже извечные старушки со скамеечки куда-то подевались — видимо, предпочитали пережидать жару в зашторенных квартирах. На их излюбленном месте сидел молодой белокурый мужчина — по всей видимости, наш новый сосед. Заметив, что я в нерешительности остановилась у подъезда, он встал со скамейки и поздоровался. Я машинально ответила, продолжая стоять на месте и не сразу сообразив, что выглядит моя нерешительность несколько двусмысленно. Просто никуда не хотелось идти.

— Извините за бестактность и не сочтите меня назойливым: не составите ли мне компанию? Вы ведь не торопитесь, если я не ошибаюсь? Ещё раз извините.

Действительно, очень вежливый молодой человек. И симпатичный. Правда, вежливость его была не то чтобы нарочитой, но какой-то… профессиональной, что ли. Граничащей с наглостью. Но одёргивать нахала не было настроения. Да и сосед ведь, а с соседями выгодно жить в мире. Не съест же он меня, в самом деле. А идти всё равно некуда и незачем.

— За бестактность, так и быть, извиняю, но только на первый раз. В будущем не рекомендую.

— Вы меня, видимо, неправильно поняли, ничего такого у меня и в мыслях не было.

— Чего «такого»?
— А никакого ничего!—сосед первый рассмеялся, довольный своим каламбуром.—Просто у меня сегодня отгул, дома сидеть скучно, решил подышать свежим воздухом.
— А свежий воздух вы с собой прихватили?

Сосед опять засмеялся, ненавязчиво оглядел меня с ног до головы и весело предложил:
— Раз уж мы всё равно стоим и разговариваем, не лучше ли нам познакомиться? Меня зовут Ринальдо. А вас?
— А меня—Дульсинея. Или Дездемона, на выбор.
— Ну, не Юдифь—и то хорошо!—блеснул эрудицией лже-Ринальдо.

Хотя почему сразу «лже»—мало ли имён и повычурнее этого встречается?
— Ринальдо меня зовут родители, по паспорту я Роман.
— А я по паспорту Наталья Николаевна.
— Ага. В таком случае разрешите ещё раз представиться: Роман Иннокентьевич. Мой папа, снимая со стенки ремень, называл меня исключительно по имени-отчеству. Остальные желающие повторить этот эксперимент очень быстро от своей идеи отказывались.
— Вы имеете в виду ремень?
— Нет, я имею в виду имя и отчество. Может, мы всё-таки присядем? А то в ногах правды нет.
— А в чём есть?
— Правда была в «Правде», а теперь её не осталось вовсе. Со святыми упокой…

Язык у Романа-Ринальдо был подвешен хорошо, говорил он весело и напористо, но держался в рамках, никаких намёков себе не позволял. Про свою профессию он выразился туманно, «представитель сферы обслуживания» могло обозначать что угодно, от повара до рэкетира. Беспредметная болтовня меня немного успокоила, и я пошла домой, оставив своего собеседника на скамейке в гордом одиночестве.

Поднимаясь по лестнице, я пыталась представить, где это в наше время энергичный молодой человек может получить отгул, на какой такой работе. И зачем он ему понадобился, отгул этот? Разве что с соседями на лавочке поболтать…

Войдя в зал, я увидела, что ничего не изменилось: Петька по-прежнему витает в облаках, а Серёжка с большим трудом сдерживается. И тогда я стала кричать на Петьку, обзывая его бесчувственной скотиной, садистом и ещё как-то. Но вот чего я абсолютно не ожидала, так это того, что он тоже начнёт на меня кричать, размахивая руками и бегая по комнате. Некоторое время я просто следила за его беготнёй, буквально открыв рот. Потом я понемногу стала воспринимать то, что он кричал, и это повергло меня в ещё большее изумление: кричал он совершеннейшую чепуху, нелепую мешанину из витиеватых фраз, лишённую всякого смысла. Выглядело это глупо. И страшно. Впрочем, испугаться я не успела: Петька вдруг замолчал на полуслове. Смотрел он на Серёжку, улыбаясь от уха до уха. И тогда я услышала, что Серёжка тоже кричит:
— Да вы что, офонарели совсем? Не хватало ещё всем перетявкаться! Вы-то что лаетесь?

Перед глазами у меня всё поплыло, и я потеряла сознание.

Очнувшись, я не сразу сообразила, где нахожусь и что со мной. В ушах звенело, перед глазами был белый потолок. Когда память вернулась, я попыталась подняться с дивана, на котором лежала, но попытка моя не удалась: Серёжка придерживал меня за плечи, уговаривая:
— Ты полежи, полежи, отдохни, не надо вставать.

И я его понимала, всё до последнего слова! На душе у меня стало спокойно и легко: всё кончилось, весь этот кошмар, теперь всё будет хорошо.
— А где Петька?—спросила я.—Нехорошо ведь получилось: он старался, а я на него накричала.
— Петруха ушёл.
— Как ушёл?
— Да ты не волнуйся, он не обиделся. Я его пригласил, он вечером придёт.
— Почему вечером?
— Что значит—«почему»? Гулять будем!

И вечером мы погуляли на славу, от души. Все говорили без умолку, но больше всех—Серёжка. Он шутил, над всеми подтрунивал, изображал нас с открытыми ртами и глазами «по шесть копеек», расспрашивал Игорёшку про школу, про отметки, чем он занимался у бабы, какой ему сон приснился… Принёс гитару, и мы до полуночи пели хором. Всем было весело. Правда, попытка организовать танцы закончилась тем, что Петька вдребезги разбил телефонный аппарат, зацепившись за шнур. Его клятвенные уверения в том, что он завтра же купит другой, фирмы «Панасоник», с памятью, в которую можно будет записать телефоны всех наших друзей, да ещё на врагов место останется, были встречены нами в штыки и отвергнуты как неконструктивные.

Когда Петька ушёл, Серёжка долго ковырялся в останках аппарата, затем неожиданно трезвым голосом поинтересовался, зачем я вызывала мастера. Выслушав мои объяснения про станцию нового поколения, он ехидно прокомментировал внешность посетившего нас рыцаря отвёртки, прозрачно намекая на то, что только седеющие маразматики да молоденькие влюблённые перекрашивают волосы, а при последней встрече этот малый был ярко выраженным шатеном. И как это он, дескать, узнал, что моей драгоценнейшей Натахе не нравятся шатены?

Я бурно вознегодовала и ринулась в бой без промедления. Бой этот закончился в кровати уже под утро. Какие сильные и ласковые руки у Серёжки! А какие он слова шептал — вот уж не ожидала. Я была счастлива, и завтрашний день обещал ещё большее счастье. Хотя куда уж больше-то!

Так вот и закончилась эта история. Остались вопросы, на которые мы так и не получили ответов и, наверное, никогда уже не получим. Было много предположений, гипотез, некоторые из них выглядели более-менее правдоподобно, некоторые, напротив, совершенно бредово. Но гипотезы так и остались гипотезами, не получив какого-либо подтверждения.

Довелось нам ещё раз побывать в таинственном санатории-профилактории. Опять мы, уже вдвоём, отвечали на неимоверное количество вопросов, что-то уточняли и переуточняли. Иван Иванович был весел и благодушен, а мне подумалось: его-то наш happy end, возможно, не очень обрадовал, случай был далеко не тривиальный, сколько можно было бы материала для исследований получить. Но выглядело всё абсолютно пристойно, никаких намёков на дальнейшие обследования и наблюдения.

В конце беседы, прихлёбывая ароматный кофе, Иван Иванович вдруг, словно прочитав мои мысли, разразился монологом:

— Вы полагаете, видимо, что случай ваш уникальный и аналогов не имеет. Так вот, это совершеннейшее заблуждение. Каждому из нас в той или иной степени приходилось сталкиваться с подобным. Да-да, не удивляйтесь, именно каждому из нас. Ведь совсем не обязательно лишаться возможности говорить, чтобы натолкнуться на непонимание. Когда вы говорите, убеждаете, доказываете, а ваш собеседник напоминает железобетонную стену, от которой ваши слова отскакивают как горох, разве это не напоминает ваш случай? И чем принципиально отличается ваше, Сергей Александрович, пережитое состояние от состояния человека, которого не желают слушать, не желают или не могут понять? Согласитесь: если и отличается, то чисто внешней стороной, атрибутикой. Представьте себе театр, в котором на фоне ультрасовременных декораций осуществляется постановка драмы Шекспира. Герои страдают, любят, переживают, умирают… Разве их страдания, их переживания становятся мельче, незначительнее оттого, что на заднем плане зритель видит не крепостную стену, а какой-нибудь супермаркет или звездолёт? В последнее время я иногда стал задумываться: а стал бы мир лучше, чище, добрее, если бы все в нём, вы уж извините меня за кощунство, пережили то, что пришлось пережить вам? И как бы мне ни хотелось сказать «Да!», но опыт, опыт… Люди забывчивы. И далеко не всегда умеют ценить то, что имеют, как это ни прискорбно. Рискуя выглядеть старым брюзгой, хочу всё же пожелать вам, молодые люди, ценить то, что у вас есть. И не забывать, что счастье — предмет хрупкий, легко бьющийся. А склеивать гораздо сложнее, чем беречь.

— Скажите, доктор, — я решилась всё же задать мучивший меня вопрос, — а это всё не может вернуться?

— Стопроцентных гарантий, — Иван Иванович развёл руками, — не может дать даже Госстрах. Но я надеюсь, что этого не случится. Старайтесь по возможности избегать конфликтных, стрессовых ситуаций, хотя как их избежать в наше время…

Не могу сказать, что такой ответ меня успокоил, но выбирать не приходится. Остаётся надеяться, что не придётся нам больше увидеть ни этого санатория, ни Ивана Ивановича с его наигранными монологами, как бы вежлив и галантен он ни был. Впрочем, всякое может случиться. Петька вон в последнее время стал таким таинственным и ни в какую не хочет рассказывать о своём новом месте работы. Но таинственность эта приводит к определённым выводам…

Одним словом, история эта закончилась хорошо. Серёжка опять говорил по-русски, совершенно забыв свой неведомый тарабарский язык. А наши семейные отношения впору было назвать идиллическими, эта встряска явно пошла нам на пользу.

Часть вторая

Разнообразие бутылок
В великолепии стола,
Но мерзко холодит затылок
Прикосновение ствола.

Вот в люстры пробка полетела,
И всё веселье — впереди!
Но перекрестие прицела
Уже застыло на груди.

И тамада в хвалебном тосте
Забавно-искренний такой…
За здравье выпивают гости,
Хотя уже — за упокой.

На этом закончилась «Рукопись №1». Но не закончились беды и испытания, свалившиеся на нас неведомо за что. Всё было очень даже хорошо, пока не стало совсем плохо…

Когда я усадила Серёжку за эту рукопись, никакого определённого плана у меня не было. Просто всё произошедшее с нами казалось достойным описания. Действительно, не каждый день случается такое. И далеко не со всеми.

А ещё не покидало меня чувство, что всё изменилось, произошли какие-то глобальные перемены, которые я не могу уловить, понять, осмыслить. Серёжка стал другим, совершенно изменился. Более того, эти изменения продолжались, и они пугали меня. Хотя явных причин для волнений

как будто бы не было, скорее наоборот: Серёжка был внимательным, заботливым, весёлым, жизнерадостным. Но в то же время он стал более сдержанным в оценках окружающего, твёрдым, даже жёстким в решении возникающих проблем, что само по себе тоже было отрадно, но… это был уже не тот человек, за которого я выходила замуж, с которым прожила столько лет. И мне хотелось верить, что, переживая заново всё произошедшее с нами, Серёжка снова станет самим собой. Но, заинтересовавшись вначале, он вскоре охладел к рукописи и лишь вставлял комментарии, а затем и вовсе потерял к ней интерес. А я решила всё же дописать её. И не только из спортивного интереса или упрямства…

К тому, прежнему Серёжке я привыкла, знала его слабости, ценила достоинства. Сейчас же приходилось снова узнавать, снова привыкать. Впрочем, новый Серёжка меня тоже вполне устраивал. До тех пор, пока однажды ночью я, проснувшись от бормотания Игорёшки и укрыв его одеялом, которое он сбросил во сне на пол, вдруг с размаху не ткнулась в совершенно новый, неожиданный для меня вопрос: а устраиваю ли я его? И на этом идиллия закончилась!.. Сначала с тревогой, а затем со всё возрастающим испугом я пыталась ответить на этот вопрос—и не могла. Промаявшись до утра, но так и не найдя ответа, утром я решила одним махом разрубить этот узел и задала мучивший меня вопрос Серёжке. А в ответ услышала неожиданное:

— Меня не устраиваю я сам.

— Почему, Серёжа?

— Боюсь, не смогу тебе объяснить. Я могу быть другим. И хочу быть другим. Это всё, что я пока могу сказать точно. Всё остальное—из области предположений и предчувствий.

— Ты попробуй объяснить, а я постараюсь понять.

— Зачем?

— Как зачем? Мы ведь муж и жена. Я люблю тебя! И хочу помочь тебе.

Серёжка помолчал, помешивая ложечкой остывший чай и что-то обдумывая. Потом вдруг спросил:

— Ты знаешь, что Петруха до сих пор влюблён в тебя?

— Не знаю. Может быть. Только какое отношение это имеет к тебе?

— Надо полагать, самое непосредственное. Мы ведь так и не узнали, что на самом деле со мной произошло. Никто ничего толком так нам и не объяснил.

— Ну и что?

— Давай так: я дам тебе прочитать кое-что, а потом мы продолжим разговор, если у тебя ещё останется такое желание.

— Серёжа, не пугай меня. Что я должна прочитать? При чём здесь Петька?

— Сначала прочитай.

Серёжка отодвинул нетронутый чай, вышел из кухни и вскоре вернулся, держа в руках один из томов энциклопедии. Полистал страницы и вытащил несколько листков бумаги, бегло просмотрел их, несколько листков подал мне, остальные положил на край стола.

— Сначала прочитай вот это.

— Что это?

— Ты читай, читай.

При ближайшем рассмотрении листочки оказались ксерокопией какого-то документа. Некоторые места в тексте были тщательно вымараны, причём не в оригинале, а в самой ксерокопии. Я стала читать.

«…Учитывая вышеизложенные соображения, мы склонны считать произведённый эксперимент успешным, а полученные результаты, несмотря на их парадоксальность, положительными.

Несомненным является факт восприимчивости человеческого организма к комплексной системе воздействия, применённой в ходе эксперимента. Более того: сознание пациента активно и непосредственно участвовало в формировании внедряемых блоков привнесённой памяти, что, в конечном итоге, позволило избежать наложения ассоциативных рядов и связанных с этим возможных нежелательных эффектов. Всесторонний анализ полученных результатов полностью подтверждает теорию профессора…

…Вмешательство третьей стороны, которое, согласно рапортам службы безопасности, не удалось оперативно и безболезненно нейтрализовать, предопределило досрочное прерывание эксперимента, в связи с чем собранного материала оказалось недостаточно для исчерпывающего объяснения расхождений в предполагаемых и реально полученных результатах. В частности, не совсем понятно отсутствие в блоках привнесённой памяти аналогов некоторым понятиям и явлениям, наличие которых в оригинальной матрице сознания является неоспоримым. Аргументация, предложенная… как исчерпывающая, кажется нам, тем не менее, недостаточно убедительной.

Структурный лингвистический анализ также выявил ряд нюансов, не поддающихся однозначному толкованию. К ним можно отнести спонтанное формирование элементов и связей, не имеющих аналогов в использовавшемся оригинале…

Мы считаем продолжение эксперимента возможным и даже необходимым, для чего предлагаем получить согласие пациента, предоставив ему по возможности минимальный объём информации.

Подчёркивая, что дальнейшие наши действия полностью зависят от результатов работы службы безопасности, считаю необходимым отметить, что претензий к указанной службе мы не имеем…»

Сказать, что я была ошарашена,—значит, ничего не сказать.

— Откуда это у тебя?

— Разве тебя не интересует, что это такое?

— Меня интересует, что это такое,—тупо повторила я, пытаясь хоть как-то собраться с мыслями.—И откуда это у тебя, меня тоже интересует.

— Это—отчёт комиссии своему вышестоящему органу. Если предположить, что это не фальсификация и не глупая шутка, то самым важным является следующий вывод: такая комиссия и такой вышестоящий орган действительно существуют.

— Здесь написано про тебя?—до меня наконец-то стал доходить смысл того, что я прочитала.—Но как же это, Серёжа? Разве такое может быть?

— Я полагаю, что эти листочки—не фальсификация и не шутка.

— А откуда они взялись-то?

— Их мне передал Петруха,—раздельно произнёс Серёжка.—Твой знакомый Петруха, который до сих пор влюблён в тебя.

— Подожди, при чём здесь это? А у Петьки-то они откуда?

— Вот и я у него спросил: откуда?

— И что?

— А ничего! Они не соизволили ответить, предоставив мне самому поломать голову.

— Серёж, ты что-нибудь понимаешь?

— Я лишь предполагаю. Вернее, предполагал.

— А сейчас знаешь?

— Сейчас тоже предполагаю, но информации у меня стало больше. Вот это я получил тоже от него,—Серёжка подал мне ещё один листок.

Текст был написан от руки, и я узнала торопливый неряшливый Петькин почерк.

«— Добрый день. Будьте добры, пригласите Наталью Николаевну.

— Наталья Николаевна в настоящий момент находится в отпуске.

— Молодой человек, вы не могли бы сообщить мне её домашний телефон?

— Сообщить могу, но дома вы её не застанете, она в настоящий момент в отъезде.

— А когда закончится этот настоящий момент?

— Простите, не понял.

— Когда Наталья Николаевна выйдет на работу?

— Этого я не могу сказать.

— А Роберта Ивановича в настоящий момент вы можете пригласить?

— Роберт Иванович не является более директором нашего предприятия.

— А что, с ним что-то случилось?

— Насколько мне известно, ничего серьёзного. А вы, собственно, по какому вопросу?

— Я представитель фирмы «Ника плюс», меня интересуют причины отказа от пролонгации нашего договора.

— Побудьте, пожалуйста, на телефоне, я постараюсь выяснить.

— Э, нет, такие фокусы мы знаем…

— Не кладите…

— Абонент положил трубку. Номер засекли, группа уже выехала.

— Хорошо. О результатах доложите немедленно».

— Ничего не понимаю! С Робертом Ивановичем я только вчера разговаривала.

— Он по-прежнему ваш директор?

— Ну да. Во всяком случае, у меня не было причин усомниться в этом. И в отпуск я ещё только собираюсь.

— А «Ника плюс»?

— Бред какой-то! До истечения срока договора ещё несколько месяцев. И вообще… Так не бывает! Кто-то решил нас разыграть.

— Кто? Петруха? А зачем?

Я не нашла что ответить. В самом деле, зачем ему нас разыгрывать? Да и не похоже это на него абсолютно. Но и правдой это быть никак не могло, не могло—и всё тут!

— Я ничего не понимаю. Петька же нам помогал, сам помогал.

— Ты позвонила, попросила помочь—вот он и помогал.

— Пусть так, я попросила, он не сам вызвался,—но ведь это ничего не меняет.

— А телефон он разбил совершенно случайно…

— Телефон? А что телефон?

— Да есть у меня ещё одна бумажка, тоже весьма любопытная,—и он протянул мне ещё один листок, который я взяла как бомбу, готовую в любой момент взорваться.

Ещё одна ксерокопия. Текст без помарок, но без начала и без конца, как будто кто-то аккуратно вырезал ножницами фрагмент документа, а потом скопировал его на ксероксе.

«…При установке контрольного оборудования в квартире объекта была допущена оплошность, которая не может быть оправдана ни отсутствием времени на подготовку операции, ни дефицитом квалифицированных кадров. Виновные отстранены и понесут наказание.

Объект посчитал произошедшее обычным совпадением, контрольное оборудование обнаружено не было. Но отвлекающий манёвр считаю недостаточно подготовленным и связанный с ним риск неоправданным.

В настоящий момент контрольный пункт работает в холостом режиме, его ликвидацию или консервацию считаю преждевременной.

По результатам прослушивания в кафе и автомобиле мною составлена отдельная докладная. Могу лишь добавить, что удалось определить номер телефона одного из абонентов. Это

квартирный телефон практикующего специалиста в области психиатрии, имя которого достаточно широко известно. Поскольку речь шла об обычной консультации и никакие из интересующих нас нюансов упомянуты не были, я отдал распоряжение прекратить разработку этого направления. Номер второго абонента до сих пор не удалось определить, что само по себе является достаточным доказательством необходимости продолжения оперативной работы в отношении владельца автомобиля. В этой связи мною предложены следующие варианты…»

Я перечитала дважды, потом опасливо осмотрела стены и потолок. Всё происходящее напоминало дурной сон. Хотелось проснуться.

Зазвонил телефон. Это было так неожиданно. И оглушающе громко. Я вскрикнула, выронила листок и бросилась к Серёжке. Прижалась к нему лицом. Сердце бешено колотилось, готовое выскочить из груди. Серёжка гладил меня по голове, что-то шептал, стараясь успокоить.

Телефон требовательно звонил. Серёжка, продолжая обнимать меня за плечи, дотянулся до трубки. Звонила мама, спрашивала, привозить Игорёшку или мы сами за ним заедем. Я дрожащим голосом попросила оставить его на ночь. Мама всполошилась, но я кое-как успокоила её, соврав про приглашение в гости.

Отдышавшись и выпив воды, я вопросительно посмотрела на Серёжку, указывая на телефон.

— Снявши голову, по волосам не плачут,— Серёжка невесело засмеялся.— К тому же они уверяли, что всё отключили.

— Кто они?

— Те, кто устанавливал.

— Ты с ними встречался? Когда?

— Не с ними, а с ним. Дня три назад.

— И ты молчал! А с Петькой когда виделся?

— Дня четыре назад. Нет, пять. А молчал потому, что сказать было нечего.

— А сейчас?

— Сейчас тоже далеко не всё понятно. Но, как я уже говорил, кое-какие предположения сделать можно. Да, ты ведь не всё ещё прочитала. Есть ещё один документик. Правда, он тоже ничего не проясняет— скорее, запутывает всё окончательно.

И Серёжка протянул мне последний листок, который был у него в руке. Оказалось, что это не листок, а фотография. И на ней— неровно оторванный листок из записной книжки на фоне каких-то тёмных размытых пятен. Текст на листочке написан от руки незнакомым почерком.

«Николаич!

Ты, как всегда, оказался прав. Проверили мы тот «Мерседес» и действительно обнаружили и детектор, и нейтрализатор. Из последних моделей, изготовлены нашей оборонкой. У нас таких, кстати, нет до сих пор, а ты ведь обещал. Всё соответствующим образом оформлено, мы по своим каналам прокачали, придраться не к чему. Владелец «Мерса»— генеральный директор фирмы, которая проходит по третьему списку. Так что, сам понимаешь, излишнего рвения мои ребята не проявляли, чтобы не засветиться.

Но в одном ты всё же не прав: не слушали мы его, не пытались даже. Сам посуди: зачем нам лишняя головная боль? Своих проблем выше крыши. И наружка была не наша, мои, к сожалению, так профессионально работать пока не умеют.

Так что не грешен, батюшка, отпусти с миром. Разбирайся со своими слухачами и топтунами сам, я и рад бы помочь, да нечем. Могу лишь изложить свои соображения, в виде дружеского совета. Торчит там один хвостик, за который мне не уцепиться, а у тебя может и получиться. Суть вот в чём…»

Часть листка с продолжением текста как раз и была неровно, по всей видимости— второпях, оторвана.

— Это тоже от Петьки? Или от тех, других?— спросила я равнодушно.

И это равнодушие, моё собственное равнодушие, пугало меня едва ли не больше, чем то, что я прочитала в этих треклятых бумажках. Оно означало, что уже достигнут предел, что достаточно пустяка, какой-нибудь мелочи— и я сорвусь. Бывало такое нечасто, но всё же случалось, и воспоминания об этих моментах я старалась загнать в самый дальний уголок своего сознания. Я была бы несказанно рада вовсе от них избавиться, но воспоминания— не старые башмаки, на помойку не выбросишь и в комиссионку не отнесёшь.

Серёжка почувствовал моё состояние, ободряюще улыбнулся и даже подмигнул, как бы говоря: «Ничего, и не с таким справлялись!» Потом попытался взять фотографию, которую я по-прежнему держала в руках, сжимая так, что побелели костяшки пальцев.

— Давай-ка уберём этот компромат до лучших времён,— сказал он таким тоном, каким обычно разговаривал с Игорёшкой, пытаясь его в чём-то убедить.

Я с трудом разжала пальцы. Руки мелко, противно дрожали. Губы тоже дрожали, поэтому свой вопрос я задала лишь с третьей попытки:

— Ты знал… с самого начала?

— Да нет, конечно, ничего я не знал. Не подозревал даже. Со мной в жизни много чудного происходило, я как-то уже и привыкнуть успел. В девятом классе совершенно случайно попал на районную олимпиаду по физике— и занял первое место. А через месяц на уроке не смог, как ни бился, решить одну из тех задач, которые были на олимпиаде. Все единодушно решили, что я умудрился у кого-то списать. Я тогда страшно обиделся и за

четверть по физике схлопотал тройку. Однажды на спор наизусть выучил «Евгения Онегина» — и позорно срезался на Маяковском, запутался во всех этих иностранцах, чиновниках и штанинах. Да мало ли…

Говоря всё это, Серёжка усадил меня на табуретку, включил остывший чайник, достал коробку конфет, которую я приберегала для подходящего случая. И ведь добился-таки своего! Я немного успокоилась, руки и губы перестали дрожать, звенящую пустоту в голове стали заполнять обрывочные мысли.

— Серёж, за что они нас… так?

— Это они не нас, а меня.

— А тебя за что?

— Не знаю. Может, случайно, а может, подхожу я им по каким-то параметрам. Цвет глаз, размер обуви, социальное происхождение… Что толку гадать?

— И что же нам теперь делать?

— А ничего! Сейчас вот попьём чаю, переоденемся в парадно-выходное и завалим к кому-нибудь в гости.

— Да ты что, какие гости? Не хочу я ни к кому в гости!

— Ладно, гости отпадают, — легко согласился Серёжка, разливая по чашкам чай. — Займёмся чем-нибудь другим, мало ли занятий на свете. Но сначала мы попьём чаю с конфетами, нечего им в коробке отлынивать.

— Нет, сначала ты мне объяснишь…

— А вот объяснять я сейчас ничего не буду.

И хоть сказано это было очень мягко и улыбался Серёжка добродушно, я почему-то сразу поняла, что настаивать бесполезно: он принял решение и не отступит от него, что бы я ни сказала. Эта его решительность тоже была новой, незнакомой. Уж что-что, а настоять на своём в случае необходимости я всегда умела, не мытьём, так катаньем.

— А когда?

— Тайна сия велика есть… Ты спрашиваешь так, словно я Дельфийский оракул и способен ответить на любой вопрос. А где ты видела оракула, который две недели искал бы причину подозрительного подвывания в левой задней части автомобиля? Он, оракул то есть, сразу бы сказал: надо выкинуть к едрёне фене это, а поставить на освободившееся место вон то. Слушай, а не поехать ли нам на речку? И сами сполоснёмся, и машину окунём. А то неудобно даже: «Тойота», а грязная, как «Запорожец».

И опять я согласилась безропотно. Похоже, подчиняться мне начинало нравиться. Ехать никуда не хотелось, но не сидеть же дома среди этих подслушивающих и подглядывающих ерундовин? Может, их и нет вовсе. А если есть?

Погода благоприятствовала: солнце прилагало максимум усилий, чтобы доказать, что на дворе по-прежнему лето, а лёгкий ветерок приятно холодил тело. Мы искупались сами, «окунули» машину и улеглись в её тени прямо на траву, благо цивилизация ещё не до конца изуродовала этот уголок природы и в непосредственной близости не наблюдалось битых бутылок, ржавых консервных банок и старых костровищ.

Но погода погодой, а на душе у меня было пасмурно, как бывает в ненастный осенний вечер, когда моросит мелкий нудный дождь, ветер завывает в проводах и раскачивает фонари, отблески которых неприкаянно мечутся по комнате. Серёжка непринуждённо болтал на отвлечённые темы, а у меня из головы не шли все эти ужасти, одна сумасшедшая идея сменялась другой, ещё более бредовой. Но все мои попытки перевести разговор в интересующее меня русло разбились о непоколебимое:

— Я приехал просто поваляться на солнышке пузом кверху, и никаким врагам и шпиёнам не удастся лишить меня этого удовольствия. Так что дыши полной грудью, хоть левой, хоть правой, хоть обеими вместе, и выбрось всё из головы.

Я лежала, смотрела на Серёжку, слушала его легкомысленные рассуждения о том, что первобытным людям жилось не в пример легче нашего, поскольку они запросто могли жить прямо на берегу этой речки и им было глубоко плевать, что НАТО опять желает куда-то расшириться, а бензин в который раз подорожал. Слушала — и не могла уловить ни тени беспокойства, ни намёка на переживания, абсолютно ничего. Притворялся он бесподобно, но зачем ему притворяться со мной? Столько усилий только для того, чтобы успокоить меня? А может, это его очередной тщательно подготовленный розыгрыш?

А что, сочинить все эти документы для него труда не составляло, а с помощью компьютера можно сфабриковать и не такое, в этом я уже имела возможность убедиться. Достаточно вспомнить хотя бы сцену ревности, которую устроил Серёжка, предъявив мне фотографии, на одной из которых были изображены я на фоне нашего дивана и Арнольд Шварценеггер с Игорёшкой на руках, а на другой — опять-таки я, в совершенно непотребном виде, с телом, как потом выяснилось, какой-то американской порнозвезды, и Сильвестр Сталлоне с выражением глубокого удовлетворения на лице, причём оба мы фривольно располагались на нашей кровати. Фотографии выглядели весьма убедительно, как я ни приглядывалась, никаких следов подделки не обнаружила. Конечно, эксперт-криминалист разглядел бы их моментально, да где его взять? А документы эти я даже не разглядывала, а лишь бегло прочитала. Ну, пусть не бегло… Нет, не мог Серёжка быть таким жестоким, все его розыгрыши — безобидное дурачество. К тому же Петькин почерк… Если

только он не заодно с Серёжкой, но это уже фантастика чистейшая…

Домой мы вернулись под вечер. Готовить я ничего не стала, перекусили всухомятку. Серёжка включил телевизор и уселся смотреть футбол. Это меня добило окончательно: он, значит, футбол будет смотреть, а меня вроде бы как и нет вовсе. Напугал меня до смерти своими бумажками, а потом бросил на произвол судьбы: выплывай как знаешь.

Я готова была наговорить ему кучу резкостей, устроить грандиозный скандал, но в последний момент сдержалась. Поскольку на розыгрыш это не было похоже, приходилось признать, что либо мы действительно попали в какую-то детективную историю, либо на этот раз разыграли Серёжку. Именно эта последняя мысль и остановила меня. А кто мог так жестоко с нами пошутить? Петька? Как бы дико это ни выглядело, но ведь именно он передал все эти бумаги Серёжке, именно его почерком был написан один из текстов. И я решила пойти к своему давнему знакомому и вытрясти из него правду, какой бы она ни была.

Увидев, что я собираюсь уходить, Серёжка вышел в прихожую, помолчал немного, как бы в нерешительности, потом устало улыбнулся и вдруг сказал:
— Не забудь передать ему привет от меня.

Я выскочила на площадку, с размаху хлопнув дверью, почти бегом спустилась по лестнице и решительно направилась к Петькиному подъезду. Во мне кипели обида, злость, недоумение, разочарование и ещё какие-то чувства, в которых я не пыталась разобраться.

Нажимая кнопку звонка, я ничуть не удивилась внушительному виду металлической двери: это сейчас уже и не мода, а, скорее, жизненная необходимость, мы сами недавно поставили себе такую же. За дверью раздался Петькин голос, в котором проскользнула нотка недоумения:
— Кто там?
— Это я, Наташа. Мне надо с тобой поговорить.

Отступив немного в сторону, я ждала, пока дверь откроется. Но она не открывалась. Пауза затягивалась. Опять заговорил Петька, и в его голосе теперь явно чувствовалась паника:
— Наташ, ты извини, но я… у меня тут… в общем, я не могу сейчас с тобой говорить. Ты извини, но… никак…

Я взбеленилась.
— Петька, открой дверь, или я сейчас всех соседей на ноги подниму.
— Наташ, я правда не могу. Давай завтра, а?
— Завтра? Нет уж, никаких завтра! Мне надо поговорить с тобой сегодня, сейчас, немедленно!
— Ну не могу я, правда не могу! — Петька чуть не плакал, но мне было всё равно. — Завтра я зайду к вам вечером, и мы обо всём поговорим. Обещаю тебе.
— А откуда мне знать, что до завтра ты не сбежишь куда-нибудь?
— Ну что ты выдумываешь? Куда я сбегу?
— Не знаю. На Канары, на Багамы, в Америку, к тётке в деревню. Открой дверь!
— Какие Канары? Что ты выдумываешь?..

Но я уже не слушала. Нажав кнопку звонка, я не отпускала её до тех пор, пока не щёлкнул замок и дверь наконец не открылась. Петька был одет в строгий костюм и даже при галстуке. В другое время я бы удивилась, но сейчас мне было не до того. Буквально втолкнув Петьку в коридор, я закрыла дверь на засов, обернулась и приготовилась высказать всё, что думаю о хозяине квартиры, о его гостеприимстве, о его дурацких… И только тогда заметила, что мы не одни. В коридоре стояла женщина, которую я сразу узнала, хотя до этого видела всего один раз. Это была подруга Николая, с которой он привозил Серёжку из больницы. Её присутствие в этой квартире было столь неожиданным, столь нелепым, что я совершенно растерялась. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, затем Петька попытался как-то спасти ситуацию:
— Наташа, познакомься: это Ольга, моя… как бы это сказать…
— Не лгите, Петя, в этом нет необходимости, — перебила его Ольга. — Мы с Натальей Николаевной уже знакомы. Раз уж вы вошли, пройдёмте на кухню, что ли.
— А почему не в зал? Вид неубранной постели меня нисколько не шокирует.

Петька густо покраснел. Ольга посмотрела на него, улыбнулась, перевела взгляд на меня и холодно сказала:
— А я ведь была о вас лучшего мнения, Наталья… Николаевна, — отчество моё она произнесла с явной неохотой. — Грубо и пошло.

Теперь настала моя очередь покраснеть.
— Вас, конечно, может не интересовать моё мнение и даже мнение вашего знакомого, — продолжала Ольга всё так же холодно, — но всё же такое поведение не делает вам чести.

И опять Петька бросился спасать положение:
— Ну что вы, ей-богу, как… я не знаю… Ну зачем нам ссориться? Ольга пришла ко мне по делу, мы…
— Извините, — пробормотала я, стараясь не смотреть ни на Петьку, ни на его гостью. Мне было стыдно. — Я не знала…
— А если бы я пришла не по делу? — с интересом спросила Ольга.

Причём это было именно любопытство, никакой издёвки я не почувствовала.
— И тогда… тоже… Извините.
— Вот и хорошо! — Петька засуетился. — Сейчас пойдём на кухню, попьём чаю с вареньем, у меня есть чудесное варенье.

— Нет уж, чая на сегодня достаточно! — я вспомнила, зачем пришла. — У меня к тебе несколько вопросов, но это не для… Я хотела бы поговорить наедине.
— Видишь ли, — Петька замялся, — Ольга тоже, некоторым образом…
— Да, я в курсе происходящего… некоторым образом, — Ольга засмеялась.
— И вы считаете, что это очень смешно?
— Извините, это совсем по другому поводу. Я не считаю происходящее смешным, просто мы говорим не совсем об одном и том же. Может, мы всё же пройдём на кухню?
— Ну что ж, кухня — не самое плохое место. Так уж, видимо, сложилось, что самые плохие новости я узнаю на кухне.

Кухня не изменилась: тот же гарнитур, тот же стол, и посуда прежняя. В голову полезли воспоминания о том, как мы пили чай из этих вот чашек и шептались, строя планы на будущее. Судя по Петькиному виду, он думал о том же. К реальности нас вернул голос Ольги, которая прочно взяла бразды правления в свои руки:
— Я предлагаю так: сначала Наталья Николаевна изложит свою точку зрения на известные события, а затем мы попробуем ответить на её вопросы. Петя, а вы этим временем приготовьте чай.

Я помолчала, собираясь с мыслями, и стала говорить. Оказалось, что рассказывать-то особо и нечего: я прочитала документы, из которых следует, что над Серёжкой кто-то производил или производит эксперименты, а также установил в нашей квартире подслушивающие устройства, что вообще ни в какие рамки не лезет. И поскольку эти документы попали к нам от Петьки, я хотела бы услышать его объяснения, иначе… Что будет иначе, я не знала, поэтому просто замолчала, ожидая их реакции. Никакой особой реакции не последовало. Петька смотрел на Ольгу, а та смотрела на меня, видимо ожидая продолжения. Убедившись, что продолжения не последует, она отхлебнула чай, обожглась и чертыхнулась такими словами, что мы с Петькой засмеялись: очень уж это было неожиданно. Засмеялась и Ольга.
— Какие конкретно документы вы читали? — согнав с лица улыбку, спросила она.
— Какой-то отчёт какой-то комиссии о том, что опыт можно считать успешным, несмотря на то что кто-то мешал и что-то вышло не так, как они хотели.
— Что-то у кого-то не получилось почему-то… А вы не могли бы поконкретнее?
— Поконкретнее пусть вон Петька говорит, он же читал эту бумагу.
— Я тоже читала, но меня интересует ваше мнение.
— А меня — ваше.
— Ну хорошо, своё мнение мы скажем. Но позже. Вы говорили о документах. Значит, были и другие?
— Да, ещё была запись телефонного разговора.
— Вашего разговора?
— Нет, звонили мне на работу. А там кто-то ответил, что я в отпуске, а мой начальник — уже не начальник, и что меня нет в городе, и что… что-то про фирму вашего… ну… Николая.
— Я с самого начала говорил, что это глупо, что всё проверяется элементарно, — включился в разговор Петька, обращаясь исключительно к Ольге, — но безопасность у нас обеспечивают самые умные, а все остальные — так, профессора с докторами…
— Петя, перестаньте вы обижаться. Всё равно ведь затея не удалась, там тоже не дураки работают.
— Если бы приняли мой вариант, то мы бы этих не дураков наверняка застукали.
— Ну и что?
— Здравствуйте! Как это «ну и что»? Прищемили бы им хвост, прижали бы к стенке.
— Так ведь всё равно договорились.
— А времени сколько потеряли?

Я, ничего не понимая, следила за их перепалкой, потом решила напомнить о себе:
— Может, вы потом разберётесь между собой? Или хотя бы объясните, о чём идёт речь.

Они посмотрели на меня, потом друг на друга, заговорили было одновременно, но опять Ольга перехватила лидерство:
— Были ещё какие-нибудь документы?
— Да. О том, как нам устанавливали подслушивающие устройства и кто-то допустил оплошность, но объект, то есть Серёжка, посчитал это обычным совпадением. И о том, что прослушивание в кафе и в машине ничего не дало, один номер определили, второй нет.
— Номер чего?
— Номер телефона.
— А кто передал этот документ, блондин?
— Не знаю, Серёжка не сказал. А какой блондин? Сосед?
— Какой сосед?
— Слушайте, что мы в Штирлицев играем? — я начала опять злиться. — Какой сосед? Какой блондин? Какой Николаич?
— Какой Николаевич? — они оба вскинулись и смотрели насторожённо.
— Николаевич? Ну, которому писали записку. Что в «Мерседесе» стоит какой-то регистратор… или интегратор…
— Нейтрализатор?
— Может быть. Не помню. Но всё законно и придраться не к чему. И что-то ещё про слухачей и топ… топтунов, кажется.
— А что именно?
— Что это не ихние, а чьи-то другие.
— Чьи другие? Впрочем, это вопрос риторический. А кто передал, тоже не знаете?
— Нет.
— А ещё что?

— Больше ничего. Но с меня и этого достаточно!
— Да, конечно. Петя, вы пока рассказывайте, а я сейчас вернусь.

Ольга вышла из кухни, а Петька начал говорить, не поднимая глаз от стола.

— Организация, в которой я работаю, занимается исследованиями сознания человека. Установлено, что в течение всей жизни человек использует ничтожное количество клеток головного мозга, а остальные не задействованы никак. А быть такого не должно…
— Почему?
— Природа не терпит пустоты. Если клетки есть, то они есть для чего-то. Существует несколько теорий, но все они недостаточно аргументированы. Мы исходили из предположения, что в этих клетках заключена информация, получаемая человеком из окружающего мира посредством специфических средств восприятия.
— Это как?
— Радиоволны, космические излучения, ультрафиолетовая и инфракрасная области спектра…
— И вы решили это проверить на Серёжке?
— В общем, да. Он сам согласился.
— А почему именно Серёжка?

Петька молчал, вертя в руках пустую чашку и по-прежнему не глядя на меня. Вернулась Ольга, посмотрела на Петьку, перевела взгляд на меня, вздохнула.

— Жаль, что ваш муж не решился рассказать вам обо всём, если не с самого начала, то хотя бы сейчас. Но его можно понять. Сначала эксперимент протекал без всяких результатов, а потом эта катавасия…
— Вы про аварию? Но вы ведь там были! Выходит, всё это подстроено, да? У вас не было результатов, и вы решили… решили подстроить аварию. Сволочи!

Петька дёрнулся как от удара, но промолчал и продолжал смотреть в стол. Ольга снова вздохнула, устало провела рукой по лицу.

— Вы не правы, ничего мы не подстраивали. Меня там вообще не было.
— Как это не было? А Николай?..
— И Николая не было.
— Как же не было? А разбитая машина, которую он купил, а ГАИ, а всё остальное?
— Постарайтесь успокоиться и выслушайте нас до конца. Мы сами сейчас не знаем, что было на самом деле, а чего не было. И мы не знаем, и ваш муж тоже не знает. Не знают даже те, кто всё это заварил.
— Но разве не вы начали этот эксперимент?
— Дело не в нём. Всё контролировалось абсолютно. В случае удачи ваш муж получал полный или частичный доступ к той информации, которая находилась в неиспользуемых клетках мозга…
— Если она там была!
— Да, если она там есть. Если же её нет или если эксперимент просто не удался бы, то сохранялся статус-кво, то есть ничего бы не произошло. Видимо, поэтому ваш муж и не стал вам ничего рассказывать, боялся разочаровать вас. Или себя.
— А авария?
— Никакой аварии не было. Вмешалась другая организация, которая занималась исследованием возможности формирования блоков привнесённой памяти для своих целей. Скорее всего, это как-то связано с разведкой. Во всяком случае, никто не пытался нас в этом переубедить. Вы читали отчёт именно этой организации, а не нашей. И их эксперимент удался, эти самые блоки сформировались. А теперь невозможно разобраться, какие воспоминания у вашего мужа истинные, а какие ложные.

Петька с недоумением посмотрел на Ольгу.

— Как это невозможно? Мы ведь договорились о совместной работе.
— В случае согласия пациента. А он согласия не дал. И я его не осуждаю. Одно дело — стремиться к духовному обогащению, и совсем другое — работать на организацию, использующую грязные методы работы для грязных же целей.
— Да подождите же вы! Это кошмар какой-то! При чём здесь Сергей? Какое отношение ко всему этому имеет Николай? И откуда взялся язык тарабарский?
— У нас были основания предполагать, что некоторые люди каким-то образом используют резервы своего мозга. Было несколько кандидатов, выбрали вашего мужа.
— Выбрали… — у меня вдруг мелькнула догадка, которая всё расставляла по местам. — Петька, так это ты?.. Это твоя работа? Ты так решил нам отомстить?

Петька втянул голову в плечи, уставился в пол и продолжал упорно молчать. За него заступилась Ольга:

— Вы опять не правы. В то время Петя ещё у нас не работал и никак не мог повлиять на наше решение. Просто несколько человек отказались, а ваш муж согласился. Согласился, подчёркиваю, совершенно добровольно. Отвечая на остальные ваши вопросы… Николай тоже хочет стать духовно богаче. И помочь в этом остальным людям. У него есть деньги, энергия и связи. Но, к сожалению, он не подходил для эксперимента. А язык… Вот к появлению тарабарского языка имеет косвенное отношение Петя, поскольку именно он разрабатывал лингвистическую сторону эксперимента той, второй организации.
— Я ведь не знал, ничего не знал, — глухо сказал Петька. — Мне предложили интересную, хорошо оплачиваемую работу, и я не видел оснований отказываться. Кто же мог знать, что всё так обернётся? А Серёжка мне не поверил. Он решил, что

я специально предложил его кандидатуру, чтобы вернуть тебя. Если эксперимент будет удачным.
— Не понимаю.
— В случае удачи Серёжка очень сильно изменился бы, стал… ну, гораздо умнее, что ли, на несколько порядков. Вы не смогли бы жить вместе, не смогли бы друг друга понимать. Серёжка считает, что я по-прежнему в тебя влюблён и готов на всё, чтобы вернуть тебя.
— Но это не так?
— Да, я люблю тебя! — Петька впервые поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. — Я тебя очень люблю! Но я не виноват в том, что произошло. Ты мне веришь?
— Не знаю. Ничего не знаю. Во что верить, во что не верить? Всё так перемешалось. Один эксперимент не удался, второй удался, какая-то разведка. И всё это почему-то свалилось на нас с Серёжкой.
— Так всегда было. Всегда находился кто-то нечистый на руку, готовый воспользоваться плодами чужой работы. И сейчас тоже. Они ведь воспользовались нашей аппаратурой, нашими данными, даже нашими работниками. И для чего?.. — Ольга махнула рукой, отхлебнула остывший чай. — А неудавшегося эксперимента не было. Оба эксперимента удались… в какой-то степени.
— Как удались? Вы же говорили…
— Эти блоки ложной памяти как-то повлияли на сознание вашего мужа. Видимо, организм сам пытается справиться с возникшими несоответствиями, расставить всё по полочкам. И для этого включил механизмы, до этого не использовавшиеся. Сейчас можно только гадать, что и как на самом деле происходит в сознании Сергея, он ведь категорически отказался сотрудничать как с нами, так и с ними. А есть ведь и ещё кто-то — эта последняя записка…

Зазвонил телефон. Ольга замолчала и вопросительно поглядела на Петьку. Тот пожал плечами и поднял трубку. Послушал немного, а потом, снова пожав плечами, передал трубку Ольге. Та взяла трубку настороженно, но, узнав звонившего, заулыбалась. Впрочем, улыбка очень быстро погасла на её лице, сменившись озабоченностью. Несколько раз она взглянула на меня: видимо, речь шла обо мне или Серёжке. Потом озабоченность сменилась страхом.
— Коля, — заговорила она в трубку срывающимся голосом, — не надо так, слышишь? Бог с ними, с деньгами! Не бывает нулевых шансов, ты же сам всегда меня в этом убеждал! Коля!..

Дальше она слушала, кусая губы, сжимая и разжимая кулак, пытаясь сдержать наворачивающиеся слёзы.
— Коля, Коленька, — умоляюще зашептала она. — Прошу тебя, не надо так. Они не посмеют. Коля, должен быть другой выход. Коля!

Уронив трубку, не вытирая слёзы, катящиеся по щекам, она бормотала:
— Сволочи, сволочи, сволочи…

Потом выскочила из кухни, даже не взглянув на нас. Хлопнула, как выстрел, металлическая дверь.

Петька осторожно поднял трубку, послушал короткие гудки и положил её на аппарат.
— Надо закрыть дверь, — сказал он, продолжая стоять у окна и глядя во двор.

Я поняла, что больше в этой квартире мне делать нечего, встала и вышла в прихожую. Петька даже не обернулся. Выйдя на площадку, я осторожно прикрыла дверь и пошла домой, всё убыстряя шаги. По лестнице я уже бежала сломя голову.

Квартира встретила меня тишиной. Серёжки не было. В комнате на столе рядом с магнитофоном лежала стопка общих тетрадей, на ней три магнитофонные кассеты, а на кассетах записка. Я не решилась сразу прочитать её, прошлась ещё раз по комнатам, заглянула в шкафы. Все Серёжкины вещи были на месте, не хватало лишь чемодана, костюма, нескольких рубашек и ещё кое-каких мелочей. В душу вползало холодной скользкой змеёй отчаяние. Вернувшись в комнату, я наконец взяла записку.

> «Наташа, прости меня, я так и не смог тебе рассказать. Теперь ты, по-видимому, всё знаешь. Прости и не осуждай, у меня нет другого выхода. Будь счастлива! Береги Игорёшку.
> *Сергей.*
>
> *P. S.* Прочти бумаги, а кассеты можешь не слушать, *ты* там ничего не поймёшь. Поступай со всем этим как сочтёшь нужным».

Я вставила в магнитофон кассету, включила. Зазвучал Серёжкин голос, но говорил он на том самом непонятном языке. Уронив записку, я села на пол и дала волю слезам.

С тех пор прошёл месяц. Серёжка так и не появился, не позвонил, не прислал письма. Ничего… Петька тоже пропал. Сначала его телефон молчал, потом незнакомый голос ответил, что квартиру они купили, а где прежний хозяин — не знают.

На днях я нашла в почтовом ящике конверт, на котором стоял только мой адрес. В конверте лежала вырезка из газеты. Некролог. «На сорок третьем году жизни безвременно…» И фотография Николая в траурной рамке. Роберт Иванович сочувствующе развёл руками:
— Не знаю, голубушка, ничего не знаю, поймите меня правильно.

Но у меня ещё остались записи, в которых Серёжка описывал своё состояние и происходящие в нём перемены. Пять общих тетрадей, исписанных от корки до корки. Впрочем, первые две тетради являются просто дневником

и к эксперименту никакого отношения не имеют, но ведь и три тетради—это уникальный материал, за которым кто-то когда-то должен прийти. Но почему-то не идёт…

(Слишком много неопределённости: кто-то, когда-то, почему-то… Вообще, всё случившееся кажется нереальным, зыбким, иррациональным, как тягостный запутанный сон, от которого наутро раскалывается голова и портится настроение. А ещё всё это напоминает небрежно скроенный сюжет плохенького детектива, в котором шпиёнов и террористов—как блох у бродячей дворняжки, все ловят и убивают всех, а концы с концами не сходятся абсолютно.)

Пытаясь разобраться в Серёжкиных записях, я чувствовала себя той самой блохастой дворняжкой, которая и сама ничего сказать не может, и не понимает того, что ей говорят, а потому лишь преданно заглядывает в глаза человеку с колбасой в руке и яростно виляет хвостом. И дело вовсе не в непонятных терминах, которыми последняя тетрадь усыпана, как облепиха плодами (откуда Серёжка нахватался их, терминов этих? Там ведь и математика, и физика, и химия, и социология, и ещё что-то вовсе уж непонятное), для меня и первые две тетрадки были как гром с ясного неба. Ведь столько лет жили вместе, а оказалось, что рядом со мной всё это время был совсем незнакомый человек, не чужой, а именно незнакомый. То есть незнакомый абсолютно!

То, что Серёжка интроверт, я понимала и до этого, но не подозревала, что до такой степени. Читая его скрупулёзные анализы собственных поступков, стремлений, желаний, своей реакции на поступки и слова окружающих, я ужасалась: как у него хватало времени, сил и просто желания общаться со мной, с сыном, с окружающими? Отшвырнув тетрадку, я ревела и повторяла: почему, ну почему? Почему он таил всё это в себе, почему не хотел поделиться со мной, ведь я же не чужая ему?

Немного успокоившись, я продолжала читать, надеясь найти ответы на все свои «почему», которых у меня появлялось всё больше. Но не находила… Вернее, на каждый ответ возникали два новых вопроса. В конце концов, окончательно отодвинув последние три тетради, поскольку понять там что-либо представлялось для меня делом абсолютно немыслимым, я стала заново перечитывать первые две. Некоторое время совесть моя пыталась протестовать, поскольку меня с детства учили, что читать чужие дневники, а равно письма и прочие материальные проявления души,—дело постыдное и недостойное. Но дни шли, никаких известий от Серёжки не было, надежды таяли—и совесть замолчала.

По мере того как в моём сознании формировался образ того, другого Серёжки, меня всё больше стали одолевать сомнения: ну не может такого быть, чтобы один и тот же человек был настолько разным с окружающими и с самим собой! Но, с другой стороны, разве можно кривить душой в собственных дневниках?

Терзаемая сомнениями, переживаниями за Серёжку и полной неопределённостью, я решилась позвонить одному из своих бывших воздыхателей, который тоже закончил юридический факультет и сейчас работал где-то в органах следователем. Тем более что он сам как-то предложил обращаться к нему в случае необходимости («…не дай Бог, конечно, но мало ли что в жизни может случиться…») в любое время дня и ночи. Воздыхатель на мою просьбу о встрече откликнулся охотно, к себе в кабинет приглашать, слава Богу, не стал, а приехал сам, с цветами, коробкой конфет и шампанским.

Мы прошли на кухню (опять на кухню!), я достала фужеры, включила чайник и на скорую руку сервировала стол.

После первых приветствий и комплиментов гость, беря быка за рога, объявил, что он женат и счастлив в браке, а посему можно переходить непосредственно к делу. Я не возражала, естественно, хотя такое начало несколько покоробило меня, поэтому я решила не придерживаться того плана беседы, который составила для себя до его прихода, и взяла с места в карьер.

— Ты слышал что-нибудь об этом деле?—я подала ему газетную вырезку с некрологом.—Да, и раз уж мы перешли к делу, как мне к тебе обращаться: Виктор Семёнович или по званию?

— Предлагаю следующий вариант: товарищ капитан Виктор Семёнович Прокопчук,—и он засмеялся так заразительно, что я тоже не смогла сдержать улыбку.—Если бы ты видела, как тщательно я выбирал галстук и какую сцену ревности закатила мне жена,—не задавала бы таких вопросов.

— А что, жена сильно ревнивая?

— Да нет, в пределах необходимой самообороны,—Виктор опять засмеялся.—Наташ, я же помню прекрасно, как ты класса с пятого любой косой взгляд считала ухаживанием и боролась с этим безжалостно, тебя даже за косички опасались дёргать. Не любила ты нас, мужиков, ой не любила! Знать бы за что… Или ты как, с годами поостепенилась?

— Нахал ты, Витюша, так беспардонно даме про возраст напоминаешь.

— Какие твои года, чтобы на такие мелочи внимание обращать?—он шутливо погрозил мне пальцем.—И не отвлекай ты меня своими глазищами, а то как вспомню молодость!..

— Так я ведь тоже вроде бы как замужем…

Невесть откуда взявшееся настроение моментально улетучилось. Виктор посмотрел внимательно, но спрашивать ничего не стал, разлил шампанское. Мы сдвинули фужеры, послушали их тихий серебристый звон и выпили без тоста.

Я смотрела на Виктора, который, так и не произнеся ни слова, читал газетную вырезку, и мысленно благодарила его за это молчание. Впрочем, он всегда был мальчиком очень тактичным, и служба его, похоже, не успела испортить. Виктор и ухаживал-то за мной, я бы сказала, очень ненавязчиво, моё недовольство переносил абсолютно невозмутимо, при появлении нового соперника вежливо отходил в сторону и терпеливо ждал, пока всё утрясётся само собой. Эх, был бы он понастойчивей тогда…

Перечитав некролог дважды, Виктор посмотрел на меня с явным недоумением.

— Этот Николай — он тебе кто?

— Просто знакомый.

— Совсем просто, без всяких?

— Почти совсем, — мне не хотелось начинать разговор ложью, поэтому чувствовала я себя немного неуютно. Впрочем, ложью моё утверждение нельзя было назвать. — Так слышал или нет?

— Ты понимаешь, дела там никакого и не было. Обычное самоубийство, вне всяких сомнений.

— А причины?

— Не знаю, это же было не в нашем районе. Конечно, я могу попытаться узнать подробности, но толку-то… Человек устал жить, свои долги вернул, должников простил, оставил записку, взял пистолет и застрелился. Всё очень просто.

— Человек решил уйти из жизни, а ты говоришь — просто.

— Наташ, таких случаев в последнее время — по два-три в месяц, мы успели привыкнуть. Если каждый случай расследовать по полной программе — никакой милиции не хватит. У нас и так… Но если тебя интересуют подробности, я попытаюсь навести справки.

— А пистолет?

— Сейчас куча народу имеет разрешение на ношение огнестрельного оружия. Да и вообще, пистолет — это не проблема, — Виктор решительно наполнил фужеры и ободряюще посмотрел на меня. — Давай для храбрости по маленькой, а потом ты мне всё расскажешь. Я же вижу, что ты вся на иголках. Мне, как врачу, можно всё рассказывать. Так что не стесняйся и не сомневайся.

— Ты ведь фантастикой в молодости не увлекался?

— Ну и вопросики у вас, мадам. Имеете целью запутать следствие?

— Дело шьёшь, начальник? — невесело пошутила я, но Виктор шутку не принял, смотрел серьёзно.

Пришлось допивать шампанское и рассказывать.

Рассказывала я, не особо вдаваясь в подробности, с момента аварии и до исчезновения Серёжки. Виктор не перебивал, слушал внимательно, но, как бы это сказать, слишком уж внимательно.

Когда я закончила свой рассказ, он помолчал немного, барабаня пальцами по столу, потом медленно, с расстановкой произнёс:

— Фантастику не люблю до сих пор. Я не тормоз. Меня зовут Витя.

— Ты мне не веришь?

— Верю, конечно, верю. Только вот насчёт выводов… А вещдоки какие-нибудь имеются?

— Тетради, кассеты, записка…

— А ещё?

— Ну, не знаю… Показания свидетелей, например.

— Каких свидетелей? И свидетелей чего?

Я растерялась. Петька пропал, Серёжка пропал, Иван Иванович сделает вид, что впервые меня видит, Роберт Иванович… он вроде бы как вообще ни при чём. Выходит, свидетелей-то и нет. Ввиду наличия отсутствия присутствия таковых…

Виктор заметил мою растерянность.

— Слушай, Наташ, а вы с мужем хорошо жили? Не мог он просто сделать ноги?

— Как это?

— Ну как бывает: полюбил другую и сбежал с ней. Ты извини, конечно, но больно уж всё мистикой попахивает, а на самом деле в жизни всё проще и конкретней.

— Не было у него никого, я бы заметила.

— И на сколько процентов ты в этом уверена?

Тут он попал в самую точку! Ни в чём я не была уверена, какие там проценты. А с другой стороны — зачем было бы такой огород городить, когда всё можно решить проще: развод и девичья фамилия, как сам Серёжка любил говорить.

— Да не расстраивайся ты так, я же только предположение сделал, а оно может оказаться ошибочным. Ты правильно сделала, что не обратилась к нам официально: заявление-то, может быть, и приняли бы, но не более того. Ушёл сам, оставил записку, всё законно. Если только по поводу алиментов…

— Погоди ты с алиментами! Не мог Серёжка просто так уйти, не мог! А тетради? А кассеты? Что я их, выдумала, что ли?

— Не выдумала, конечно, но…

Виктор повздыхал, передвигая пустой фужер с места на место, потом неуверенно сказал:

— Давай так сделаем: я возьму кассеты, тетради, послушаю, полистаю, а потом будем определяться, что делать дальше.

— Кассеты возьми, я их переписала, а тетради… Это же всё-таки очень личное, дневники…

— Ну ладно, дневники оставь, дай только последние три.

— Ты же там ничего не поймёшь.

— Я, конечно, простой мент, академиев не кончал…

— Вить, ты не обижайся, но там действительно чёрт ногу сломит, я…

— Хоп-майли! — перебил меня Виктор одним из своих непонятных словечек. — Так и порешим. Тащи кассеты и тетради. А потом быстренько-быстренько ставь чай, будем за жизнь трепаться.

Прошло ещё несколько дней. Пока Виктор «определялся», я перечитывала дневники Серёжки. Перечитывала практически с единственной целью: обнаружить там следы другой женщины. Или не обнаружить.

Женские имена в записях встречались, но весьма редко. Вскользь упоминались коллеги по работе, подруги друзей, знакомые знакомых. Никакого намёка на сколь-нибудь близкие отношения.

Первую тетрадь я изучала едва ли не с лупой. Не обнаружив ничего предосудительного, вторую тетрадь я начала читать «по диагонали» и вскоре обнаружила имя, которое повторялось всё чаще: Ольга. Именно Ольга проводила тот злополучный эксперимент с Серёжкой, именно она была организатором и вдохновителем этой сумасбродной идеи. Впрочем, почему сумасбродной, если эксперимент всё же удался? Во всяком случае, только удавшийся эксперимент может объяснить наличие тетрадей, практически нечитабельных для простого смертного типа меня. Но, хоть имя и встречалось часто, никакого интима не чувствовалось. Уважение—да, восхищение—может быть, но не любовь, это уж точно!

Чаще стали попадаться стихи. Если в первой тетради их было штуки три или четыре, во второй они встречались едва ли не на каждой странице. Иногда это были просто стихи без всяких комментариев, причём не только Серёжкины—я встретила несколько знакомых; иногда несколько поэтических строчек сопровождались обширными вступлениями и послесловиями. Вообще к стихам я относилась довольно прохладно, но некоторые мне понравились.

Из записей было понятно, что Ольга Серёжкины стихи читала, более того—он ценил её мнение и почти всегда с ней соглашался. Сердце кольнула обида: ей он свои стихи показывал, может быть, даже декламировал, а мне не захотел. Но потом я прочитала сонет, который уже слышала до этого.

Имён твоих вовек не перечесть.
На каждый день, на каждое мгновенье
Своё, особенное имя есть:
Любовь, Восторг, Печаль, Благоговенье…

Но никогда ты не зовёшься Лесть,
Ни Зависть, ни Измена, ни Презренье!
Природы совершенное творенье,
Твоим слугою быть почту за честь.

Слова смешны, когда пуста душа,
Когда за ней—ни медного гроша,
Лишь живость языка да туз в кармане.

Но коль душа поёт, душа жива,
То нет нужды перебирать слова:
Бери любое, сердце не обманет.

Прочитала—и вспомнила, как безжалостно обхихикала я автора, не подозревая, чьи это на самом деле стихи. А Серёжка оказался обидчивым, хоть про тот случай и не написал ничего в дневнике.

И тут я сообразила, что вообще этот дневник был довольно странным. Почти ничего не было написано про меня, про наши отношения, про его отношение ко мне. Можно было подумать, что эти темы его не интересовали вовсе. Или же он заранее знал, что я прочту его записи, поэтому и не затрагивал наших семейных отношений, хотя отвлечённые размышления о семье и браке встречались у него довольно часто. Но в таком случае становилось совсем непонятно, для чего же всё это писалось. Так ничего путного и не придумав, я стала ждать звонка Виктора.

А тот позвонил лишь спустя полторы недели, по телефону ничего объяснять не стал, договорились встретиться вечером.

На этот раз Виктор пришёл без цветов и шампанского, купив лишь коробку конфет, которую и вручил мне сразу у входа, ехидно объяснив:
—Решил на тебя не надеяться, а то пришлось бы без чая обходиться.

Я сделала вид, что оскорблена до глубины души и не намерена отвечать на эти инсинуации. Но коробку взяла. Виктор моего актёрского мастерства не оценил, и это было на него не похоже.

Беседовали мы опять на кухне. Я не пыталась скрыть нетерпения, и Виктор сразу же перешёл к делу.
—Кассеты я прослушал, тетради пролистал, в обоих случаях ничего не понял…
—А я что говорила?
—…и поэтому решил обратиться к специалистам. И знаешь, к кому меня отослали специалисты?
—К кому?
—Есть такой Иван Иванович Абраменко, главврач восьмой специализированной городской поликлиники. А специализируется та поликлиника на психических расстройствах, нервных болезнях и тому подобное.
—Это психушка, что ли?—я была ошарашена.—Они что, Серёжку в психи записали?
—Да нет, я бы не сказал. Иван Иванович—врач толковый и довольно известный. Так вот, если не углубляться в терминологию: твой муж совершенно здоров, никаких отклонений обнаружено не было, никакого нового языка не существует, а всё это—ловкая симуляция.
—?!..
—Во всяком случае, я понял его объяснения именно так.
—Бред какой-то! Он там сам в своей клинике психом стал!!
—Не похоже. Вас он, кстати, прекрасно помнит.
—Ну, если не псих, то врёт как сивый мерин!

— Фу, Наталья Николаевна, что за выражения? Человек пожилой, заслуженный, а вы о нём так отзываетесь.
— Значит, мне ты не веришь, а ему веришь?
— Как раз наоборот.
— Что наоборот?
— Тебе я верю, хоть и не очень, а ему очень не верю.
— Ага,— я по-прежнему ничего не понимала.— А кому ты очень веришь?
— Себе. Своей интуиции. Своему опыту. И этот опыт мне подсказывает, что Иван Иванович Абраменко темнит и при этом считает капитана милиции Прокопчука лопухом, которого вокруг пальца обвести — что раз плюнуть. Но он, капитан Прокопчук то есть, не лыком шит. Он идёт к другим специалистам, не таким заслуженным, но тоже не дуракам. И они объясняют ему, то есть мне, прямо на пальцах, что многоуважаемый Иван Иванович, может быть, не прав, а может быть, и прав. Поскольку пациента нет, истории болезни нет, можно только делать предположения.
— Какие предположения-то?
— Предположений несколько. «Есть до фига, Горацио, на свете, что наши мудрецы в гробу видали…»
— Это ты сам придумал?
— Шекспир. Я только немного подредактировал.
— Так что насчёт предположений?
— Симуляция исключается. Теоретически такое возможно, конечно, но очень сложно: сделать вид, что не понимаешь по-русски,— это одно, а несколько дней говорить на другом языке, ни разу не сбиться, да ещё надиктовать столько текста на магнитофон — это совсем другое!
— Что значит — «ни разу не сбиться»? А если…
— Продолжай, что замолчала?
— Как можно вообще какой-то язык выдумать?— я неожиданно вспомнила, как Серёжка сказал: «Хочу есть»,— а потом опять ничего не понимал (или делал вид, что не понимает?), но решила пока промолчать.— Серёжка ведь не лингвист, да и вообще…
— Ни-си-что-со не-се но-со-во-со по-со-д лу-суно-со-й…
— А по-русски?
— Это и есть по-русски. Между слогами вставляешь букву «с» с окончанием слога. Детишки обычно этим забавляются.
— А Серёжке зачем?
— Вроде бы незачем. Да и язык больно сложный для детских забав. Но теоретически — теоретически! — такая возможность не исключается. А с тетрадками и вовсе никакой ясности. Единственное, что мне сказали все специалисты в один голос: никаких открытий! Очень много информации, информация очень разносторонняя, комментарии зачастую весьма интересные, но ничего нового. Опять-таки теоретически это мог бы написать почти любой, во всяком случае — многие.
— Всё равно непонятно.
— Ну представь себе: сидит человек, у него под руками обширнейшая библиотека, где собраны книги по физике, химии, биологии, социологии, квантовой механике, теории эволюции и ещё куча всяких, подшивки научных и околонаучных журналов с заметками об открытиях и комментариями к этим заметкам и этим открытиям, причём всё это переведено на русский, ведь твой муж иностранными языками не владел; во всяком случае, в такой степени точно не владел. И вот сидит человек и делает выписки: из одной книги, из другой, из третьей — всё без разбору.
— А зачем?
— Чтобы окончательно запутать доблестную милицию в лице славного капитана,— Виктор начал было сердиться, но взял себя в руки.— Не знаю. Ты спрашивала про предположения — я сказал. Как мне объяснили — так я тебе передал.
— А сам ты как считаешь? Серёжка подсунул нам липу?
— Слушай, где ты таких выражений нахваталась?— Виктор засмеялся и погрозил мне пальцем.— Могу сказать одно: многое из того, что в тетрадках, на русский язык не переводилось вообще.
— И что?
— И ничего. Слушай, Наташ, а ты не заметила, что вокруг тебя все стали много врать? И Петька Поздеев, и Серёжка твой, и Иван Иванович, и все остальные… К чему бы это, а?
— И к чему же?
— Да к перемене погоды, я так думаю,— Виктор помолчал, задумчиво прихлёбывая чай.— Есть ещё маленький нюансик: все записи в тетрадях, во всех трёх, были сделаны в течение двух дней, максимум трёх. Я тут подсунул эти тетрадки своим экспертам, в качестве личной просьбы. Они рисуют примерно такую картину: твой Серёжка сидел три дня и переписывал эти тетрадки откуда-то, причём не писал, а именно переписывал, поскольку писал практически не останавливаясь, не задумываясь. Обширной библиотеки у вас нет, как я понимаю, доступа к глобальной информационной сети тоже, значит, остаются два варианта: либо он черпал информацию из собственной головы, либо из лежащих перед ним трёх тетрадей. Второе более вероятно, так как более правдоподобно. А это значит, что у него остались копии как минимум последних трёх тетрадей, а может, и всех пяти. Вот такие вот пироги с котятами, свет Натальюшка: их едят, а они царапаются. Зато с самоубийством Николая твоего всё более-менее ясно: острый приступ депрессии в связи с разочарованием в личной жизни и жизни вообще, имеются маленькая записочка для жены и более обстоятельное письмо, адресованное Ольге, просто Ольге, без фамилии и адреса. Письмо до сих пор не востребовано,

лежит в отделении. Окажи помощь следствию, подскажи адресочек.
— Не знаю,— я безуспешно пыталась выкарабкаться из состояния прострации. Ни одной мысли, ни одного чувства, только всеобъемлющая, глухая усталость.— Никаких адресов не знаю. Вообще ничего не знаю и ничего не понимаю. Ни-че-го! Я хочу заснуть, проснуться — и чтобы всё как раньше…
— «Заснуть — и видеть сны…» Не дурак был этот Шекспир…— Виктор налил себе чаю, упорно пряча взгляд. Похоже, он тоже врал. Или, во всяком случае, не договаривал что-то.— Наташ, больше я тебе ничем помочь не могу, никаких оснований для официального расследования нет, ты же понимаешь, сама юрист. Если ты подашь заявление на розыск… Но опять-таки: на каком основании? Единственный вариант — это подать на алименты, тогда, может быть, найдут, да и то надежда слабая: сейчас ведь сама знаешь что в стране творится.

Я подавленно молчала. Да и что можно сказать в такой ситуации? Никто ничего не знает, все врут напропалую, одна я крайняя. Да ещё, может быть, Серёжка.

Виктор вынул из кармана несколько листков, протянул мне.

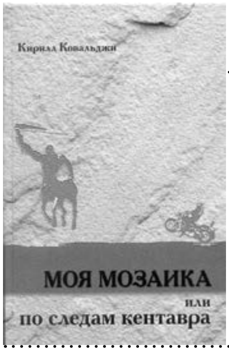
— Это бланк для подачи заявления на взыскание алиментов и образец для заполнения. Больше ничего предложить не могу. И рад бы, но… Извини!

Сейчас ночь. Игорёшка спит. Он уже успел соскучиться по папе, но пока верит, что тот в командировке и скоро вернётся. Но даже ребёнок вскоре поймёт, что таких длинных командировок не бывает. Что я тогда буду ему говорить? Как объясню, где наш папа, если я и сама этого не знаю?

Передо мной на столе лежат заполненный бланк заявления и эта рукопись. Завтра я отдам и то, и другое. Заявление — в суд, а рукопись — в типографию, где работал Серёжка. В типографии я уже договорилась, главный редактор по телефону обещал помочь с изданием моего повествования. Серёжкина трудовая книжка до сих пор лежит в типографии, его не увольняют, хоть и приняли на его место другого человека.

В заключение я хочу обратиться к тем, кого могут заинтересовать магнитофонные кассеты и Серёжкины тетради. Пусть это глупо, наивно, но я прошу вас: не бросайте меня так! Я готова стать другой, я готова участвовать в ваших опытах, я на всё готова! Но вы не можете меня так вот бросить. Верните мне Серёжку!

Дайте нам ещё один шанс, прошу вас.



Кирилл Ковальджи

Моя мозаика, или По следам кентавра

Москва: Союз писателей Москвы, «Academia», 2013.— 472 с.

«Моя мозаика или По следам кентавра» известного поэта Кирилла Ковальджи — это книга эссе и миниатюр,— с улыбкой и всерьёз. Это наблюдения и размышления, житейские картинки, короткие рассказы-воспоминания, а также портреты и статьи о современных писателях. Части книги печатались в журналах «Вопросы литературы», «Октябрь», «Нева», «Дружба народов», «Дети Ра», «Кольцо „А“», «Наша улица», альманахах «Истоки», «Муза», «Эолова арфа» и на многих сайтах в Интернете. Отдельные главы переведены на болгарский язык в книге «Теб. До поисковане» (Изд. «Буквите», София, 2011).

«Моя мозаика» — вполне самостоятельный том и одновременно — продолжение первого, вышедшего под названием «Обратный отсчёт» (изд. «Книжный сад», 2003), который был встречен с большим интересом.

В книге четыре части. Первая — короткие рассказы, страницы биографии, вторая — «Литературные портреты» (русские писатели, молдавские, румынские), третья — вольная, своеобразная, похожая на «Опавшие листья» Розанова или на «Жизнемыслие» Гачева.

Беглость записей, ассоциаций, полемики чередуется свободно, прихотливо, создавая насыщенную культурную, интеллектуальную атмосферу вообще и внутренний мир автора в частности. Четвёртая часть — мысли об искусстве, философии, религии, политике.

Семён Каминский

Учебное пособие по строительству замков из песка

В видоискателе моей видеокамеры — кусок пляжа, на котором восседает скульптор Жан Филипп Пэктон-Гарсия. Он в яркой жёлтой безрукавке, мешковатых бермудах с обширными накладными карманами и, как положено настоящему художнику, значительно и фотогенично бородат. Вокруг него аккуратно расставлены пластмассовые ведёрки различных цветов и размеров, пульверизатор с водой, формочки, лопатки, скребки, кухонные ножи и прочие нехитрые инструменты. На заднем плане — тихая бледно-голубая поверхность озера Делтон, которую время от времени живописно бороздят каяки, катамараны и лёгкие парусные лодки. Жарко.

На вороте безрукавки скульптора устроилось чёрное насекомое — прищепка с микрофоном. Жан Филипп умело лепит из пляжного песка шикарный замок и увлечённо объясняет будущим зрителям нашего фильма подробности такого строительства:

— …Не забывайте периодически сбрызгивать уже готовые башни водой… Песок должен оставаться влажным до тех пор, пока мы полностью не закончим все работы…

Я, не отрываясь, пялюсь в камеру, к моим ушам прилипли наушники с голосом Жана Филиппа, а поверх этого голоса и наушников нахлобучена весьма несуразная панамка, придающая мне вид не смешного (как я надеюсь), но странновато-отрешённого от мира киношника.

— …А сейчас посмотрите, как поможет нам в отделке стен и дверных проёмов обычная картофелечистка…

Вторая камера стоит слева от меня на треноге и берёт общий план всего происходящего, а справа расположился Бронштейн с большим куском картона. Одна сторона картона обклеена алюминиевой фольгой — мы часто используем это приспособление для создания рассеянной подсветки, — и сейчас в этом мутном зеркале ломано отражается пойманное Бронштейном висконсинское солнце. Держать картонку нетрудно, но Бронштейн периодически отвлекается на рассматривание каких-то девиц, то кокетливо резвящихся у бассейна, то приближающихся к нам, чтобы понаблюдать за съёмочным процессом. При этом Бронштейн опускает подсветку так, что на лице Жана Филиппа и — главное! — на чудесных башенках его замка начинают появляться ненужные тени. Я сержусь, раздражённо машу Бронштейну свободной рукой, и он, очнувшись, неохотно возвращается к скучным обязанностям импровизированного осветителя.

— …А теперь, с помощью вот этой трубочки, — Жан Филипп вытаскивает из нагрудного карманчика рубашки пластиковую трубочку для коктейля, — мы завершим выполнение наиболее тонких деталей нашего замка…

Он подносит трубочку ко рту и осторожно дует в неё. Камера делает наезд, и зрители видят, как заканчивается отделка миниатюрных окошек, бойниц и зубчиков крепостной стены.

Теперь можно сделать перерыв. Бронштейн тут же бросает картонку на песок и скрывается в тени под белым тентом, который мы, по разрешению хозяев отеля, развернули для нужд «съёмочной группы» в углу пляжа. Жан Филипп немедленно отравляется туда же — к ящику со льдом, в котором млеют бутылочки «Стеллы Артуа». А я отлепляю наушники и оглядываюсь вокруг.

Вчера мы приехали сюда так поздно, что я не успел толком осмотреться. Мы добирались из Чикаго в Висконсин более четырёх с половиной часов, хотя могли бы доехать и за три. Здоровенный, но немолодой «Понтиак Бонневиль» Бронштейна уже не в силах развить былую крейсерскую скорость. Машина действительно выглядит как мощный крейсер и всё ещё сияет хромированными частями, но её легко обходят даже самые маленькие дерзкие автомобильчики. Впрочем, причиной такого позора является не только корабль, но и его капитан Бронштейн, который ведёт свой крейсер не слишком уверенно: вцепится в руль, станет в крайнюю правую полосу и плетётся с неизменной скоростью сорок пять миль в час в хвосте какой-нибудь грузовой автоколонны. Однако я свыкся с его манерой езды и давно не высказываю никаких возражений, совершенно бессмысленных хотя бы потому, что за руль «Бонневиля» Бронштейн меня ни за что не пустит, а своей машины у меня

нет. Вот и вчера, развалившись на широченном пассажирском сидении, я всю дорогу смирно разглядывал из окна красоты холмов Среднего Запада и понаставленные вдоль трассы щиты с аляповатой рекламой типично туристических увеселений: водных парков, аттракционов, ресторанчиков, казино… пока не задремал.

Моя постоянная усталость дала себя знать. В течение многих месяцев подряд каждый уик-энд мы снимали свадьбы, а в будни мне приходилось долгими часами монтировать отснятый материал. Для участников действия свадьба—это долгожданное торжество, сопряжённое с началом новой жизни, любви и надежды. А меня… меня уже давно и стойко тошнит от непрерывной череды «первых» танцев женихов и невест, дурацких швыряний букетов в визжащую девичью толпу и бравых тостов с избитыми пьяными пожеланиями…

И тут Бронштейн, который в нашей маленькой компании отвечал за поиск работы и контакты с заказчиком, прискакал с необычной идеей.

— Едем в Висконсин Деллс, поживём в хорошем отеле у озера Делтон, будем снимать прямо на пляже!..—завопил он, влетая в мою квартирку, служившую нам также офисом и студией.—Всё оплачивает заказчик! Будем снимать учебное пособие по строительству замков из песка…

— Что-что? Замки из песка? А разве до сих пор мы не снимали именно то, как строят замки из песка?—ядовито заметил я, кивнув на экран.—Замки из песка! По-моему, ты просто свихнулся!.. Вот как сказались на тебе долгие годы голода, холода и прочих ужасных лишений на американской земле…—я смачно откусил кусок пиццы с копчёной колбасой и сделал солидный глоток пива (мне часто приходилось перекусывать, не отрываясь от работы).

— Дай кусочек, жлобина, я так забегался, что ничего не жрал с утра,—заныл Бронштейн за моей спиной.

Мне было видно его отражение в экране монитора: он пытался приблизиться.

— Ни в коем случае! Тебе нельзя есть эту гадость,—жёстко ответил я и, поспешив засунуть в рот последний кусок пиццы, сделал вид, что хочу сосредоточиться на прерванной работе.—Но в холодильнике должно быть несколько баночек диетического йогурта. Выбирай любую—для такого серьёзного больного, как ты, мне ничего не жалко. Ведь к твоему верному гастриту нынче добавилось умопомешательство…

Бронштейн недовольно потащился на кухню и полез в холодильник, продолжая активно разглагольствовать:

— Ничего умопомешательского в этом нет! Ничего! Сколько можно без перерыва снимать свадьбы? Неужели тебе не хочется хоть ненадолго сменить обстановку, поснимать что-то повеселее, на природе? Мой знакомый, скульптор Жан Филипп Пэктон-Гарсия… да, у него такие имя и фамилия!.. решил подработать и взял заказ у какого-то телеканала или интернет-сайта (я не уточнял—какое это имеет значение?) на изготовление учебного фильма о строительстве замков из песка… Ну что ты ржёшь? Мало ли какую чепуху сейчас можно найти в Сети! Как рисовать героев популярных комиксов… Как целоваться взасос… Как научиться играть на флейте Пана… Чем замки из песка хуже этого? Наверно, это как-то связано с рекламой… я не знаю. Короче говоря, они платят Жану Филиппу, а он пригласил нас, чтобы мы это сняли. И предлагает…— Бронштейн назвал достаточно приличную сумму.

— Ну да, два полоумных русских киношника будут снимать, как один полоумный скульптор-американец строит замки из песка… ха-ха-ха!—деланно хохотнул я.—Можно подумать, что кто-то уж совсем сумасшедший за это заплатит!..

На самом деле его затея стала постепенно представляться мне не такой уж бестолковой. Похоже, что мой дорогой партнёр действительно нашёл неплохой способ хоть ненадолго вырваться из однообразия нашей жизни—к тому же за счёт заказчика. Даже если нам ни черта не заплатят за этот так называемый учебный фильм, беда невелика: заработок за последние две свадьбы я пока не проел, а там видно будет…

Я дал Бронштейну насладиться йогуртом, ещё с полчасика послушал его убеждения и согласился.

Так мы оказались в курортном городке Висконсин Деллс. Отель, в котором Жан Филипп договорился о проведении съёмок, невелик и стоит на берегу озера. Земля здесь дорогая, и отели построены плотно друг к другу. У каждого из них свой пляжик, причал и три-четыре лодочки напрокат. Два уютных двухэтажных корпуса нашего отеля соединены стеклянным кубом, под крышей которого находятся вестибюль, офис и тёплый бассейн с гидромассажем. Ещё один бассейн—открытый—устроен по соседству с пляжем. В озере никто не купается (для меня это не новость: даже если рядом натуральный водоём—река, озеро, океан,—американцы чаще всего предпочитают плавать в бассейне).

Конец июня—и в отеле затишье. Основная масса отдыхающих хлынет сюда из Чикаго и Милуоки буквально через пару дней, ведь на носу четвёртое июля—празднование Дня независимости. А сейчас тут только мы с Бронштейном и Жаном Филиппом и ещё какая-то компания—человек тридцать, взрослых и детей, очевидно принадлежащих к одной большой семье. Все они—в том числе и маленькие дети—одеты в одинаковые оранжевые футболки и кепки с надписью «Lipovetski Family Reunion»—«Встреча семьи Липовецких».

Я слышал о такого рода событиях: члены какой-нибудь многочисленной семьи, люди разных поколений, подчас живущие в весьма отдалённых городах и даже штатах, решают собраться вместе, где-то в курортной местности, в гостинице или съёмном коттедже, чтобы, например, отпраздновать юбилей прабабушки или прадедушки. К этому подходят трепетно и серьёзно, задолго планируют отпуска в те дни, когда назначена встреча. Самые деятельные родственники продумывают её программу, заказывают номера в отеле, издают памятные буклеты, покупают общую форму, сочиняют приветствия и поздравления в стишках.

Наши соседи по отелю явно принадлежали к подобному семейному клану. Они вместе садились есть за длинные деревянные столы, установленные перед одним из корпусов, устраивали в бассейне соревнования детворы и всем сообществом увлечённо играли в лото. А вскоре я определил и главную виновницу торжества — это была говорливая старушка в такой же, как у других, оранжевой футболке и ярко-розовых бриджах. Она всё время сидела в тени и держала над головой потёртый чёрный зонтик. На вид ей было лет семьдесят, но позднее на балконе одного из номеров, где живут члены семьи, я заметил плакат: «Happy 90th Birthday Dear Granny!» — «С девяностолетием, дорогая бабуля!»…

Съёмки продолжаются — Жан Филипп соизволил достроить крепость и добавить к замку изогнутый мост, так что у меня нет времени подробно рассматривать семью Липовецких. Однако в перерывах съёмки я слышу их речь. Молодые болтают по-английски без всякого акцента, но произношение некоторых представителей старшего поколения выдаёт их русское происхождение — хотя, похоже, они приехали в Америку уже давненько, потому что даже между собой не говорят на родном языке (или мне пока ещё не довелось это услышать). И фамилия явно «наша»…

Наконец замок готов. Он сложен и изысканно красив. Я тщательно запечатлеваю конструкцию с разных ракурсов, а затем записываю гордую финальную речь скульптора, стоящего на фоне своего грандиозного творения. Пока мы перетаскиваем оборудование в «Бонневиль», к замку вплотную подвигаются восторженные зрители, в основном дети. Видимо, наш хрупкий замок, навсегда остающийся в виртуальном пространстве цифрового изображения таким, каким мы видим его сейчас, недолго сможет противостоять напору реальных завоевателей…

Жан Филипп жмёт нам руки и договаривается о встрече через неделю у меня дома, чтобы принять готовую продукцию.

— Если хотите, вы можете остаться здесь на ночь, отдохнуть. Ваш номер оплачен до одиннадцати часов утра, — говорит он, прощаясь, и уезжает на своей машине.

Нам действительно незачем торопиться в Чикаго. К тому же начинает темнеть, а водительские способности Бронштейна мне хорошо известны. Мы остаёмся.

Перекусив в ближайшем к отелю ресторанчике, мы с Бронштейном наконец отдыхаем друг от друга: он уходит в номер, бухается в постель и начинает с остервенением переключать каналы телевидения. Я отправляюсь на прогулку по отелю, но, так как его пространство сильно ограничено, скоро опять выхожу на пляж, где мы провели целый день.

Липовецкие снова собрались за деревянными столами, жарят барбекю. В мою сторону доносится аппетитный дымок.

Берег озера не освещён. Я стою на причале, в полутьме, опираясь на перила, и теперь у меня есть возможность от нечего делать рассмотреть их немного получше.

Дети мечутся вокруг столов. Взрослые сидят, прохаживаются, чинно беседуют, разбившись на группки. Кто-то отхлёбывает пиво из бутылок, засунутых, как принято в общественном месте, в бумажные кулёчки. На столах — жареное мясо, миски с овощами и никаких крепких спиртных напитков: ещё одно подтверждение тому, что господа Липовецкие уже давно покинули родную страну и полностью переняли американские традиции — широкого русского застолья здесь, конечно, не будет.

От их компании отделяется женская фигурка в светлом платье и, не торопясь, направляется в сторону озера. Она пересекает пляж, выходит на причал и приближается ко мне. Окна отеля и фонари над столами светят ей в спину, и её лица мне не разглядеть.

— Добрый вечер… — говорит женщина и неожиданно называет моё имя. Теперь я мгновенно узнаю её, потому что этот голос ни забыть, ни спутать невозможно. — Надеюсь, вы… ты меня помнишь?

Моё горло перехватывает.

— Добрый вечер, Зоя… — сиплю я, пытаясь откашляться. — Извини… Конечно, помню!..

— Что, простудился? — учтиво осведомляется она. — Наверно, хватил холодного пивка после съёмки? Я видела, как вы сегодня целый день снимали на жаре создание этого чуда, — она показывает на действительно сказочный силуэт замка, чётко выделяющийся на фоне пляжа. — Что это вы занялись таким несерьёзным делом — замками из песка? Или свадьбы больше не кормят? Я сразу хотела подойти, но не решилась… А где твой партнёр?

— Бронштейн в номере… хм… отдыхает, — горло всё ещё не слушается меня, и я продолжаю

растерянно выдавать несуразные звуки.—А ты—что тут? Играете... на вечеринке у этих людей?
—О нет!—ухмыляется она.—Я уже не играю. Я здесь как член семьи...
—Ты?.. Член семьи этих... Липовецких?—я окончательно обескуражен.
—Да, Липовецких,—кивает она и подвигается ко мне ближе.—Между прочим, весьма преуспевающая и зажиточная эмигрантская семейка из Одессы. Говорят, первый из них, прапрадедушка-счетовод Гирш Липовецкий, сбежал в Америку во время войны, а теперь среди них и преуспевающие бизнесмены, и популярные психотерапевты, и дорогие адвокаты... Когда мы виделись последний раз? Восемь? Девять лет назад? Так вот, с тех пор у меня многое изменилось...

Зойка приехала в Штаты в середине девяностых в составе украинского фольклорного ансамбля «Мирта». Она была шустрая, чернобровая и чернокосая. Казалось, что прыгучий, лёгкий Зойкин смычок извлекает звуки, не касаясь струн, а лишь выписывая в густом звонком пространстве над скрипкой замысловатые пируэты. Её сильный низкий голос (неожиданный для такой миниатюрной барышни), милая непринуждённая улыбка и задорно отбивающий такт очаровательный алый сапожок были, без сомнения, главными козырями коллектива, состоящего, помимо неё, из грузных краснолицых «щирых» парубков.

Каждый из них, несмотря на сравнительно молодой возраст, уже успел пройти школу жизни «работников искусства». Вдоволь потаскаться по Домам культуры, подвизаясь то руководителем, а то и просто аккомпаниатором хора, танцевального кружка или оркестра народных инструментов. Отыграть не одну сотню свадеб (музыканты говорят: отлабать хасню). Поработать в филармониях, намыкаться в безобразно организованных гастрольных поездках по славным просторам родины. Не раз приходилось «друшлять» вповалку с коллегами на грязной сцене, застеленной пыльным, снятым с колосников занавесом (потому что раздолбанный «пазик» не пришёл, чтобы после концерта в сельском клубе отвезти музыкантов в город). Или суровой зимой по очереди «сурлять» в одно ведро, поставленное в кулисах, оттого что клубный туалет сто лет не работает, а в промёрзшую вонючую будку, что во дворе, в тоненьком сценическом костюмчике по жуткому «зусману» не добежишь...

Ребята решили, что им сильно повезло, когда некий предприимчивый импресарио, или, как тогда стали называть, менеджер, специально для зарубежной поездки наскоро сколотил из них фолк-группу и отправил на «настоящие» гастроли в США.

Настоящими эти гастроли тоже не были: они работали на деньги спонсоров или общественных организаций в крошечных залах для пожилой публики из украинской диаспоры, выступали на заказных вечеринках, концертах в студенческих городках или на Renaissance Fair—местных фольклорных фестивалях. Они жили в дешёвых мотелях, питались одним фастфудом. Платили им немного, но всё же получше, чем дома,—и не в гривнах...

Их выступления проходили с постоянным успехом. Когда Зойка подходила к микрофону и брала первые ноты, даже на самых разгульных вечеринках почти сразу замирали шум и гам.

> Скрыпка грае, сэрце крае,
> Наше лито догорае.
> Скрыпка грае, плаче гирко,
> То кохання гаснэ зирка...

И правда: под её скрипку, случалось, и плакали, и хохотали...

Мы с Бронштейном впервые увидели их ансамбль на свадьбе в районе Украинской деревни в Чикаго, где им повезло подработать в перерыве между концертами. Это «весилля» происходило в украинском ресторанчике, в двух кварталах от которого я живу.

Нас посадили за стол вместе с музыкантами. Мы довольно весело проводили время в перерывах между их игрой и нашими съёмками—то ли три, то ли четыре бутылки перцовки «Немиров» ушли незаметно.

Зойка за столом оказалась рядом со мной, и уже через полчаса нашей беседы я почувствовал, что вдрызг пьян, но пьян каким-то необыкновенным образом—не от «Немирова», а от Зойки...

Ночью после «весилля» мы оказались с ней у меня дома. В любви она была бесстыжая, неутомимая и не менее талантливая, чем в музыке.

Я заснул счастливым и не слышал, как она ушла.

Мы пересекались с «Миртой» на каких-то мероприятиях ещё несколько раз. При встречах Зойка была приветлива, но убедительно делала вид, что у нас ничего с ней не произошло. Вскоре я и сам засомневался: приходила ли она ко мне в ту ночь? Или всё это моя пьяная фантазия?

Двухмесячные американские гастроли превратились для Зойки в многолетние—она не вернулась в родной Житомир. В тот день, когда ансамбль должен был улетать домой, она вместе с парнями чинно вылезла из микроавтобуса, на котором организаторы гастролей доставили музыкантов в чикагский аэропорт О'Хара. Но вместо того, чтобы войти в здание, направиться к стойке «Польских авиалиний» и зарегистрироваться на рейс в Киев, Зойка замешкалась перед входом, якобы старательно пристраивая на тележку объёмистые чемоданы и драгоценную скрипку. «Тебе помочь?»—крикнул

кто-то из хлопцев. «Не, я сама!» — уверенно ответила Зойка. Едва все попутчики скрылись в раздвижных дверях международного терминала, она схватила с тележки свои вещи, засунула их в поджидающее авто и уехала в направлении, неизвестном никому из её коллег.

За рулём автомобиля был Зойкин поклонник, молодой адвокат Роман из семьи Липовецких. Он родился в Америке, неважно говорил, но вполне прилично понимал по-русски. Зойка присмотрела его на одной из «заказных» вечеринок. Томно отводила глаза в ответ на его ухаживания, но согласилась выпить с ним немножко шампанского. Потом в приватном разговоре, вполне натурально смущаясь, поведала ему о тяжёлой доле молодой талантливой женщины из Украины, уже так скоро вынужденной возвращаться из культурной, великой державы в неприкаянный, жуткий быт страны третьего мира... Где её, собственно, ничего не держит, потому что любить ей там некого, а её талант никому не нужен (вообще-то в Житомире у неё остался муж — классный, но безнадёжно пьющий джазовый барабанщик Санька, ошибка Зойкиной молодости, — но об этом увлечённому Роману совершенно не надо было знать, тем более что в её туристическом украинском паспорте об этом никаких пометок не было).

И завертелся у неё с Романом роман, который нужно было тщательно скрывать от остальных музыкантов и от организаторов поездки. А после побега из аэропорта и нескольких лет нелегального пребывания в стране Зойка стала женой Романа и, естественно, получила вид на жительство — в конце концов, молодой супруг, кроме прочих достоинств, был ещё и адвокатом...

— Ну... всё хорошо, что хорошо кончается, — подвожу я итог её рассказа (и почему из меня всегда выскакивают такие банальности?).

Зойка молчит. Некоторое время мы стоим и пялимся на Липовецких. Взрослые уже отправили детей спать и всей компанией перешли в павильон у воды, в некотором отдалении от причала. В павильоне, как бы в античном духе, установлены амфитеатром деревянные сиденья, а посередине, на специальной площадке, разведён внушительных размеров костёр. Липовецкие опять бодро играют в какую-то игру: до нас доносятся возгласы и хихиканья.

— Он такой козёл... — вдруг говорит она. — Ты себе даже представить не можешь, какой он козёл, American этот, мурло адвокатское... Мой Санька-барабанщик, даже косой в дупель, был роднее его... А как он стучал! Какой это был джаз-з-з!..

Зойка поворачивается ко мне, поднимает голову. Я хорошо вижу её левую щёку, на которой играют отблески костра, — вторая щека совсем утонула в тёмной воде озера Делтон. И на этой хорошо видимой мне щеке ясно блестит мокрая дорожка.

— А ты не можешь попросить Бронштейна... прогуляться? — шепчет она так тихо, что я почти не слышу слов, а только угадываю их по движению воздуха из её губ.

— Попробую, — так же тихо выдыхаю я.

Мы неслышно спускаемся с причала на пляж, проскальзываем мимо замка (она на секунду замирает перед ним) и, прячась за нашим ещё так удачно не разобранным тентом, пробираемся в отель. Всё, что мы делаем, кажется мне сейчас глупым, отчаянным, гадким и восхитительным одновременно.

В вестибюле никого нет. Мы смотрим друг на друга и беззвучно гогочем.

Зойка ждёт возле бассейна с гидромассажем, а я в номере сообщаю Бронштейну, заснувшему перед работающим телевизором, что ему предстоит приятная прогулка по берегу ночного озера. Какое-то время он вообще ничего не понимает, но когда я говорю:

— Здесь Зоя. Ты помнишь Зою? — вскакивает и бормочет что-то похожее на «зоя-зоя-с-мезозоя».

Его немного пошатывает, но он напяливает шерстяную кофту, стойко находит дверь и исчезает. Всё-таки мой капитан — молодец!

Я засыпаю счастливым и не слышу, как она уходит.

Просыпаюсь поздно. Жарко. Номер затоплен полуденным солнцем.

На второй кровати громко сопит Бронштейн. Он лежит на боку, поджав ноги в чёрных носках и в сандалиях, и кофта застёгнута до самого подбородка.

Я выхожу на балкон. В окнах соседнего корпуса нет никакого плаката, поздравляющего девяностолетнюю бабулю. Все площадки, скамейки, павильон и бассейн пусты. Нигде не видно ни одной оранжевой футболки. Пожилой мексиканец елозит широкими граблями по пляжу.

Я ищу глазами замок. В нём, конечно, уже побывали варвары. От изящных башенок и тончайших зубцов крепостной стены, от вычурно изогнутых мостиков и крошечных бойниц осталась только большая куча сероватого песка со следами ног безжалостных завоевателей.

— Вставайте, капитан! — говорю я зашевелившемуся Бронштейну. — Во флибустьерском дальнем синем море «Бонневиль» наш поднимает паруса... Пора домой, в Чикаго. Нужно побыстрее смонтировать фильм. Кто-то его ждёт, кто-то очень нуждается в хорошем учебном пособии по строительству замков из песка.

Зинаида Кузнецова

Клад

— Петь, давай стенку выбросим и вместо неё сделаем камин,— Нина с любовью перетирала безделушки, краем глаза смотря на экран телевизора—там шла её любимая передача «Квартирный вопрос».

— Ещё чего придумала,— нехотя оторвавшись от компьютера, отозвался муж.— Тебе бы только переставлять, переделывать. По мне, и так у нас хорошо.

Он снова уткнулся в компьютер—не сходился пасьянс.

— Да где хорошо-то, Петя? Это уже вчерашний день, и даже позавчерашний. Петь, давай уберём. Мне всё это надоело уже, хочется чего-нибудь новенького, красивого…

— Слушай, тебе вредно смотреть эти передачи, ты после них вечно с ума сходишь. Это же реклама, как ты не понимаешь! Она рассчитана на таких… на таких простофиль, как ты.

— Ты хотел сказать—дур. Понятно… Главное, интеллигентно…Ты-то у нас умный—в карты на компьютере играешь…

— Я не говорил, что ты дура.

— Не говорил, но подразумевал.

— Ну, началось! Женская логика: сама придумала—сама обиделась… Выброшу телевизор к чёрту, чтоб ты не смотрела эту муру. Одни неприятности от него!

На экране счастливчики таращили на новый интерьер глаза, охали, ахали, кричали «Вау!».

Ну ничего ему не надо! Живём, как в берлоге. Что бы ни задумала, всё—зачем да зачем! Нина критическим взглядом окинула комнату. Конечно, она немного погорячилась, на берлогу квартира совсем не походила—всё подобрано со вкусом, шторы в тон с ковром, вазочки, безделушки, цветы… Красиво, уютно, но…чего всё это ей стоило! Каждая вещь покупалась после долгих споров. Аргумент был один: а зачем? У нас и так всё есть. Зачем тратить деньги на пустяки? С их-то зарплатой! Вон сын взрослый уже, жениться соберётся, а на какие шиши? Да и за учёбу в институте платить надо ещё целый год.

Нина вздохнула. У всех мужья как мужья, а её вечно всем недоволен… Или, скорей, всегда всем доволен.

Ладно, если не разрешает купить что-то новое в дом, то уж мебель-то переставить ей никто не запретит. Раз в два-три месяца она поднимала мужа с обжитого дивана, и в квартире начинался аврал. Несколько недель она не могла налюбоваться на интерьер, а потом опять становилось скучно, хотелось всё поменять, опять затевала перестановку, которой хватало ещё на пару недель, а потом, как правило, всё возвращалось к первоначальному варианту. Естественно, муж был от этого не в восторге. Он не мог понять: а зачем? Ведь у них всё есть. И мебель почти новая, чего её менять, и кухонный уголок совсем недавно купили… А ей всё неймётся: то вдруг захочется стол круглый, а у них квадратный, то через месяц уже овальный понадобится… Ну и что, мысленно спорила она с мужем, может быть, и понадобится, но сейчас она мечтает о круглом столе с белой скатертью, и чтоб стояла ваза с полевыми цветами…

Она, правда, уже научилась бороться с его нежеланием перемен. Советовалась с ним иногда, но это так, для порядка. Сын вырос и понимает её. Так что согласие мужа, в общем-то, и не требуется: захотели—переставили. Она улыбнулась: один раз они с Вадиком переставили диван от окна к стенке, напротив телевизора, а к окну поставили кресла и столик. Пётр пришёл с работы, поужинал и улёгся, как обычно, с газетой на диван. Потом занялся компьютером, потом опять полежал, посмотрел любимый сериал о продажных блюстителях порядка и о порядочных преступниках, несколько раз то садился, то ложился на диван, и только когда пошёл спать, вдруг остановился посреди комнаты и спросил: «А ты что, диван переставила, что ли?»

А вообще-то они, несмотря на некоторые расхождения в вопросах дизайна, жили дружно. Когда были моложе, встречались с друзьями, ходили в походы, сплавлялись по бурным речкам с порогами. Теперь, правда, больше возле телевизора время проводят. Вот и становятся некоторые передачи яблоком раздора в семье. «Тебе бы наши проблемы,—говорили подружки, когда Нина жаловалась на мужа,—заелась ты, Нинка. Дом—полная чаша, муж по пивнушкам не бегает, зарплату приносит. Чего тебе ещё надо?»

И правда, зачем Бога гневить? Все бы так жили!

В дверь позвонили — звонок длинный, настойчивый. Кто это там так рвётся? Посмотрев в глазок и чертыхнувшись, Нина открыла дверь. На пороге стояла соседка с первого этажа, Сюнька. Нина всегда думала: что за странное имя такое — Сюнька? Оксана, что ли, или, может быть, Ксюха? Но не спрашивала, какая разница — Сюнька так Сюнька. А мужа её звали Санька. Мужичок был щупленький, вечно пьяный, с длинными лохмами волос, зимой и летом ходивший в тапочках на босую ногу и в распахнутой куртке на рыбьем меху. Санька и Сюнька жизнь вели весёлую. Он получал пенсию по инвалидности, а она не работала. Получив пенсию, устраивали вечеринку, из открытых окон неслась громкая музыка, песни, крики, в подъезде не продохнуть от дыма… «Не курите вы в подъезде, дышать нечем», — возмущались соседи, на что Санёк, принимая позу английского лорда, высокомерно отвечал: «Дышите жабрами!» Он сразу раздавал долги, но уже к вечеру, в лучшем случае — на другой день, опять стучался к соседям: займите. После загулов то она разгуливала с синяком под глазом, то он ходил в разорванной рубахе, но друг за друга стояли горой.

— Нин, — Сюнька, потеснив Нину, протиснулась в коридор, — ты знаешь, нам же котят подарили, двух. Ма-а-алюсеньки-и-и-е… А кормить-то, Нин, нечем. Займи двести рублей.

— Ты же утром взяла у меня сто рублей.

— Да паразит мой — пропил все. Дай, Нин, я отдам. Котят жалко! — Сюнька шмыгнула носом, изображая плач, вытерла полой кофты сухие глаза.

Нина покопалась в кошельке, наскребла сто семьдесят рублей. Она пользовалась банковской картой, наличных обычно держала рублей пятьсот — на всякий случай.

— Что ты её поважаешь? — оторвавшись от телевизора, сердито сказал Пётр. — Совсем обнаглели! Алкаши чёртовы!

— Твоя родня! — ехидно сказала Нина.

— Родня! — фыркнул Пётр. — Седьмая вода на киселе! Видал я такую родню…

Санька и в самом деле был каким-то дальним родственником, а вернее, даже и не родственником, а односельчанином Петра, случайно оказавшимся соседом, но все в доме считали, что они родня. К Петру он чаще всего и заходил занять на бутылку. Правда, долги помнил и всегда отдавал.

— Сынуль, — Нина тихонько постучала в дверь в комнату сына. — Может, покушаешь? Голодный ведь.

Вадим не отвечал. Обиделся. Но она-то при чём? Отец виноват, а она переживай… Сын тоже хорош. Прежде чем что-то сделать, мог бы с ней посоветоваться. Может, что-нибудь и придумали бы. А отец что — «нет», и весь разговор!

Нина жалела сына, но и муж был прав, конечно. Где они возьмут столько денег? Такую сумму не сразу найдёшь, да и было бы на что путное тратить, а то решил, видите ли, с друзьями на Камчатку слетать — посмотреть на вулканы, Долину гейзеров увидеть. Подумал бы головой: у друзей родители богатые, а у нас какие деньги, от зарплаты до зарплаты…

Не дождавшись ответа, она ушла в спальню, включила телевизор — может, что-нибудь стоящее покажут. Ага, как бы не так! Пощёлкала пультом — везде одно и то же: кровь, мордобой, горы трупов, распутство на вилле в Мексике, Ксюша, «звезда в шоке»… политики лаются — радетели народные! Тоска!

Погасив свет, она попыталась уснуть, но сон никак не шёл. Ну ничего, завтра суббота, рано вставать не надо, красота! Скорей бы на пенсию. О пенсии она мечтала лет с тридцати, но ещё пахать и пахать, как выражается Пётр. И «домик в деревне» им не светит. А жаль… Она часто представляла себе этот домик: камин, бассейн, барбекю и всё такое прочее… Вот и сейчас перед глазами поплыли картины их загородной жизни. Но что-то сегодня не мечталось. Она снова включила свет, осмотрела комнату. Надо бы шторы поменять и зеркало перевесить. А шифоньер обклеить обоями в полоску, она в «Квартирном вопросе» видела — очень даже стильно! И ещё там были… эти… часы… пуфик… Глаза закрылись…

Резкий звонок вырвал её из сладкой неги. Господи, кто это? Она машинально взглянула на циферблат будильника — половина первого. Накинув халат, пошла в прихожую.

— Кто там? — заспанный Пётр выглянул из комнаты.

— Не знаю.

Она посмотрела в глазок и тихо выругалась. Санька. Да что же это такое? Совсем обнаглели!

— Чего тебе? — сердито спросила она.

— Нин, ты знаешь, нам же котят подарили, двух. А кормить нечем. Дай сто рублей, сбегаю в ночной магазин, куплю им что-нибудь… Жалко котяток, они же голодные!

Нина молча захлопнула дверь. Но Санёк был настроен решительно — не для себя старался, для несчастных котят, — и не отрывал пальца от кнопки звонка до тех пор, пока она снова не открыла.

— Ну? — Пётр, отодвинув Нину, шагнул за порог, не давая Саньке войти в комнату. — Чего опять?

— Дай сто, я отдам, пенсию получу и отдам. Сюнька, зараза, с Лёхой из восьмой, пока я спал, всё оприходовали… Я же не на выпивку прошу, — вспомнив про котят, спохватился Санька, — мне котят покормить надо, орут, им же жрать охота… Как бы не померли!

— Нина! — позвал Пётр. — Дай ему сто рублей. Видно, нам с тобой и на пенсию не судьба будет уйти: котят-то кормить кто будет?

— Нет у меня ни копейки! — отрезала Нина. — Вечером отдала последние.
— Ты слышал? Нет у неё денег. Всё, пока!
— Егорыч, — Санька поставил ногу на порог и не давал закрыть дверь. — Выручи, будь другом. Я тебе отработаю. Что хочешь проси! Плохо мне, ты видишь — всего трясёт. Сдохну ведь, — забыв про котят, умолял он.
— Ладно, подожди, — Пётр захлопнул дверь и пошёл в кладовку.

Через минуту он выскочил из кладовки бледный, с остановившимся взглядом.
— А где… шкаф? — спросил он, заикаясь.
— О Господи, я аж испугалась, не случилось ли что. Выбросили мы его с Вадиком наконец-то. Всю кладовку занимал, ни войти, ни пройти…
— Что-о-о? — заорал не своим голосом Пётр. — Ты что, совсем одурела? Куда выбросила?
— Куда-куда — на помойку!
— На какую помойку? — голос Петра стал похож на визг.

Из своей комнаты выглянул заспанный Вадим.
— Что случилось?

Пётр, не отвечая, схватил с вешалки куртку и выскочил за дверь. Отпихнув бедного Санька, он стрелой помчался вниз. Нина побежала за ним. Вадим пожал плечами: что за дела? чего они так всполошились среди ночи?

Шкаф преспокойно стоял на мусорной площадке. Пётр, рванув дверцу, заглянул внутрь — там было пусто.
— Где деньги? — хрипло спросил он.
— Какие деньги? — Нина ничего не могла понять.
— Мои деньги! Мои! Сто пятьдесят тысяч!
— Ты что, с ума сошёл? Сто пятьдесят тысяч! Ты шутишь? Откуда?
— Оттуда! Скопил! Машину хотел купить!
— Боже мой! Я ничего не понимаю. Да не было там никаких денег. Мы с Вадиком все вещи перебрали, старые выбросили, а какие-то дома лежат, на антресоли.

Он кинулся к дому. Перерыл все вещи, но денег не обнаружил. Нина молча следила за ним. Она не могла опомниться: как так, жалел рубль на какую-нибудь покупку, а сам…
— Ты взяла? — хрипло спросил Пётр.
— Да ты что! Не видела я никаких денег! — она всё ещё надеялась, что он её разыгрывает.
— По-хорошему прошу, отдай.

На шум вышел сын.
— Что тут у вас за война? До утра не можете потерпеть?

Увидев сына, Пётр несколько мгновений смотрел на него, наконец, как будто что-то поняв, рванулся к нему, схватил за грудки.
— А… может, это ты?! Это ты взял деньги?
— Какие деньги? — сын пытался вырваться, но тот продолжал трясти его.

Лицо его налилось кровью, он тяжело дышал — того и гляди, удар случится. Нина оторвала его от сына.
— Да успокойся ты, сядь. Вадик, принеси воды, быстро! Петя, успокойся. Объясни толком, что случилось.
— Куда вы дели деньги? — оттолкнув стакан с водой, снова захрипел Пётр.
— Не было там никаких денег. Я же всё перебрала, ничего там не было.
— Отдайте деньги!
— Да хватит уже, — не выдержал сын. — Может, у него с головой что? — обращаясь к матери, сказал он. — Давай скорую вызовем.
— Попробуйте только! По-хорошему не отдадите — заявлю в полицию.
— Пап, — Вадим успокаивающе положил руку на его плечо, — ты объясни толком, что случилось. Какие деньги, где, что?..
— Заначку он хранил в шкафу, сто пятьдесят тысяч, — Нина всхлипнула. — А они пропали.
— Вот это да! — присвистнул Вадим. — Сто пятьдесят тысяч! Что, правда, пап?
— Для вас же… машину хотел… на чёрный день хотел… а вы…
— Петя, давай подождём до утра, утром всё внимательно посмотрим, найдутся твои деньги.

«Если они вообще были», — подумала Нина.

На другой день, возвращаясь из института, Вадим услышал шум, доносившийся из их квартиры. Опять ссорятся. Видно, деньги так и не нашлись. Вот уж отец учудил: каждую копейку считал, а сам, оказывается, Рокфеллер…

Дома было плохо. Заплаканная мать прибирала разбросанные вещи, отец нервно ходил по комнате.
— Ну что, я так понял, не нашлась пропажа? — спросил Вадим. — *Да был ли мальчик?* — пытаясь всё перевести в шутку, добавил он.

Отец, резко остановившись, в упор посмотрел на него.
— Мальчик, говоришь? А ведь верно! Был мальчик, был… как я сразу не догадался! Мальчику денежки понадобились, мальчику на Камчатку захотелось… Верни деньги! — вдруг рявкнул он так громко, что зазвенела посуда в серванте.
— Сына, иди к себе. — Нина умоляюще посмотрела на мужа. — Петя, опомнись, что ты говоришь?! Не брали мы твоих денег.
— Это ты всё: сынуля, сыночка, сюси-пуси, избаловала его, ни в чём отказа не знает. Вот он и докатился — отца родного обворовал! В общем, так. Не вернёте деньги — заявлю в полицию.
— Ну и заявляй, — вскипела Нина, — надоели твои бредни слушать!
— И заявлю!

— И заявляй! — Нина со злостью захлопнула дверь в спальню.

Через несколько дней Вадима вызвали в полицию. Показали заявление отца, допросили и отпустили домой. Нина, узнав об этом, накинулась на мужа чуть ли не с кулаками:
— Да что же ты делаешь? Ты же позоришь собственного сына, портишь ему биографию!
— Он мне не сын!
— Вот даже как!
— Мне такой сын не нужен!
— Да ты и не отец ему! Разве отец может так поступать с родным ребёнком!
— Не отец, говоришь? Отлично! А кто ж тогда отец? Уж не Шутов ли, воздыхатель твой бывший? То-то я смотрю, не похож на меня Вадька! Ничего моего нет! Давай колись: от кого нагуляла?
— Господи! Да когда же это кончится? Ну точно у тебя с головой не всё в порядке, надо срочно к врачу обратиться…

С головой у Петра, похоже, и вправду стало не в порядке. Теперь в ней крепко засела мысль об измене жены. В доме наступил ад.

Однажды Вадим застал мать в слезах, с разбитыми губами, в разорванной, забрызганной кровью блузке.
— Ещё раз тронешь мать — будешь иметь дело со мной, — пригрозил он отцу.
— Ты мне ещё грозить будешь?! Щенок!
— Если я щенок, то ты, выходит, кто? — не выдержал Вадим. — Щенки-то, знаешь, от кого родятся? Доходит?
— Давно дошло! Вот ты от такого кобеля и родился. Мамочка твоя, наверно, и сама не знает, кто…

Он не успел закончить фразу. Вадим ударил его по лицу, разбив нос, фонтаном брызнула кровь. Пётр кинулся на него с кулаками, но Вадим оттолкнул его, и он упал, ударившись об угол тумбочки головой. Некоторое время он лежал неподвижно. Потом вскочил и пошёл на сына.
— Вадик, не надо, умоляю тебя! — Нина повисла на сыне. — Не трогай его!
— Да я его убью, если он ещё раз… ещё раз такое про тебя…

Пётр, размазывая кровь по лицу, набирал номер полиции.

Суд за угрозу убийством и нанесение побоев приговорил Вадима к году условно. Он сразу же перевёлся в другой институт и уехал из города. Нина ушла жить к тётке. Та жила одна в двухкомнатной квартире на другом конце города и Нине обрадовалась. Петра тётка никогда не любила.

Пётр жену не искал, и она тоже ничего не хотела знать о нём. Пусть живёт как хочет. Обида и гнев душили её — не столько за себя, сколько за сына. Негодяй, сломал мальчику жизнь. Кто знает, как это в дальнейшем аукнется?

От кого-то из знакомых она слышала, что он стал попивать, — ну и пусть пьёт, ей всё равно. Конечно, жалко, что прожила жизнь с таким подлецом. Хотя… подлецом-то он никогда не был, муж как муж, не хуже других, грех жаловаться. Всё у них было нормально. Но почему же всё в одночасье рухнуло? Был совершенно нормальный — и вдруг как с ума сошёл. Неужели эти проклятые деньги имеют такую власть над человеком? Нина до сих пор была уверена, что никаких денег у него не было: откуда им взяться при их нищенской зарплате?

К деньгам Нина всегда относилась спокойно. Конечно, хорошо, когда они есть, что там говорить. И шубу хотелось, и сапоги, и много чего другого, но Нина привыкла жить по средствам и умела себя уговаривать: нет шубы — да я и не хотела, колечко не могу купить — обойдусь, не в этом счастье. «Нет сапог — пимы надену и по снегу — хрусть да хрусть, я парижского Кардена переделаю под Русь», — часто цитировала она строки знакомой поэтессы. Ей было смешно, когда подруга, рассказывая, что кто-то кому-то не вовремя отдал долг, с придыханием произносила: «Это же деньги!» — и на лице у неё в этот момент появлялся священный трепет…

— Нина Викторовна, — голос в трубке был жёстким, почти металлическим, — это техник из ЖЭКа. Когда погасите задолженность по квартплате?
— Задолженность? — удивилась Нина. — Но я регулярно плачу. Вот у меня и квитанция с собой, недавно ходила платить.
— А у меня числится за вами долг, тридцать восемь тысяч. Сколько можно напоминать? Замучились предупреждения вам посылать. В общем, не заплатите до первого числа — будем подавать в суд.
— Постойте, постойте, вы о какой квартире говорите? — Нина, кажется, начинала что-то понимать.
— То есть как о какой? Комсомольская…
— Тогда понятно, — перебила Нина. — Я там не живу. Звоните бывшему мужу.
— Но вы там прописаны. Вашему мужу мы звонили на работу, там говорят, что он давно уволился. Дома тоже не можем его застать.
— Вы извините, но меня это не касается. Ищите сами.
— Как я понимаю, вы не разведены?
— Нет. Но какое это имеет значение?
— А такое, что пока вы не разведены и прописаны в квартире, вы несёте ответственность наравне с мужем. Поэтому будем подавать в суд на вас.

Нина, слегка волнуясь, подходила к своему бывшему дому. Как ни говори, она прожила здесь большую часть своей жизни. Счастливой жизни, по большому счёту. А что так получилось — не она тому виной. Где-то через год после скандала

она зашла домой, чтобы забрать кое-какие свои вещи. Из обстановки она ничего не хотела брать, пусть всё остаётся Петру, ему тоже жить надо. А им с тёткой достаточно того, что есть. Вадик после окончания института в город не собирается возвращаться, а захочет—там видно будет, что да как. Пётр встретил её тогда враждебно. Опять посыпались оскорбления, обвинения в неверности, и Нина постаралась скорее уйти, хотя шла с намерением расстаться по-доброму.

Она поднималась по лестнице, стараясь не дышать. Запах в подъезде стоял невообразимый. Раньше такого не было. Совсем перестали убирать, что ли? У них, в тёткином доме, всегда чистота и порядок, цветы на подоконнике, картины на стенах. Техничка попалась добросовестная, трёт, моет целыми днями, приятно в подъезд зайти.

Вот и пятый этаж. Сердце дрогнуло. Как она любила свою квартиру, как красиво у них всегда было!

Вход в квартиру был свободен—дверь, снятая с петель, стояла на лестничной площадке, прислонённая к стенке. Из квартиры слышались шум, гам, вопли, звуки падения—там явно шла драка. Нина переступила порог и застыла на месте. Две женщины, вцепившись друг другу в волосы, катались по полу. Пол был усыпан клочьями белых и чёрных волос. В одной из них Нина с трудом узнала Сюньку, вторая была ей незнакома. Они не обратили на Нину ни малейшего внимания и продолжали драться, осыпая друг друга бранью.

Нина обвела взглядом комнату. Боже мой, стены ободраны, на обоях жирные пятна, штор на окнах нет, мебели тоже нет. На полу, на грязном матрасе, храпит какой-то человек. Приглядевшись, Нина поняла, что это Пётр.

В кухне, за столом, уставленным грязной посудой и бутылками, пировали два бомжеватого вида мужика.

—Пива принесла?—увидев Нину, они совершенно не удивились, видимо приняв её за кого-то из своих.

Она попятилась в коридор, но в это время появился ещё один тип. Он схватил её в охапку и, дыша перегаром, толкнул её назад, в кухню. Она с трудом вырвалась и выскочила из квартиры. Её окликнули по имени—наверное, кто-то из бывших соседей,—но она, не оглядываясь, перескакивая через две ступеньки, бежала вниз по лестнице—скорей, скорей, подальше от этого кошмара…

Серёга и Толян, рабочие жэка, недовольно матерясь, поднимались на пятый этаж. Лифт, как всегда, не работал, а они за день уже находились досыта, ноги гудели от усталости. Начальник отправил их выбросить мусор из квартиры, где неделю назад хозяин дал дуба. Они прихватили с собой вилы, знали по опыту, что они точно пригодятся. Обычно они открывали окно и вилами выкидывали весь хлам, а там уже мусоровоз подъезжал и увозил всё на свалку.

Закончив неприятную работу, они закрыли окно и собрались уходить.

— Постой, Серёга, мы же про кладовку забыли,—вспомнил Толик,—начальник разорётся, ещё премию снимет, у него не заржавеет…

Напарник нехотя взялся за вилы. Он поддел вилами спрессовавшееся тряпьё, зацепил при этом плохо закреплённый линолеум и потащил его вместе с тряпьём. Под линолеумом лежал какой-то серый комок из старых газет. Серёга разворошил его, и оттуда выпала пачка денег. «Клад!»—он не поверил своим глазам. Но тут же понял, что зря радуется: деньги были так источены мышами или крысами, что рассыпались от малейшего прикосновения.

— Даже на бутылку не наскребёшь,—горько сказал Толян, безуспешно пытаясь разглядеть в бумажной трухе хоть одну целую купюру.—Не везёт так не везёт. Пошли, Серёга, мне один чувак обещал должок отдать, выпьем с горя…

Из-под линолеума выскочила мышь.

— У, зараза!—замахнулся на неё Толян.—Хоть бы одну бумажку оставила!

Мышка, пискнув, заметалась по кладовке.

— Ладно, живи!—великодушно разрешил Толик и шагнул в сторону, давая ей дорогу.

Алексей Бабий

Томление духа

Чтоб ты сдох

Он его ещё в аэропорту заметил. Сука, подумал он. Куда это его понесло? Он с ним и срать бы на одном поле не сел, а тут—в одном накопителе. Надеюсь, не в Москву. Но куда ещё в это время? Утро, все рейсы—московские.

Он его увидел ещё в аэропорту. Сука, подумал он. Чё тебе не сидится? Чё тебе не лежится—с молодой-то женой? Тоже в Москву, похоже, намылился. Ну, хоть бы не одним рейсом. Он с ним и срать бы на одном поле не сел, а одним самолётом лететь…

Он сел в дальнем углу накопителя, листал «Коммерсант», но всё было уже неправильно. Надо было сдавать билет и оставаться—поездка, которая так началась, добром не кончится. Если бы он увидел его на регистрации, а не в накопителе—сдал бы билет, и все дела.

Он сидел в дальнем углу накопителя, прикрывшись «Коммерсантом». Сука, всё настроение испортил. Одним своим видом. Чтоб ты сдох!

Объявили посадку. Нет, ну что за гнида—тем же рейсом летит. Специально, что ли? Кто стукнул? Вернусь—проверю.

Сидел, пока по аэропортовскому матюгальнику его не стали разыскивать: пассажир такой-то, вылетающий в Москву таким-то рейсом… Ладно. Хотя бы не в том же автобусе—уже хорошо.

В бизнес-классе его нет. Чё ж ты скромничаешь, парень? Упереть столько денег, а потом летать в экономе.

На посадке его не было видно. В автобусе тоже. А впрочем… Не может быть. Вот же сука. Идёт по проходу, озирается. Век бы тебя не видеть. Чтоб ты сдох.

Не может быть. Не может быть. 27в. Сука, как он это сделал? Зачем ему это надо? Издевается. Отнял всё, а теперь ещё сиди с ним рядом пять часов. Да ещё на неудобном месте—посередине.

Сука. Он что, на соседнее место целится? Это ещё зачем? Он что такое задумал?

И свободных мест нет. Есть одно. У самого сортира, но лучше уж у сортира. Не получилось. Вон—ещё один пришёл. Нет, ну хоть в бизнес-класс доплачивай. Только тогда можно не лететь вообще—денег не останется. С некоторых пор с деньгами плохо. С тех самых пор, как вон тот, на 27с… А впрочем… Ты этого хотел? Получи.

Не, ну прётся прямо по ногам. Боров. Сказал бы ему—да только мы ведь не разговариваем. Мы ведь вообще друг друга не знаем.

Мог бы и встать вообще-то—но и ноги не подобрал, облезай его, борова, как хочешь. И оба подлокотника занял. С краю же сидит, знает же, как в середине тесно. Можно, конечно, отвоевать подлокотник потихоньку, но тогда придётся прикасаться. А они неприкасаемые. И нерукопожатные. Они вообще друг друга не знают. Он скорее в руку кусок говна возьмёт, чем эту потную ладонь.

Подлокотника тебе не хватило. А вот хрен тебе подлокотник, пристраивай руки куда хошь. Пристроил ведь—на мою бабу. Грязные свои лапы—на мою бабу. Ты за это ответишь. Уже, конечно, ответил, но мало. Ты у меня—бабу, я у тебя—бабки. Да только мы не квиты, моя баба дороже стоила.

Нет, вот не свезло так не свезло. Справа ясно кто, слева—чёренькая. Не просто брюнетка, а чёренькая. И косит глазом—ненавидит. Ненавидь, ненавидь, я тебя тоже ненавижу. Всех вас ненавижу. Понаехали. Русскому человеку и сесть негде—обязательно рядом окажутся *эти*. На лучшем месте у окна. Они всегда на лучших местах. А нам остаётся сидеть посерёдке, руки по швам. Чтоб ты сдохла, сучка.

Взлетели наконец. Ещё несколько часов терпеть возле себя это мерзкое животное. Как она с ним спит? Жирный, руки потные. Воняет. Чем он воняет так? Рядом сидеть нельзя. И раньше вонял—но тогда как-то терпелось. Как вообще можно с таким спать? Как вообще можно было к такому уйти? Сиди, сиди—руки по швам. Пять часов тебе придётся сидеть так. Сука.

Сука. Как он чисто всё сделал. Без скандалов. Благородно. Мол, мы с тобой больше после этого работать не можем, сам понимаешь. И потому, мол, я ухожу. И мне, мол, ничего не надо, я свою долю в бизнесе тебе (вам!) отдаю, поехали к нотариусу. А пока они ездили к нотариусу, все деньги со счёта ушли на подставную фирму, а оттуда в никуда. Ни капитала, ни оборотных. Как раз в первом квартале. С поставщиками не рассчитаться, налоги не заплатить. И налоговая с внеплановой проверкой, какая-то чересчур информированная. Но выгребся. Выгребся и фирму сохранил. Сейчас многое зависит от этой поездки.

Десять тысяч метров. Минус пятьдесят за бортом. Прохладительные напитки. Не, у этой чёренькой пузырь как у котёнка. Со стакана воды тут же в сортир. Пусть лезет через ноги, буду я ещё вставать из-за неё. Сучка, сумищей своей по морде съездила. У *них* это называется—дамской сумочкой.

Сумка. Всё получилось. Они за всё ответят. Они ответят за мужа. За брата. За мать, за её обгоревшее тело на развалинах дома. За сына—точнее, за то, что от него осталось. Вы все сдохнете. А она попадёт в рай.

В хвосте что-то сильно хлопнуло, вдруг стало невыносимо холодно и стало нечем дышать. Всё это произошло в один момент. В этот момент оба успели подумать: сейчас ты сдохнешь. Ты, наконец, сдохнешь, сука.

Томление духа

Вот тут надо прыгать сразу. Потому что чем дольше собираешься, тем вернее не прыгнешь. А делов-то—полтора метра шагнуть. Но шагнуть—над обрывом метров в семьдесят. Сейчас к тому же снег. Скользко. Но хуже не будет.

Прыгнул. Устоял. Живой пока. Но это дело поправимое.

На летней сессии после каждого экзамена—на Такмак. Сначала нужно шагнуть вот тут, в сквозную пещеру между Беркутом и Такмаком. Шагнул—и дальше сможешь. Или не шагнул—и не сможешь. Сиди, чайник, на лужайке, жди, когда герои вернутся с вершины.

Где те сессии, где те девочки… Одна известно где. Там, где его нет. И не будет.

Так. Теперь мы имеем Корыто. Ход к вершине Такмака. Сперва немного подтянуться. Не получилось—куртка мешает. Куртку долой. Кожаные перчатки скользят на скале—перчатки долой. Хуже не будет. Хуже уже некуда.

Опа! Вышел в жёлоб. Потихоньку, полегоньку. Здесь «карман», там «карман».

И имеем корыто разбитое. Наше-то совсем раскололось. Разбилось о быт. Как-то так.

Корыто блестит льдом. Не снегом даже. Во полетишь-то потом, как в бобслее. Хочешь убедиться, что земля круглая,—садись на ягодицы и катись. Жаль, что никто не увидит. Не снимет видео, не выложит на «Ютьюбе».

А ну и идите со своим «Ютьюбом».

Э! Э! Стоп! Куда поехал? Рано. Рано! Только последнее чмо навернётся тут, с десяти всего метров. Переломаешься, но жить будешь. Долго будешь жить—может, даже до утра. Обидно было бы. Жил как чмо и сдох как чмо. Баба ушла. Партнёры кинули. Ни дома. Ни семьи. Ни бизнеса. Ещё и улетел с десяти метров всего. Чмо—оно и есть чмо.

Вот никогда даже не надеялся пойти по Корыту без страховки. Даже в бесшабашной юности, когда жизнь не особо дорога. Даже летом, по сухой скале. Не то чтобы боялся упасть—боялся не справиться. Это совсем другое. Упасть—ну упал да и упал, даже и насмерть. Колян как-то с Коммунара навернулся—прямо на глазах всмятку. Так то Колян, и с Коммунара улететь не всякому дано—для этого сначала надо туда залезть. Боишься не подтянуться, боишься ногу куда надо не задрать. То есть не смерти боишься, а собственного неумения. А смерти что бояться? Пока я есть—смерти нет, а когда смерть придёт, меня уже не будет.

А теперь и вовсе бояться нечего. Цветочки кончились, пошли ягодки: Камин. Вот где всегда была засада: до Камина он и раньше без страховки залезал. А на Камине засада. Не на самом Камине—Камин как Камин. Но с него надо перейти на Катушку. Вот откуда ходил только по верёвке, заботливо брошенной сверху.

Там и летом очко играло. Сейчас Катушка наверняка обледенела. Но ничего. Хуже не будет. Катушка—это уже метров тридцать, если не сорок, над площадкой. Не страшно. Отсюда упасть не страшно. Страшно было с десяти.

Коль наверху—так наверху,
А коль внизу—так уж внизу,
А коль на полпути наверх—
Так ни внизу, ни наверху!

Тут, помнится, надо очень даже закинуть ногу. Очень даже. Раз, два, три! Опа! Закинул. Штаны, конечно, лопнули, по яйцам хлестануло холодом. Ладно. Они больше не пригодятся.

А дальше что? Забыл. Десять лет прошло. Или даже пятнадцать. Да и не получалось дальше того, чтобы ногу закинуть. Потом уже—по верёвке.

Раскорячился на скале: правая нога высоко вверху, правая рука—тоже. Чего висим, чего ждём? Отпуститься, и все дела.

Нет. Раз пошла такая пьянка, давай выходить на правой руке. А там и левой где-нибудь…

Не получается левой! Ногти бессильно скребут по заледеневшей скале—ни «кармашка», ни зацепочки-«сопли». А на одной руке не выйти—йах!

Поплыл. Поплыл, срывая ногти. Левая нога пошла обратно, до полочки. Встала. Висим. Хорошо висим. Нараскоряку, пузом по скале. И ледяной ветер по яйцам.

Внизу, под Корытом, в оставленной куртке заверещал телефон. Даже понятно кто. Есть у человека талант—звонить в самое неподходящее время: когда ты на горшке, на бабе или вот—на Катушке. Не отвечу, хоть зазвонись. Занят я. Так занят, что даже представить не можешь.

Са-а-арвались ногти, сорвались рукти,
Сорвалось моё тело со скалы!
Девчонки, плачьте, кусайте локти—
Мне жить осталось только до земли!

Не дано тебе залезть на Такмак в одиночку. Вообще ничего не дано. До возраста Христа дожил—и чё? И жил как чмо, и помереть собрался так же. Виси теперь, раскорячившись на Катушке.

Значит, так. Под ногами полочка? Полочка. По ней—и вправо. Как сразу не догадался? Был бы с ногтями. Хотя на фиг они теперь нужны, вместе с пальцами?

Опа! Вышел. Теперь по Катушке ползком. По Катушке, конечно, положено ходить ногами. Летом. Или зимой в триконях. А мы люди негордые. Рождённые ползать. Потому и ползём.

Руки саднят. Ногти сорваны, пальцы в кровище, задубели. А сам не замёрз, без куртки. Вспотел даже. Хуже не будет. Ибо хуже уже куда же?

А смерть гуляет по «Столбам»,
Голодна-а-ая и зла-а-ая!
В бездонных прячется щелях,
Кого-то по-о-оджида-а-ая.
Души моей вам не понять,
Она для вас потё-ё-ёмки!
У вас и общество не то,
У вас одни подо-о-онки!

Вот именно. Ну, чмо. А кто не чмо? Снуют. Суетятся. Выгадывают. А смысл? Всё равно помирать. И оглянулся я на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым трудился, делая их,—и вот всё суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!

До вершины рукой подать. Ну, значит, будет свободный полёт, а не срыв. С северной стороны низковато. Разбиться хватит, но без кайфа. Лететь—так уж лететь. Значит, восточная сторона, там метров сто полёта. Не в Корыте же кувыркаться. Корыто—пройденный этап.

На вершине—железная хреновина с остатками флага. Вышел. Кто бы мог подумать? Зимой, без страховки, один, в неприспособленной одежде и обуви. И такой, у флага. Прямо Егоров с Кантария в одном флаконе. Победа!

Там—сопки с заснеженным лесом. Там—город сияет. Летом, даже в вечернее время, город, конечно, на ладони—но ни огонька. А тут—просто вид из космоса. Вот сейчас из космоса и полетим. Как этот… Баум… бергер… гардер? А не как чмо. Чмо зимой на Такмак не залезет. Вот так-то.

А лететь расхотелось. Внезапно. Да идут они—и Алка, и бизнес, и Экклезиаст. Фигня всё это. Счастье есть, его не может не быть. Просто жить—вот тебе и счастье, и небо в алмазах, целое корыто. Сидел бы всю жизнь тут, на Такмаке, любовался бы.

Но—не лето. Ветер и минус пятнадцать. Куртка внизу, перчатки тоже. Пальцев, считай, нет. Такой вариант не предусматривался. Камикадзе учили взлетать, но не учили садиться—им незачем. Ясно было, что с Камина навернёшься или даже раньше. Был только план А—помереть с музыкой. А теперь нужен план Б. Которого нету.

Никакой дурак сейчас у Такмака не ходит—темно. До дач не докричишься. И до лыжных трасс в сияющем рядом Бобровом логу тоже—там музыка гремит. Сотовый остался в куртке.

Кричал, пока не сорвал голос. Никого. Придётся спускаться самому. Хотя вот теперь—страшно. Спускаться сложнее, чем подниматься. Куда сложнее. И жить теперь охота. Так охота, что не вышепчешь.

Главное—с Катушки на Камин. Никогда сам тут не спускался—дюльферил по верёвке. Где руки ставить, где ноги?

Повис, раскорячившись, ровно там же, где сорвал ногти. Где-то там левая нога должна встать. Но где? Возил и так, и так. Повыше? Не должно быть. Пониже? Тогда надо перехватываться левой рукой. Съехать чуток—но там может и не быть никакого выступа.

Съезжать нельзя, но и не съезжать нельзя. По спине даже не холодок пробежал—морозище. Колотит всего. Мгновенно замёрз, руки закоченели. Не держат.

Эй-эй, не надо. Не сейчас. Давай как-нибудь в другой раз. Не сейчас. Не се-е-ейча-а-а-а-а!..

Лариса Обаничева

Луи

Крошечная гримёрная благоухала. Аннушка не могла оторвать глаз от белоснежных лилий и, пока переодевалась и снимала краску с лица, всё смотрела на них и улыбалась. Как давно ей не дарили цветы! Дежурный букет в день премьеры не в счёт, он шёл по статье расходов на новую постановку, среди костюмов, декораций и прочих аксессуаров, и сердце не трогал. А лилии—другое дело. Они были от души! От человека, который знал её, помнил и радовался её возвращению на сцену. Застенчивый, должно быть: не решился преподнести у всех на виду, прислал с курьером, и билетёрша вынесла их, под аплодисменты, в хрустящем целлофане… Аннушку эта деликатность особенно тронула. Ох и настрадалась же она в своё время от назойливых поклонников! Трудно сказать почему, но она чувствовала: он не из тех, кто станет донимать её звонками и приглашениями на ужин. Скорее всего, серьёзный, степенный, лет шестидесяти пяти—на дневной спектакль приходили те, кого именовали стыдливым эвфемизмом «третий возраст», их нередко целыми группами привозили на автобусе из провинции. Милая, неизбалованная публика, которая всякое лицедейство принимала с наивной восторженностью и долго аплодировала. Многие актёры относились к утренникам пренебрежительно, играя вполсилы, а вот она не могла… «У тебя старомодное представление об актёрском призвании, моя дорогая…—говорила она себе.— Так нельзя!» Или просто ей не хватало цинизма?.. Пришпиленный к целлофану бристоль оказался немногословным: «Очаровательной!!» С двумя восклицательными знаками. И вместо подписи— буква «Л». Что это—имя, фамилия? Скорее, имя. Люсьен? Лоран? Или, может быть, Луи? Пусть будет Луи. Королевские цветы, королевское имя. «Вы не представляете себе, Луи, сколько радости мне доставили эти лилии… Спасибо вам!» Высокие стебли стремились перевесить лёгкую вазочку—другой не нашлось,—и Аннушка заботливо прислонила их к стене. А её длинноногой партнёрше даже одной ромашки не подарили! Та поджала свои и без того тонкие губы и сразу превратилась в обыкновенную дурнушку. Да ещё завистливую. Только что красовалась на сцене, принимая выгодные позы и оголяя всё, что можно было оголить по ходу пьесы, и вдруг чуть ли не расплакалась, когда её обошли вниманием. —Пусть это послужит тебе уроком! Смазливой мордашки и мимолётной телеславы ещё недостаточно, чтобы получить признание театральной публики,—бросила Аннушка вслух и закашлялась.

И на сцене тоже кашляла. Решила, что её героиня должна курить, а сама уже давно бросила. Вот с непривычки и стала кашлять. Она не играла в театре шесть лет, и почти столько же не снималась в кино. За этот, казалось бы, небольшой срок многое изменилось. Пришло новое поколение, и о ней забыли. Разве иначе, при других обстоятельствах, она бы согласилась играть с этой бесталанной дурочкой, возомнившей о себе неизвестно что? Таланта нет, зато есть всемогущий покровитель: взял да организовал, по её прихоти, театральную постановку и подарил ей главную роль. Но у Аннушки не было выбора. Ей так хотелось на сцену! Театр—её жизнь. Она пожертвовала для него всем. Возможно, в этом и заключалась её ошибка: не рассчитала силы и шесть лет назад не выдержала, сломалась. Но теперь ей было гораздо лучше, она поправилась, перестала принимать таблетки—снотворное не в счёт, иначе вечером, после спектакля, долго не уснуть… И врач говорил, что лучшее лекарство для неё—работа. Он прав. Снова играть в Париже, пусть в маленьком театре—но играть!.. Судьба послала ей такую возможность, и она не стала отказываться. Других предложений не было и могло ещё долго не быть… Она приблизила лицо к фарфоровым лепесткам и, закрыв глаза, с блаженством вдохнула их аромат. «Ну вот, я так и знала!» Лоб и щёки припорошила оранжевая пыльца, Аннушка смахнула её пуховкой и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Ещё ничего, ещё остался блеск молодости… Но теперь, чтобы хорошо выглядеть, ей требовалось гораздо больших усилий, чем раньше… Точнее, раньше она хорошо выглядела, не делая для этого особых усилий. И уже заметны первые признаки увядания… Хотелось надеяться, что заметны пока только ей. Никуда не денешься—в конце года ей исполнится сорок! «Так что роль надоевшей супруги как раз для тебя»,—заключила она с грустной усмешкой.

Публика уже разошлась, когда она покинула гримёрную. Холл опустел, и один только Стефан

за стойкой на контроле что-то писал, склонив голову. Услышав её шаги, он оторвался от бумаг, и лицо его просветлело.
— До завтра, Аннушка!
— До свидания, Стефан!

Славный молодой человек! С тех пор, как она вернулась в театр, все вокруг ей казались милыми и доброжелательными. Стефан пророчил пьесе большой успех; скорее всего, он прав: современный текст, отточенные диалоги, классический любовный треугольник, и главное — много юмора. Посмеялся и забыл. Такая лёгкая, приятная пьеска обречена на успех. Тем лучше…

Кондитерская напротив была открыта, и Аннушку потянуло в распахнутые двери — страстно захотелось шоколадного пирожного; но она пересилила себя и отвернулась от соблазнительной витрины. Никаких лишних граммов! Она актриса и обязана держать себя в форме. Удивительно тёплый для середины октября, ласковый вечер располагал к неторопливой прогулке. Аннушка сняла плащ, перекинула его на руку и направилась к метро, разглядывая по сторонам всё, что попадалось на глаза. Чёрные глянцевые красотки за стеклом парикмахерской, овощные и фруктовые ряды у арабской лавки, жирные граффити на стенах — привычная изнанка блестящего Парижа, на которую она при других обстоятельствах не обратила бы внимания, но эта непритязательная улочка, по которой она почти ежедневно проходила в театр и обратно, вошла в её жизнь, чтобы остаться в ней навсегда дорогим воспоминанием, и Аннушка смотрела на всё вокруг с нежной снисходительностью. У метро она заколебалась: спускаться в подземелье не хотелось, и она свернула на бульвар — просто так, без определённой цели. Навстречу закатному солнцу! Отыскать его за домами было непросто, и она всё шла, пока не очутилась на пятачке под названием «площадь Бланш», с круглой вентиляционной тумбой посередине, которую щедро, как прожектор, освещал солнечный луч, чудом пробившийся в узкий проём между крыш. Всё остальное было уже в тени. Люди тянулись к теплу и яркому свету — на пятачок, где ещё не угасла дневная беззаботная жизнь, — толпились здесь, сидели на краю тумбы, заняв всю её по окружности; присела и Аннушка, под боком у пожилой пары, которая переговаривалась по-итальянски. Туристов и просто гуляющих в этот субботний, почти летний день было множество. Дети, а вслед за ними и взрослые вскакивали на вентиляционную решётку, из которой сильно и шумно выходил воздух, надувая одежду, поднимая дыбом волосы, искажая черты лица, — все смеялись и фотографировались. «А жаль, — подумала Аннушка, — что девушки в брюках и ни одна не может изобразить знаменитую сцену с Мэрилин Монро…» На ней самой было платье, но не могла же она в её возрасте прыгать с задранной юбкой!.. К счастью, её никто не узнавал. Ей было просто и весело среди людей. Она вслушивалась в их разговоры, рассматривала их порой невероятные одежды, — впрочем, никто ни на кого не обращал внимания, — всё доставляло ей удовольствие, как человеку, который вернулся к жизни и радуется её малейшему проявлению… Она чувствовала себя немного усталой, опустошённой и ни о чём особенно не думала, но иногда мысленно возвращалась к театру и вспоминала, что в гримёрной её ждёт чудесный букет лилий и что она снова увидит его завтра, на воскресном утреннике. Казалось, что вместе с букетом ей подарили весь мир! Стефан прав: у пьесы будет успех. И у неё будет успех. А за ним последуют другие. Иначе не может быть! Она совершенно здорова и ощущала себя как никогда молодой, полной сил и, как ни странно, лучше и уверенней, чем в двадцать лет… Она актриса. Ничего другого она делать не умела. Только играть. И она будет продолжать играть!..

Подошли двое, отец и сын, — оба плотные, коренастые, одного роста, — сфотографировали «Мулен Руж» и вместе с ним Аннушку на переднем плане. Отец поднял большой палец: мол, отлично получилась. «Никак меня узнали?» — удивилась она, но потом поняла, что нет. Случайно попала в объектив — одинокая миловидная женщина в тёмных очках, чуть загадочная… Сына звали Кристоф.
— А я толстый, — заявил папаша с круглым, обтянутым майкой животиком, справедливо полагая, что лучше сразу признать свой недостаток и вызвать тем самым снисходительную симпатию окружающих.

Аннушке захотелось сказать ему что-нибудь ободряющее, и, не найдя подходящих слов, она ласково улыбнулась.
— У вас славянские корни? — поинтересовался Кристоф, когда она назвала себя.
— И славянские тоже.
— А что вы здесь делаете?
— Отдыхаю после театра.

Им и в голову не пришло, что перед ними актриса, а не зрительница.
— А что за пьеса?
— «Супружеские игры». Премьера. Вы не видели?
— Нет, — замотал головой Кристоф. — Я в театре редко бываю.

Афиша спектакля с её полупрофилем — а длинноногая, во весь рост! — была расклеена по городу, а они и не заметили…
— Я недавно перебрался из Лилля, поселился во-о-он там! — Кристоф вытянул руку в сторону Монмартра.
— Чтобы завоевать Париж? — пропела она строчку из популярной песни Азнавура.

Он рассмеялся:
— Будем надеяться.

— Я вам от души этого желаю!

Они простились, и она долго смотрела им вслед, но они так и не обернулись. Между тем солнце полностью скрылось за домами, унеся с собой розовый свет,— площадь поблёкла и утратила привлекательность. Становилось прохладно, и с бульвара потянуло сыростью. Люди расходились. Аннушка накинула плащ, посидела ещё немного и тихо пошла к метро. «Мне хорошо, спокойно, на этот раз я постараюсь уснуть без снотворного»,— решила она.

Луиза Вальро считала себя вполне счастливой. Она расположилась в мягком просторном кресле из жёлтой кожи, местами поистёртом и утратившем былую яркость (годков-то ему сколько!), но ещё очень приличном,— любимом кресле покойного мужа, где он обычно читал, а, читая, мог и вздремнуть, и теперь вот и к ней, вместе с креслом, перешли его привычки. В правой руке, поставленной на подлокотник, она держала ликёрную рюмочку с золотистой жидкостью и любовалась её переливами. Янтарная глубина — от коньяка, а лёгкость, прозрачность даёт виноградный сок, нет, сусло, кажется, так правильно — виноградное сусло. Весь секрет — в их гармоничном сочетании. А какой нежный аромат! Ммм… Пино. Божественный напиток! На Востоке есть чайная церемония, а у неё — ритуал пино. Два глоточка после хорошего обеда — вот одно из тех маленьких удовольствий, которые составляли её спокойную, размеренную жизнь. А что ещё нужно с возрастом? Совсем немного. Ни вина, ни крепких напитков она не пила. Но пино!.. Она покупала его не в магазине,— о нет! — а прямо у изготовителя, месье Куто. Всегда одного и того же. Месье Куто приезжал из родной Шаранты на ежегодную Парижскую ярмарку, заранее известив её коротеньким письмом, где сообщал о последних событиях, будь то очередной приз на конкурсе виноделов или прибавление в семействе,— писал он задушевно, иногда шутливо, как хорошей знакомой. К письму прилагалось приглашение на ярмарку, что тоже было очень мило с его стороны и кстати: входной билет каждый год дорожал и достиг стоимости одной бутылки пино. Подобные тёплые, размноженные на компьютере письма получали, разумеется, все покупатели месье Куто, и тем не менее Луизе было приятно. Обходительность лавочников, пусть и чрезмерную, она предпочитала безразличию супермаркетов и любила ходить на рынок. Тоже своего рода ритуал. К тому же мелкие торговцы постепенно исчезали, и, покупая у них мясо или килограмм картошки, она совершала почти гражданский акт.

Каждую весну Луиза отправлялась на другой конец города, к Версальским воротам, на ярмарку. Настоящее путешествие, можно сказать: иногда ведь не надо далеко ездить, чтобы отвлечься, отдохнуть от повседневности,— достаточно поменять квартал. И там, на ярмарке, она вначале обедала, выбирая то, что редко готовила дома,— телячью голову в соусе или сырное фондю,— а потом добросовестно, ряд за рядом, обходила все стенды: пробовала, разглядывала, иногда что-то приобретала… Приличную даму определённого возраста принимали за солидную клиентку и зазывали со всех сторон, особенно скучающие без дела торговцы вином, и она дегустировала, терпеливо выслушивала пояснения об особенностях купажа и, улучив момент, так и не сделав ожидаемого заказа, спешила ретироваться — с неловким ощущением человека, который не оправдал надежд. А в конце дня отправлялась на знакомый стенд, украшенный дубовым бочонком и гроздьями винограда из пластика. Месье Куто, его жена и дочь с зятем, которые работали вместе с ним, встречали её как добрую приятельницу: «Коман са ва, шер мадам?» — «Са ва бьен, мерси…» Луиза была рада видеть их, и хотелось думать, что и они хоть немного, по-человечески, рады ей. Поболтав о том о сём, сделав глоточек рубинового пино (чтобы ещё раз убедиться: нет, всё же не то!), она брала полдюжины бутылок своего обожаемого белого пино — годовой запас — и кулёчек дорогих шоколадных конфет с коньяком, которых хватало ненадолго. Два или три раза она всё же изменила месье Куто. Просто так, из любопытства. Брала пино у других, почти уверенная, что её ждёт разочарование. И действительно: то слишком чувствовался коньяк, то спирт ударял в нос… Да уж, недаром месье Куто получал золотые медали — его пино было непревзойдённым!

С возрастом она сделалась гурманом. Ела вполовину меньше того, что могла съесть в тридцать и даже в сорок лет, но стала более разборчивой в еде. Багет всегда поджаривала, потому что любила тёплым, хрустящим. А рокфор предпочитала со спелой, сочной грушей — ещё одна особенность, которую она заметила за собой в последнее время: пристрастие к солёному в сочетании со сладким. И никаких обезжиренных, или, как их теперь называли, облегчённых продуктов, никаких маргаринов, разумеется. Только то, что создано самой природой! Питалась она просто, готовила в основном на пару. И терпеть не могла всё, что варилось часами, делая исключение разве только для знаменитой квашеной капусты, тушенной в шампанском, за которой не ленилась ездить в магазин Шмидта у Восточного вокзала, а потом лакомилась дома, с копчёной грудинкой и сардельками. Изысканность вовсе не означает сложность… Взять, например, овсянку. Зимними вечерами, когда не тянуло на салаты, а хотелось горяченького, она делала овсяную кашу. Если добавить в конце варки молока и кусочек сливочного масла с кристалликами соли из Геранды, полить

кленовым сиропом и посыпать свеженаколотым тёртым грецким орехом—и всё это вприкуску с нежным молодым конте... Чем не изысканное блюдо? Многие одинокие люди питаются всухомятку или, если позволяют средства, ходят в ресторан. Вот чего она не понимала. Ей нравилось готовить для себя. А некоторых это удивляло. В прошлом году у неё красил ванную один португалец; обычно он уходил на перерыв около полудня, и как-то задержался, а квартиру уже наполнили ароматы из духовки, он потянул носом: «Что-то вкусное...»—«Куропатки с персиками!»—ответила она с гордостью. «Вы ждёте гостей?»—«Нет». Забавно было видеть его вытянувшееся лицо. «Это вы для себя так готовите?!»—«Конечно. А я себя люблю!» Он застыл на мгновение, словно услышал что-то неприличное. Любовь к ближнему похвальна, а вот любовь к себе... А кто ей ближе самой себя?

Долгое время она жила для семьи. И вот осталась одна. Муж умер. Единственный сын Патрик далеко, в Шанхае, продаёт французские автомобили. Доволен: «Расходятся, как французские булочки!» Что ж, тем лучше. По крайней мере, есть работа, приличный доход, что немаловажно в наше время. Жаль только, что далеко. Она предпочла бы, чтобы «пежо» и «ситроены» так же хорошо расходились во Франции и сын был рядом, а не за тысячи километров... Девять тысяч двести шестьдесят два километра! Даже в переводе на язык современной техники—это много долгих часов полёта. Нет, такое расстояние ей уже не преодолеть. Ничего не поделаешь—у сына своя жизнь, это естественно. Хотя и грустно. Луиза всё ждала внуков, завидуя тем, у кого они были... И дождалась!

Единственную внучку она видит раз в год, в декабре, когда сын приезжает на праздники, и бабушка в её представлении связана с ёлкой, Дедом Морозом и рождественскими подарками. Сонечке шесть лет, она ходит в местный садик и говорит по-китайски так же бойко, как и по-французски, и сама, кажется, стала походить на маленькую китаянку. Патрик радуется: дочь выучит язык и сможет устроиться в Китае, где большие возможности; во Франции делать нечего. Спрашивается, для чего я растила сына, если на старость лет всё равно одинока? Луиза отпила глоточек пино, чуть подержала во рту—удивительно: и персик, и абрикос, и ещё что-то, целый букет... Мишель подтрунивал над ней: «Ты всё делаешь не по правилам!» Пино пьют до еды. А она предпочитала после обеда—как заключительный, благоухающий аккорд. Пино пьют охлаждённым, а она любила его комнатной температуры—лучше ощущаешь тёплый аромат. Больше некому ей делать замечаний, даже в шутку. Она могла поступать как ей вздумается. У одиночества есть и преимущества... Постепенно она научилась жить в своё удовольствие, считаясь лишь с собственными вкусами и привычками, что оказалось весьма приятно. Раньше, с Мишелем, она много и поздно ела на ночь, особенно в гостях или ресторане; это было для неё мучительно. Теперь она перестала принимать приглашения на вечер. И держалась стойко. «Вы не ужинаете?»—спрашивали её с ехидцей. «Ужинаю,—отвечала она невозмутимо.—Йогурт и пару листиков салата». Что и говорить! Раньше приходилось подстраиваться под других. И в заботах, в постоянной необходимости жить по чужим, навязанным ей правилам некогда было разобраться и понять: а что же хорошо для неё? Что подходит именно ей? Жизнь человека есть путь к самому себе. Кто сказал? Она уже не помнила. Да и неважно. Пусть это будет её личное умозаключение. Да и что тут особенного или глубоко философского? Каждый так или иначе сознаёт под конец жизни, что он есть на самом деле... А если и не задумывается, всё равно становится тем, что он есть... Это неизбежно. Достаточно посмотреть, как меняется человек, когда ему больше не нужно изображать хорошего работника или образцового семьянина! Один опускается, а другой буквально перерождается... Жаль только: едва начинаешь понимать, что ты такое и что из себя представляешь,—жить остаётся немного, и практической пользы от этого понимания никакой... Ошибки сделаны, их уже не исправишь, путь пройден, и часто не тот, который следовало выбрать. А назад уже не вернёшься...

Она отпила ещё глоточек пино. А ведь действительно—во рту остаётся вкус чернослива... Называется у специалистов послевкусием. И откуда ему взяться, черносливу?

— Ну что такое, Бис? Что ты на меня так смотришь?

Пока Луиза говорила—а она часто вела подобные монологи, считая, что при её одиночестве это естественно и даже полезно,—сидевшая у её ног светлая собачка с рыжим пятном на мордочке не сводила с неё чёрных внимательных глаз.

— Тебе нельзя пить.

Пёс заворчал: он и сам знал, что нельзя.

— Иди, Бис, походи. Ты ещё молодой, тебе надо больше двигаться.

Бис послушно встал и отправился бродить по комнатам. За пять лет совместной жизни он хорошо изучил все привычки хозяйки и знал, что за ритуалом пино последует ритуал сна, так что у него было время предаться собственным занятиям. Он вышел в коридор. Стоящее там на полу деревянное идолище с открытым чревом, в котором медленно качался латунный диск, зашипев, издало своё протяжное «дзыннн»—нарочно, чтобы его попугать. Но Бис его давно не боялся, хотя и недолюбливал за шумный нрав. Противный идол особенно трезвонил в глубокий ночной час, когда весь дом замирал и хозяйка уже спала. Бис

терпел, не осмеливаясь зарычать. Соперником Бис его не считал: хозяйка хоть и относилась к идолу благосклонно—ласково поглаживала, говоря, что без него дом неживой,—но с ним не играла и не гуляла. Бис задрал мордочку и с вызовом взглянул на многоглазый идольский лик с тёмными усиками; странные усики—вроде не двигались, а каждый раз оказывались на другом месте: то опадали, то стояли, как сейчас, торчком. Идол замолчал, и, довольный собой, Бис пошёл дальше.

«Хороший пёсик, смышлёный…» Луиза взяла его в Обществе защиты животных, в традиционный день открытых дверей. Уговаривала себя не ездить—и всё же поехала; дала себе слово никого не брать, но в душе знала, что вернётся не одна: пустая квартира сделалась невыносимой… Бесконечные ряды клеток и в них—глаза обречённых животных произвели на Луизу тяжкое впечатление, и она чуть не расплакалась при виде этих несчастных. Хотелось забрать их всех до одного! А Бис надежду не потерял и бросился к ней, словно только её и ждал. «Весёлый пес,—сказала женщина из Общества.—Только поступил. Джек Рассел». Луиза подошла ближе. Бис изо всех сил старался пролезть между железными прутьями, тянул то одну, то другую лапу, пытаясь достать до неё, и сердце сжималось от жалости и сострадания к нему. Луиза погладила его, спросила, почему от него отказались. «Там ребёнка завели, не до собаки…» Луиза взяла его на руки и поняла, что не сможет с ним расстаться. Она больше не раздумывала: «Ты тоже осиротел, будем доживать наш век вместе». В знак согласия он лизнул её в нос. Она забрала его документы, внесла символическую плату и привезла его домой. Инспектор из Общества пару раз наведывалась—проверить, как Бису живётся на новом месте,—и убеждалась, что живётся ему лучше некуда. Луиза подозревала, что его бросили из-за беспокойного характера: слишком подвижный, ему бы всё бегать да играть… И хулиганистый бывает, и вредный: заупрямится иногда—с места не сдвинешь! А имя она ему дала театральное. И почему нельзя назвать собачку—Бис? Теперь даже детей называют как попало: дочь Мегана—как любимый автомобиль… Это ж надо додуматься! А она всегда любила театр. Бегала на актёрские курсы… Мечтала о сцене… Луиза Вальро! Так и просится на афишу, говорили ей, и псевдоним не надо брать… А потом всё же послушалась материнского совета, выучилась машинописи и стенографии («Всегда на хлеб заработаешь!»), пошла на службу, и постепенно жизнь затянула её… Какой там театр! Какое мастерство актёра! Вечером—домой, поесть и на боковую… Потом замужество, рождение сына… Фамилию мужа она не взяла, сохранила свою, «афишную»,—казалось, вот-вот судьба повернётся, она ещё будет актрисой, а когда стало ясно, что уже ничего не изменится, её красивое имя, так и оставшееся неизвестным, зазвучало иначе, горьким упрёком: не сумела осуществить мечту… Луиза Вальро… Никто и не подозревал, какой болью в груди отзывалось её собственное имя!.. А увлечение театром осталось. Она не пропускала ни одной значительной премьеры в столице, не ленилась отправиться за город, если там давали что-то интересное, знала всех актёров, а многих знаменитостей помнила ещё безымянными студентами, с выпускных спектаклей театрального училища… Мишелю нравилось, что жена интересуется не только ценой бифштекса, хоть и давно сидела дома. Он так и называл её: наша театралка. Сам он в театр не ходил—не тянуло. В начале замужества, наивно полагая, что с близким человеком следует всё делить, она пыталась увлечь его драматическим искусством. Но скоро поняла, что это бесполезно. Мишель не чувствовал игру так, как чувствовала она, и был не в состоянии оценить все тонкости постановки. Он удивлялся, что она ходила на одну и ту же пьесу, но в разном исполнении, по нескольку раз или читала текст пьесы после того, как видела её на сцене. Поход в театр был для него прежде всего выходом в свет, с хорошим ужином после спектакля—как раз то, что Луиза любила меньше всего: поздние обильные трапезы утомляли её. А Мишель помнил лучше то, что он ел в тот вечер, чем то, что смотрел. «„Венецианский купец“? Купец, купец…»—«Мише-е-ель!.. В Театре на Елисейских полях…»—«Помню! Как же… Мы потом ужинали у ливанцев… Сырой фарш с чесночным соусом! И где они берут такую вырезку? Просто тает во рту…»

Ему нравились бульварные комедии, где можно вдоволь посмеяться, а на серьёзных пьесах, когда зал напряжённо молчал, он начинал зевать и нетерпеливо вертел головой. А потом ещё и раздражался, что потерял время на всякую ерунду, и вспоминал о своих муках предпринимателя—он занимался уборкой производственных помещений. Луизе приходилось в который раз выслушивать его возмущённые тирады: о нерадивых работничках, которые и двух слов не могли связать по-французски, а день ото дня наглели; о требовательных заказчиках, чью грязь он должен вывозить чуть ли не даром; о тупых чиновниках, которые только и делали, что душили поборами, забывая, что на таких, как Мишель, держится экономика страны… Постепенно их совместные театральные вечера прекратились. Луиза с облегчением стала ходить в театр одна. Она предпочитала так называемые «утренники», которые начинались в удобное послеобеденное время и оставляли час или два до семейного ужина,—не надо было спешить домой, да и не хотелось, можно было прогуляться, прийти в себя после только что увиденной пьесы, особенно если пьеса потрясла её,

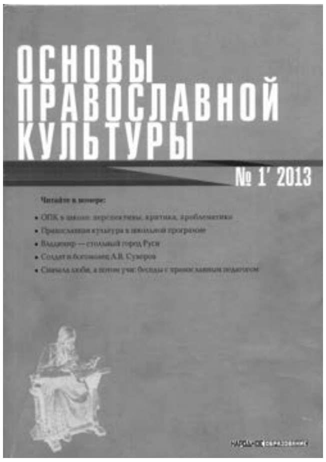
как незабываемая ануевская «Антигона»: молодая актриса играла страстно и самозабвенно, не щадя себя, как играют только в юные годы, когда силы и здоровье кажутся беспредельными,—и Луиза долго не могла успокоиться, всё шла и шла, толком не понимая, куда идёт, удивляясь, что ничего не изменилось вокруг, что люди продолжали как ни в чём не бывало разговаривать и жевать, и всё вдруг ей показалось так бестолково, ненужно и мерзко, и её собственная жизнь—такой ничтожной, что ей захотелось немедленно начать новую, лучшую жизнь и самой стать такой же чистой и бескомпромиссной, как Антигона… Подобные потрясения случались редко. В основном, постановки были средние, явно рассчитанные на кассовый успех, в чём нельзя было упрекнуть их создателей—каждому театральному заведению надо как-то существовать. Луиза любила театр, и самый посредственный спектакль радовал её. Так не бывает, что всё плохо, считала она—и ни разу не ушла в антракте. Хоть что-нибудь да заслуживало внимания: игра неизвестного актёра или новое прочтение известной пьесы… Она ждала те волшебные мгновения, которые возвышали её над повседневностью и собственной жизнью,—забыв обо всём на свете, почти в беспамятстве, она кричала вместе с залом «браво», позже удивляясь, как, при её сдержанности, оказалась способна на столь бурное проявление чувств, и долго хлопала вместе со всеми, вызывая ещё и ещё раз актёров на поклон, и ей казалось, что это она стоит на сцене, сдерживая благодарные слёзы… Дома она ещё некоторое время смотрела на всё отстранённым взглядом. «Наша театралка опять не в себе»,—сердился или посмеивался, в зависимости от настроения, Мишель. Ей хотелось поговорить об увиденном, но говорить было не с кем. Знакомые мужа театром не интересовались, а своих знакомых она как-то не завела. Репутация театралки льстила ей, хотя она и понимала, что слывёт таковой среди людей, далёких от театра, и когда Мишель подталкивал её на разговор о последней модной пьесе, она высказывалась неохотно и слыла букой. Увлечение молодости постепенно сделалось её личной, сокровенной, почти тайной жизнью. У неё был лишь один, незримый, собеседник—театральный критик из «Фигаро». Часто их мнения совпадали, это радовало Луизу и огорчало. Приятно было сознавать, что она понимала театр не хуже признанного специалиста, чьи отзывы публиковала одна из крупнейших французских газет, но горько было думать, что она унесёт это понимание с собой, никак не выразив его. «Что-то я упустила в жизни,—думала она.—Театр—это целый мир… Возможно, из меня получилась бы не актриса, а что-то другое… Теперь уже поздно». И она продолжала жить с чувством непреходящей вины перед собой…

На журнальном столике лежала рекламная открытка с последнего спектакля, «Супружеские игры». Луиза всегда брала эти открыточки в театре—на память, иногда тут же записывала свои впечатления, в несколько слов… Сколько их накопилось за годы! Она любила перебирать их, перечитывать старые записи, и, казалось, давно забытые подробности возвращались к ней так ясно, как будто она видела пьесу вчера!.. Открытка в точности воспроизводила афишу спектакля: милое лицо с тёмными бархатными глазами… Аннушка Зитмерс… Красивая малышка! Аннушка годилась ей в дочери, и она мысленно называла её малышкой. Лёгкий акцент—она родилась не то в Австрии, не то в Голландии—придавал ей особую прелесть. В молодости она была само очарование! Нежная, хрупкая, её хотелось обогреть и защитить, как случайно залетевшую из чужого края птицу… Она рано обратила на себя внимание—много снималась, играла в театре. А потом вдруг исчезла! Луиза не терпела сплетен и светскую хронику не читала из принципа, но Аннушка сама рассказывала в одной телепередаче, что лечилась от серьёзной депрессии,—теперь обо всём рассказывают, даже о самом интимном, мода такая… Затем Аннушка мелькнула в одном фильме, в другом… И вот—снова в театре. Сколько ей? Где-то под сорок. Но всё ещё хороша! Стройная, изящная, как в двадцать лет. Молодец, что следит за собой! Но вот курила на сцене… Зачем? Курила и кашляла, чуть не осипла. А голос у неё низкий, притягательный, она это знает и умело играет им, как на хорошо налаженном инструменте. Почему она не добилась успеха, с её-то данными? Не стала знаменитой? Трудно сказать. Есть в ней что-то незаурядное… На роль средней француженки она не годится, не то снималась бы в одном и том же бесконечном сериале, обеспечив себе заработок на годы вперёд… Нет, она актриса драматическая, даже трагедийная. Может, поэтому у неё мало возможностей? Да и вернулась она в том возрасте, когда ей больше подходит играть не любовницу, а брошенную жену, как в этой пьесе… Но до чего же обаятельная! Все полтора часа Луиза любовалась только ею, а на её партнёршу, разбитную девицу, которая только и делала, что перебирала голыми ногами, как ходулями, и смотреть не хотелось… Пусть у её Аннушки всё сложится удачно! Луиза от души желала ей добра и счастья. Вот послала цветы. Впервые в жизни! Почему появилось у неё такое желание? Трудно сказать. Просто захотелось сделать приятное любимой актрисе—и немножко себе. И как хорошо, что не нужно было никому и ничего объяснять! Это ощущение внутренней свободы было для неё ново, и она с удовольствием совершала неожиданные поступки и делала то, что раньше ей и в голову не приходило. Например, подарить актрисе цветы. Долго колебалась: какие?

Розы, бесспорно, идеальны, но быстро вянут. И она выбрала лилии—они стоят, пока все бутоны не распустятся. Не жёлтые—фу, отвратительный цвет!—а благородные белые. Как бы в знак дружеской симпатии. Лилии к тому же имеют вид: одна ветка—и уже половина букета, а три ветки, да с зеленью, выглядят вполне прилично. Вначале она хотела использовать обычную визитку, с адресом и номером телефона, но представила, что Аннушка позвонит ей поблагодарить за цветы—она девочка воспитанная,—Луиза, разумеется, будет счастлива услышать её бесподобный голос, но что они могут сказать друг другу, кроме принятых в подобных случаях банальностей? А может, и не позвонит, что ещё хуже: Луиза будет надеяться, ждать… И она взяла чистый бристоль. Долго думала, что написать. Избитые формулировки её не привлекали, и в конце концов из всех пришедших на ум слов она оставила одно-единственное: очаровательной. Все остальные оказались лишними. Долго колебалась, надо ли подписывать. А какое значение имело её имя? И она поставила только начальную букву: «Л». Аннушка будет смотреть на лилии и радоваться. И Луиза будет вспоминать её и тоже радоваться. Ах, театр, театр!.. Луиза вздохнула. А получилась бы из неё актриса? Этого уже никто не узнает…

Когда Бис вернулся в гостиную, хозяйка сидела в кресле с закрытыми глазами, чуть свесив набок голову и приоткрыв рот. Бис прилёг на полу и задремал, одним ухом прислушиваясь к звукам в коридоре. Когда раздадутся три продолжительных «дзынннн… дзынннн… дзынннн», хозяйка вздохнёт, зашевелится, посмотрит вокруг туповато и сонно, словно не узнавая, а потом улыбнётся и скажет: «Ну что, Бис? Где твой мячик? Пора гулять!»

ДиН ревю



Вышел в свет первый номер журнала для педагогов, методистов, исследователей, студентов и всех, кто интересуется историей православной культуры. Его учредители—культурно-просветительское сообщество «Переправа» и Издательский дом «Народное образование».

Основы православной культуры

Журнал для педагогов, методистов, исследователей, студентов и всех, кто интересуется историей православной культуры

Дорогие братья и сестры!

Перед вами—новый журнал с ответственным названием: «Основы православной культуры в школе». Это издание весьма необычное, поскольку оно светское и вместе с тем посвящено актуальной во все времена теме религии. Православие в истории России имело и имеет совершенно особое, поистине уникальное значение—как в духовном, так и в государственном отношении. Христианское учение о Боге и человеке, о душе и спасении, о бессмертии и жизни вечной стало «краеугольным камнем» в устроении души русского человека. Христианская нравственность сформировала лучшие и возвышенные качества его характера—любовь, жертвенность, сострадательность и терпение. Кроме того, православие изначально стоит у истоков создания, процветания и исторической славы государства Российского.

Нет сомнения в том, что на сегодняшний день возрождение православия в России—залог её духовного и физического выживания, существеннейшее условие для преодоления всяких смут и нестроений. Именно по этой причине появление светского журнала «Основы православной культуры»—событие исключительно важное и своевременное.

Хочется пожелать новому перспективному журналу помощи Божией в его грядущей деятельности. Хочется верить, что его материалы будут способствовать раскрытию подлинного человеколюбивого содержания святого православия, внесут лепту в умиротворение общественных нравов, помогут росту доброжелательного отношения и искренней заинтересованности к христианским традициям со стороны тех, кто пока ещё не сделал свой духовный выбор.

Преосвященнейший Савва, епископ Воскресенский, наместник ставропигиального Новоспасского мужского монастыря г. Москвы.

Вероника Шелленберг

Под присмотром орла

Ай-ки

(на озере Ая)

1.

Третий день.
Рыбачим на берегу.
Ничего себе
шустрят караси!
Как воробышки,
налетают на мякиш кишмя.
Белый мякиш
в кармане катаешь
ты
на озере Ая.
Стрекоза парусит поплавок.
Клюк, подсечка, рывок!
Не ори, дорогая,
На всё озеро: «Ай-я!»
Ливень
пляжников смыл
и матрасников смыл,
мы остались одни
подчистую на Ая,
трепыхучую мелочь с ладони обратно бросая,
иначе б—ведро!
Ливень был,
и—прояснилось.
А полночи лило и лило,
чтобы ты согревался,
к сердцу меня прижимая.

2.

Пятый день.
Идти никуда неохота.
Напешеходились по
раскалённому (если б пекло́ так вчера!)
Чуйскому тракту.
Возле озера рухнули
в тихой нетоптаной бухте.
Лягушку спугнули,
она
расквакалась, как заполошная.
А потом ничего, успокоилась,
важно пошла нараспев, с расстановкой.

Видно, дала себя знать
холодная царская кровь.

3.

А всё-таки хорошо
под ливнем и в шалаше
на скорую руку из
веток еловых.

Дальний берег исчез,
река и окрестный лес,
только не смыло нас,
а могло бы!

Шаткий шалаш навесной,
ливень, ай, ледяной
змейкой за воротник
нет-нет, а достанет.

До дрожи прошибло аж,
но держит ещё шалаш
на честном слове и
красной бандане.

4.

О, если бабочки—так сразу целой тучей!
Как над Катунью,
    в час их однодневный
они висят
сквозным мостом кипучим,
а мёртвые—о берег бьются пеной…
Ах, эти бабочки!
    Для пляжников—беда!

Куда ни сядешь,
куда ни ступишь—
оставишь след.
В нём крылышек слюда…

Долина Каракольских озёр

1.

Русалка
высокогорных озёр
вырастает не больше ладони
женской.
А рыб
в озёрах, текущих из ледника,
просто не существует.

Откуда взялась
утиная семья на Караколах—
мне неизвестно,

но, поднимаясь до снега и оборачиваясь
(а долина прогибается чашей,
а вода просматривается до
крупнокаменистого дна),—

я видела клинообразные волны
от четырёх уток,
пока они не исчезли,
пока туман
и сами озёра не скрыл.

Как холодно на уровне снега в июле!
Вблизи удивляешься:
снег
покрыт каменистой серою пылью
не сплошь, а подобно
чешуе серебристой рыбы.

А говорили, рыба на Караколах не водится!
Просто она,
не достигая воды,
остаётся в снегах.

Камень, который я обняла,
чтобы не съехать по скользкому склону,—
немигающий рыбий глаз.
Он видел меня вблизи.
Видел то облако, то меня.
Настолько плотно
небо подходит к горе,
чем выше гора.

Никакой ностальгии!
Если я там была—
вечно пребуду там,
и маленькие зверьки,
что пищат при появлении человека,—
привыкнут ко мне.

2.

Ручьи…
У каждого свой
тембр—не тембр… наречие…
Когда пропадает в расщелину—
будто бы поезд идёт.
По крупным камням—
низкий гул.
Бубен цыганского табора—
издалека…
Вблизи—потрескивание костра,
только быстрее и громче.

Да!
У воды и огня
есть одинаковые,
обоюдоострые слова.

И это
бубен, и табор, и поезд подобны речи ручьёвой,
а не наоборот.

А ручьям не до нас.
Они пересекаются, переговариваются,
не зная, где нарекутся рекой.

Туман… иначе слишком подробно
камешки вижу на дне.
Один поднимаю…
Округло-пятнистый, как птичье яйцо.

Высыхая,
камень меняет цвет.

● ● ●

Ультра неба,
умбра охра бора
смешиваются на склоне горном.
По ущелью, сдавленному горлу,
только ветер
            орро—марра—орро.

Недра гор
в себе сжимают кремни,
лезвия гранита жарко-жарко
друг о друга
            орро—марра—орро…

Тесен камень,
тесен, тесен, тесен…
Скол скалы…
Огонь свободен—
                марра!

Торро, горный ветер,
                торро, торро!

Легенда о Телецком озере

Когда алтайские звёзды
не знали своих имён,
гроза ударяла в озёра
будто в шаманские бубны,
а цветенье так бурно
поднималось по склону,
что лавину могло удержать на весу,
на лепестках,
на траектории дикой пчелы,—
два сына горы, два близнеца,
плечи—смуглое серебро—
двуручный ковали меч
в горниле
заходящего солнца.

Ночью
меч закалялся сиянием месяца в горной реке.
И высыхала река,
и переполнялась опять
тающими снегами.

Настолько острым
был первый двуручный меч,
что плавную песню орла
перерубил на части
речи отрывистой, птичьей.

Стали соперничать братья:
кто же сильнее?
Эхо
Изнемогало: «Охм!»

Первый—
одним ударом
вершину матери гор
расколол.
Другой засмеялся
и самые недра горы
мечом полоснул.
Застонала земля,
треснула,
как перезревшее яблоко,
и провалился меч.
Прыгнули братья за ним—не вернулись…
И потекли в расщелину
тысячи горных ручьёв…

Так давно это было…
Но до сих пор
светится в лунные ночи на дне
Телецкого озера—
меч.
Да большеротый таймень
трепыхнётся, когда
срежет о лезвие ус,
на глубине засыпая…

Русалка

Здесь тоже ночь, но хвойная до жути,
до глубины, где каждый ствол шершав.
Кому бы только в том глухом безлюдье
её обнять, ладони ободрав?

Холодный камень, но не тот, бетонный,
прямоугольный, как бы ты ни льнул,
а над водой—луною закруглённый,
а под водой—взволнованный валун.

И вдоль него на небо взгляд глубокий
рассеянно и медленно течёт
из озера, где не хватает лодки,
застывшей в середине,
как зрачок.

● ● ●

Рано утром
в долине реки Чулышман
к водопаду иду.
Сквозь стрекотанье кузнечиков,
сонную дымку тумана—
к водопаду.

Справа—
горы лиловы,
слева—
золотистым сиянием солнца очерчены резко.
Шелестенье реки в двух шагах
так и тянет сухими губами припасть,
бьётся о камни, зовёт…
А я—
за вкусом воды ледниковой,
бережно жажду храня,
как последнюю тяжкую ношу,
единственный груз,
не дающий взлететь, раствориться в
пространстве.

Пара стреноженных лошадей
мокрые морды приподнимает,
фыркая:
кто там в такую рань
тихую песню поёт,
к водопаду идёт?
Это всего лишь я—
былинка
в долине реки Чулышман,
неразличимая
с высоты перевала.

Роман Рубанов

Чёрное и красное

● ● ●

В наш съёмный быт под вечер входим мы.
С порога нас теплом встречают сумерки.
Зиме конец. И сколько той зимы?
Не станем свет включать, побудем в сумраке,

вдохнём и на мгновенье затаим
дыхание, и в темноту вольёмся мы.
Давай чуть-чуть безмолвно постоим.
Но руки рук коснутся—засмеёмся мы,

и дочь помчится мультики включать,
на кухне чайник засвистит отчаянно,
и в дверь не позвонят, а постучат.
—Открой,—ты скажешь. И, задев нечаянно

рукой в стакане на столе цветы,
открою и увижу на пороге я
Создателя.—О Боже, это ты?
В неверии Его хитон потрогаю.

Он соли спросит, глядя в потолок,
Как бы стесняясь собственной известности…
Над нами комнату снимает Бог,
Он, как и мы с тобой, из сельской местности.

● ● ●

У колонки намёрзло льда.
Я в калошах иду по льду.
В мои вёдра льётся вода,
и… суда по воде идут,

и растёт из воды камыш,
и дымок идёт из трубы,
и петляют следы от лыж
вдоль дорог, где столбы… столбы…

и слышна перекличка рек…
…В вёдрах льдинки плывут, звеня.
Заметает деревню снег,
и следы мои, и меня…

● ● ●

В какой-нибудь невзрачный вечер,
В весенний вечер сквозь стекло
Увижу облик человечий
Вдали, мне машущий крылом,—

То ангел, молодой, рублёвский,
С цветком голубеньким в руке.
Он озарит собой неброский,
Невзрачный вечер мой. В реке

Вода качнётся. Сом проснётся.
Совьёт гнездо щегол иль дрозд.
И месяц молодой прогнётся
Под тяжестью студёных звёзд.

Капель утихнет. Гром не грянет.
И, прежде чем его норд-вест
Подхватит,—обернётся, глянет
И принесёт благую весть.

● ● ●

То ли ангелы, то ли черти—
разобрать бы во сне, кто поёт…
Человек в ожидании смерти
бестелесен, как после неё;

вокруг то ли жизнь, то ли старость,
то ли вечер, а то ли среда…
человеку немного осталось
от «отсюда» и до «в никуда».

«В никуда»—заманчиво снится,
а проснёшься вдруг—и не спеша
разжимаешь ладонь, а синица
вылетает, как будто душа…

● ● ●

Вот тебе сказка: снег целый день идёт,
небо гуашью серой закрасил Врубель,
в замке старинном принца принцесса ждёт,
дни караваном цифр идут на убыль.

Вязнет в сугробах конь. Посреди степи
принц разведёт костёр, круг очертит мелом
и на снегу уснёт. И ты тоже спи
под завыванье полночи чёрно-белой.

Ночью обступит принца дремучий лес,
злобно завоют ели, залают клёны…
Сказка—такая штука, нельзя в ней без
всяких препятствий. А на рассвете клоны

принца выглянут из ледяных зеркал,
бросятся собирать голубые лица.
«Долго я спал?»—Долго спал… долго спал… спал…—
крикнет в беззвучном небе немая птица.—

Долго ты спал, а теперь торопи коня,
замок вот-вот растает за кромкой леса.
Короток зимний день. Вот и нету дня,
и поминай как звали твою принцессу…

Вот тебе сказка: время преодолев,
трудности разорвав, принц найдёт принцессу.
Только беда не дремлет и, аки лев,
рыкает в темноте за дремучим лесом…

Как эту сказку закончить? Куда ступить?
Как изловить исчезающую жар-птицу?
Спи, моя радость… спи, моё солнце… спи,
и пусть тебе счастливый финал приснится.

● ● ●

Заросли смородины: чёрная и красная,
Кислая и сладкая вся наверняка.
Обрываю ягоды. Западает гласная,
И мелькает в зарослях в крапинку щека.
Бродит в палисаднике утро беспризорное;
Смотришь, очарованный танцем стрекозы.
Заросли смородины: красная и чёрная,
Кислая и сладкая—радости азы.
Ягоды созревшие, круглые и гладкие,
Тают вмиг за розовой липкою щекой.
Чёрная и красная, кислая и сладкая,
По карманам смятые детскою рукой.
Мама крикнет: «Где ты там?» Западает гласная,
И бежишь по зарослям голову сломя.
Детство цвета Родины: чёрное и красное,
Кислое и сладкое—в сердце у меня.

Наталья Никулина

Вспоминая Асклепия

1.

укрываю на ночь плотью
плотно
солнечные часы твои ра амон.
лунный свет
не коснётся и тени их.
трижды сомкнутся
кольца сатурна
в цепи днк
над головой венеры милосской.

лёгкой зимы
на околоземной орбите
смелый пракситель.

2.

вспоминая асклепия и дельфы
в ожидании белых халатов
кентавры идут на москву.
захлебнулась
эволюция мыслящего тростника.
торжествует мутация superman/ов
и superwoman.
генетики и вирусологи
поклоняются
овечке долли
совершая по утрам и вечерам
человеческие жертвоприношения.
гидры готовятся к размножению.
трёхпиксельный змей горыныч строит башню
из человечьей кости.
повсюду шныряют головастики горгоны.
каменеет от горя море гомера
падая всей тяжестью
на прибрежные скалы.
лишь нептун поминает свою
золотую рыбку
и александра сергеевича
добрым словом.

3.

световоды поэзии—
вода и звёзды:
над головой
под ногами
под боком
и просто—
под рукой.
переливается аура
лёгким сиянием
первого слова…
свет наш насущный…
дождь нам днесь…

4.

хук слева—ненависть
хук справа—похоть…
не сносить головы ни тебе ни мне.
мозг превращается в лабиринт минотавра:
из мяса и крови
кокса и пива.
серповидный язык мой
сжал последний восход.
срезаны лучи моисеевы—
два рога верных забиты до смерти.
и впивается в мозг
справа—рог блуда
слева—рог лицемерия.

…и кто-то всё время подсовывает молодым мамам
вместо содовой и весенних гамм
содом и гоморру.
не оглядывайтесь назад маленькие мамы
не смотрите в глаза той что села на семи холмах.
господи господи все мы жёны лота
и соль наша горше звезды-полынь
и платья наши—каменистые плато

…со странной лёгкостью
chevrolet aveo я лечу по нему вперёд
и в зеркальце заднего вида
окаменевшего на миг сердца
на секунду замечаю
удаляющуюся
голову медузы-горгоны.

5.

и снова
повсюду
смена эпох
прорастает сквозь кости
огненными языками
великаньих слов.

вот и люди—лучи
достигшие тверди…

Лев Бердников

Метаморфозы стольника Петра Толстого

Сподвижник Петра I граф Андрей Матвеев отозвался о Петре Андреевиче Толстом (1645–1729) как о человеке «в уме зело остром и великого пронырства». Именно за эти качества его прозвали также «шарпёнком». В самом деле, сей отпрыск старинного, восходящего к четырнадцатому веку черниговского рода, долго прозябавшего в бедности и безвестности, был возвышен царевной Софьей и принял деятельное участие в Стрелецком бунте 1682 года, в ходе которого были убиты ближайшие родственники и сторонники царевича Петра. Однако, увидев, как усиливается и берёт верх партия Петра, Толстой сделал крутой поворот и примкнул к сторонникам молодого царя. Своим отчаянным хитроумием он сумел не только загладить свою вину перед самодержцем, но и завоевать его полное доверие. Этой целью руководствовался Пётр Андреевич и когда в 1697 году, в возрасте уже пятидесяти двух лет, испросил у государя разрешение отправиться волонтёром в Италию для изучения морской науки. Расчёт Толстого был психологически точен: желание ехать в чужие края за знаниями было музыкой для ушей царя-реформатора.

Забегая вперёд, скажем, что Толстому дались и морское ремесло, и итальянский язык, и политес, но главное же—он проявил завидную настойчивость и изворотливость. Потому Пётр I, отличавшийся особой проницательностью в оценке людей, вместо морской службы определил Толстого по дипломатической части, направив его первым постоянным послом в Османскую империю. Мы не будем подробно останавливаться на дипломатической миссии Толстого в Турции, которая была чрезвычайно успешна (в том числе даже в глазах самих турок). Отметим лишь, что Петру Андреевичу удалось добиться столь желаемой царём выдачи изменника Мазепы, а также длительной отсрочки вступления османов в Северную войну: именно благодаря Толстому Турция объявила войну России только в 1710 году (а к тому времени в Северной войне со Швецией инициатива была уже на стороне России).

Кредит доверия Петра к Толстому после турецких событий возрос настолько, что царь давал ему особо деликатные поручения. Именно Пётр Андреевич был отправлен на розыски «непотребного сына» царя, Алексея Петровича. И он не только обнаружил беглеца в замке Сент-Эльм, что под Неаполем, но и, поняв, что царевича России добром не выдадут, употребил всё своё коварство, чтобы заполучить его хоть мытьём, хоть катаньем. И какие только турусы на колёсах не разводил: сулил полное прощение и всяческие милости Петра, да к тому же подкупил любовницу Алексея, Ефросинью, которая только и твердила царевичу, что, мол, желает по Неве на барке покататься. Благодаря усилиям Толстого Алексей в 1718 году был возвращён, а затем подвергся пыткам и казнён. А царь пожаловал Петру Андреевичу орден св. Андрея Первозванного, чин действительного тайного советника, а также должности президента Коммерц-коллегии, начальника Тайной канцелярии, сенатора и множество дворов, деревень, сотни крепостных.

Современники характеризуют Толстого как человека нрава деятельного и неукротимого, но лживого и лукавого, без проблесков совести и порывов к состраданию, способного решительно на всё.

Известно, что именно Толстой всячески поощрял любовную интригу Петра I с дочерью валашского господаря, княгиней Марией Кантемир, что ставило под удар брак царя с Екатериной Алексеевной. Однако Екатерина подкупила врача семьи Кантемиров грека Полигали, и тот дал княгине такие дьявольские снадобья, что у неё сделался выкидыш и она навсегда лишилась возможности иметь детей. Пётр Андреевич, смекнув, что ставил не на ту карту, тут же переметнулся в стан друзей Екатерины и даже стал склонять царя к коронации её как российской императрицы. И вот уже Толстой руководит торжественным коронационным церемониалом и получает в этот самый день вожделенный графский титул.

Пётр I говорил о нём: «Толстой весьма смышлён, но когда имеешь с ним дело, надо всегда иметь увесистый камень за пазухой, дабы стукнуть его в случае нужды по голове!» Рассказывали, что как-то во время придворного застолья царь подошёл к Петру Андреевичу и, положив ему руку на голову, сказал: «Сколько ума в этой голове! Кабы так много его там не было, эта голова давнымдавно покатилась бы с плеч». Впрочем, о Толстом

весьма лестно отзывались и именитые иноземцы. «Умнейшая голова России», «благовоспитанный человек», «очень ловкий» — говорил о нём французский посланник Жак де Кампредон; «достопочтеннейший и знаменитейший» — писал Н. де Маньян; человек, который играл «выдающуюся роль на театре российской истории» — отмечал датский эмиссар Ганс Георг Вестфален.

Нас будет интересовать вполне определённый период жизни Петра Андреевича, а именно — его заграничное путешествие (с 26 февраля 1697 года по 27 января 1699 года). То было время, когда между ним и царём только-только начинал растапливаться лёд недоверия. Начинать карьеру на шестом десятке лет ему, тогда ещё безвестному стольнику, воеводе из Великого Устюга, надо было не просто с нуля, а, учитывая его прежнюю горячую поддержку заточённой теперь в монастырь Софьи, со знака «минус». И на этом решительном этапе своей жизни он превратился в ревностного сторонника петровских преобразований.

И внешним проявлением такого превращения явилась его манера одеваться, которая, как и сам Пётр Андреевич, претерпела тогда самые решительные метаморфозы. В свой заграничный вояж он отправился в традиционном старомосковском платье. Нет сведений о том, как воспринимали иностранцы его русскую одежду; известно лишь, что многие из них «к приезжим форестиерам, то есть к иноземцам, ласковы и приветны», а также то, что в глазах европейцев такое платье воспринималось как экзотическое и щегольское. Исследователи Лидия Ольшевская и Сергей Травников говорят о том, что русская одежда Толстого — признак его «национальной гордости». И действительно, такая бравада русскостью может рассматриваться как осознанная позиция, если учесть, что Пётр Андреевич был знатоком западной одежды и автором наиболее полного и детального описания мод европейских стран того времени на русском языке — «Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697–1699 гг.».

Это сочинение — дневник, который вёл Толстой во время своего путешествия и куда он скрупулёзно записывал все виденные им реалии местного быта. Значительное место занимает здесь характеристика одежды жителей виденных им стран. И замечательно, что, описывая ту или иную местную моду, Пётр Андреевич часто сравнивает её с родной, российской. Вот что, к примеру, говорит он о жителях Венеции: «Венецыяне мужеской пол одежды носят чёрныя, также и женской пол любят убиратца в чёрное ж платье. А строй венецкаго платья особый... Дворяне носят под исподом кафтаны чёрные, самые короткие, толко до пояса, камчатые, и тафтяные, и из иных парчей... а верхние одежды чёрные ж, долгие, до самой земли, и широкие, и рукава зело долгие и широкие, подобно тому как прежде сего на Москве нашивал женской пол летники». Или ещё: «Медиоланские жители мужеска полу платье носят чёрное, во всём подобно платью венецкому кавалерскому, только и разницы, что у медиоланцев назади есть ожерелье власно (точно. — *Л. Б.*) такие, какие бывают у московских однорядок».

Его ассоциации иногда неожиданны: «Женской народ в Малте... поверху покрываются чёрными тафтами долгими, даже до ног от головы; а на головах те их покрывала зделаны подобно тому, как носят старицы-киевлянки по обыкновению своему». Обращает внимание Толстой и на причёски иностранцев: «А на голове у неё (жены неаполитанского вице-роя. — *Л. Б.*) никакого покровения нет, и волосы убраны подобно московским девицам».

Пётр Андреевич даёт развёрнутые характеристики различных итальянских мод — венецианских, медиоланских, неаполитанских, римских, флорентийских и т. д. Причём моды эти под пером путешественника обретают широкий культурный контекст: он привлекает сведения по истории голландского, «жидовского», немецкого, польского, французского, испанского и даже турецкого костюма. Достойно внимания и то, что одежда у него всегда социально маркирована: различаются костюмы дворян, «купецких людей», «слуг секретарских и шляхетских», мастеровых и т. д. Как чисто дворянская принадлежность им рассматривается, например, парик: «А простой народ волосы стригут догола, толко оставливают мало волосов по вискам».

В представленной Толстым панораме костюмов различных стран и народов значительное место уделено московской одежде. Путешественник как будто рассматривает её из западного «далека», постоянно сравнивает с увиденным там и тем самым актуализирует её, включает в живой культурный процесс. Понятно, что само это включение позволяло рассматривать русский костюм как часть европейской культуры, а это подрывало традиционный изоляционизм. А потому такое осмысление было как раз тем необходимым звеном, через которое пролегли в дальнейшем петровские преобразования по превращению, даже чисто внешнему, россиян в «политичных» и «окультуренных» европейцев. Понятия «сын Отечества» и «гражданин Европии» станут потом неразрывно слитыми.

Любопытно, что и те двести московитов из Великого Посольства в Европу (1697–1698 годов), в котором инкогнито, под именем Петра Михайлова, выступал сам государь, также сперва щеголяли в пышных старорусских костюмах. Однако уже в январе 1698 года все участники русской дипмиссии облачаются в европейские одежды. По возвращении же московитов в Россию их европейское

платье поначалу воспринимается как щегольское и даже вызывает насмешки современников. Так, князь Фёдор Ромодановский, узнав, что посол Фёдор Головин оделся в немецкое платье, назвал его поступок «безумным». Не подозревал Ромодановский, что совсем скоро (12 февраля 1699 года) знаменитые ножницы Петра I будут властно укорачивать полы и рукава стародавних московских кафтанов и ферязей; последуют и законодательные акты, предписывающие под страхом наказания ношение только европейских костюмов…

Но вернёмся к «Путешествию…» Не увидевший свет в петровскую эпоху, а потому не повлиявший непосредственно на события того времени, дневник этот был, тем не менее, весьма своевременным. Для того чтобы заставить россиян одеться по-европейски, надлежало и собственную одежду оценить как часть одежды этой самой Европы. И Толстой, пожалуй, впервые в России стал мерить традиционное русское платье европейским аршином. Дальнейший шаг сделает уже Пётр I, унифицируя и насильственно насаждая западные образцы костюма и тем самым решительно порывая с традицией…

Всё это будет позднее, а сейчас приглядимся повнимательней к Петру Толстому. Он только что вернулся из европейского вояжа в Москву. Но что за метаморфоза! Вместо старомосковского одеяния на нём—модный французский костюм: ходит в парике, камзоле, шёлковых чулках и башмаках с пряжками, демонстрируя свою приверженность новому и как бы предвосхищая преобразования Петра, поскольку моды эти (Толстой это тонко чувствовал) скоро станут характерным символом петровских реформ. А возможно, он хотел лишний раз обратить на себя «высочайшее» внимание Петра, потрафить царю.

Ясно одно: Толстой стал уже человеком новой формации, он оказался у истоков радикальных перемен. И хотя в историю он войдёт как дипломат и царедворец, почему-то хочется всё смотреть и смотреть на этот бархатный, с иголочки, костюм стольника Петра Толстого, движения в котором так легки и свободны.

*Ди*Н ревю

Челябинск: «Цицеро», 2012.—120 с.

Ирина Аргутина—член союза писателей России. Редактор Международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель», лауреат и член жюри международных и российских литературных конкурсов. Автор семи сборников. Публиковалась в литературных журналах и изданиях России, Украины, Германии, США.

Ирина Аргутина

На честном слове

● ● ●

Ты тоже любишь книги читать с конца,
ты тоже любишь книги, ты тоже любишь…
Возьми с собой мальчишек на лов тунца,
вплетённый в плески древних жестоких рубищ.

Надеяться на Бога их не учи,
тем более что в Азии и Европе
на общем, вавилонском, ворчат ручьи
и солнце зреет в каждом гелиотропе.

Тем более—кричать не дано тунцам:
тунец безмолвен в страшном смертельном танце.
А ты об этом можешь сказать юнцам,
пусть знают, почему не пришлось остаться
на страже книжных полок.
Ты не из тех.
И предки—не из тех (и других, и третьих):
они любили книги, но шли в физтех
затем, чтобы суть и меру поведать детям.

И мы хлебнули меру—не до конца—
той сути, что хватило бы на провидца…
Теперь возьми мальчишек на лов тунца—
пора бы им мужчинами становиться.

Владимир Шанин

До и после праздника

На празднике Тун-Пайрам в Хакасии я побывал дважды. Первый раз—кажется, так давно! К его проведению приурочен был выездной секретариат правления Союза писателей России во главе с известным русским поэтом Валентином Сорокиным. Секретариат провёл большой семинар молодых литераторов, и тогда членами Союза писателей стали сразу четырнадцать человек, в основном—литобъединенцы «Стрежень» из Саяногорска. Второй раз—несколько лет назад, в июле…

С подачи старого друга, бывшего сотрудника краевого бюро пропаганды советской литературы по Хакасии Юрия Николаевича Забелина, тогдашний директор краевого Дома писателя В. И. Шаманский и я попали в список приглашённых и, естественно, с радостью поехали. Поезд вышел в ночь, и уже утром мы были в Абакане.

Тун-Пайрам—дословно первый, или большой, праздник—когда по всей солнечной Хакасии «идёт первое большое молоко». По крайней мере, так нам объяснили значение этого слова. Нынешний Тун-Пайрам совпал с Днём независимости Республики Хакасия.

Рано утром Забелин встретил нас на вокзале, проводил до местного Дома писателя. И только переступили порог, как хлынул шумный ливень, мгновенно обернувшийся грозой.

— Ну вот, привезли нам непогоду,—пробурчал Забелин.

После той нашей встречи он сильно постарел, поседел, отчего смуглое лицо его казалось и вовсе тёмным.

Встретили нас как старых друзей. Поэтесса Лариса Катаева обняла меня и подписала мне свою новую книгу «Поэзия живописи» с «пожеланием света и радости».

Непогода быстро кончилась, выглянуло солнце, однако вскоре снова полил дождь, да такой крупный, дробный, будто сыпавшийся с неба горох. Засверкало, загремело… Ну куда тут поедешь!..

Дом писателей Хакасии издавна размещён в бывшей квартире покойного классика хакасской литературы, автора популярного первого национального романа «В далёком аале» Николая Доможакова, на первом этаже, по улице Ленина, в центре города. И здесь вот уже тридцать лет Юрий Забелин «сидит», занимается организацией пропаганды отечественной литературы. Хоть он давно уж на пенсии, но уходить «на заслуженный отдых» не собирается. «Без меня,—говорит,—всё тут развалится!» Это не бравада, не самохвальство, это истина, подтверждаемая и товарищами по работе, и писателями, и даже республиканскими чиновниками от культуры. Забелину всё тут знакомо, всех он знает, и все знают его. Юрий Николаевич умеет поддерживать знакомство, ценит настоящую дружбу, верит в то, что «нет уз святее товарищества». О нём говорят: «Он яркий представитель интеллигенции в лучшем понимании этого слова. Нельзя сказать, что Забелин—это «наше всё». Нет. Но в Хакасии Юрий Николаевич Забелин—это наше. И всё!»

Юрий Николаевич Забелин родился 29 июня 1931 года на золотом прииске на севере Бурятии с эвенкийским названием Карафтит, раскинувшемся в бассейне реки Витим. Посёлок большой, ухоженный, в нём всё было: больничный комплекс, магазины, а школьный комплекс в тайге, где учился Юра Забелин, «сегодня и в городах не всегда встретишь». Тогда он думал, что в стране, на Большой земле, люди «живут ещё лучше, чем в нашем посёлке». Отец, окончивший среднюю школу, в которой преподавали учителя бывшей царской гимназии, работал там учителем на прииске, получал хорошую зарплату «не от министерства образования, а из средств культсети треста „Баргузинзолото“», прекрасно знал литературу, мог часами цитировать Блока, Тютчева, Фета… Он был поистине народным учителем. Мать Юрия тоже была человеком грамотным, просвещённым, читала сыну детские книги. Юра слушал внимательно и, по собственному признанию, «плакал над „Муму“». Детство его было безоблачным. «Запомнились школьные походы, экспедиции геологов, отправление зимних обозов. Первые автомобили увидел, учась в восьмом классе. „Зимником“ пришли новые американские „студебеккеры“…»

В Абакан Юрия позвал к себе жить родной дядя, работавший бухгалтером в кинотеатре «Победа». Здесь приисковый паренёк продолжил учёбу в школе, увлёкся кино, писал стихи, зачитывался книгами Владимира Арсеньева, получив «гигантское впечатление о природе, о героях

необычных»,—потому, наверное, в нём «тяга к путешествиям на всю жизнь осталась».

Ещё будучи школьником, Юрий познакомился с известным режиссёром Иваном Пырьевым, посетившим Хакасию «по своим выборным делам», и был приглашён в Москву для поступления во ВГИК. Юрий, не раздумывая, приехал и… поступил. Общался со знаменитостями: Григорий Чухрай, Изольда Извицкая, Василий Шукшин, писатель Евгений Шатько… Вгиковцами были впоследствии кинооператоры Василий Кирбижеков («Угрюм-река») и Анатолий Заболоцкий («Печки-лавочки», «Калина красная»), оба из Абакана, что особенно сближало. «ВГИК по тем временам был «ненормальный» институт,—с улыбкой вспоминает Юрий Николаевич.—Нормальный институт давал распределение. А выпускники ВГИКа устраивались на работу сами. И я вернулся в Хакасию…» Работал в областном телерадиокомитете, много занимался общественными делами, пока не вступил «в противоречие с должностными обязанностями». Уволился. Но кипучая энергия требовала выхода, и тут Юрию помог писатель Сергей Пестунов, предложив должность в Союзе писателей. По традиции тех лет, и здесь нужно было «укреплять кадры», и в 1987 году назначили Забелина сотрудником бюро пропаганды Красноярской писательской организации по Хакасии. «Понравилось: свобода и простор для деятельности!..»

Прошло почти тридцать лет с тех пор. Союз писателей Хакасии (а он там един), по утверждению тогдашнего председателя правления Г. Г. Казачиновой, держится на Забелине: на его организаторских способностях, активности, трудолюбии, любви к литературе и литераторам.

…Мы сидим на диване и рассуждаем о проблемах нынешней отечественной литературы: вот раньше, мол, писательская организация была на бюджете—структура-то государственная, идеологическая, а теперь—общественная, вроде Общества филателистов. Профессиональные писатели теперь лишены возможности издать книгу, если у них нет денег. За деньги же издадут любую мерзость.

—Дикость какая-то,—буркнул кто-то.

Верно, дикость; литература не должна зависеть от «денежного мешка» благодетеля, если таковой найдётся; она индивидуальна и свободна. Нельзя отдавать литературу—основу русской культуры—в частные руки, ведь она определяет идеологию государства, его нравственные принципы. Значит, надо писать или в угоду этому «мешку», или вообще не писать. А не писать писатель уже не может, сочинять же на потребу низменным вкусам публики—противно. Это против совести и правды жизни…

—Читатель берёт детективы, фантастику, боевики…

—Этим чтивом, где сплошные убийства, насилие, матерщина, уродуется сознание молодёжи…

Я открыл книгу Ларисы Катаевой и прочёл первое попавшееся на глаза стихотворение:

Горчайший источая запах,
На вид невзрачная, звала:
Бегу в волну, плыву без страха,
В полынном море… Синева…
Плыву… В зарницах летний вечер
Мне вдруг напомнит о былом:
Друзей пленительные речи
И дождик дальний за селом.

Забелин куда-то позвонил и сказал, глянув в окно:
—Дождь перестал, поедем в Аскиз, машину даёт МВД.
—МВД?—удивились мы.
—А что тут особенного? Помогают нам все. Председатель правительства распорядился. У нас расписано: кто, когда и на какой срок по просьбе Союза писателей выделяет автомобиль. Никто не отказывает.
—Уважает Алексей Лебедь писателей! Иногда заходит в Союз… Интересуется. К юбилею Геннадия Сысолятина распорядился издать его книги. Министерство культуры нашло спонсоров… А вот и автобус!—Забелин надевает шляпу, движением руки подгоняет нас:—Вперёд! Поторапливайтесь! Время, время идёт!..

Шестнадцатиместный микроавтобус министра МВД республики показался просторным: нас было всего девять человек.

Шоссе ровное, гладкое, почти пустынное в этот утренний час. Водитель спокойный, молчаливый, «жмёт на всю железку», только ветер свистит за стеклом. По обеим сторонам шоссе простирались обширные степи с серебристыми метёлками ковыля, с шильцами пикулек, с торчащими кое-где каменными плитами древних могильников. Вокруг тоже было пустынно. Когда-то в этих степях паслись многочисленные отары овец, табуны лошадей, тучные стада крупного рогатого скота.

Я поинтересовался:
—Куда овцы-то подевались? Хакасия всегда славилась овцеводством.
—Съели!—ответили мне то ли серьёзно, то ли полушутя.
—Огромный мясокомбинат в Абакане, я бывал там,—он-то что перерабатывает? Где мясо берёт?
—Закупает у населения.
—И, наверное, за границей?
—Да нет… пока.

После некоторого молчания снова заговорили о писательских заботах и печалях: недавно умер поэт Моисей Баинов; жаль его; невозможно издать книгу; деньги с автора требуют, небогатому читателю книга сейчас недоступна—цены «кусаются»…

— А бюро пропаганды... возобновилось? — поинтересовался Шаманский.
— Оно и не разваливалось, как всё кругом, — хмыкнул Забелин. — Выезжаем, выступаем... И договоры заключаем с предприятиями.
— На Юрии Николаевиче всё и держится, — вставила Казачинова.

И это так и есть. В юбилей Забелина директор Хакасского научно-исследовательского института языка и литературы Валентина Тугужекова сказала, что для Хакасии он «является просветителем в самом высоком смысле этого слова. Это человек, который не на словах, а на практике много делает для сохранности и пропаганды нашей древней культуры. Он русский, но радеет за хакасскую культуру больше, чем те, кто по рождению принадлежит к коренной национальности. Он как никто другой не только переживает, если видит проблему, но и стремится решить её».

Въехали в село Аскиз — центр одноимённого района, запруженный по случаю праздника легковыми автомобилями, автобусами; всюду люди, люди — участники и гости, большинство — в разноцветных национальных костюмах. Повсюду посты ГАИ: указывают, куда сворачивать, где поставить машину. По слухам, местные гаишники — самые свирепые и самые неподкупные служаки. Может, поэтому в районе почти нет автодорожных происшествий.

Забелин вышел из машины, представился, сказал: машина министра МВД, — хотя и так было видно; гаишник показал, куда ехать, и для наглядности махнул жезлом.

Праздник Тун-Пайрам, возрождённый из древности по инициативе Юрия Николаевича, впервые проводился не в Долине Царей — местности исторической, за селом, окружённой древними захоронениями и высокой каменной грядой, из которой рабы выламывали плиты для могильников и спускали вниз, — а на сельском стадионе. Нам сказали, что с постройкой железной дороги Долина Царей попала в полосу отчуждения, и надо было получить разрешение у эмпээсовского начальства, а оно могло его и не дать.

Стадион заполнен разномастной публикой, по всему периметру раскинулись балаганы с национальной кухней Хакасии, Тувы, Алтая, Бурятии, Горной Шории, лотки с традиционными поделками из дерева, камня, слоновой кости, искусно вырезанными народными умельцами, столы с различными национальными напитками. Но особенно поразила выставка-продажа классических картин, как, например, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, вырезанной рельефно, очень тонко и точно, всего лишь на обычной доске художником-самоучкой из Таштыпского района. Здесь всегда толпится народ.

Забелин обнимается с представителями администрации Тувы, договаривается об обмене литературными делегациями, те согласно кивают головами, назначают сроки, шутят и весело смеются.

Нас угощали необычайно вкусным супом-шурпой с бараниной, горячей кровяной колбасой под названием «Хан», варёной сметаной, хмельным национальным напитком.

Тем временем в центре стадиона шла торжественная часть праздника: делегации из районов области в национальных костюмах, с флагами, транспарантами и надувными разноцветными шарами, строем выдвигались на середину и становились в каре. Ведущие на русском и хакасском языках представляли каждую колонну. Потом они вызывали на трибуну руководителей администраций районов, передовиков производства, почётных граждан. Выступали депутаты всех уровней, председатель правительства Республики Хакасия Алексей Лебедь. Гремела музыка. Взлетали и уносились ввысь воздушные шары. Районная самодеятельность показывала традиционные национальные танцы.

Конные скачки в этот раз были отменены — не позволяла территория стадиона, занятая гуляющим народом. Праздник понравился. Давно не испытывали мы такого наслаждения.

Членов хакасского правительства мы не видели, но в гуляющей толпе, говорят, замечали плотную фигуру Алексея Лебедя: мол, ходит свободно и без охраны.

Возвращаемся в Абакан. Праздник продолжался уже без нас. Висевшая над Аскизом тучка, не пролив и капли дождя, уплыла в сторону, день продолжался жарким, солнечным, в воздухе накапливалась духота. Откуда-то налетели полчища комаров, тощих, прозрачных, голодных, и мы едва успевали от них отмахиваться. Комары набились и внутрь нашего микроавтобуса, но вскоре их выдуло, и мы повеселели.

И снова перед глазами то же пустынное шоссе с изредка пробегавшими мимо машинами, та же печальная степь без единого живого существа в ней, те же полуразвалившиеся коровники и кошары в деревнях, изредка попадавшихся на пути. Зато, как нам сказали, процветала фирма «Хан-Куль», возникшая на минеральном источнике, воду которого за деньги мы пьём в Красноярске.

Забелин устал — годы всё же берут своё; он, как только приехали в Абакан, извинившись, оставил нас и ушёл домой, а мы долго ещё сидели в Доме писателя, пили вино и говорили о проблемах современной литературы, о её «пропаганде», какая ныне ведётся в СМИ, о всеобщем упадке читательского спроса. Да, интерес читателя к популярной литературе, воспевающей культ силы и насилия, давно иссяк, время требует от писателя произведений

неореалистической направленности. Но смогут ли они перестроиться? Те, кто сегодня считается популярным,—наверное, никогда; у остальных нет денег…

Я снова открыл книгу Ларисы Катаевой—на странице со стихотворением «Бабье лето». Всего четыре строчки:

Что ж ты, краткое бабье лето,
Призадумалось, приуныло?
Вот и нет зелёного света…
Ветер. Морок. В полях пустынно.

Очередной Тун-Пайрам проводился в начале июля 2011 года в Сагайской поляне и приурочен был к двадцатилетию Республики Хакасия. Но приехать на праздник я не смог. Юрий Николаевич Забелин, накануне отметивший своё восьмидесятилетие, прислал мне полную программу празднования, размещённую на странице газеты «Хакасия». Весь этот день расписан буквально по минутам: здесь и концерты мастеров искусств Хакасии, и выступление ансамбля песни и танца «Улгер», и фестиваль этномузыки с участием творческих коллективов республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Удмуртия, Красноярского края, Томской области, а также Боливии; как всегда—различные конкурсы, народные игры, свадебные обряды, обрядовое застолье. Привлекают внимание выступление хакасских землячеств городов Российской Федерации, парад участников конкурса «Алтын сарчын» («Золотая коновязь») и презентации участников ярмарки «Сибирская мастерица»…

Забелин приглашал меня в Абакан, потом написал три письма «почти ни о чём»—видимо, хотел со мной встретиться. Как чувствовал, что эта встреча может оказаться последней. Так и вышло…

Он умер от инсульта в больнице, не приходя в сознание. Мне позвонила поэтесса Лариса Катаева и сообщила об этом. А потом написала в письме: «Ушёл очень хороший человек, отзывчивый, энтузиаст во многих делах. И ещё до самого конца в нём кипело столько идей… Вечная память Юрию Николаевичу Забелину. Я думаю, его в Хакасии будут помнить всегда».

В вечном плавании

9 октября 1968 года. Это был печальный день для родных, друзей и почитателей Николая Ивановича Мамина, большого русского писателя. Он был моряком и погиб, как моряк, в Беринговом проливе. «Идя с караваном, он будто взбирался вверх по географическим широтам, как по стремянкам шторм-трапа. Высокоширотный Север стал ему вечным пьедесталом». Там и по сей день «живут и несут свою вахту герои многих его книг».

Когда в Красноярск пришло известие о трагической гибели Николая Ивановича, сначала нас, писателей, охватило минутное оцепенение, а потом пришло осознание великой утраты. Мамина любили все, кто так или иначе общался с ним и кто читал его искренние, правдивые повести, в которых «всегда есть главное—живой голос внимательного и вдумчивого собеседника, немало повидавшего на земле. Вы проникаетесь к нему доверием именно за то, что всё, о чём он говорит, живёт в его сердце» (В. Размахнина, «Цейс писателя»).

Друзья писали: «Приливы в нём возобладали над отливами, он жил из себя—и этим был интересен как писатель и человек. Да, бывало, что его истинно художественную натуру истолковывали превратно. В нём трудно было разобраться. Непохожесть его настораживала. Если он ошибался, так его ошибки сами собой преувеличивались. Как легенды о море. Самого его бросали в шторм, и он думал только об одном: как бы выжить! Не с чужих слов, а на себе испытал, что такое жестокость. Усталость валила его с ног. Был он и в отчаянии. Падал и поднимался вновь» («Енисей», 1969, №2, март-апрель, с. 67).

По словам Ивана Уразова, редактора Красноярского книжного издательства, это был «самый обыкновенный мужик. Рыжие унты из собачьей шкуры на нём, кожаные штаны и куртка, шлем с очками, похожий на тот, что носили лётчики. На шею вместо шарфа накрутил кусок коричневой фланели».

Бывало, Мамин примчится из деревни Лукино, где жил, поставит мотоцикл во двор «Культремснаба» и спешит в издательство, по-флотски крикнув с порога: «Здорово, братцы!» Швырнёт на чей-нибудь стол свой потрёпанный портфель, в котором, кроме рукописей, держал не первой свежести тряпицу и чёрный обмылок для мытья рук. В комнате воцарялся запах бензина.

«Таким я знал Мамина с самого первого дня знакомства—живым, общительным, откровенным, а вот изнутри—ещё не совсем. Что там у него скрывалось за этой заношенной тельняшкой, выглядывающей из-под кожанки, пока оставалось загадкой»,—вспоминал Уразов.

А вскоре их прочно объединило общее дело: Мамин возглавил секцию прозы при писательской организации, Уразов стал его заместителем. Перед Уразовым «сразу же полностью раскрылась вся душа Мамина, живущая по законам совместного плавания».

Да, Николай Мамин был именно таким, ни на кого не похожим, настораживающим своей непохожестью даже друзей, он был той самой «каплей с приливами и отливами, со штилями и штормами». Самостоятельная жизнь его началась в море и трагически оборвалась в море, в свирепый шторм. Последнее его письмо домой, в Красноярск, было написано в Анадырском заливе. Камни между мысами Синоп и Гангут стали его

могилой. «Ночью нас так бросало, что я набил себе шишку на виске, а до этого ушиб спину, так меня припечатало к борту каюты,—писал он жене.— Её кидало и перекашивало, как... посылочный ящик на сортировочной... А мне надоело быть футбольным мячом, и я попытался заклиниться в кровати, которая зыбкой взлетала вместе с каютой, шаландой и всем нашим грешным мирком».

Этой фразой обрываются записи Николая Ивановича. Всё. Больше он ничего не напишет. А ведь совсем недавно ему исполнилось шестьдесят лет. Красноярское книжное издательство готовило юбилейное издание нового романа Николая Мамина «Законы совместного плавания», в котором «действуют люди, так или иначе связанные с морем».

Выход романа в свет задерживался, но зато альманах «Енисей» к шестидесятилетию писателя напечатал главы из него. Наконец читатель вкратце познакомился с главным героем романа Сергеем Пастуховым, бывшим моряком, волею судьбы заброшенным «в глухой уголок Сибири». Сергей Пастухов—писатель, очень близкий персонаж писателю Николаю Мамину. «Это не автопортрет, но художественное воплощение важнейших принципов, которые, по мысли Н. Мамина, неотделимы от писательского дела,—писала в предисловии критик и литературовед Валерия Размахнина.—Роман—не просто о море и моряках, он—о благородных законах человечества, по которым живут советские люди».

Писал он как одержимый, одна за другой выходили книги: в 1958 году—«Знамя девятого полка», через год—повести «Златые горы» и «Валеркина любовь». Затем большой перерыв, и в 1966 году была издана книга с двумя повестями: «Крохальский серпантин» и «Полевой цейс». Книга находилась в производстве, а Мамин успел написать новый роман—«Законы совместного плавания». Рукопись долго пылилась на подоконнике, пока директор издательства В. И. Полустарченко не поручил её редактирование Ивану Уразову.

«Через неделю,—вспоминает редактор,—мы уже сидели рядом, перебирали страницу за страницей, перечитывали, советовались, поправляли. Местами возникал спор—и вот тут стали раскрываться вовсе не ведомые мне страницы из жизни писателя. Как много было пережито им! И как искренне он любил её—свою многострадальную жизнь! Всю—с прошлым и настоящим».

С первым вариантом своих произведений Мамин любил знакомить своих собратьев-писателей. Однажды, помнится, читал он свой «Крохальский серпантин». «И надо было видеть, как сиял его взгляд!—рассказывал позднее Иван Уразов.— Сколько в нём было искренней теплоты к друзьям, которые собрались его послушать, чтобы сказать своё мнение. И лишь в одном из напряжённых моментов в повести взгляд этот вдруг погас, ушёл куда-то внутрь, а в глазах блеснули слёзы. Мамин читал о том, как его герои шли на последний бой с белогвардейцами под самодельным знаменем с портретом Ленина и с пением „Интернационала“...»

На редактирование романа ушло более полугода, с мая по декабрь. Уразов сдал рукопись в набор, фактически сделав «коренную переработку первоначального варианта... буквально каждой главы, а порою и каждой сцены, абзаца, фразы...». Зная Ивана Владимировича как опытного, въедливого редактора, я верю, что издатели «спасали роман», ибо Мамин, по натуре человек нетерпеливый, «сколотил его наживульку». Словом, Николаю Ивановичу нужен был не просто редактор, а редактор-работяга... И Уразов выдержал полугодовое сидение: «Как через мясорубку, пропустил через свои мозги фразу за фразой, абзац за абзацем, главу за главой—все восемнадцать листов...»

Роман вышел в первой половине 1967 года. Николай Иванович в этот период уже находился в плавании, в том своём последнем героическом плавании на «самоходной шаланде», на которой, по собственному признанию, он чувствует себя «гораздо лучше, чем на каком-нибудь «Чкалове», потому что не «изучаю жизнь», а вхожу в неё со стороны заднего двора, и люди меня нисколько не стесняются». Сидя на койке, «совсем как в боцманской каюте на „Авроре“», писатель дорабатывал будущую повесть «Крохальский серпантин».

«Все эти дни меня гложет тоска,—жаловался он жене в письме от августа 1964 года.—Это оттого, что Ангара, возле устья которой мы простояли два дня, навалилась на меня всеми тенями прошлого. Вот меня везут на паузке в Мотыгино, и по ночам я вижу сны—горят литовские хутора, и я, стиснув ручку пистолета, ползу к стоявшему на опушке пулемёту. Меня, конечно, убьют, но я всё-таки успею бросить гранату. Мы опять сидим ночью с нашим начальником конвоя, бывшим ковпаковским партизаном, и «травим» друг другу о лесной партизанской войне. Когда он уходит на берег, то оставляет на моё попечение свой автомат. И это меня радует,—и в конце добавляет:—Всё это было, и мне нечего краснеть за своё прошлое...»

Я хорошо помню тот 1964 год, февраль месяц, когда впервые встретился с Маминым в редакции альманаха «Енисей». Как сейчас вижу его улыбающееся аскетическое лицо, добрые живые серые глаза, и в них полно отражалась вся его беспокойная жизнь. Тогда я часто захаживал в редакцию. И тут будто кто меня подтолкнул: я попросил прочесть мои стихи и сунул ему в руку тетрадку. Николай Иванович торопился уезжать— под окном, прижавшись к обочине, стоял мотоцикл, а сам он был одет по-походному: в кожанке, в шлеме с антипыльными очками, в кирзовых

сапогах, в руках держал кожаные краги. Широко улыбнувшись, он крепко пожал мне руку и весёлой скороговоркой предложил:

— А ты приезжай-ка, дружок, в Лукино, ко мне домой, там и почитаем, и потолкуем обстоятельно! Идёт?

— Идёт,—обрадовался я.

И я приехал. Было тепло, снег сверкал на солнце так, что стало больно глазам. Укатанная дорога слегка плавилась, ноги мои скользили по ледяной корке.

От станции Базаиха идти пешком примерно километра три, и вот оно, село Лукино, где тогда проживал с женой и двумя дочками-подростками Николай Иванович Мамин. Я отыскал рубленный «в лапу» пятистенный дом в центре села, постучал в ворота. Во дворе залаяла собака, и женский голос спросил:

— Вы к кому?—и после паузы:—Николая Ивановича дома нет.

Я назвал себя и сказал, что Николай Иванович назначил мне время и наверняка ждёт, как уговаривались.

Заскрипел засов, и приоткрылась в воротах глухая калитка; я шагнул в неё, как в провал, и успел заметить, что женщина с огненными волосами привязывала огромного пса на короткую цепь.

— Проходите в дом,—сказала женщина.—Он в своей комнате—прихворнул малость.

Николай Иванович полулежал-полусидел в постели, обложенный подушками, перед собою держал на коленях квадратную фанерку с тонкой ученической тетрадкой на ней. Он заканчивал повесть «Крохальский серпантин» и писал (он любил эти ученические тетрадки в клетку) мелким убористым почерком—сказалась привычка экономить бумагу.

Комната была маленькая, вечно холодная, в ней негде повернуться, ибо, кроме кровати, на которой лежал Николай Иванович, в углу стоял мотоцикл, отдельно от него—коляска, на подоконнике лежали гаечные ключи, болты, гайки, остальную свободную площадь занимали книги. Казалось, они проникли даже под одеяло хозяина: громоздились на единственном стуле, на кровати и под кроватью, на полу рядом с бутылкой машинного масла. В окно просматривалась пустынная улица с частью огорода, засыпанного снегом, ограниченного дощатым забором.

— Ну, держи давай!—Николай Иванович протянул мне сухую горячую руку, потом убрал со стула книги, сунув их под кровать.

Вначале он всё выспрашивал да выведывал, говорил сам, торопился, перескакивая с одного случая на другой, начинал с наводящих слов: «А знаешь…» или «Представь себе…»—и вдруг, словно только что вспомнил, крикнул в приоткрытую дверь:

— Маша! Где тебя носит, Маша? Готовь борщ на стол, корми гостя!

Я запротестовал: дескать, плотно перед дорогой перекусил,—но Николай Иванович и слушать меня не стал, отправил на кухню, где рыжая женщина уже брякала посудой.

Борщ был наварист, с мясом и со сметаной, хлеб деревенский, подовый, ноздреватый, сытно пахнущий берёзовым жаром русской печи, а чай настоян на сушёных листьях смородины.

— Ну как, наелся?—просто, как сына, спросил Николай Иванович, когда я вернулся к нему после вкусного обеда.—А теперь давай выкладывай, с чем ко мне пожаловал.

Он пожелал, чтобы свои стихи читал я сам. И пока я читал, он внимательно слушал, иногда заставлял повторить отдельные фразы, а потом вдруг подскочил в своих подушках:

— Гляди-ка, а! «Море изрезало руки о скалы…» Никогда бы не додумался. Вот это образ! Маша! Ты только послушай, что он пишет!

В комнату бесшумно вошла рыжеволосая женщина, встала у порожка, подперев плечом дверной косяк.

— Послушай, Маша!..

И хотя стихи были сырыми, юношескими, первые пробы пера, «море изрезало руки о скалы», как видно, тронуло писателя-мариниста этой моей непосредственностью воображения. Он взял мою тетрадку, прочёл всё стихотворение про море вслух, и такое у него было лицо в тот момент, что подумалось мне: а ведь скоро удерёт Николай Иванович к морю!..

Когда ему что-нибудь не нравилось, он резко отрывался от чтения и спрашивал:

— Откуда ты это взял?

Или говорил, морщась:

— Фальшиво. Неестественно. А вот это—лишнее, ни к чему.

Потом он читал мне свою поэму о моряках.

— Хорошо,—похвалил я,—мне нравится.

— Не то говоришь, не то…

Мне показалось, он ждал от меня другие слова и, быть может, обиделся, потому что вернул мне мою тетрадку и взялся за свою рукопись, дав понять: у него так много работы и так мало времени…

В этом доме я бывал ещё раза два и каждый раз уходил окрылённым; стихи приходили ко мне всё трудней, осмысленней, что ли… Николай Иванович внушил мне, что из меня может выйти толк, если не буду спешить печататься.

— Я почти уверен: тебя напечатают, а ты не спеши,—сказал он.—Пускай вещь отлежится. Написал—отложи, берись за что-нибудь ещё. У тебя всё впереди…

Я помню его советы—советы Учителя, мастера слова, вспоминаю наши короткие, мимоходные встречи то в издательстве, то в редакции

«Красноярского рабочего», то под её окном — копающимся в моторе мотоцикла, и один раз — дома на Предмостной площади в Красноярске, куда Мамин переехал из Лукино.

С рыжеволосой Марией он жил гражданским браком, они расстались легко, без упрёков и сцен с её стороны; уходя, Николай Иванович только и взял с собой мотоцикл да книги. В Красноярске полюбил женщину по имени Валентина, женился на ней. Она родила ему дочку Юленьку, от которой счастливый отец был без ума.

Как не хватает мне его широкой добродушной улыбки, его дружеского участия в критическом разборе моих произведений. Я не стал поэтом, а как прозаика Николай Иванович меня так и не узнал.

Он много писал, но мало издал книг при жизни. Читатели полюбили и его «Якобинцев» (1933), и «Знамя девятого полка» (1958), и «Валеркину любовь» (1959), и «Крохальский серпантин» (1966), а также многие публикации в местных и центральных журналах. Он продолжал работать над рукописями, тщательно шлифуя, полируя страницу за страницей, обдумывая сюжеты будущих повестей и романов. «Впереди у него была радость одиночества за письменным столом, но он до конца не познал её».

Николай Мамин много лет прожил в Сибири, но всеми своими помыслами, всей мятущейся душой — и в жизни, и в книгах — оставался моряком, тем молодым матросом с легендарного крейсера «Аврора», на котором служил в двадцатые годы и на котором уже тогда «свершилось озарение, и он увидел своё родство с вольной стихией. Он носил её в себе, был её каплей, волею судеб очутившейся на берегу». И тогда же он стал писателем…

Николай Иванович Мамин (1906–1968) родился 24 октября в селе Балаково Самарской губернии — теперь это большой приволжский город, почти весь деревянный, но преобразившийся лишь в советское время. Будущий писатель появился в семье, «которая довольно стихийно соединила в себе буржуазные и демократические начала». Отец был конструктором и совладельцем небольшого механического завода, однако же «не был чужд либеральных настроений», сочувственно относился к бедствующему народу, но был, однако, «далёк от идей революционного характера». Детские впечатления Коли Мамина «сливались с тревожной, многоголосной атмосферой споров, надежд, разочарований. Многое было решительно непонятно». Мальчишеский мир ломался стремительным бегом времени, «смешались все понятия», всё новое «и манило к себе, и пугало», разразившаяся мировая война «рисовалась мальчишескому воображению в духе боевого героизма». Николай быстро взрослел, пролетарская революция готовила его к самостоятельности, независимости, заставила «сознательно искать себя и своё дело», порвать «с породившим меня и опостылевшим мне миром». Ему предстояло порвать с отцом, ставшим к тому времени «относительно процветающим нэпманом». Он не понимал отца, который не занимался воспитанием сына, весь ушёл в работу, в изобретательство, вместе с братом, Яковом Васильевичем, открыл мастерскую, выросшую в советское время в крупный завод им. Ф. Э. Дзержинского. Благодаря стараниям Ивана Васильевича в городе открылся ночлежный дом, появилась касса взаимопомощи, построена гимназия. Несмотря на незнатное происхождение, общественность Балакова избирала его городским головой.

Родную свою мать, Агафью Михайловну, Николай не помнит, она умерла через год после его рождения. Воспитывала его мачеха, Лидия Ивановна, женщина добрая, ласковая, и мальчик с детства сохранил к ней привязанность и любовь. Сестра мачехи, Ксения Ивановна, «тётя Киса», начальница Балаковской гимназии, рассказывала: «Мы любили и баловали этого ласкового и уступчивого ребёнка. Он никогда не капризничал, был очень подвижен, любил природу…» Из тёплых взаимоотношений в семье Николай вынес для себя редкостное по тем временам чувство доброты к людям. Он был впечатлительным подростком, бескомпромиссным в самооценках, и если в чём-то заблуждался, то вполне искренне, и так же искренне преодолевал эти заблуждения.

Николай окончил пятую единую трудовую школу второй ступени, преобразованную из Саратовского коммерческого училища, в 1925 году, и тогда же возникло в нём неодолимое желание писать стихи. Первый же поэтический труд («Баллада о перчатке») вдохновил начинающего поэта. В 1928 году он становится моряком Балтийского флота и одновременно — корреспондентом флотской газеты. Стихи, короткие рассказы, очерки о плаваниях крейсера «Аврора», на котором служил, окончательно убедили Николая Мамина в том, что «настоящее его призвание связано с литературой». Так море и поэзия прочно вошли в жизнь и судьбу повзрослевшего мальчишки, который делал первые шаги к своему читателю как художник, утверждая такие простые понятия, как дружба, доверие, взаимопомощь, любовь, песня, таившие «в себе большой смысл». «Человек он был импульсивный, порывистый. Много и активно выступал, многим увлекался… Первые его литературные опыты были встречены сочувственно», — писала Раиса Мессер, критик и рецензент Николая Мамина, о книге «Якобинцы», вышедшей в 1933 году в Ленинградском отделении издательства «Художественная литература».

Сборник рассказов «Якобинцы» посвящался пятнадцатилетию Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Рассказы написаны на основе впечатлений

от похода крейсера «Аврора» вдоль берегов Скандинавии и обратно. «Якобинцами» в книге называются моряки: «они действительно якобинцы, носители крамольных идей». Молодой писатель «правдиво показал их беззаветную любовь к морю и кораблю». В следующем году Николай Мамин был принят в Союз писателей СССР.

Биограф писателя-мариниста Антонина Малютина в своей книге «Николай Мамин» (Красноярск, 1984) пишет: «Обстоятельства сложились так, что первая книга Мамина «Якобинцы» стала его единственной опубликованной книгой на протяжении более двадцати лет». И далее: «По не зависящим от него обстоятельствам писатель вынужден был в конце 1936 года оставить Ленинград и жить в Коми АССР. Работал на текстильной фабрике, был сторожем военного госпиталя во Владимире, иногда наезжал в Москву, восстанавливал литературные связи». Летом 1947 года по семейным обстоятельствам Николай Мамин переезжает в Литву, пишет о жестокостях буржуазно-националистических бандитов — так родилась повесть «Пуща» «о тех неспокойных днях», которая, к сожалению, не увидела свет.

Судьба не баловала Мамина. Через два года она забросила его в Мотыгино Красноярского края — северный посёлок золотодобытчиков, геологов, лесорубов. Здесь Николай Иванович сблизился с ангарскими и енисейскими речниками, шофёрами и сам работал шофёром, лесорубом, был речником и «разведчиком богатейших сибирских недр». И всё, что им было написано в этом глухом краю, послужило заготовками для будущих книг: «Законы совместного плавания», «Крохальский серпантин», «Тракт, на котором буксуют». Главной темой романтической прозы писателя является извечная тема «душевного благородства людей».

С «Трактом» вышла заминка. По каким-то причинам издание романа притормозилось. Мамин нервничал, но ничего поделать не мог: обстоятельства, о которых он, конечно же, догадывался, были сильнее. Слух об этом среди товарищей-писателей распространился быстро. Анатолий Керин из Вологды спрашивает красноярского поэта Игнатия Рождественского: «Почему затеряли «Тракт»? Толковая современная книга. Чего шарахаются, чего боятся товарищи из «Белого дома»?»

Десять лет спустя, в 1959 году, Н. И. Мамин перебирается в Красноярск, поближе к писательской организации и книжному издательству, покупает дом в «хорошей, очень русской по виду» деревеньке Лукино: вокруг тайга, зелёные горы, небольшая речушка. Покупает ружьё, мотоцикл, заводит собаку.

Деревенские жители быстро привыкли к новому человеку «с именем», но совершенно лишённому «интеллигентной холёности», «маститости», фанфаронства. «Среднего роста, худощавый, с коротко остриженными тёмно-русыми волосами. Тёмные усы с рыжим отливом как-то выделялись. Никаких особых притязаний в одежде. Мотыгинцы тех лет запомнили его скромным, даже стеснительным», — так описывает его внешность учитель мотыгинской средней школы В. П. Анонен.

Мотоцикл был для Мамина всем: и транспортным средством, и верным другом, и водительской страстью. Вначале у него был простенький мопед, потом появился мотоцикл-«козлик», его сменил солидный «Иж», а «Иж» уступил место мощному «Уралу». «Мне случалось два-три раза сидеть в люльке его «Урала», — вспоминал И. И. Пантелеев, писатель и друг Мамина, тогдашний директор книжного издательства, — и, если честно признаться, душа срывалась в пятки. Когда мы неслись в вечернем полумраке по правобережью Красноярска, инспекторы ГАИ нет-нет да и останавливали нас, и всякий раз Николаю Ивановичу сходило с рук: гаишники его хорошо знали и только снисходительно журили, советовали быть внимательнее за рулём. Однажды он мне признался, что не различает сигналов светофора и ездит наугад. Я только развёл руками. И понял: быстрая езда — не мальчишеское ухарство, а неукротимая страсть к движению, которая жила у него в крови».

Когда Мамин приезжал в Красноярск из своего деревенского «поместья», сперва под окнами издательства, под раскидистым тополем, сердито фыркнув, останавливался мотоцикл, а чуть погодя по лестнице слышались быстрые шаги. Худощавый, узкоплечий, смахивающий на подростка, в неизменной кожаной куртке, кожаных штанах, заправленных в жёсткие рабочие сапоги, в кожаном шлеме, какие носят лётчики, он не входил, а врывался в комнату и будто бы сразу заполнял её всю. Он «был в постоянном движении, постоянно куда-то торопился, в середине разговора мог вспомнить о чём-то и сорваться с места».

Без дела, просто так, Мамин в издательство не приезжал, не любил бесполезных занятий. Тогда он много работал, торопился, «словно знал, что ему уготовано не так уж долго жить». В издательстве готовилась к выпуску его повесть «Валеркина любовь», а он уже писал многоплановый, сложный роман «Тракт, на котором буксуют» В издательство приезжал, чтобы прочесть написанные главы. «Он садился за стол, по левую руку от себя определял изрядно потёртые перчатки с крагами, а перед собою — аккуратную стопку обыкновенных школьных тетрадей, густо, без полей, заполненных его разборчивым почерком. Всё это он проделывал неторопливо, обстоятельно и очень серьёзно, как-то по-детски выпятив тонкие губы, шевеля пепельными крылышками усов. Потом начинал читать…»

С тридцатых годов была у Мамина заветная мечта — пройти Северным морским путём от

Архангельска до Владивостока, и только через тридцать лет она стала осуществляться. В 1964 году в качестве пассажира он прошёл от Красноярска до Диксона и обратно, в 1966 году — от Архангельска до Салехарда на Оби с экспедицией Севморпроводок. Между этими датами были написаны повесть «Полевой цейс» и роман «Законы совместного плавания», который был доработан и отшлифован уже в Лукино. А на рабочем столе, кроме рукописей, лежала стопка блокнотов с записями впечатлений, с набросками некоторых сцен, с характеристиками героев задуманной повести о молодёжи.

Лето 1968 года Николай Иванович решил посвятить работе над новой повестью, но «морская душа» воспротивилась — истомилась, измучилась, и писатель сдался: «с командировочным удостоверением в кармане» он поспешил в порт, к «своим излюбленным морякам», прилетев на Диксон, откуда экспедиция Севморпроводок отправлялась к Владивостоку. Мамин устроился на плоскодонную шаланду «Печорская», на которой капитаном был его друг А. Н. Алексеев-Гай, и, несмотря на неудобства плавания в северных широтах, много работал над повестью.

…К осени погода испортилась. Целый месяц экспедиция простояла на Диксоне, в бухтах Тикси и Провидения; и только с октября, успокоенная хорошим прогнозом, решила пересечь Анадырский залив и двигаться на Петропавловск. Однако на другой день её захватил жестокий шторм, началась качка, повалил снег, при плохой видимости шаланду «Печорская» швырнуло на отмель вблизи от берега. Когда шторм слегка поутих, к шаланде подошло спасательное судно «Диомид». Экипаж «Печорской» высадился на берег, несколько человек, взяв минимум вещей и продуктов, двинулись пешком к полярной станции, находившейся неподалёку.

На Мамине была шофёрская кожанка, лёгкие штаны, берет, брезентовые рукавицы. Он отказался от овчинного полушубка, взяв с собой лишь портфель с рукописями. Шли долго, перебрели какую-то речушку, преодолели несколько её рукавов, перевалили через сопку и вновь спустились к речке. Ноги промокли, в сапогах хлюпала вода, сверху поливал холодный дождь. Не найдя станции, повернули назад. Молодые матросы ушли вперёд, успели отыскать брод и до сумерек были уже на судне, надеясь, что отставшие товарищи вот-вот подойдут. Но обессилевшие Мамин, капитан Алексеев, радист Пустынин и старший механик Евтушенко световое время уже упустили и решили ждать рассвета. Изорвав судовой журнал, развели костерок, чтобы только обогреть руки, и всю ночь, чтобы не закоченеть, прыгали и бегали вокруг костерка, подживляемого чем придётся… На рассвете отыскали брод. Быстрое течение сбило с ног окончательно обессилевшего Мамина, и хотя его успел подхватить механик Евтушенко, одежда и обувь совсем промокли и стали покрываться льдом. К тому же Николай Иванович стал слепнуть, ноги уже не держали его, он упал и больше не поднялся. «Саша, это не недостаток мужества, а просто сил нет», — пожаловался он капитану. Товарищи отнесли его подальше от воды и поспешили на шхуну за помощью, но когда вернулись, Николай Иванович был уже мёртв. Это случилось 9 октября 1968 года, в два часа тридцать минут по чукотскому времени.

Из бухты Ушакова, где разыгралась трагедия, тело Мамина было доставлено вертолётом в посёлок Беринговский, стоявший на берегу бухты Угольной Анадырского залива, и там погребено. На могильный холмик друзья положили два тяжёлых якоря — символ вечного причала писателя-мариниста Н. И. Мамина. «Певец моря, он и в последнее своё мгновение слышал его шум…» — сказала А. И. Малютина. Его кончина глубокой печалью отозвалась в сердцах многочисленных читателей и друзей. Да, тяжело вспоминать о том, как ушёл писатель, творчество которого только-только набирало силу. «Он многого не успел сказать, — сокрушённо заметила Валерия Размахнина в послесловии к книге Николая Мамина, вышедшей в серии «Писатели на берегах Енисея» (Красноярское книжное издательство, 1973), — и всё-таки в полный голос он сказал о том, что ценил превыше всего, — о подлинном, высоком товариществе людей. Эта тема особенно полно звучит в его книгах, согретых живым дыханием доверия и любви к человеку…»

Синяя тетрадь

АЧИНСКАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ШКОЛА «ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ, ИСКУССТВО МЫСЛИТЬ»

Мария Комлева

8 класс

В степи

А в степи ночной
Пляшут ковыли.
По степи ночной
Травы полегли.
По степи — разгул,
Шёпот, шорох, стон.
Вдоль степи — гул,
А над степью — звон…
По седой степи
Кочуют стада.
Журавлёнок спит —
Так в степи всегда:
Этот горький дым
Да пастуший крик —
Мне почти родным
Стал степи язык.

Александр Гузов

10 класс

Искусство в поисках истины

«Все искусства состоят в исследовании истины».

Эти слова принадлежат древнеримскому оратору и философу Цицерону. В этих словах автор связывает два важных понятия: искусство и истина. Цицерон поднимает проблему познания мира, проблему существования истины, которая достигается через искусство.

Для того чтобы выразить свою позицию, нужно знать, что такое искусство и что такое истина. Искусство — это продукт творческой деятельности человека, который не имеет чётких рамок и ограничений и может выражать психоэмоциональные аспекты сознания человека. Истина — цель познания. Поскольку структура деятельности практически ничем не отличается от структуры познания, можно сделать вывод, что понятия «истина» и «искусство» связаны между собой. Истина бывает абсолютная, относительная, объективная и субъективная. В общем-то, она так же разнообразна, как и искусство. Когда творцы создают свои произведения, то пользуются своим субъективным мнением; то, что они сотворили, — это их относительная либо субъективная истина, т. е. истина, которую другой человек, исходя опять же из своего субъективного опыта, может подтвердить или опровергнуть.

Как пример субъективности истины, связанной с искусством, можно привести такую ситуацию: Казимир Малевич написал свой «Красный квадрат». Для него то, что он написал, — его истина. А один английский турист, из-за неточности перевода, увидел уже не красный квадрат, а Красную площадь. Исследовав это произведение искусства по-своему, турист пришёл к своей субъективной истине.

Художественная литература тоже даёт немало примеров. Из всех литературных персонажей, искавших истину, я бы хотел рассмотреть Пьера Безухова из романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Мой выбор основан на том, что во время чтения романа меня поразила глубокая психологичная способность автора показывать самосовершенствование героев, невероятная точность в словесной передаче их внутреннего мира, их чувств, их мыслей. Пьер Безухов проходит за весь роман путь совершенствования и достигает своей истины. Если в начале романа Пьер — это «массивный молодой человек в очках, со стриженой головою и в светлых панталонах», то в конце — это духовно самодостаточный человек, который находится в гармонии с собой и с окружающим миром. В завершение хочется отметить яркость образа П. Безухова. Ни один из персонажей романа не проходит такой путь самосовершенствования, не меняет так кардинально свои взгляды и мысли. Что же, поиски истины всегда сложны. В достижении истины главное — это правильно определить цель жизни и найти правильные пути достижения своей цели. Пьер проделал очень большую внутреннюю работу и нашёл свою истину.

Таким образом, я прихожу к выводу: Цицерон был прав. Любой человек, который прикасается к искусству, находит для себя истину.

Кристина Чернышова

10 класс

Вечный луч

Все искусства состоят в исследовании истины.
Цицерон

Истина — короткое слово, но сколько же в нём смысла!

Для меня истина ассоциируется с лучом света, который пронизывает тьму незнания, сомнения и, конечно, лжи.

Но любой луч должен иметь источник. То, что сделает его крепким и непоколебимым. Перед нами встаёт проблема: как добраться до этого источника? как узнать, что же представляет собой истина?

Мы не первые, кто задаётся таким вопросом, а найти ответ на него помогут искусства — то, что исследует истину.

Ведь на протяжении многих веков люди, находя по крупице этой истины, вкладывали её в свои труды, свои творения. Чтобы следующие поколения, пользуясь опытом предков, продолжили их дело.

Архитектура, литература, живопись — всё это хранит в себе бесценные знания.

Начнём с истоков. Наскальные рисунки. Казалось бы, что могут нести в себе простые изображения на камне? Однако в них заключён огромный смысл. Только благодаря им мы можем узнать, как жили наши предки, что было для них важным, во что они верили.

Появление речи и письменности — ещё один огромный шаг для человечества. После этого шага уровень незнания человека заметно уменьшился. Теперь он способен выражать свои мысли, делиться ими и получать для себя новую информацию.

За письменностью следует появление литературы. Теперь человек может не просто выражать свои мысли, но и пролить свет на общее состояние мироздания и, конечно же, на его пороки.

Вспомним «Божественную комедию» Данте Алигьери. Произведение, написанное в четырнадцатом веке. Описывая круги ада и грехи заточённых в них душ, автор указывает на пороки людей, которые были присущи им в то время и актуальны до сих пор.

Примером же из современности может служить произведение Виктора Пелевина «Прощальные песни политических пигмеев», которое также указывает нам на несовершенство современного общества.

Таким образом, я хотела сказать, что чем больше люди узнают, создают, тем ярче и крепче становится луч истины. И, на мой взгляд, этот луч не погаснет никогда, потому что в человеческих душах искусство будет жить вечно…

КРАСНОЯРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛИЦЕЙ. МАСТЕРСКАЯ Е. В. ТИМЧЕНКО

Артём Трофимов

9 класс

Художник

Мазок за мазком. Вновь замазана выбеленная порошком блуза, и порван неловким движеньем рукав.

Глядя на будущую работу, Художник выплёскивает на мольберт капельки своей души. Любовь деятеля искусства к своей работе, любовь к творчеству порой доходит у него до крайности, — иногда, чтобы придать краскам большую густоту, Художник насыщает свою гуашь капельками собственного выстраданного пота…

Вот — малёвщик начертил хаотичный контур, беспорядочно разбросанные фигуры, назначением которых будет — служить фоном для основной композиции. Яркие краски на мольберте, изящно переливающиеся тональности, музыка цвета и ритм форм заиграли свои мелодии. Он был выше, чем доволен своим безусильным трудом.

«Что окружает этот беспорядок? Что будет находиться в центре композиции? — Пустота? Но не могут же быть на ней лишь не разрисованные белые нити…» — Художник теребил бороду, перебирая один волосок за другим, пытаясь выдумать, высосать из своего сознания хоть какой-нибудь, крохотный, ничтожный центральный сюжет картины.

Голова у него болела. Наверняка — многим знакомо такое чувство, когда одна половина головы становится словно покрытой железом… Изводя себя, обезвоживая последние силы свои, вынеся на балкон работу и спасшись целебным воздухом свободной улицы, живописец, наконец-то, изобразил в своей работе то, что хотел!..

Автоматически в уголке размалёванного четырёхугольника окоченевшая рука поставила инициалы и подпись. Ветер с улицы выдул из головы боль, а ледяное хлябанье холодной лужи под колёсами промелькнувшей машины вдохнуло в Художника ещё один дым новых жизненных сил…

Зевнув и потерев покрасневшие от бессонницы и долгой работы глаза, искусник обнаружил в центре своей работы автопортрет, своё лицо с собственными глазами и собственным ртом…

● ● ●

Как не поют цариц, уже давно
Не говорят державинского «О!»,
По-карамзински не вставляют «Ах!»
За каждым словом в нынешних стихах,
И фетовским душевно-чистым «Ох!»
Не украшает наш поэт свой вздох,
По-маяковски не кричит он: «Эй!»,
Смотря с вершин на низменных людей,
Не признаёт есенинское «Эх!»,
По школе лишь поэтов зная всех.
Когда ж теперь сидит поэт один,
Он ставит в «Word»'е только «Чё?» да «Блин!»…

● ● ●

Ты скитался в немом океане,
Одиссей, на носу у трирем.
Жизнь свою сохранив в мирозданьи,
Отплывал, не забытый никем…
Всякий встретит заблудшее судно,
Каждый рад, что пришли корабли…
Только, брошенный миром подлунным,
Не достигнешь ты грешной земли…
Звуки громкие панцирной лиры,
Брызги вёсел больного гребца,
Вы—друзья этой грустной сатиры.
Ни начала вам нет, ни конца!..

● ● ●

Когда бегут поклонники свободы
Низвергнуть власть и двинуть время вспять,—
Я тихо им пою пеан и оды.
(Я слишком беден для подобной моды,—
Участие в истории принять)…
В развалинах дворцов, в руинах зданий,
На проржавевшей почве матерей
Без грёз по идеалу, без мечтаний
России обездоленных созданий
Я лишь пишу портреты сыновей.
Художник без гражданственности мрачный,
Не укажу стране я истин свет.
Без страха же теперь сильней и паче,
О, Русь, используй силу глупой клячи!—
Я напишу пейзажем твой портрет…

Лиза Рыжкова

10 класс

Не мы первые, не мы последние

—Люди добрые, православные, кто ж наставляет вас на дела такие? Не слушайте дьявола, глупые! Что ж смешите вы детей своих малых? Один дурак сказал—другой уже бежит болтать третьему, а тот, небось, и на колокольню звонить полезет, чтоб всем рассказать. Так-то сильна вера ваша, что всякий язычник поганый вас смутить может? Опомнитесь, не пошлёт Бог на вас кары небесной, покуда вы праведную жизнь ведёте!—так говорил своим подданным древнерусский князь накануне очередного конца света.

С неделю назад заметил он, что люди начали ямы копать и все свои припасы туда стаскивать, что мужики стали убегать в леса, а бабы—уж очень часто рыдать да причитать, что появилось возле храмов много юродивых, которые предрекали «скорый конец земной». А как-то собрался весь город на площади, вышел к ним князь и спросил, чего им надо. Тогда из толпы вышел старец и отвечал князю:

—Пришли мы не для бунту пустого, а по делу. Научи ты нас, князь, как нам быть, чего бояться, куда бежать! Я последние дни свои доживаю, а тоже страшусь ведь огня небесного и вод буйных, что, говорят, должны подняться из рек да морей, чтоб потопить нас заживо вместе со всеми городами да сёлами. А молодые да дети как же? Они и пожить-то не успели ещё, а уж и умирать скоро пора придёт!

При последних словах его бабы уж зарыдали и запричитали в голос.

А как стал князь расспрашивать людей, чего ж они боятся да откудова взяли такие вести, они и рассказали, что, мол, приходил в город не то ведун, не то мудрец. Из какой он стороны, никто не ведает: один сказал, что из земель греческих, другой—что из польских, третий—что с неба послан. Да и что сказал-то он, никто толком не помнит.

—«Покроет небо мрак, и перестанут люди видеть, будут скитаться в потёмках, пока друг друга лбами не перебьют»,—так прямо и говорил, проклятый! До смерти меня напугал, ирод!

—Да что ты мелешь? Где тебе видеть его? Ты из дому-то не выходишь. Он сказал: «Пойдёт дождь из камней и прибьёт нас с неба». А ты тоже выдумаешь!

—Постыдились бы князю-то врать! «Подымутся воды из реки и зальют все дома ваши с вами вместе, а там зима нагрянет, так вы и останетесь во льду»,—так он, батюшка, и сказывал.

Слушал их князь и дивился на то, какие они мастера сказки выдумывать. Даже смешно ему стало от таких речей. Да народ-то не шутя перепугался, раскричались, драться начали, как водится. Унял их князь с дружинниками и говорит:

—Не бойтесь, люди добрые! Авось выживем, а коль не выживем, так и не велика беда. Чего сделаешь-то, как небо супротив нас пойдёт?

Бабы так и заголосили. Разошёлся народ, а ямы копать да убегать не перестал. Да к тому ж крестьяне работу побросали: и чего работать, ежели помирать скоро?

Так после речи княжеской, что он накануне «дня последнего» говорил, вышел из толпы тот же старец и говорит:

— Как же нам, князь, не верить, коли все знаки сходятся? И коровы мычать особенно что-то стали, и солнце уж не так печёт, как раньше бывало, и Васька-юродивый захворал! А ежели ты нам, князь, верить не желаешь, так и не надо! Уж прости нас за дерзость, а ты так говоришь, чтоб мы от работы не отлынивали. Пойдёмте, люди добрые, помолимся перед смертью нашею.

И пошли они все в церковь, а после молитвы попрятались кто в ямах, кто в домах. Сидели они там всю ночь, и плач стоял во всём городе, а как солнце встало — и того пуще рыдать начали люди. Так прошёл день до закату. Вдруг услышали люди колокольный звон. Оказалось, что Васька-юродивый поправился, увидел, что нет никого на улицах, испугался, залез на колокольню и начал звонить что есть мочи.

А только солнце на следующий день встало — пришли люди к князю прощения просить. Князь выслушал их и ответил так:

— Чует сердце моё, что не последними вы будете, кто так же бояться незнамо чего станет. Будут ещё и через много лет люди, и будут они считать себя мудрее мудрой природы, а всё равно испугаются силы её. И будут они ничем не лучше вашего. Так чего ж мне на вас гневаться-то?

Эмили Уитман

8 класс

Занимательная генеалогия

Зачем люди исследуют историю своей семьи? Может, это что-то вроде хобби? Я лично не очень углублялась в историю своих предков. Да и мало кто из моего окружения этим занимался. Даже имена прабабушек и прадедушек не всегда сохраняются в памяти потомков. Что было, то было. И без этого можно прожить.

А ведь раньше понятие рода, предков было очень важным. Во многих странах передавалась власть, титулы по наследству. В России даже различали столбовых (то есть во многих поколениях) и простых дворян. Знал свой род и бедный крестьянин — сын того, кто был сыном другого, который отличился тем-то.

Но есть ещё такие люди, которым история их семьи действительно важна и интересна. Мой английский дедушка Уильям Эмлин Уитман — один из них. Он составил огромное генеалогическое древо наших родственников сам и с помощью Интернета. Есть такие сайты, где люди выкладывают свои генеалогические древа, таким образом ищут далёких родственников и соединяют свои древа вместе. Так дедушка проследил историю нашей семьи с английской стороны аж до шестнадцатого века.

А с русской стороны ничего такого нет. Мы не знаем никого после прабабушки и прадедушки. Летом, когда мы ездили к дедушке с бабушкой в гости в Великобританию, дедушка подарил нам пакет со всякими документами, фотографиями, личными вещами, вырезками из газет и прочими свидетельствами о наших родственниках. Сначала мы удивились, зачем дедушка подарил всё это именно нам, а не, допустим, папиной сестре или брату, а потом догадались: только у нас в семье есть дети. Дедушка хотел, чтобы будущее поколение знало и любило своих предков, свою историю.

Всем нам было очень интересно посмотреть на фотографии дедушки и бабушки в молодости, узнать, кого играл папа в школьном театре, прочитать в старой деревенской газете заметку про свадьбу наших родственников.

По-моему, для хранения истории своей семьи необязательно запоминать имена всех своих предков и посвящать годы пополнению генеалогического древа. Достаточно лишь хранить какие-то ненужные на первый взгляд вещички, на которые потом с интересом посмотрит твой потомок. Ведь это вполне под силу каждому.

Яков Колесников

10 класс

С неведомой обратной стороны

— Все системы в норме?!

— Да, всё работает. Сильно же громыхнуло!

Высокий темноволосый капитан, парень лет тридцати, встал с металлического пола космической станции.

— Ненавижу астероиды, ненавижу, ненавижу! — завопил хилый человек среднего роста в больших очках, ежеминутно сползающих на кончик носа.

— Успокойтесь, профессор, всё нормально, — успокоил учёного капитан. — Маузер, что-нибудь повреждено?

— Нет, капитан, только пострадала обшивка. Метровая полоса глубиной в сантиметр на правой турбине. И ещё в нескольких местах небольшие вмятины.

— Ничего страшного, — отозвался капитан.

Профессор и молодая светловолосая девушка были одеты в серые костюмы с нашивкой русского космофлота на правом плече, капитан Владимир Андреевич Тархов — в белый костюм с серым кругом в центре груди, на котором крепилась нашивка флота.

— Лада, профессор, готовы? — поинтересовался кэп. — Где мы находимся, Маузер?

— Почти в сотне метров от заветного холма, который скрывает за собой обратную сторону Луны.
— Значит, мы близко. Присмотрите за «Мечтой», Маузер. Она — привередливый корабль.
— Есть, капитан! — улыбнулся весёлый парень, в силу каких-то неведомых обстоятельств получивший очень раннюю седину.

Дверь отворилась перед группой, и они вошли в крохотный прямоугольный отсек с мелкими дырками в стенах. Дверь сзади захлопнулась, и раздалось громкое шипение. Металлический голос в динамике произнёс: «Все системы в норме. Доступ разрешён».

Из дырочек в стенах вышел странный дым, обдавший космонавтов с ног до головы, и гермоворота отворились.

Команда выдвинулась вперёд. Лунный ландшафт завораживал Владимира, он не казался ему пустынным — скорее, казался ему чистым, свободным от людских проблем, суеты и грязи от антропогенного воздействия. Если бы была такая возможность, капитан поселился бы здесь, но, увы, Луна ещё только готовилась к освоению. Жалко было капитану, что этот прекрасный уголок, где могут побывать лишь единицы, скоро станет общественным достоянием и обрастёт горами мусора, который постоянно преследует цивилизованных людей.
— Капитан, как думаете, что там… за Чертой? — поинтересовался профессор.
— Не знаю и даже не решусь предполагать. Понимаете, профессор, Луна — не место для людских предрассудков. Здесь всё совсем по-другому, и отчасти от нашей миссии зависит то, будут люди заселять Луну или нет. Увидеть обратную сторону Луны — моя давняя мечта, поэтому я не стану засорять мечту глупыми иллюзиями, которые всё равно развеет реальность.
— Суровый вы человек, капитан. Помните, как вы рассказывали мне о фантастической истории вашего отца?
— Да, помню.
— Так вот, я думаю, что инопланетные организмы, которых ваш отец называл «Безымянные», всё же могут существовать. По его словам, они потеряли своего лидера и улетели с поражением, верно? Осознали свои ошибки? Я не уверен. Возможно, если история была на самом деле, этот лидер был для «Безымянных» неким полубогом. Они высоко ценили его, и его смерть привела их к великому горю, но думаю, что не стоит расслабляться. Помните, ваш отец говорил про то, что они могли контролировать время?
— Помню, но время — это всего лишь выдуманное ограничение, ничего более.
— Время не ограничено рамками, оно вечно и безгранично, на то оно и время. Остальное — срок.
— Продолжайте, профессор, — капитан сосредоточился на словах учёного. — Это логично. Но ведь само время — это искусственная система, основанная на идее того, что все события происходят в одном направлении. Из этого следует вывод, что не существует ни начала, ни конца, время — это просто отрезок, созданный для того, чтобы измерять происходящее.
— Время не искусственно, это единственное, что нельзя создать тому, что времени подвластно. События времени могут быть направлены в любую его точку: хоть к мнимому началу, хоть к мнимому концу, хоть поперёк времени… Время — очередная сверхструктура, включающая в себя более мелкие единицы, а значит, время может само оказаться деталью чего-то большего. Ещё один парадокс, который каждому человеческому мозгу трудно осмыслить.
— Вы говорите удивительные вещи, профессор.
— Нет, я просто рассуждаю логически. Смотрите, вот и холм. Давайте взберёмся на него и увидим, наконец, что там, с обратной стороны.

Группа несколько минут карабкалась по сыпучему холму, который был помехой на их пути. И вот капитан встал на вершину. Встал и замер.
— Капитан, вы меня слышите? Я теряю ваш сигнал, — прозвучал в шлеме капитана голос Маузера.
— Всё хорошо, Генрих. Конец связи.
— Это… невероятно! — воскликнул профессор, вставший рядом с капитаном.
— Да уж… такого в учебниках не пишут… — произнесла Лада, взобравшаяся на холм последней.

Перед группой мерцало странное поле, за которым был виден пляж с ярко-красным песком. Странные существа ходили по нему, занимались своими делами, а вдалеке, за пляжем, виднелся город с высокими зданиями, крыши которых скрывались за облаками.
— Это же какой-то портал, капитан. Видите, он почти плоский, а за ним опять лунный ландшафт, — сказал профессор, а капитан прислонил руку к мерцающей плёнке портала.
— Стойте, не ходите туда, это может быть опасно.
— Знаете, профессор, я всю жизнь мечтал поговорить с теми, о ком до самой смерти рассказывал мой отец. Узнать суть этого мира и по возможности помочь ему стать лучше. Поэтому я должен пойти… один.
— Володя! — окликнула его Лада и заплакала.
— Тише, родная, — Владимир положил ей руку на талию. — Я вернусь, обещаю тебе. Я вернусь только для и ради тебя. А сейчас… я должен идти.
— Эх, капитан…
— Маузер, как Лада и профессор придут, поднимайте «Мечту» и улетайте. Конец связи.
— Но, капитан…

Владимир отключил связь и сделал шаг в портал. Плёнка поколебалась от вторжения тела, и

спутники увидели капитана, идущего по пляжу. Существа преклонили перед ним колени и куда-то повели. Плёнка ярко сверкнула и сжалась. Последним, что увидели спутники, был радостный взгляд капитана.

…Профессор сидел в каюте и смотрел на звёзды. Его сердце переполняла тоска. Корабль «Мечта» взмыл в небо, описав широкий круг вокруг места посадки и передав сообщение в штаб о возвращении домой, взвыл и плавно понёсся на родную планету, оставляя за бортом давнюю мечту капитана…

А у неё были красивые глаза

— Ещё, ещё немного проехать — и я буду на месте. Что это? Высокое здание. Ветхое. А это? Консервная банка. И почему тут так много консервных банок? — жужжа шестерёнками, рассуждал маленький луноход. — Люди были такими любителями консервных банок…

Люди заселили Луну, но плохо исследовали её. За пять лет проживания на Луне был построен комплекс подземных коммуникаций, жилой сектор и высокая башня мэрии. Однако не всё прошло так, как хотелось людям. Началось вторжение с обратной стороны Луны, причём нападавшие пришли, словно высочившись из воздуха. Они телепортировались прямо в город под энергетическим полем, который держал атмосферу. Многим людям удалось эвакуироваться, но были и жертвы.

Через год после атаки люди решили, что угроза миновала, и выслали на Луну робота-разведчика — луноход со встроенным синтетическим мозгом по имени «Луч Надежды», который должен был исследовать руины и, при полном изучении городка, выслать на Землю отчёт о миссии: можно или пока рано заново заселять спутник.

«Луч Надежды» катился по бетонным крошкам, тихо поскрипывая колёсиками. Он внимательно осматривал, фотографировал и сканировал всё, что привлекало его внимание, каждый кадр немедленно отправлялся в штаб. Наконец, завершив обследование поверхности, луноход вкатился в здание. Было темно, но прибор ночного видения спас «Луч Надежды» от слепоты.

Луноход с трудом, но всё же забрался по лестнице дома, по пути заезжая в различные комнаты. Но одна комната привлекла его особенно сильно. Она вмещала в себя множество причудливых вещей. Это была комната женщины. Женщины, которая явно любила космос. Всё было заставлено масштабными модельками космических кораблей, висело несколько плакатов с изображением редких космических явлений, форма члена экипажа государственного космического корабля и многое другое, что выдавало девушку-космофилку. Всё в комнате лежало на своих местах, словно и не было здесь войны. Но только одно заставило луноход насторожиться. Дверца тумбы была приоткрыта.

Робота удивляло, как гравитационный щит не пострадал во время атаки и продолжал работать. Луноход многое не понимал в людском мире, но предпочитал об этом не думать, чтобы не сжечь хрупкие микросхемы от излишней философии. «Луч Надежны» протянул к дверце тумбы механическую клешню, осторожно уцепился и потянул, чтобы открыть дверцу сильнее. Шестерёнки заскрежетали, и рычажки подняли луноход от его гусениц на полметра вверх. Механические глаза увидели в тумбе много пыли и что-то блестящее в темноте. Второй клешнёй луноход нежно подцепил странный предмет и поднёс к окулярам. Это оказался серебряный кулон. Луноход притронулся к нему, и кулон раскрылся. В нём была старая фотография, где обнимались двое — мужчина и женщина, оба в форме государственных космических исследователей. Луноход видел много людей, но её глаза… глаза девушки очень привлекли его. Робот внимательно посмотрел на надпись в окантовке фотографии.

«Володя и Лада…— прожужжал луноход, читая надпись.— Вместе навсегда»…

Луноход медленно опустился на свои гусеницы и осторожно провёл клешнёй по фото. Его синтетический мозг взывал к чувствам, пытался вызвать хоть что-нибудь, но механизмы сопротивлялись. Из штаба пытались заставить робота выбросить кулон и ехать дальше. Луноход заскрипел. Его искусственный мозг отчаянно сопротивлялся сигналам и… погасил их. Он получил полный контроль над собой, получил то, чего всегда хотел, но не верил, что это возможно.

Луноход выехал из здания и покатился в сторону главной площади. Он долго размышлял, пытался многое осознать. Что-то понять ему всё же удавалось. Неожиданно робот остановился. Он поднял маленькую механическую голову и посмотрел на Землю. Он что-то бормотал долго и бессмысленно, пока не замолчал.

— А у неё,— проскрипел луноход, опустив голову,— были красивые глаза…

«Луч Надежды» ещё долго стоял, разглядывая фотографию влюблённых. Он гладил её, пристально изучая каждую деталь, но особенное внимание уделял глазам девушки. Наконец луноход бережно положил кулон в отсек для хранения проб на своём боку и медленно поехал дальше, легко шурша гусеницами.

Он пытался понять, что такое любовь, но не мог. Любовь была для него неведома, но робот отчаянно пытался всё понять, пока не осознал, что истина лежит совсем близко. Не нужно пытаться понять суть любви, не нужно гоняться за ней. Любовь — как ласковая кошка, она вольна и ветрена и при этом безумно красива. Никто не

сможет понять любовь, пока не прочувствует её на себе, не почувствует тот лучик надежды, который она вселяет в любящее сердце…

Лера Абрамова

гимназия №10, 6 класс

Школьная летопись

В прошлом году произошло это событие. Трудно было ученикам одолевать русский язык и математику, и учителя были сильны духом.

Вошла наша рать 6-го «а» класса в кабинет 303 и заняла свои боевые позиции, готовясь к атаке на русский язык. Смело было наше войско и мужественно, и всё быстрей накалялась обстановка. В кабинет вошла Варвара свет-Михайловна. И молвила она:

— Желаю посмотреть на ваши труды великие, на ваши знания, и первым будет князь Сергей свет-Олегович.

— Не желаю я, Варвара свет-Михайловна, на ваш урок отвечать, верен я своему долгу, двоечник — звание гордое…

— Негоже такой ответ держать, Сергей свет-Олегович!

И занесла Варвара свет-Михайловна разящую ручку над журналом, и вывела позорную двойку.

Князь Сергей свет-Олегович был повержен…

Писано Валерией свет-Максимовной

Настя Буланова

8 класс

Мальчик, который любил смотреть телевизор

Что ты делаешь? Сейчас, после школы. Уроки? Не пытайся от меня ничего скрыть: частенько ты просто откидываешь учебники в сторону и идёшь в гостиную, где стоит он, большой и чёрный… Знаешь, глядя на тебя, я вспомнил историю одного мальчика. Он, как и ты, тоже очень любил смотреть телевизор…

…Каждый день просыпался мальчик и шёл в школу, чтобы мама сильно не ругалась. Дальнейшие события всегда представлялись нашему герою большим серым комом, из которого сверлили уничтожающими взорами всезнающие учителя, неприятно скалились одноклассники, верещали, как стая голодных чаек, девчонки. Однако главная ударная сила этого шарика скрывалась в дневнике. Глупо сравнивать бумагу с водой, но мирная с виду книжица была настолько же глубока несчастьями, как и озеро. Несчастья эти не только качались на волнах алыми лебедями: края водоёма плотно окружили длинные прямые палки, и на верхушке каждой из них изгибался под пугающе-острым углом один-единственный лист…

После прохождения этих кругов ада, совершенно измученный, бедняга был не в состоянии даже одежду стянуть, что уж там говорить о домашней работе! Тем более — кто захочет сам прийти в объятья к ужасу, от которого скрываешься как можешь? Поэтому по возвращении домой паренёк без сил валился на кровать. Здесь он тоже не находил покоя — дневные кошмары завладевали и сном…

У этой истории был бы совсем предсказуемый и стремительный конец, если бы не одно маленькое событие. Это маленькое событие означало большую радость для семьи нашего героя: они так долго копили, чтобы купить невероятно полезную вещь, которая уже имелась у многих! Как ты думаешь, что это за вещь? Правильно: огромный плазменный телевизор. Он полюбился мальчику с первой секунды, с первого взгляда. Когда на душе бывало особенно худо, он являлся неплохим слушателем. Но ещё лучше становилось, стоило хоть разок услышать этого многоголосого оратора. Забывались сразу все невзгоды. Всё, что бы он ни предложил, являлось совершенно незаменимой вещью: оказывается, существуют лекарства, которые мгновенно успокаивают самую нестерпимую боль; средства для мытья посуды, удаляющие даже многовековую грязь; шоколадные батончики, которых стоило съесть хотя бы штуку — и ты в порядке. А эти его боевики с обычными парнями, способными сражаться сразу с тремя дюжинами ниндзя, прыгать с вертолёта без парашюта, разрушать планы самого мозговитого злодея! Чудеса! Сидел бы днями и ночами да не отрывался!

Но утром снова норовил придавить этот ком проблем под названием Школа. Как не хотел мальчик туда идти!

И в один из дней не пошёл. И на следующий день не пошёл. И через неделю. Смотрел и не мог наглядеться.

Сначала пытались возмущаться родители: кричали, ругались, умоляли. Не помогло. Явились и учителя: совали под нос табель успеваемости, читали нравоучения, под конец даже грозились выгнать. Безрезультатно. Тогда гнев сменился испугом: почему же он не отвечал, не поворачивался, даже не смотрел на них? Отчаялись взрослые. Решили позвать доктора. А наш герой всё сидел и наблюдал за беготнёй цветных пятен в чёрной плоской коробке.

Пришёл доктор. Палочкой перед глазами поводил, молоточком постучал, озадаченно почесал затылок.

— Тут уж, — говорит, — не поделаешь ничего. Это… уже не мальчик… Даже уже не человек.

— Что это значит? Как такое возможно? — всполошились взрослые.

И тут… больной подал голос. Он звучал очень странно: не как у мальчиков, весело и живо, а как-то монотонно, как у гипнотизёра…

— Самые хрустящие котлеты, которые просто тают во рту!!!.. Примите наш препарат — и дело пойдёт на лад!.. Тысячи российских предприятий не выдерживают конкуренции. Количество безработных в стране увеличивается… Погода в нашем регионе…

Тут вообще стали происходить какие-то чудеса: мальчик становился с каждым мгновением всё темнее и темнее, всё меньше и меньше; в его глазах заплясали разноцветные пятнышки, постепенно сливающиеся в картинки…

— Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня в нашей программе…

Очнувшиеся от шока родители, учителя и врач ошеломлённо уставились на картину перед ними. Сбоку, на тумбочке, светился голубым светом экран, «уносящий всё плохое». А напротив него, на диване, стоял точно такой же, пустой и болтливый… телевизор. Мальчика и след простыл…

МАСТЕРСКАЯ М. О. САВВИНЫХ

Александра Радионова

9 класс

Чичиков — чёрт?

Открывая поэму «Мёртвые души», искренне предполагаешь, что там будет что-то мистическое, связанное с гоголевской нечистью. Но в итоге понимаешь, что никакой мистики в этом произведении нет, кроме частого упоминания чёрта. Проходит некоторое время, и у тебя возникает ощущение, что ты пропустил какую-то важную мысль: ты не можешь осознать, почему тебе становится жутко, когда читаешь очередную главу. И тогда возвращаешься к самому началу…

Упоминание чёрта в тексте можно встретить практически в каждой главе в виде различных присказок: «Чёрт знает что!», «Чёрт их побери!». Но можно ли сказать, что сам Чичиков является чёртом? В главе одиннадцатой встречается такая фраза, когда Гоголь описывает ссору Чичикова и его сообщника: «Чёрт сбил с толку обоих чиновников; чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что». Получается, что главный герой не чёрт, а его порождение. Есть в мире ещё какая-то неведомая сила, которая дала часть своих способностей Чичикову. А так он совершенно обычный человек, которому присущи человеческие переживания и слабости. Он зауряден и прост, ничем не примечателен, кроме того, что может расположить к себе любого человека. Чичикова нельзя назвать абсолютно плохим, но и хорошим назвать невозможно: у него было обычное детство, обычная работа чиновника, обычные человеческие мечты о достатке и благополучии. Сплошные благие намерения. Только один раз герой сравнивается с чёртом, да и то сравнение это употреблено, чтобы описать восхищение талантами Чичикова: его трудолюбием, неподкупностью, умением угадывать на таможне, где спрятано то, что хотели провезти через границу контрабандой. Неужели это качества чёрта?

Спокойный и сдержанный в обычное время, Чичиков начинает нервничать, когда очередной его знакомый не спешит заключить с ним сделку. Невероятное нервное напряжение выдерживает он, чтобы максимально понять человека и добиться своего. Знает он, как давить на людей. Знает, что Коробочка испугается грозного тона, а с Маниловым нужно быть любезным, расположить его к себе. К каждому персонажу у Чичикова есть свой подход. Главный герой прекрасно разбирается в людях, он холодно и расчётливо подбирает слова, чтобы уговорить их. Это ещё один его талант. Но чёрт ли он после этого?

Чичиков — лакмусовая бумажка российского общества позапрошлого века. Он появляется в среде людей, «преприятных во всех отношениях», и бросает в эту среду вопрос, смысл которого явно не связан с нравственными канонами: «А почём нынче мёртвые?» Не правда ли, дикая мысль? Заметьте, дикая даже для закоренелого циника. Чичиков просит продать или подарить ему мёртвых людей. И каждый, к кому он обращается с подобной просьбой, начинает показывать своё истинное лицо, которое до этого момента было скрыто под маской благочестия. Чичиков лишь хочет добиться своей цели, но выходит, что он искушает других людей, усугубляет порок каждого.

Получается, что главный герой не чёрт, он сам был искушён, он поддался жажде денег, верно исполняя завет отца, а теперь он лишь пешка в игре. Чичиков, не замечая того, выполняет ещё одну задачу — он предлагает человеку продать ему мёртвых и ещё больше усугубляет порок каждого, ведь помещики соглашаются на это «заманчивое предложение».

И лишь убедившись в этом, ты осознаёшь истинный смысл произведения. В нём не только высмеиваются человеческие пороки, но и показывается, что тёмная вечная сила имеет власть над умами людей. И становится совсем не смешно. Становится жутко. Ведь таких людей, подвластных этой силе, не просто много, а всё находится под её неусыпным контролем. И постоянно человек подвергается искушению, постоянно он окунается в эту бездну. И только от него зависит, вынырнет

ли он на поверхность, чтобы глотнуть чистого воздуха, или опустится на самое её дно. Эта книга — своего рода предостережение каждому, что и к ним может прийти такой Чичиков, и только от них будет зависеть, что они выберут. Продадут ли они вместе с «мёртвыми душами» и свою? Или всё же хватит в них сил противостоять искушению?

Евгений Савенков

9 класс

К проблеме «Гоголь и чёрт»

Смех Гоголя — борьба человека с чёртом.
Д. С. Мережковский

Есть ли «чёрт» в повести Гоголя «Тарас Бульба»?

Эта повесть была впервые опубликована в 1835 году в цикле «Миргород». До этого читатель видел много раз, как Гоголь изображает чёрта. Например, в новелле «Ночь перед Рождеством» чёрт украл луну, и землю покрыла тьма. Оттого, что делает чёрт, нам становится жутко. Хотя у него есть свои слабости. Когда чёрт находится у ведьмы Солохи, к ней заявляется пан Голова, которого нечистый побаивается. Чёрт залезает в мешок, и вся эта ситуация — не жуткая, а смешная. Что уж говорить о том, как кузнец Вакула, оседлав чёрта, носится на нём по небу, да ещё и стегает его плёткой! Чёрт у Гоголя нередко очень натурален. Таким он представляется в народном сознании. Но этим привычным фольклорным образом гоголевский чёрт не исчерпывается.

Что же в повести о запорожцах? Тарас Бульба — главный герой. У него есть два сына: Остап и Андрий. Если смотреть с точки зрения Тараса, то Остап — это добро, а Андрий — зло. Бульба открыто говорит, что если не так, то — пусть лучше пропадут сыны, так как не место на земле предательству. Тарас Бульба посвящает себя товариществу: товарищам, вере, Родине. Он видит в этом цель жизни. Бульба умирает, но остаётся верен товариществу. Он не поддался чёрту, который является искусителем. *Чёрт — это предательство.* Вот почему Тарас называет Андрия «чёртовым сыном». Чёрт искусил Андрия, и старый казак убивает не сына, а человека, который последовал за чёртом.

Остап остался с отцом. Он, старший сын, является копией отца. И погиб на глазах отца.

Все помнят речь Тараса о товариществе. Но Андрий отрицает товарищество: «Отец не отец, брат не брат, со всеми буду биться!» У него появляется своя Родина. «Родина — это то, что дорого человеку», — говорит Андрий. Чёрт путает казаков, когда они осаждают город. Ночью польское войско входит в город, а казаки были *чертовски* пьяны. Да, да, именно *чертовски* пьяны. Чёрт овладел казаками.

стр. 103

Аврутин Анатолий Юрьевич

Минск, Беларусь, 1948 г. р.

Поэт, переводчик, критик, публицист. Родился в Минске, в семье инженера-железнодорожника. Окончил истфак БГУ. Секретарь Союза писателей Беларуси. Автор полутора десятков поэтических сборников. Лауреат международной литературной премии им. Симеона Полоцкого и нескольких всероссийских литературных премий. Награждён медалью Франциска Скорины, Золотой Есенинской медалью, медалями им. Михаила Шолохова, Мусы Джалиля и др. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная», в 2005–2008 годах — первый секретарь правления Союза писателей Беларуси. Член-корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и искусств. Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011 году присвоено звезде в созвездии Рака. Публиковался в «Литературной газете», «Дне поэзии», журналах «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Юность», «Нева», «Аврора», «Невский альманах», «Форум», «Братина», «Север», «Сибирские огни», «Дон», «Великороссъ», «Литературный европеец» (Германия), «Мосты» (Германия), «Пражский Парнас» (Чехия), «Венский литератор» (Австрия), «Альманах поэзии» (США), газетах «Обзор» (США), «Соотечественник» (Австрия) и др.

стр. 105

Аринчин Сергей Александрович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский политехнический институт. Кандидат технических наук. Заведовал кафедрой АСУ и автоматики Красноярского инженерно-строительного института. В 1990-е годы работал зам. директора Красноярского филиала Госцентра «Природа», зам. председателя крайисполкома, председателем Комитета по экологии и природным ресурсам правительства края, зам. главы администрации Красноярского края, зам. губернатора Красноярского края, руководителем дирекции Федеральной целевой программы освоения Нижнего Приангарья. В 2000-х занимал руководящие должности и осуществлял проектную деятельность в нефтегазовой, энергетической и других отраслях. В настоящее время — преподаватель в инженерно-строительном институте СФУ. Публиковался в краевых газетах, журналах и сборниках. Автор книг «За яблочным вином» (1992), «Джеликтукон» (1998), «Возвращение на Джеликтукон» (2003). Один из авторов поэтических сборников «Весенние ручьи» (2003), «Поэзия на Енисее» (2006). Член Союза российских писателей.

стр. 159

Бабий Алексей Андреевич

Красноярск, 1954 г. р.

Родился в Читинской области. В 1976 году окончил математический факультет Красноярского государственного университета. Работал программистом в КрасГУ, директором учебного компьютерного центра Дома науки и техники, руководителем веб-лаборатории компании «Maxsoft». Действительный член Российской академии Интернета, председатель красноярского общества «Мемориал». Автор восьми книг и нескольких десятков публикаций по информационным технологиям, проблемам влияния технологий на человека, истории политических репрессий в Красноярском крае, а также рассказов и повестей.

стр. 79

Беликов Юрий Александрович

Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 70-х), «Полит-бюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 175

Бердников Лев Иосифович

Лос-Анджелес, США, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института. Кандидат филологических наук. Автор историко-публицистических монографий и многочисленных публикаций в разных странах мира на русском, английском и датском языках. Член Русского ПЕН-центра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый берег» (Дания). Лауреат Горьковской литературной премии. Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.

стр. 85

Ерёмин Николай Николаевич

Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы, среди которых «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья» и др. Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института» (2011) в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами), «Лексикон» (Чикаго) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей.

стр. 110

Журавлёв Алексей Борисович

Красноярск, 1956 г. р.

Родился и окончил школу в Омской области. Образование среднетехническое. Служил в армии, работал на предприятиях Красноярска, начальником компьютерного отдела издательства госуниверситета, начальником компьютерного цеха Красноярского книжного издательства. В настоящее время работает автоэлектриком. Долгое время активно участвовал в эсперанто-движении. Автор стихотворений на эсперанто, перевода на эсперанто повести Стругацких «Трудно быть богом», соавтор перевода документальной повести Ю. Щербака «Чернобыль». Публиковался в альманахах «Енисей», «Пегас», на языке эсперанто — «Hungara vivo» (Будапешт), «Impeto» (Москва), журнале «День и ночь», а также в коллективных сборниках «Живая листва» (1985), «На поэтическом меридиане» (1998), «Сибирский венок Пушкину» (1999). Автор поэтических сборников «Versoj diversaj» (на эсперанто, 1994), «Ты уходишь» (1998), сборника прозы «Не от мира сего» (2001), «Божий снайпер» (2008). Золотой и серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2007, 2008).

обл.

Ильиных Роман Леонидович

Красноярск, 1967 г. р.

Родился на Алтае. Живописец, иконописец. Окончил Новоалтайское государственное художественное училище в 1989 году, в 1994-м — институт им. И. Е. Репина (Санкт-Петербург), в 1996-м — Дальневосточную государственную академию искусств. С 2001 по 2004 год обучался в творческих мастерских Российской академии художеств под руководством народного художника, академика А. П. Левитина. Член Союза художников России. С 1988 года — участник городских, краевых, региональных, всероссийских, зарубежных и международных выставок и проектов. Работы находятся в музеях и храмах городов Красноярского края, Читы, Барнаула, Абакана, Казахстана, КНР и др., в частных коллекциях России, Китая, Англии, Финляндии, Греции, Германии, Израиля. Имеет множество профессиональных наград: диплом Российской академии художеств (Москва, 2005), диплом Музея русского искусства (Харбин, 2005), архиерейские грамоты (Красноярская епархия, 2009, 2010) и др.

стр. 149

Каминский Семён

Чикаго, США, 1954 г. р.

Родился в Днепропетровске. Прозаик, член Международной ассоциации писателей и публицистов, Международной федерации русских писателей и Объединения русских литераторов Америки. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Работал преподавателем, руководителем юношеского фольклорного ансамбля, менеджером рок-группы, директором подросткового клуба и рекламного агентства, режиссёром и продюсером телевизионных программ, редактором. Публиковался в России, Украине, США, Канаде, Израиле, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, в том числе в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «LiteraruS», «Зинзивер», «Ковчег», «Сура», «Время и место», «Побережье» и многих других. Лауреат премий журналов «Дети Ра» (2011) и «Северная Аврора» (2012). Автор книг: «Орлёнок на американском газоне» (рассказы и очерки, Чикаго, «Insignificant Books», 2009), «На троих» (сборник рассказов, в соавторстве с В. Хохлевым, А. Рабодзеенко, Чикаго, «Insignificant Books», 2010), «Папина любовь» (Таганрог, «Нюанс», 2012), «30 минут до центра Чикаго» (рассказы, Москва, «Вест-Консалтинг», 2012).

стр. 101

Кузнечихин Сергей Данилович

Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино Костромской области, в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт (1969). Работал инженером в Свирске Иркутской области и в Красноярске, а затем — сторожем (с 1989). Печатается как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность» и др. Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация. Повести и рассказы», «Омулёвая бочка» и др. Многочисленные публикации в журналах, альманахах, антологиях России, ближнего и дальнего зарубежья. Член Союза писателей СССР (1991), Союза российских писателей. Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981).

Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Член Международного Союза писателей XXI века.

стр. 154
Кузнецова Зинаида Никифоровна
Зеленогорск

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, в течение 37 лет была секретарём высших руководителей города. Литературным творчеством занимается с 25 лет. Автор поэтических сборников «Настроение», «Медовый август», «Ночной звонок», «Память сердца», «Облака», «Куст калины» (1-й том двухтомника), «Забытые острова», сборников рассказов «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная…». Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор», в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов» и многих других. Руководитель литературного объединения «Родники» города Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член Союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.

стр. 108
Мялин Владимир Евгеньевич
Москва, 1961 г. р.

Член Союза писателей России и творческого клуба «МП». Участник «Антологии современной русской поэзии». Публиковался в газетах «Народный учитель», «Учитель Узбекистана» (1986), в журналах «Русский писатель» (Санкт-Петербург), «Московский Парнас», «Бег» (Санкт-Петербург), «Арион», «Волга». Автор книги стихотворений «Из ближнего рая».

стр. 174
Никулина Наталья Ивановна
Обнинск, 1955 г. р.

Родилась в Ашхабаде. Журналист. Работает в газете «Обнинск». Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Новая Юность», «Футурум АРТ», «Крещатик», «День и ночь», в альманахе «Обнинск литературный», в антологии любви С. Кузнечихина «Свойства страсти», на сайтах поэтического альманаха «45-я параллель» и православного журнала «Фома». Постоянная участница фестивалей верлибра. Публикации в двух итоговых сборниках фестиваля верлибра («Самое выгодное занятие», «То самое электричество») и предварительного («Верлибр нового тысячелетия»). Соавтор книги свободных стихов «Рождение пространства» и аудиокниги «Узнаю я их по голосам» (проект Валерия Прокошина). Автор четырёх поэтических книг: «Присутствие» (2002), «Среди ясного неба» (2005), «Извёстка с Эдемских садов» (2009), «Нести свет да нести» (2010). Лауреат поэтического конкурса «Перекрёсток» (2010). Член президиума Международного Союза писателей XXI века.

стр. 162
Обаничева Лариса
Париж

Родилась в Москве. Окончила Высшие курсы иностранных языков при Внешторге (румынский и французский) и Московский пединститут (факультет русского языка и литературы). Преподавала румынский язык во Внешторге, работала младшим редактором в издательстве «Русский язык». Защитила в Сорбонне дипломную работу по И. Бунину. Работала переводчицей. Опубликовала статьи, заметки, рассказы, серию интервью о французской жизни в московских газетах «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета».

стр. 20
Переяслов Николай Владимирович
Москва, 1954 г. р.

Родился в Донбассе (Украина), работал шахтёром на донецких шахтах, геологом в Красноярском крае и Забайкалье, инструктором туризма на озере Селигер, журналистом в Тверской области, директором Самарского областного отделения Литфонда России и на других работах. Автор пятнадцати поэтических, прозаических и критико-литературоведческих книг. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Член Международной федерации журналистов, Международной ассоциации писателей и публицистов, действительный член Петровской академии наук и искусств. Секретарь Правления Союза писателей России. За участие в выездном Пленуме Союза писателей России в Чечне (2000) награждён медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Награждён также медалью святого Даниила Московского Русской Православной Церкви, медалью Приднестровской Молдавской Республики, наградными знаками «Честь и польза» Фонда «Меценаты столетия», медалями Георгия Жукова, Виктора Розова и другими наградами.

стр. 172
Рубанов Роман Владимирович
Курск, 1982 г. р.

Родился в деревне Стрекалово Хомутовского района Курской области. Окончил Курский государственный университет (факультет теологии и религиоведения). Руководитель литературно-драматургической части Театра юного зрителя «Ровесник». Лауреат Шелиховской медали за вклад в развитие поэзии западного региона Курской области (2009, Рыльск), ежегодного литературного конкурса «Проявление» (2010, Курск, КГУ). Дипломант литературного конкурса «Лира Боспора»

(2011, Крым, Севастополь) в номинации «Поэзия», поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем жива душа…» (2011, Ярославль). Удостоен специального диплома Национальной литературной премии «Алтын Калам» в номинации «Иностранная литература» (2011, Казахстан, Алматы).

стр. 82
Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике «Обзор» (Чикаго), в коллективных сборниках и антологиях. Автор семи книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 77
Тарковский Михаил Александрович
Бахта, Красноярский край, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «География и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, а последние годы — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век».

стр. 178
Шанин Владимир Яковлевич
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края. Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета и аспирантуру Высшей школы при ВЦСПС в Москве. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе, в районных и многотиражных газетах, в крайкоме профсоюза работников сельского хозяйства, в альманахе «Енисей». Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», «День и ночь», «Енисей». Автор многих книг прозы, в т. ч. романа-исследования в трёх книгах «Суриков, или Трилогия страданий», а также книги «Енисейская летопись» (хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края 1207–1999 годов), первый том которой вышел в 2011 году.

стр. 169
Шелленберг Вероника Владимировна
Омск, 1972 г. р.

Поэт, художник. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. Лауреат ежегодной областной литературной молодёжной премии им. Ф. М. Достоевского (1998). Дипломант Всероссийского литературного конкурса им. В. П. Астафьева (2006). Лауреат городского поэтического конкурса профессиональных авторов «Омские мотивы» (2008, 2010). Лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова (2011). Публиковалась в журналах и альманахах «Арион», «День и ночь», «Дети Ра», «Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Иркутское время», «Складчина», «Стороны света», «Литературный Омск», «Урал», «Лоза», «Сияние лиры», «Москва», «Огни Кузбасса» и др., в различных антологиях Член редколлегии альманахов «Складчина», «День и ночь» и журнала «Омская муза». Член Союза российских писателей.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Иван Клиновой

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков — Набережные Челны

Юрий Беликов — Пермь

Светлана Василенко — Москва

Валентин Курбатов — Псков

Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург

Александр Лейфер — Омск

Дмитрий Мурзин — Кемерово

Александр Петрушкин — Кыштым

Евгений Попов — Москва

Лев Роднов — Ижевск

Анна Сафонова — Южно-Сахалинск

Евгений Степанов — Москва

Михаил Стрельцов — Красноярск

Михаил Тарковский — Бахта

Владимир Токмаков — Барнаул

Вероника Шелленберг — Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

Г. О. Янушкевич

Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использованы картины Романа Ильиных «Золотые врата»

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 246 304 27 49
Расчётный счёт 407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040 407 967
Корреспондентский счёт 301 018 100 000 000 967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 14.06.2013

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77

Роман Ильиных

Венок. Ночь | 2004
100 × 80 | холст, масло

Вид на колокольню | 2011
50×60 | холст, масло

На первой странице обложки: *Золотые врата* (фрагмент) | 2011
50×60 | холст, масло